

ISSN 0130-7673

Н О В Ы Й
М И Р

№ М О Т В Р Y

12

1996

12

Н О В Ы Й
М И Р

1996

НОВЫЙ МИР

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ И ОБЩЕСТВЕННОЙ МЫСЛИ

Издается с января 1925 г.

№ 12(860)

Декабрь, 1996 г.

УЧРЕДИТЕЛИ:

РЕДАКЦИЯ ЖУРНАЛА «НОВЫЙ МИР»,
АО «БАНК „САНКТ-ПЕТЕРБУРГ“»

СОДЕРЖАНИЕ

РАВИЛЬ БУХАРАЕВ — Дорога Бог знает куда. Книга для брата	3
НАТАН ЗЛОТНИКОВ — Следы на дне, стихи	81
ИЛЬЯ ФАЛИКОВ — Музыка ребер, стихи	83
ВИКТОР ГОФМАН — Когда желтый ветер дохнет по озябшим скверам, стихи	86
ЯН ГОЛЬЦМАН — Голоса тишины, рассказы	89
ОЛЕГ ХЛЕБНИКОВ — Пробонна в воздухе, стихи	109
ДАУР ЗАНТАРИЯ — Вот и плоды висят, стихи	111
РОМАН СОЛНЦЕВ — Ты мимо на плоту легишь, стихи	114

НОВЫЕ ПЕРЕВОДЫ

ШАМАЙ ГОЛАН — Похороны, рассказ. Авторизованный перевод с иврита Анатолия Кудрявицкого	115
--	-----

ПУБЛИЦИСТИКА

СЕРГЕЙ ЗАЛЫГИН — Моя демократия. Заметки по ходу жизни	130
--	-----

ВРЕМЕНА И НРАВЫ

ЕРМОЛАЙ СОЛЖЕНИЦЫН — От горсти риса — до сотовой связи. По китайским впечатлениям	170
---	-----

ДНЕВНИК ПИСАТЕЛЯ

ИГОРЬ ЗОЛОТУССКИЙ — Путешествие к Набокову. Из дневника одной телевизионной поездки	185
---	-----

ПУБЛИКАЦИИ И СООБЩЕНИЯ

АНДРЕЙ АРЬЕВ — Встреча с Л.	198
-----------------------------	-----

(См. на обороте)

СОДЕРЖАНИЕ (окончание)

КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

210

Сергей Бочаров. На Аптекарский остров...
С. Ломинадзе. Предварительные заметки.
Алексей Козырев. Новый альманах о Достоевском.
Евгений Ермолин. Русский сад, или Виктор Ерофеев без алиби.
Андрей Василевский. Особенности и вибрации.
Олег Zubov. Такой вот странный шпион.

КОРОТКО О КНИГАХ:

Татьяна Вольтская. — I. Исторический альманах «Минувшее». II. «Невский архив». Историко-краеведческий сборник. III. «Лица». Биографический альманах	237
ЗАРУБЕЖНАЯ КНИГА О РОССИИ	241
КНИЖНАЯ ПОЛКА	244
ПЕРИОДИКА	246
СОДЕРЖАНИЕ ЖУРНАЛА «НОВЫЙ МИР» ЗА 1996 ГОД	249
SUMMARY	256

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

Наш индекс 70636 в каталоге издательства «Известия» (спрашивайте во всех отделениях связи).

Вы можете оформить льготную подписку на «Новый мир» непосредственно в редакции по адресу: Малый Путинковский переулок, 1/2 (м. «Пушкинская», «Чеховская», «Тверская»), в понедельник, вторник, среду, четверг с 10 до 18 часов, в субботу с 10 до 13 часов. Здесь же можно приобрести отдельные номера журнала. (Справки по тел. 200-08-29.)

Распространением журнала «Новый мир» за рубежом занимаются: германская фирма «Кубон унд Загнер» (Kubon & Sagner. D-80328 München Germany. Tel. (089) 54-218-130. Telex: 5216711 kusa d. Fax (089) 54-218-218);

акционерное общество «Международная книга» через своих контрагентов в соответствующих странах (их адреса можно узнать в АО «Международная книга»: 117049, Россия, Москва, ул. Большая Якиманка, 39. Факс (095) 238-46-34. Телефон (095) 238-49-67. Телекс 41160);

американская фирма «Ист Вью Пабליкейшенз» (East View Publications, Inc. 3020 Harbor Lane North Minneapolis, MN 55447 USA. Tel. (612) 550-0961. Fax (612) 559-2931. В Москве тел./факс (095) 144-00-55, (095) 144-01-89).

Просим зарубежных подписчиков и покупателей «Нового мира» обращать внимание на обложку журнала. За пределами России и стран СНГ наш журнал распространяется только в специальной экспортной обложке — белой, с надписью «Нову Мир»; торговля журналами в голубой обложке не является законной.

Из общего тиража Институт «Открытое общество» выписывает и направляет ежемесячно в библиотеки России и ряда стран СНГ 5 тысяч экземпляров журнала «Новый мир».

РАВИЛЬ БУХАРАЕВ

*

ДОРОГА БОГ ЗНАЕТ КУДА

Книга для брата

1

НЕ СЧЕСТЬ АЛМАЗОВ В КАМЕННЫХ ПЕЩЕРАХ

Я вспоминал эту с детства застрявшую в памяти строчку в Кадiane — маленьком пенджабском городке, затерянном среди рисовых полей, вечнозеленых рощ и широких каналов вблизи границы Индии и Пакистана.

И в Индии бывает зима. Станный оранжево-желтый свет льется тогда на жестяные листья кокосовых пальм над лотосовыми болотами; шумит полуденный ветер в манговых садах. На сотни километров вокруг не отыскать человека, воспитанного в тех же правилах, что и мы, во всяком случае, трудно отыскать атеиста. Индусы, сикхи, мусульмане. Смуглые, в тюрбанах, говорящие на языках урду и пенджаби. Кроме торговцев, мало кто понимает и по-английски. Здешняя жизнь своеобразна и для туристического человека, после первоначального шока, была бы даже притягательна. Вот только в этой глубинке Северной Индии, к тому же зоне чрезвычайного положения, досужих людей мало, а европейцев и вообще не бывает.

Дни, о которых я пишу, — исключение. Сотая ежегодная всемирная встреча Ахмадийской Мусульманской Общины, когда самому ее Халифу впервые за сорок три года, то есть со времени раздела Индии, было позволено наконец посетить священный для Общины Кадиян, на несколько дней превратила городок в самое людное место, разукрасила его цветной мишурой, разноцветными фонариками, лозунгами, ослепливила местных торговцев. Один из этих написанных на языке урду транспарантов и сейчас виден с моей веранды: «Добро пожаловать домой!»

Дни мои проходили как бы в состоянии сбывающегося детского сна. Я сидел в гостевом доме, на одной из крытых и остекленных его веранд, выходящих в небольшие мощенные брусчаткой квадратные дворики. В стенах между двориками — полукруглые проемы с дощатыми зелеными двустворчатыми дверьми. За фронтальной стеной — узкая улочка, по которой в те дни тек нескончаемый поток людей, и в нем рикши на велосипедах, конные коляски, обтянутые зеленой или красной потрескавшейся и побелевшей от времени кожей. Грузовички гудели, им было особенно тесно в нешумном людском столпотворении.

Тот сравнительно новый пристрой, в котором мне повезло жить, где и душ с горячей водой, и кондиционер, и отдельная веранда, был еще дале-

Бухараев Равиль Раисович родился в Казани в 1951 году, окончил Казанский университет и аспирантуру МГУ по кибернетике, автор десяти поэтических книг, неоднократно публиковался в «Новом мире» в конце 70-х — начале 80-х годов. В настоящее время работает продюсером на русской службе Би-би-си. Живет в Лондоне. С крупной прозаической вещью выступает впервые.

Журнальный вариант.

ко не весь гостевой дом. Основная его часть — выстроенный в начале века двухэтажный муравейник со множеством маленьких комнат-келий, выходящих на крытые галереи, покоем опоясывающие огромный двор, где рядом с грудками сухих сучьев день и ночь уже почти столетие под массивными закопченными котлами горят костры. Запах дыма смешивается с пряным духом бурлящего варева: на всех постояльцев стряпается незамысловатая, но благословенная еда. В келейках гостевого дома нет никаких удобств — только нары, но те, кому посчастливилось по двое, а то и по трое устроиться здесь, крайне довольны. В дни, о которых я веду речь, Кадан был переполнен, и жилье даже за деньги найти было непросто.

Я сидел на веранде за своим портативным компьютером и кутался в черную кашмирскую шаль, купленную у бродячего торговца. Я хотел написать книгу. Мой ныне затерявшийся в дебрях Москвы товарищ, упорный художник, в пору моей второй, столичной и бесприютной, юности открыл мне один драгоценный секрет писательского дела: когда пишешь, держи в уме образ того, для кого пишешь. И дух и смысл творчества тогда изменятся, нечувствительно, но — весомо. В ту пору мы, перебиваясь с хлеба на квас, обитали в квартире второго моего приятеля, на Владимирке. Пахло здесь лаком и красками, и холсты стояли повсюду; на широких стенах, великодушно отданных хозяином под фрески, возникали вариации на тему танцующих божеств, и мнилось мне, что боготворимое мною искусство — это и есть настоящее.

Жизнь, в напрасных поисках нирваны, выдалась, однако, мудреней и замысловатей искусства, а Москву я так и не обжил. Теперь мне за сорок, я давно уже не эстет и даже не романтик, но все еще помню ту простую тайну ремесла, которая, как оказалось, и вправду дорогого стоит.

Я задумал эту книгу давно. Теперь я знаю, для кого я ее пишу. Я пишу эту книгу для тебя, брат. В детстве мы мало понимали друг друга: я часто обижал тебя. Уже много лет меня настаивает в моем одиночестве твое заплаканное ребячье лицо. Меня изводит стыд и донимает щемящая, навсегда опоздавшая жалость к тому тебе, которого я задевал просто потому, что был старше, хоть и ненамного. Ты, наверное, заметил, что в последние, трезвые, мои годы я стараюсь быть как-то внимательнее к тебе. Но вины моей этим не искупить.

Перед путешествием в Индию я был рад получить от тебя новогоднюю открытку, прилетевшую из Казани в южноанглийскую деревушку Тилфорд, где я временно прожил и работал над переводами книг по Исламу. На этой открытке, которую я храню, изображен Дед Мороз с фонарем, в заснеженном лесу нашей жизни, и поздравительные слова твои были исчерпывающе кратки: «Давай будем счастливы». И я захотел нам счастья. Ведь как бы я сейчас ни старался помочь тебе, какой бы нечаянной чуткостью ни ставил в тупик, тот мальчик в слезах — он все время у меня перед глазами, и я знаю, что мне не оправдаться, не докричаться до него... Я уже не прошу прощенья у тебя, но всегда, до неминуемой смерти моей, буду просить прощенья у него, и знаю, что в последнюю минуту он будет стоять надо мной, рядом со всеми, кого я так любил — и так предал. Ты всегда говорил, что я живу в мире иллюзий. Ты — прав. Но оставь же мне последнюю иллюзию — попытку понять и объяснить себя, а может быть, и тебя.

И вот книга, брат. Вот возникает она, слово за словом, и, выходя из-под моих пальцев, начинает жить своей жизнью, и убегает от меня, как убегают в поля вдоль уличных стен тихие воды кадианских арыков.

А Кадан — это городок, который может присниться ребенку с воображением после того, как ему на ночь прочитали «Али-Бабу и сорок разбойников» или «Волшебную лампу Алладина». Улицы здесь не имеют названий, а адрес определяют так: искомый дом стоит вблизи какого-то всем известного места. Скажем, возле базара, возле мечети Акса или сикхского храма, гурдвары. Или так: такой-то живет в доме покойного Чоудри Мирзы Ахмада Дервиша, Сотоварища Обетованного Мессии.

Если же отыщешь нужный дом и войдешь в него сквозь деревянные резные ворота, сразу окажешься в другом, меньшем по размеру городке, словно бы матрешкой вложенном в Кадриан: снова улочки, вдвое теснее и гораздо ухоженнее наружных, бесконечные переходы, крытые галереи, внезапные лестницы, пристроенные к стенам. Опрятные прозрачные арыки протекают по каменным желобкам; сумеречные гулкие аркады; широкие или узкие каменные ступени, ведущие на плоские крыши, и на крышах этих тоже проживается жизнь...

Не понять, где начинается улочка, где переходит в другую, а то и вовсе пропадает, теряется. Переходы поверх домов и под домами, сквозь дома — такая архитектура возможна только в полуденных странах: она служит защитой от палящего зноя и ливневых дождей. Ливни начисто отмывают Кадриан от пыли, и потому он такой опрятный. Сейчас 12 градусов выше нуля, сыро; у местных жителей, наверное, болят ноги, тепло обуваться здесь не привыкли, да и далеко не всем это по карману.

Дом-город или город-Дом? Здесь, в сельской Индии, строят без плана: всякое здешнее жилище и целые городки столетиями возводились по принципу «а потом он пристроил другую комнату и расширил жильё». Городок причудлив, как термитник. Дикорастущую природную архитектуру Кадриана лучше познаешь в предрассветные часы, когда идешь на Тахаджуд — предутреннюю молитву. Каждый день затемно я поднимался и шел с народом по сырým, темным и туманным улочкам на свечение Белого Минарета, построенного Обетованным Мессией в пределах своего Дома и ставшего, наряду со священной Каабой, символом Ахмадийской Мусульманской Общины. Я шел на Белый Минарет, освещенный разноцветными электрическими гирляндами и словно парящий над Кадрианом.

И мы, человек пятьсот, приходили в мечеть Мубарак, то есть Благословенную Мечеть, и вставали на молитву. Отсыревший за ночь цементный пол был как ледяной, узорные камышовые циновки влажны от тумана, ведь мечеть не имеет стен, это Индия, и в жару за стенами было бы нестерпимо жарко. Была, однако, зима.

Так мы стояли плечом к плечу длинными рядами, и во время молитвы слышался стоголосый плач, особенно когда имам произносил: «Аулал каумиль каафирин» (И спаси нас от злобы тех, кто не верует в Единство).

Я помню, однажды, в перерыве между ракаатами¹, я посмотрел на смуглокожего соседа справа — он был бос. У меня ноги ныли в двух парах шерстяных носков, цементный пол вытягивал из них последнее тепло. Наверное, это был один из тех сотен членов Общины, которые за неимением средств пришли в Кадриан пешком из Кашмира, по заснеженным горным тропам, сквозь террор и беспредел гражданской войны. Пока сидели, я снял верхнюю пару носков и отдал ему. Он принял это естественно, как рукопожатие. Поднимаясь, я заметил в передних рядах американского парня Карла Райхгольда в длинном черном пальто — он был на голову выше соседей. И он пришел с гор, только из Сьерра-Невады, где всю юность был горным проводником.

Где-то в середине нашей молитвы начинала звучать из стоящей неподалеку гурдвары фисгармония сикхов. У них тоже бывает заутреннее богослужение, и весь Кадриан в этих дорассветных сумерках с незапамятных времен пронизан молитвами: у мусульман заутреня — Фаджр, у сикхов — своя предрассветная молитва.

Когда мы спустились по широким ступеням из мечети и, пройдя по внутренним переулкам Дома, вышли за ворота, город уже оживал, и оживал молясь. Арычки бежали чистые, журчащие в тишине. Так, конечно же, и в средневековых ренессансных мусульманских городах после заутренних молитв люди шли пешком, в полутьме, и зеленая заря мерцала в расщелинах между крышами, над узкими пропастями стесненных домами улочек;

¹ Ракаат — часть мусульманской молитвы; молитва может состоять из одного, двух или четырех ракаатов. (Здесь и далее примеч. автора.)

люди шли к своим трудам, школьники и шакирды постарше — на занятия. Примерно такой, наверное, была и средневековая Казань. Говорят, очень похоже выглядит и Старый Иерусалим.

Вот люди идут после молитвы, и свет брезжит, и пробуждаются базарные улочки: кипит на огне котел с каким-то кушаньем, пузырится, брызжет и трещит закипающее масло на сковородах, и рыба — свежеразделанная, обвалынная в красном жгучем перце пресноводная рыба из широких пенджабских каналов лежит разложенная пластинами; в крошечных бедных кофейнях варят на поющих примусах кофе, и все вокруг маленькое: маленькие чайханы, маленькие харчевни, маленькие жаренные в масле многоугольные пирожки и всевозможные наперченные заедки — вкусные.

А дальше — лотки и навесы, рынок, где уже лежат горой, внавалку ананасы и гроздь бананов, апельсины, лимоны и будто натертые золотым воском плоды гуавы; деловитые торговцы в сикхских синих чалмах раскладывают бататы, коренья и цветную капусту и много еще чего, что привозится сюда на черных буйволах; буйволы сопят и тянут тяжелые скрипучие арбы на огромных колесах; рикши, завернувшись в серые плотные шали, мерзнут и трясутся у своих велосипедных колясок, цветные кожаные сиденья белесы от древности — Азия. Дальше, в глубь базара, мусора больше, но это обычный рыночный сор: зеленая ботва, овощные и капустные очистки, зола и пепел, вытряхнутые из таганков.

И помнилось, что внутри Дома и мечети Мубарак — свежо, светло и чисто. Чисто, светло, торжественно. По приезду в Кадиан я забрался на крышу Благословенной Мечети, увенчанную чалмами куполов, чтобы сфотографировать Дом, Белый Минарет и жизнь на соседних, ниже уровнем, крышах.

С чем сравнить эти жилые крыши, эти ровные кровли, чтобы ты увидел их моими глазами? Разве что с плоскими шляпками осенних желто-коричневых опят, когда они уродятся в лесах над татарской речкой Кубней, да еще если ветер прошумит поверху и уронит тебе в ладони одинокий лист.

Крыши, крыши, крыши, а дальше — Кадиан теряется в дымчатых рисовых полях и манговых рощах; исчезают, растворяются в пространстве и Дом-город, и город-Дом. В самый первый раз мне не повезло: горизонт застилала густая облачная дымка, но в хорошую погоду с вершины Минарета видны снежные пики Кашмирских гор — ледяные гольцы Гималаев. Туда, в голубые и белые эти горы, мы хотели отправиться с Карлом. Хотели пройти через Кашмир, о котором я грезил на Горном Алтае, у синей прозрачной купели Телецкого озера. Но наши братья по Общине, кашмирцы, отговорили нас. «Вас наверняка возьмут в заложники террористы, — разумно сказали они, — только из-за цвета кожи. Если вообще не убьют. Общине придется вызвать вас с огромными трудами». И мы отложили путешествие в Кашмир до будущих времен.

Кстати, Новый год, с которым поздравила меня твоя открытка, я встретил сидя в военизированном джипе, когда возвращался из гостей в сопровождении вооруженных бородатых стражников. В Пенджабе не прекращается гражданская война. Повсюду на главных перекрестках и в людных местах — вооруженные посты, сторожевые будки, вкруговую обставленные мешками с песком, из-за которых глядят то индус в каске, то сикх в чалме цвета хаки, с автоматом Калашникова, с винчестером еще колониальных времен. Моими сопровождающими были, однако же, не солдаты регулярной индийской армии, а телохранители хозяина, принимавшего нас в новогоднюю ночь.

Его дом, дом местного богатого помещика-сикха по имени Патаб Сингх, был похож на крепость или форт: высоченные бетонные, обвязанные колючей проволокой стены и железные ворота, отворявшиеся с бдительной неторопливостью военного времени. Сюда я попал совершенно

случайно. Как всегда по вечерам, я сидел на своей веранде и заносил в компьютер пережитое за день, и тут за мной пришли люди с автоматами наперевес. Они что-то говорили на языке пенджаби, чего я не понимал, но, надо сказать, не особенно встревожился. Подоспевший юноша-ахмади, который дома, в Пакистане, вот-вот должен был получить диплом врача, а здесь, в индийском Кадиане, прислуживал гостям, растолковал мне, что меня зовут в гости, но куда и к кому — я так и не понял, поэтому, ничтоже сумняшеся, сел в джип в стоптанных домашних тапочках, а потом не знал, куда девать ноги. Но что было, то было. Подъехав к уже упомянутым железным воротам на окраине Кадиана, я увидел за ними просторный двухэтажный дом, окруженный лужайками с высокими кокосовыми пальмами и цветущими белыми и багряными олеандрами. Сам хозяин и его младший брат встретили меня в элегантных английских темно-синих костюмах и ритуальных сикхских чалмах переливающегося благородно-алого цвета. Последовала неторопливая беседа о положении в бывшем — тогда уже бывшем — Советском Союзе и о прочих мировых новостях; был широкий, как городская площадь, стол темного дерева, на котором то и дело сменялись неведомые мне кушанья (самым вкусным оказался пресноводный карп), был там также горячий, пряный и дымящийся салат, потом мясо и птица в соусе керри, и чапати — индийские лепешки — с пилу, с жару; бананы, только что оторванные от гроздей, и огромные мандарины, душистые, с легко отделяющейся кожурой.

Служанка приносила блюдо за блюдом из кухни, спрятанной где-то в недрах дома. Младший брат хозяина так и не сел за стол, стараясь угодить гостям. Он же предлагал после ужина чай или кофе, на выбор, и подносил каждому серебряное блюдо с десятью сортами орехов. И при этом на равных участвовал в беседе, в течение которой никто из гостей и хозяев ни разу так и не упомянул о наступавшем Новом годе: не те обычаи, и здесь это вовсе не праздник.

В гостях между тем были английский писатель и историк Иен Адамсон, член британского парламента от лейбористской партии Том Кокс, несколько людей из высших кругов Индии и Пакистана и я, твой брат, первый от сотворения мира гость из российских пределов.

За десять минут до полуночи мы распрощались с хозяевами и отправились обратно в гостевой дом, снова в сопровождении бородатых, зловещего вида сикхов с автоматами и винтовками — охрана предоставлялась не только из почтения к гостям. Отец этих двух братьев, умеренный сикхский политик и министр пенджабского правительства, был убит террористами четыре года назад, но с тех пор напряженность в штате ничуть не ослабла, да и положение братьев делает их весьма притягательной мишенью. Потому что убивают здесь, в Пенджабе, уже не со зла и почти не из мести, а только для того, чтобы привлечь внимание правительства Индии.

Через день, второго января, газета «Хиндустан таймс» назвала число жертв терроризма в этих краях за прошедший год: 4768 — тринадцать убийств в день. Второго же января совсем неподалеку от Кадиана, в поезде, шедшем от станции Лудианы в Амритсар, террористы расстреляли из автоматов всех пассажиров, не разбирая, кто перед ними и какого вероисповедания. Я в жизни не читал ничего страшнее ежедневных индийских газет, даже российским еще, к счастью, далеко до них. Нет мира в Индии. Во время нашей предновогодней беседы один из гостей заметил, что Индии как целостному государству, если не выправится ее экономическое положение, грозит судьба СССР: всякому штату кажется, что он бесплатно кормит все другие. Да что газеты! Я и сам по приезде в Индию почти тотчас оказался свидетелем события, от которого и сейчас мороз подирает по коже. Но об этом — в своем месте.

Удивительно, что при повсеместной гражданской бойне Кадиан и его окрестности считаются самым мирным местом в индийском Пенджабе; люди хотят селиться здесь, и земля дорожает. Дело уже складывается так,

что сикхские лидеры склонны объявить Кадиян, колыбель Ахмадийского Движения в Исламе, вторым священным местом Пенджаба после Амритсара. Инша Алла.

Так я и встретил Новый год — в движущемся джипе посреди пенджабской ночи. Ночной Кадиян словно вымер: не светило ни одно окно. Это тем более впечатляло, что, как я уже говорил тебе, днем улочки были полны жизни и разногласия, но несуетного шума: шутка ли, тридцать две тысячи мусульман-ахмади съехались сюда со всего, без преувеличения, света и тем самым умножили население Кадияна более чем вдвое. И за все две недели столпотворения не произошло в Кадияне никаких эксцессов, словно Небесное Благословение прикрыло его от людских безумств.

Странна была эта ночная, холодная и звездная, новогодняя тишина. Светили нам только звезды, и лишь на самом краю широкого поля, на котором за полотняным ограждением были рядами расставлены стулья и сооружен крытый помост для выступлений, таинственно, сквозь разноцветные витражные окна, сиял огнями двухэтажный колониальный дом, который я с самого начала, почему-то вспомнив Эдгара По, прозвал для себя Домом Эшеров.

Странна была эта тишина. Всего три дня назад, во время Джелсы, как называют члены Ахмадийского Движения свои ежегодные съезды-собрания, с раннего утра до поздней ночи были настежь открыты все лавки, кофейни и чайханы.

Купцы и купчата зазывали в свои маленькие, без фронтальных стен и потому похожие на пещеры лавки, предлагая задешево кашмирские и индийские шали, узорные, красные, зеленые, с золотой нитью, всех мерцающих оттенков и расцветок платки, совали под нос шерстяные и хлопковые ткани, сведшие бы с ума наших женщин добротностью, красотой, а главное, выбором; обувь всякая, в традиционных золотых и серебряных узорах, разноцветно поблескивала; мохеровые свитера шли, по западным-то ценам, почти даром.

И кричали все — и продавцы фруктовых соков, выжимавшие нектар из апельсинов и ананасов посредством огромной, похожей на мясорубку давилки тут же, на твоих глазах, и чистильщики обуви, и торговцы сладостями, и продавцы вразнос; и только маленькие, изящные, похожие на утонченные статуэтки горные шерпы сидели вдоль базарной улицы без неприличного шума, с достоинством предлагая свой товар — мумие с вершин Кашмирских гор.

Каменные пещерки торговцев бижутерией и златокузнецов были переполнены: женщины покупали привлекательную всячину; лавки серебряных и золотых дел мастеров попадались по всему закрученному в спираль лабиринту бесконечного базара...

Праздничное возбуждение царило повсюду — независимо от вероисповедания, и каждый ощущал даже в сутолоке базара горную духовность праздника мусульман-ахмади, возвратившегося сюда, в родной ему Кадиян, и светились улыбками лица местных сикхов и индусов, и, несмотря на то что праздник был краток, а гонениям не предвиделось конца, свет струился от лиц ахмадийских мусульман.

Итак, брат, каждый день я выходил заутро на зов азана² и попадал в немногословную толпу людей, поспешающих в Благословенную Мечеть, построенную в начале века самим Обетованным Мессией и Махди — Хазратом Мирзой Гуламом Ахмадом. Все это были, в основном, смугло-коричневые, темноглазые и темноволосые, красивые и доброжелательные, но странные для европейского взгляда люди, с головой закутанные в шали-плащи. Это смешновато, но что делать, если в большинстве своем все эти люди — жители жарких краев, не понимающие и не ведающие эстетики русской, татарской или норвежской зимы. Им просто холодно, и нет у них никакой теплой одежды.

² Азан — призыв на молитву.

2

СПРОСИ ЕГО САМ

В нечаянно наступившем январе Кадиян опять стал впадать в свое вечно сонное состояние: ко второму января большинство гостей уже разъехались по домам, на все континенты Земли. Проезжая мимо моего тоже опустевшего гостевого дома, тархтели разузоренные мишурой и цветными кистями грузовики, похожие на слонов какого-нибудь магараджи в парадных чепраках; всхрапывали выносливые местные лошадки, ослики, мулы; давили на педали велосипедных экипажей рикши, и была теснота — необидная давка, отчаянное гудение клаксонов и резиновых груш. Ничего не изменилось в Индии с тех пор, когда дороги были караванными: тот же гвалт, та же толчея и всеобщая спешка и отсутствие каких-либо правил уличного движения. Средства передвижения прогрессировали только внешне, качество же не претерпело никаких изменений с верблюдо-пеших времен: все гудит, норовит проскочить вперед, теснит других, вопит и приходит в отчаянье, увозя людей из Кадияна в Амритсар, где ждут их поезда в Лахор, Исламабад, Бомбей, Мадрас, Калькутту и в делийский международный аэропорт Индиры Ганди.

Торговцы и купцы Кадияна, а также все прочие, сбежавшиеся и съехавшиеся на ахмадийский праздник со всего Пенджаба и Кашмира, работали за три дня больше, чем за иной год, да и бесконечные индийские нищие, мастера вытягивать из вас душу приставучими, почти бесцветными, но тонко-жалостливыми голосами, не остались внакладе. Словом, кадиянская жизнь входила в русло, как река, встревоженная внезапным половодьем. Я оставался в Кадияне почти единственным из европейских гостей, но тоже ненадолго: мне предстояло хождение в Индию, и я не спешил. К тому же мне еще многое надо было объяснить себе, брат.

...Кажется, это было в Паланге. Ты, может, и не помнишь этого по тогдашней малости своей. А я вот помню, помню, что в очередной раз обидел тебя, и мы насмерть поссорились из-за игрушечных пистолетов. Мы посмотрели тогда «Великолепную семерку» и были, понятное дело, заморожены. Я взял на прогулку оба пистолетика, но выяснилось, что ты не хочешь брать свой, а я не пожелал отнести его назад, в дом, словом, детский черный и блестящий тот пистолетик так и остался на песчаном литовском пригорке под телеграфным столбом и, конечно, пропал. Пропал для тебя, потому что в моей-то памяти он остался навсегда. Я и сейчас помню этот пригорок с деловыми муравьями и красно-черными жуками-пожарниками, помню свое ощущение, что поступаю — скверно, демонстративно оставляя пистолетик на случайном том бугорке. Много было потом в жизни подобных ситуаций: знаешь, что поступаешь плохо, но все равно делаешь назло — кому?

Тогда из-за случившейся ссоры нас разлучили, я пошел с отцом. Из интереса мы зашли с ним в церковь, возле которой было много народа; теперь я понимаю, что это был католический храм, — сумрак и золотистые расходящиеся лучи солнца над алтарем, мраморные полы и надгробия, гербы и памятные доски с надписями о пожертвованиях, венки из искусственных цветов и деревянные фигуры святых на высоких постаментах — вся роскошь барокко. Станный дымный запах — ладан. И было там огромное, как мне показалось, распятие — отлакированное временем, восковой бледности, и яркая алая кровь сочилась из свежей раны Иисуса. Атмосфера была непривычная и несколько пугающая, и я, будущий пионер, усвоивший уже некоторые школьные уроки, отпустил какую-то глупую шутку. Но отец — и я навсегда благодарен ему — остановил мое наивное кощунство бережным увещанием. «Нельзя смеяться над этим человеком, — сказал он странным голосом, — он ведь много мучился и страдал».

«Если не будете, как дети...» Эту истину Христианства раскрыл в своем ответе на письма членов Ахмадийской Мусульманской Общины ее гла-

ва Хазрат Мирза Тахир Ахмад. Дети, сказал он, еще не понимают, что для них хорошо и что плохо. Поэтому плачут и вопят, требуя того, что, может быть, вредно, и отказываясь от того, что для них благотворно. Их нельзя убедить логикой, ребенок ведь только делает вид, что понимает логические наставления. Его убеждает любовь взрослого, который вызывает доверие. И вера во взрослого.

Давай же станем, как дети.

Сейчас, когда я заново обдумываю мои и наши, общие, воспоминания, внезапно, как осколки разбитого некогда зеркала, случайно найденные солнечным лучом, начинают сиять, освещая мою нынешнюю реальность, пронзительные и краткие кусочки прожитой жизни.

Вот один из таких осколков: я лежу с высокой температурой на даче, которую мы два лета подряд снимаем на казанской пригородной станции Обсерватория. Мне шесть лет. У меня бред или полубред: все время вижу, что стою возле темного лесного озерца с удочкой и одного за другим вытаскиваю маленьких пятнистых линьков. Это на самом деле не полный бред, а воспоминание: именно у такого озерца в сосновом бору, неподалеку от деревни, я и простудился. Это видение просто преследует меня в моем жару. Едва закрою глаза — обступают высокие красные сосны, таинственно отсвечивает багрянцем заката озерцо, а я вытаскиваю, вытаскиваю этих линьков, и странный, словно на теплой хвое настоящий и помутняющий разум запах висит в духоте. Ни ветерка, отливающая красным темная зеркальная гладь озерца, темные же отражения сосен.

С трудом открываю глаза: тишина. Деревенская изба: свет исходит от окна, за которым — яблоневый сад, покато переходящий в огород, картофельное поле и, наконец, торфяное, в кочках и лужицах, поросшее низким ивняком болотце, где иногда клюют крошечные золотые и серебряные карасики, где живут усатые и полосатые вьюны, а на мелководье, на крупнозернистом его песке, греются на солнце тучи головастиков. И опять душный запах болиголова и нагретой солнцем торфяной воды достигает меня. Я невольно перевожу взгляд и вижу, что рядом, возле моей постели, молится дэуэни, наша с тобой бабушка. Она молится всерьез и истово, хотя и шепотом. Кладет поклоны. Просит о чем-то. Мне непонятно — зачем? Я закрываю глаза и проваливаюсь в свой жар. Бабушка — молится.

Потом, через годы, я узнал: мало того что я, оказывается, был действительно серьезно болен, в то лето наши родители — да хранит их Тот, Кто сохранил, — попали в автокатастрофу. На наш маленький синий мотоцикл наехал огромный «МАЗ». Отец чудом усидел в седле, хотя и страшно ободрал ногу. Маму же ударом выбросило на асфальт, и она сильно ударилась затылком. Как раз в тот день, когда я бредил на даче, было еще не ясно, выживет ли она вообще. Все оставшееся лето мама пробыла в больнице, а нам говорили, что она куда-то уехала. В то лето отец поседел. В двадцать восемь лет. И не было ни у кого никакой надежды, кроме как на бабушкиного Аллаха.

Многое минуло с тех пор, изменилась жизнь, изменился и я. Стал лучше или хуже? Просто стал другим. Ты ведь помнишь, было время, когда ты совсем потерял меня — утратил во всех смыслах: родственном, дружеском, духовном, — впрочем, я и сам тогда потерял лицо. Помню одно: в искушениях того, что казалось мне поэтической и необыкновенной жизнью, я всеми силами старался преодолеть в себе провинциальную застенчивость. В какой только житейской грязи мне не пришлось тогда вывалиться! Но на какой-то последней грани что-то упасло меня. Так и остался я, по буквальному смыслу моего татарского имени, «вечным юношей», а вернее, вечным недорослем, что, опять-таки, не достижение в глазах смекалистых людей.

Сколько же горя успел я принести своим близким! Я заглянул в такие омерзительные бездны своей души, что вспомнить об этом не могу без содрогания и ужаса. Но я вынужден помнить и знать, что они, эти бездны, были и есть во мне и всегда наготове: ждут, что я опять в отчаянии рухну в них...

3

МОЛИСЬ УМИРАЯ

В последние годы, до переезда в Лондон, я, как ты знаешь, жил в Южной Англии. Я еще расскажу, как попал туда и что там делал, а сейчас только скажу, что в Южной Англии тоже бывает осень. Там, по крайней мере в той округе, где мне с женой довелось жить, совсем мало берез, но недалеко от нашей ахмадийской мечети, вдоль аллеи, ведущей от затерянного в лесу шоссе, соединявшего нас с миром, все же стояли в отдалении одна от другой четыре березы, и всякий осенний день я видел, как неспешно загорается желтым их треугольно-ромбическая листва. Трава там ярко-зеленая, сочная и в октябре, и лежали на ней эти листья в угасающей их прелести и домашней, какой-то казанской, знакомости; ветер дул. Под этими четырьмя березами я всякое второе утро собирал грибы; никто, кроме меня, ничего не понимал в подберезовиках и не отличил бы их от роскошных, алых или багровых, с белыми крапинками мухоморов. Только этот кусочек Англии — два-три крепеньких подберезовика на травяном холмике, кружащий на ветру желтый листик да шелушащаяся береста — и напоминали мне что-то, от чего сладко и нестерпимо тоскливо становилось на душе, как будто слышал я зов и понимал, что если и отзовусь, опоздаю — уже опоздал.

Цвела, краснела, поспевала и отходила ежевика. Ежевичные кусты в человеческий рост, сплошную усыпанные красными, сизыми и черными ягодами, образовывали живую изгородь вокруг частных владений, за которую можно было только заглянуть и увидеть, как на пустых и широких лесных лужайках играют белки и пасутся одинокие кони. Иногда выскакивал из-под куста крошечный крольчонок, обалдело выглядывал на нас и снова упорскивал под колючую опеку кустарника. Белки, серые, с рыжеватыми пушистыми хвостами, смотрели на нас с деревьев. Конь вытягивал белую шею над изгородью и брал губами пучок травы.

И вкус у ежевики был чужой.

...Лет двадцать тому назад шел я однажды по берегу Ика, неширокой татарской реки, неподалеку от впадения ее в Каму. Было солнечно, я, совсем молодой, шел пешком из Мензелинска — искал своих друзей по стройотряду. Было августовское воскресенье: День строителя. Я шел не торопясь, зная, что пирушка по случаю праздника начнется только к вечеру; река сверкала. По обрывистому берегу отцветал шиповник, уже позолотела августовская трава; шумели на ветру дубы и березы. Чтобы послушать этот шум в речной тишине, я присел, а потом и прилег в гнущуюся под ветром высокую траву, стал смотреть в налившееся глубокой синевой небо, а потом нечаянно перевел взгляд — и увидел ежевику. Крупные, очень крупные, сокровенно притаившиеся, незаметные с тропинки ягоды. Я подполз, развел руками траву, укололся о нежно-зеленые побеги и стал обрывать ежевичины. Не так уж много их оказалось, но тихий восторг переполнял меня, и одна странная солнечная мысль явилась и все повторялась прозрачно и светло: «Спасибо, Господи! Ведь это Ты — для меня». И это была правда: ягоды создались для меня, потому что так было надо — и мне, и потаенному, исполншему свое назначение ежевичному кусту. Не нарочно же я это запомнил и помню так много лет...

Бывало и другое. Я, уже постарше и посквернее, сходил с ума в зимней Пицунде в совершенном одиночестве. Тогда еще в Абхазии не стреляли. Я шел ночью по шоссе из Гагры, мимо черепашьего озера, мимо шуршащих под дождем эвкалиптов, и справа от меня, за реликтовой рошей, широко и сумрачно разливалось и шелестело море. И все казалось невыносимым: и субтропическая экзотика, где я замыслил затаиться на зиму от своей угрюмой московской жизни, и пустынное море, и пицундские — ежевичные ли, бамбуковые, сосновые ли — дебри, которые уже не мнились мне заграничными джунглями, каковых, я был уверен, мне никогда не увидеть наяву.

Я был смертельно виноват перед всеми — там, в средней полосе, и мне хотелось только одного: прекратить быть, потому что быть было очень больно. Дождь падал на Пицунду из черных и пустых небес. Высокий придорожный фонарь заливал рядом стоящий эвкалипт каким-то восковым, гиацинтовым цветом. Я остановился, словно поняв, что ничего больше не будет. Дождь, медленно и наискось, летел в фонарном свете, и я задрал голову, пытаюсь увидеть, где же он начинается; видно было высоко, и ледяные светящиеся капли налетали из нависшей надо мною тьмы и падали мне на лицо и в глаза. Я помню это так осязаемо, так отчетливо! Помню, как взмолился неведомо кому: «Господи, да будет ли еще что-нибудь, кроме этой нарастающей тоски?!»

И все вокруг меня тотчас ответило: будет. Откуда явилась надежда? Неоткуда было ей прийти. Тьма была вокруг. Но я внезапно уверился: будет. И после этого словно бы стал выкарабкиваться — вверх, из мрачного и сырого ущелья.

Еще долго — долгие годы — пришлось мне подниматься только для того, чтобы вернуться туда, откуда я сорвался в юности, откуда рухнул, скатился кубарем по собственной вине. Я не стал выше, чем был, но вынесло меня вверх сострадательной силой, явившейся на вопль отчаянья. Это странная история, брат. Это долгая книга. Сейчас, сидя у компьютера и глядя, как на экране возникает она в словах и фразах, я осознаю, что пишу ее всю жизнь, хоть и не всегда записываю. Где только не носило меня! Поэтому не удивляйся и ты, если и тебя занесет она в неведомые, хоть и земные, места.

В Кадияне, стоя на вершине Белого Минарета и глядя на далекие отроги Гималаев, вспоминал я, конечно, и Горный Алтай.

Впервые приехав на Алтай почти случайно, я повалился ездить туда зимой, осенью, весной, летом — лишь бы подальше от необжитой Москвы. И вот однажды мне с моими алтайскими друзьями целых три дня пришлось просидеть в непроходимом тумане на высоте двух километров над уровнем Телецкого озера — на альпийских лугах Горного Алтая. Беспросветный туман запер нас наверху, и выбраться было невозможно: в двух шагах ничего не видеть. Внезапно выплывали из тумана то приземистые, мощные кедры, то мокрые валуны каменной реки — курумника; буйно цвели и обвивались вокруг камней дремучие травы. Костер горел. Еды, кроме десятка сухарей, не было, поскольку туман настиг нас совсем неожиданно. Мы только и хотели, что набрать по ручьям золотого корня и на следующее же утро спуститься вниз по ущелью, по следу сорвавшейся некогда лавины, к спрятанной в кустах лодке со всеми припасами.

После тяжеленного и опасного подъема как хорошо было там, наверху! И душа была чуткой, отзывавшейся на все вокруг. Мы заваривали чай из двадцати алтайских трав и горного шиповника, тем и перебивались. И не было туману конца. На третий день непролазный туман все так же окружал нас. Мы собирались и этот день провести в разговорах и раздумьях, но вдруг что-то переменялось. Словно неслышно сказал кто-то: собирайтесь и идите. Но куда? В непроходимое это туманное молоко? Где, того и гляди, поскользнешься на одном из обросших мхом и погружившихся в дремучее разнотравье камней, по которым и при ясном-то свете шагать опасно: настоящая непридуманная дичь была вокруг, маральи, медвежьи места. Но тут словно повторил кто-то: идите.

И мы пошли. И туман расступался перед нами, указывая путь — про меж огромных валунов, в обход снежных настилов и потемневших проталин, по звериным тропкам, среди колючей вязи карликовых березок и кедрового стланика. Мы шли уверенно и быстро, как за проводником, и довольно скоро вышли к нашему спуску. Но это и было самое опасное: двухкилометровый почти отвес обрывался к Телецкому озеру, и уцепиться было не за что, разве что за низкие кусты арчи, усыпанные звездочками июньского цветенья. И пока мы шли по горной тундре вдоль кромки пла-

то, было видно, что все остальные возможные спуски наполнены туманом доверху.

Наш же спуск странным, невероятным образом оказался почти чистым от тумана! Туман, клубящийся внизу, расходился, рассеивался перед нами, оставляя простор для маневра, и мы стали спускаться, словно подгоняемые тем же голосом: не задерживайтесь, не сомневайтесь, не отдыхайте, времени мало, идите.

Дресва плыла под ногами, скатывались вниз небольшие камни. Спускаясь, я посмотрел вверх: туман напознал и сверху бело-серыми клубами, застилая, напрочь скрывая спуск. И так — напозная сверху и расстилаясь снизу, но оставляя прогалину высотой метров в сорок — туман сопровождал нас до самой подошвы плато, и когда мы вышли на берег закипающего штормом Телецкого озера и оглянулись назад, белая тьма стояла стеной до самых небес, словно и не расступалась никогда и ни перед кем. После этого туман висел еще четыре дня — вглухую.

Мне трудно объяснить мое тогдашнее состояние. Но все то время, что я провел наверху, я знал, что между мной и Им, неведомым мне Бытием, в пробегавшие те минуты, часы, дни существовала связь, которую нельзя изъяснить словами и трудно передать другому. Сама Чистота пронизывала меня, вымывая тьму из души и не оставляя в ней страха. Это не было — пойми меня правильно — доверием к собственным ощущениям: ох, как часто и больно они меня обманывали и продолжают обманывать! Это было доверие к тому, что не может обмануть. Это было абсолютное доверие. Тогда-то я и понял, что у-в-е-р-у-ю. Но еще не знал — во что. В осмысленность Природы? Но ведь она заставляла быть человеком только тогда, когда ты находился среди лесов и гор. В Москве эта вера покидала меня довольно быстро, и опять, чтобы окончательно не превратиться в общественное животное, искал я повода и случая уехать на Алтай.

Той же осенью, в следующий приезд, мне снова довелось проезжать на моторке по Телецкому озеру мимо того места, где мы в июне спускались с плато. День был облачный; по скалистым, неприступным берегам, над иступленной синевой озера желтели лиственничные горные леса. Очередной телецкий шторм, затеянный было «низовкой» — коварным ветром со стороны заалтайской Гобийской пустыни, откипел, и вершина, на которой мы были летом, на фоне сумрачных облаков видна была отчетливо и ясно.

И я вдруг нестерпимо захотел испытать свою уверенность в том, во что верил и что чувствовал тогда, в тумане. Я сказал про себя: «Послушай, если все, что я чувствовал, — истинно, дай мне знак. Пожалуйста, дай мне знак». И тотчас из застланного облаками неба, оттуда, где должно было находиться солнце, вдруг изошел долгий и протяженный, словно бы прожекторный, луч и — осветил, указал ту точку на вершине, где мы стояли летом, собираясь с духом, чтобы спуститься вниз. Это был единственный луч во всем огромном небе над огромным озером, и продержался он необыкновенно долго. Я, обернувшись, еще несколько минут потрясенно смотрел на него с моторки.

И с тех пор, когда я бывал там, выбираясь из каменноугольной Москвы, чтобы надышаться впрок светом и ощутить свою собственную еще живую душу, мне становилось физически больно от любых мелких, суетных, праздных и малодостойных мыслей, если они вдруг приходили в голову. Даже о деньгах для продолжения жизни я не мог думать на Телецком озере — от этого начинала размываться голова.

Не пугайся, брат. Я не хочу тебя «охмурить». Я хочу, чтобы мы были счастливы. Счастье, как я понимаю его теперь, — это ровный покой, полный силы и уверенности, полный желаний жить и работать во имя пусть и очень высокой, но достижимой цели. Однако покоен ли я сам? Не всегда, даже и сегодня. Эта опрокинувшаяся вверх дном повседневность, эта неуверенность в мало-мальски безопасном завтра, эта всемирная стрельба по всем углам, грабежи, разбой и сорвавшееся с цепи параноидальное насилие не дают и мне покоя, догоняют, настигают в нескончаемых странствиях

последних лет. Светопреставление на родине расплескивает и сейчас мою, казалось бы, успокоенную душу. Пронзительной звериной тоской накатывает оно на меня в волнах осеннего английского или венгерского, австралийского, индийского ли ветра... и зовет, зовет неизбывная эта тоска в свои пределы, в бездну свою, откуда мне уже не будет возврата.

Я не о возврате на родину говорю. Я говорю о бездне безвыходных сомнений...

А тогда, на Горном Алтае, мне казалось, что я уже служу чему-то Вышнему и что ясность не уйдет от меня. Но ведь ушла! Как горный камень из-под ног...

В Венгрии, куда я приехал в сентябре 1986 года в почти годичную командировку, я опять начал просыпаться в слезах. Тьма опять забурлила во мне, опять стала застилать глаза черным туманом, — я снова остался в этом мире смертельно одинок и бесприютен. Да мне и не хотелось уже никакого приюта, мне хотелось спрятаться в небытие, в пустоту, где нет спроса ни за что... Как-то поутру я открыл глаза и встал не тотчас, не поняв еще, что изменилось. Как обычно, брезжил рассвет и венгерские птицы пробовали голос на венгерских деревьях под окном. Да! Так и в моем казанском детстве озабоченно кричало воронье, носясь по ветру и разлетаясь, как черный пух в осеннем небе. Оголяясь от остатков желтой листвы кряжистый тополь, острым ледком затягивались пузырчатые лужи, прозрачный холод наполнял мир, и за воротами, на улице так болезненно сжималось в комочек в трехлетней моей душе предчувствие брошенности и сиротства в этом пустынном, чужом и чуждом мне пространстве. И надо всем, и во всем — бабушкина, татарская, первая и последняя моя речь, ползабывтая, стесняющаяся себя, а вне ее — черная пропасть мокрой, холодной ночи, и жуткий перестук капель по оконным стеклам, и одинокий собачий вой.

Что могло спасти меня от меня самого? Стихи? Поэзия? А на каком языке писать? Для кого? Кому я нужен, когда не нужен себе? В таком беспросветном состоянии творить — заказано, и любая попытка только усиливает сомнения и боль. Куда было кинуться? К людям, к близким, к друзьям? Но такую неискупимую вину я чувствовал перед всеми! Да и непристойным казалось мне взваливать весь этот ужас на кого-то другого. В венгерском своем отчаянии пробовал я и это — не получилось. Страшнее всего было засыпать. Воспоминания входили одно в другое и были подобны сну во сне. Я вспоминал, как уснул однажды в подмосковном Переделкине, в Доме творчества писателей, — и в этот сон ко мне пришла бабушка. Это был даже не сон. Потом я узнал, что в исламской философии такое состояние определяется как барзах — состояние между сном и реальностью.

Бабушка была такая живая, теплая и домашняя, что я заплакал, как в детстве, оттого, что понял: сейчас она уйдет и я снова потеряю ее. Горло перехватило, как сейчас, когда я пишу эти строки. Я обнял ее и почувствовал, что она реальна. Звучал ее успокаивающий, жалеющий меня голос. Она сказала: «Ну, пойдем?» — «Куда же?» — отозвался я сквозь всхлип. «Разве ты не хочешь повидать дедушку?» — отвечала она. И мы пошли в ночной синеве. Вскоре возникли странные, мусульманских округлых форм, здания, словно бы вылепленные из золотой глины, и тихое сияние стояло над ними в зеленоватом небе, полном звезд.

Мне стало казаться, что я узнаю окрестности, хотя это был явно мусульманский город — какие-то золотые и серебряные минареты вставали вдали, людей не было видно, и все пронизывалось, проникалось лучистым лунным свечением; прозрачные волны чистого света омывали опрятные улицы, и все выглядело так, как в воображении представляю я сейчас Мекку в священную Ночь Лайлат-Уль-Кадр, Ночь Предопределения.

— Что это за город? — только и спросил я.

— Казань, — ответила бабушка.

И я проснулся — в слезах: объятия мои были пусты.

...Дни пропадали в дунайском тумане, один за другим уходили, упали, как последние капли воды в песок пустыни. Вот тогда, неизвестно уж отчего, оттого, наверное, что я вспомнил бабушку, любившую нас только потому, что мы ели на свете, стал я произносить слова, которым она научила нас когда-то: «Агузе билляхи мин ас-шайтан ирражим, бисмилля ир-Рахман ир-Рахим...» «Я ищу прибежища у Аллаха от козней сатаны отверженного», — говорил я, не помня больше ничего, ничего больше не понимая, но неосознанно, еще суеверно надеясь, что слова эти помогут мне пережить очередную тяжкую ночь. С этого, наверное, все и началось.

Началось, да не кончилось. И что, собственно говоря, началось? Мое возвращение к Исламу? Но я еще не понимал, что назад, в традиционный и суеверный Ислам, пути уже нет. У меня еще не было случая увидеть или услышать в Исламе хоть что-то, что привлекло бы меня. Но произошло и это.

Случилось это в Турции, через год после венгерских терзаний, в первой моей поездке в настоящую границу. На второй же день по приезде в Анкару я проснулся затемно в своем гостиничном номере; за окнами шел дождь. Я еще не отошел от сновидения, но когда понял, где нахожусь, испытал странное чувство счастья, слитого с печалью свершенности. Я достиг какой-то цели — вот хотя бы выехал в Турцию, — а в итоге был и счастлив и грустен.

«После любви всякий зверь печален», — говаривал мой алтайский друг Витя Кулешов, с которым мы сидели тогда в альпийском тумане. Цель исчерпала себя, но еще не окончательно: предстояла поездка автобусом в Стамбул, и восторг предвкушения все еще звенел во мне под шум осеннего, но теплого турецкого дождя. И тут я впервые в жизни услышал азан — зов на молитву от ближней мечети — и оказался готов к нему. Голова стала ясна, и душа пробудилась и переполнилась. Предутренние сумерки, развиднявшиеся в новый день, сразу обрели какой-то торжественно-высокий смысл.

А азан все продолжался... Я тогда еще не понимал слов этого призыва на Молитву, этого зова к Благоденствию, но, впервые услышав его наяву, уже мог с нараставшей в душе уверенностью подтвердить вечные слова азана: «Ас-салату хайрум мин ан-наум» (Молитва лучше, чем сон).

Единожды испытав этот предрассветный чистый, целительный, по-настоящему духовный восторг бытия, я в предчувствии понял, что здесь и лежит мой путь. В те дни я, конечно же, думал, что возвращаюсь в отеческий, татарский Ислам, не учитывая той простой истины, что ни в одну реку нельзя войти дважды...

4

МОЛИТВА ЛУЧШЕ, ЧЕМ СОН

Мы встретились с профессором астрономии Салехом Мухаммедом Алладином в Мадрасе и в течение двух дней соседствовали в мезонине, прилежащем к дому мисс доктор Асфы Захры — немолодой, но очень благородной, красивой и умной женщины, давно лишившейся всех мирских иллюзий. В этом мезонине помещалась и ее врачебная приемная, но она уступила и ее, поскольку многочисленные гости уже заполнили до отказа ее просторный дом в глубине сада.

Помимо меня и профессора Алладина в дом мисс Асфы съехалась всевозможная родня со всех концов света — из Австралии, Африки, Пакистана, Европы. Но было тихо.

Днем во дворе и на открытой, под навесом, веранде под присмотром темнокожей няни играли или же спали на прохладном полу на ковровых подстилках крошечные разноцветные дети, потому что это были и ясли, и детский сад, и, так сказать, группа продленного дня. Дети возились и играли не назойливо; у няни в волосы цвета воронова крыла каждый день

был вплетен свежий и влажный тропический цветок — снежно-белый или алый.

По ночам же по двору и саду бегали два черных пса — их спускали с цепи. Эти собаки повиновались лишь самой мисс Асфе, и потому ночных прогулок по саду не предполагалось.

После наступления густой индийской темноты, не отваживаясь уже выходить в сад, мы с профессором Алладином проводили время в интересных разговорах. Горела на столе лампа, шумели и производили настоящий ветер два широколопастных вентилятора, без которых жизнь здесь была бы совсем уж невыносимой из-за жары и москитов. Благодаря всепроникающему звону этих мельчайших тварей нам приходилось спать под марлевыми пологами, со всех сторон тщательно подоткнутыми под матрас, хотя была еще зима и время москитов не наступило.

Над крышей мезонина шелестели на ночном сквозняке кокосовые пальмы; иногда шуршали, осыпаясь с оплетающих стены плетей бугенвиллеи, багряные, мгновенно увядающие венчики цветов, и росла рядом с входом папайя, вызвавшая мой интерес тем, что ее плоды, как и плоды многих других тропических деревьев, вырастают прямо из ствола, а не свисают, как мы привыкли, с ветвей. И это мне, заезжему и готовому удивляться человеку, представлялось знаком, свидетельствующим о том, что наши средневропейские понятия о мире, как бы выстраданы и выношены они ни были, узки и односторонни. Ведь стоит только изменить угол зрения или климатический пояс — и вот уже плоды папайи и диковинного, неизвестного у нас джекфрута наливаются и зреют прямо на стволах, а у баньяна, напротив, даже корни свисают с ветвей, словно опускаясь на землю с небес. Похожие на длинные седые космы, они тянутся от распластанных ветвей к почве, а достигнув ее, врастают в недра, матеруют и превращаются в очередной ствол, и одинокий баньян постепенно становится деревом-рощей, деревом со многими отдельно стоящими стволами, что ведь тоже не слишком привычно для нашей средней полосы и ее обычных представлений.

Хотя, брат, без них, этих и для меня когда-то неоспоримых представлений, я не понял бы и новых знаков, обозначенных неожиданными парниковыми тропиками. Не случайно же, обливаясь тропическим потом, я вспоминал, как пахнет в полдень нагретая солнцем крапива возле какой-нибудь деревенской баньки, как благоухает ночной татарский сад-огород, когда, идя из баньки, проходишь по нему и в сумеречной прохладе голову кружит влажный запах фиолетовых флоксов и душистого табака.

И чудесные крошечные индийские детишки, глядя на привычное цветение бугенвиллеи, папайи и прочих неведомых нам растений, не знают, как выглядит майская елочка на песчаном бугорке у Лебяжьего озера близ Казани, когда обновляются ее ветки и выпускают на кончиках свежие, салатно-зеленые побеги.

Счастье мое, Единство! Счастье мое, сопрягающее и воспоминания, и реальность многих человеческих миров!..

В золотом свете лампы, под шум вентиляторов и всепроникающий писк москитов, мы с профессором Алладином успели переговорить о многом: о гипотезе расширяющейся Вселенной и Большом Взрыве и о том, что если бы Вселенная существовала всегда, то в ней давно бы уже не осталось радиоактивных элементов, как бы ни был велик и длителен период их полураспада.

Да что, брат, пересказывать наши полуночные разговоры? Каждый человек, которому не чуждо размышление о начале мироздания, вполне может подумать об этом самостоятельно: фактов более чем достаточно. Но после того, как профессор Алладин подарил мне свою книгу и я прочел ее, мне захотелось поделиться с тобой, ученым человеком, несколькими высказываниями из нее, а в первую очередь вот этими:

«Того, что атеизм в научных кругах существует, отрицать нельзя. Но всеобщее убеждение в том, что атеизм в среде ученых встречается чаще,

чем вне этой среды, ни на чем не основано и, по сути, противоречит высказываниям, слышанным мною лично от многих ученых» (д-р Джордж Эрл Дэвис, физик, Миннесотский университет, США, из книги «Очевидность Бога в расширяющейся Вселенной», США, 1959; Индия, 1968).

«Я совершенно вне себя от изумления и бесконечно благодарен Богу за то, что Ему угодно было позволить мне открыть столь великие чудеса» (Галилео Галилей, из книги Джеймса Джинса «Развитие физической науки», Кембридж, 1951).

«Эта великолепнейшая система Солнца, планет и комет могла возникнуть только по Промыслу и под покровительством Разумного и Всемогущего Бытия» (сэр Исаак Ньютон, из книги Чарльза Уайта «Наша Солнечная система и звездная Вселенная», Лондон, 1923).

Религия и естественные науки ведут совместное сражение в ходе непрестанного и неослабевающего крестового похода против скептицизма, догматизма и суеверия, и военным кличем в этом сражении всегда был и будет клич: «Вперед — к Богу!»

«Наиболее прекрасное и наиболее мистическое ощущение, которое мы вообще способны испытать, есть осознание мистического. Оно является сеятелем всякой истинной науки. Тот, кому это ощущение чуждо, кто не способен больше изумляться и замирать в благоговейном страхе, все равно что мертв. Осознание того, что Незримое нами действительно существует, проявляя себя как Величайшая Мудрость и Самая Лучистая Красота, постигаемые нашими ограниченными возможностями только в самой своей примитивной форме, представляет собою суть истинной религиозности. Моя религия состоит из смиренного восторга перед Беспредельным, превосходящим все и вся Духом, являющим Себя в незначительных частностях, которые только и могут быть постигнуты нашим несовершенным и немощным разумом. Эта глубоко эмоциональная убежденность в присутствии Верховной Рассуждающей Силы, проявляющей Себя в непостижимости Вселенной, и составляет мою идею Бога».

Это написал Альберт Эйнштейн. Вспоминая о нем, его сотрудник и биограф доктор Леопольд Инфельд замечает:

«Когда ему приходила в голову новая идея, он спрашивал себя: мог ли Бог сотворить Вселенную подобным образом? Или: достойна ли Бога эта математическая структура?»

...Горела на столе лампа Алладина, и в темном окне отражался ее свет, и не было видно крупных индийских звезд. Но потом, уже засыпая под марлевым пологом, я как бы видел эти рассыпанные по небосводу звезды и словно бы поднимался к ним разбуженной мыслью. И даже на полпути к этим созвездиям, оглядываясь вниз, я видел не только поблескивающий редкими огнями Мадрас, упрятанный в купы шумящих под ветром пальм, — я видел всю Индию, стиснутую в единую цельность невероятными горными массивами, морями и океаном, я видел все Северное полушарие и на нем — мою страну, настолько просторную, что ее люди редко смотрят вверх, а все больше по сторонам. Планета, маленькая, как жемчужная бусинка, совершала свой круговой полет по разумному расчету небесной механики, и едва я сознавал этот полет, как мое эго, мое истомившееся «я» отпускало меня на волю, и я становился мельчайшей, микроскопической частичкой Единства, связующего и мое ровное дыхание, и порывы океанского ветра, и мгновенные цветки бугенвиллеи, и новорожденные верхушки татарских елочек там, где, быть может, еще помнят обо мне.

И мой пульс отмеривал шестьдесят ударов в минуту, согласуясь с ритмом мироздания. И эти шестьдесят ударов умиротворенного сердца, согласуясь с шестьюдесятью секундами каждой минуты и шестьюдесятью минутами каждого часа, отсчитывали мое земное время, шестьдесят раз по шестьдесят, тихо взывая к Его помощи для продолжения жизни...

Да, я забыл сказать тебе: в Кадииане я купил серебряный перстень с изречением из Корана, которое однажды было явлено Хазрату Мирзе Гуламу

Ахмаду в череде получаемых им откровений. По этой надписи на перстне в любой точке планеты можно узнать мусульманина-ахмади. Это изречение, сияющее на черном фоне, как надежда во тьме, гласит: «Разве не довольно Аллаха для слуги Его?»

Перстень этот и сегодня со мной.

Этот же купленный в Кадииане перстень был на моем пальце, когда я — единственный, надо полагать, человек на весь город — совершал намаз в тесной студенческой келье иезуитского колледжа Артижанелли, и каждые четверть часа звучал за моим окном колокольный перезвон.

Это было в Венеции.

Над просторным плесом канала Джудекка и набережной Цаттере Деи Джезуати, куда выходило мое окно, лампадно светила ущербная луна и не застила мерцания острых звезд. Я завершил молитву, подошел к окну.

В сырых и пронзительных сумерках ревели морские корабли и мелкие суда. Вечером я едва нашел дорогу к мосту Академии, чтобы через Большой канал пройти на площадь Святого Марка.

Морозящий туман растекался по средневековому лабиринту венецианских улочек, задувало с моря. Самая подходящая погода для венецианского карнавала! По площади Святого Марка и возле моста Риальто, по всем муравейным улочкам, внезапным тупичкам, крошечным пятачкам площадей и горбатым каменным мостам зимней Венеции блуждали белые безжизненные маски в черных, фиолетовых или алых плащах и пелеринах и в треуголках того же цвета.

Карнавальные маски и костюмы продавались в сиюминутных шатрах, расставленных повсюду, куда только могло занести ошалевшего туриста. Маски черные, осыпанные золотыми и серебряными блестками; маски красные, с черной вуалью; маски китайские, искусно раскрашенные под цветной фарфор; маски золотые — львиные морды или индийские божеества. Целая индустрия масок, баснословно дорогих, как и все в этом городе.

Сияло, сверкало, светилось, лучилось, дымчато отливало, розовело, голубело и пестрело в витринах и на уличных лотках стекло с острова Мурано: ожерелья, бусы, кулоны, браслеты, замысловатые прозрачные фигурки, люстры в виде огромных и пышных букетов, цветочные оправы венецианских зеркал и зеркалец.

Багрятели, как лангусты на льду в ресторане «Рафаэлло», коралловые ожерелья (по цене, за которую можно было бы скупить все коралловые нити Ганга, и я, грешный, порадовался, что успел-таки купить для жены похожее ожерелье в Бенаресе, где оно обошлось мне дешевле, чем то единственное венецианское яблоко, которым я поужинал в тот день, как Буратино — луковицей).

Ты спросишь: можно ли прокатиться в гондоле? Ответу: можно. Ежели кто неопытный. На венецианских гондолах — шестьдесят долларов в час — катались, по моим наблюдениям, исключительно японцы.

А я целыми днями скитался и наблюдал, оставляя работу на ночь, потому что карнавальная Венеция не место для сна. Погода была лукава: после обложного тумана вдруг во всей славе выходило солнце.

Венецианские палаццо расцветали, и сине-зеленая шелковистая вода каналов колыхала и покачивала их готические отражения. Я, конечно же, разорился на музеях... Провел полдня во Дворце дождей и обратил внимание на сохранившиеся от былых торговых времен куски мусульманских фресок и исламские гобелены в виде трапезий, повешенные музейными служителями, по неграмотности, что ли, вниз головой.

Я забирался на высоченные колокольни — и на площади Святого Марка, и на острове Сан-Джорджио — и поражался тому, как же мала колдовская, дивно прекрасная Венеция, если смотреть на нее сверху...

Венеция испокон веков была торговым городом, а мне нечего было продать и не на что купить, и я был спокоен. Все мое было при мне, и

мертвенные отсветы аркад и слоняющихся по венецианским улочкам масок не смущали меня и не вызывали зависти к людям с тугими кошельками.

И теснота многочисленных улочек, и присыпанные разноцветными конфетти каменные ступени мостов, и сумрачные аркады и ниши, и белые лоджии в прорезных трефовых, клеверных узорах, тупики и тупички, а главное — переходы, проходы сквозь дома и внезапные закоулки, — все это возвращало меня в Кадриан, где на лицах нет масок, в Кадриан, о котором никто на свете пока не слышал. Да и о самой Индии вспоминали в Италии разве что те, кто ради маскарадной хохмы вырядился в экзотические костюмы и маски индийских божеств.

Непредставимо далека отсюда Индия, даже японцам она кажется заолустьем, откуда не может прийти ничего достойного купли-продажи. Чем-то вроде России представлялась она. А разве так же далека и неизвестна была Индия во времена дождей? Куда там! Слишком много пряностей и прочего дивного добра приплывало тогда в Венецию с Востока, чтобы она могла себе позволить ничего не знать об Индии. А теперь... Но что взять с карнавала Последних Времен?

Венеция охмуряла меня проблесками синего неба и цветными отражениями палатцо в каналах, живописью великих мастеров Кватроченто и суетою маскарада, языческой масленицы перед наступлением Великого поста.

Ну что общего у Кадриана с Венецией?

Да все общее из того, что поистине прекрасно! Скучный мир моей души, не споря с разумом, отражал собой незримое для других Единство, и во влажном холоде, на зимнем морском ветру рукам было тепло в дешевых шерстяных перчатках, купленных месяц назад в Амритсаре, и намаз я совершал в своей случайной келье на настоящем мекканском коврике, великодушно подаренном мне перед отъездом из Мадраса мисс доктором Асфой Захрой.

И только кофе, подлинный итальянский капучино, которым я иногда баловал себя на зимней набережной Цаттере под всплески волн и крики адриатических чаек, имел совсем другой вкус, чем в Кадриане и где бы то ни было, но этим тоже был удивителен мир, сведший в моей душе воедино и Тадж-Махал, и внезапные арабские письма на чугунных дверях, отличных великим миланским мастером Филарете для ватиканской базилики Святого Петра, и итальянский абрис казанской башни Сююмбеки, и таинственные извивы и повороты венецианских каналов.

А что было там, за очередным сумрачным поворотом? Я не знал, но знал я, что единственная идея, не могущая ни обмануть, ни предать, ни исчезнуть, подобно цветным отражениям в нагрывшем тумане, навсегда останется со мной. Это была идея, нет, уже не идея, но Истина Родства и Единства всего сущего. Ослепительно ярко и больно пронизывала эта Истина мое сердце на ночной площади Святого Марка, где можно вдруг остановиться под колонной, увенчанной венецейским львом, взглянуть через канал на остров Сан-Джорджио и подсвеченный снизу храм Мария Делла Салюте, глотнуть соленого, звездного, карнавального ветра и задохнуться от благодарности, не умея ни выразить, ни вознести ее помимо молитвы.

А теперь, брат, я хочу рассказать тебе, как я начал молиться. Мои прежние истерические, порою отчаянные призывы к Верховному Бытию никогда не осознавались мной как молитва. Молиться же как положено, то есть совершать мусульманский намаз, мне казалось излишним и претенциозным занятием. Мнилось мне, что я не смогу разговаривать с Ним честно, если при этом буду принимать обрядовые позы и говорить заученные слова из Корана. А еще точнее — мне не хотелось быть как другие. Огромное число мусульман по всему миру молятся каждый день, думал я, а что толку? Единственное, что они приобретают, — это сомнение и

чувство национального превосходства над людьми, подобными мне и тебе, не получившими с детства религиозного воспитания и не приученными ходить в мечеть. Другой мир. Другие люди. А для меня другие люди всегда были испытанием. Сколько я помню себя, мне всегда чудилось, что я отношусь к ним не так заинтересованно и сострадательно, как надо. Я мало понимал других людей. Помимо моих друзей, разумеется, но даже их — понимал ли я, понимаю ли сейчас?

Одиночество, такое страшное для иных, не причиняет мне страданий. Наверное, это плохо, теперь я даже почти убежден, что плохо, но разум, сорокалетний разум уже выработал свою оправдательную философию, а душа — что ж...

Впрочем, иногда донимает и душа: хочется ей и к друзьям, и к родне, и к другим людям. Но тогда я спрашиваю себя — почему? Почему моя душа вдруг начинает звать меня к другим людям? Оттого ли, что ей плохо и одиноко, или оттого, что ей хорошо и она стремится поделиться своим счастьем? Вглядишься же, брат, в то, что мы считаем своей честностью, и в порыве последней откровенности скажем, что чаще всего нашей душе хочется именно укрыться от боли и найти в других сочувствие и сострадание.

Тайна моего собственного нелюбимства заключалась, видимо, в том, что другие люди всегда казались мне лучше, чем я сам. Мне представлялось, что они знают, умеют, понимают, осознают, чувствуют и страдают больше, чем я. Мне же либо не хотелось озаботить их своим неуместным «угрюмством», либо мечталось раствориться в них от восторга. Но это были две крайности, которых я стал сторониться по мере приобретения горького жизненного опыта. Золотой середины я не находил и потому предпочитал одиночество, к которому, как и ты, был расположен с детства.

Но если человека так заботит степень искренности (перед самим собой), с какой же честностью он должен обращаться к Богу, тем более что еще не знает, есть Он или Его нет?

Вспоминается мне одна древняя китайская притча об отшельнике, которому однажды, в особенно лунную ночь, вдруг нестерпимо захотелось повидать своего близкого друга. Настолько истинным было это чувство, что отшельник не раздумывая вышел из своей стоявшей на речном берегу хижины, сел в утлую лодку и поплыл вверх по течению реки, в далеких верховьях которой жил и, подобно ему самому, отшельничал его друг.

Он плыл без остановки всю ночь и весь последующий день, и горячее желание увидеть друга не остывало в нем. Наконец к ночи следующего дня он, совсем измученный, достиг места, к которому так стремился. Хижина друга уже виднелась с реки, в окне горел свет, друг был дома. Отшельник причалил к берегу и уже хотел было сойти с лодки, как вдруг понял, что чувство, которое гнало и погоняло его всю дорогу, угасает, теряет свою остроту и уже перестало быть истинным. Осознав это, отшельник развернул лодку и уплыл восвояси.

Такая вот притча, брат. Не так ли и нас мучает — до последнего края — желание быть честными перед самими собой? Ведь делиться следует только чем-то настоящим, а настоящее случается в жизни так редко...

Однако случается. Такое желание — поделиться жизнью с близкими и не очень людьми — случилось и у меня. Жил я тогда в Австралии, в ничем внешне не примечательных рощах под Сиднеем, в маленькой миссии близ огромной, вновь построенной снежно-белой ахмадийской мечети Божественного Руководства. Другую половину дома занимал миссионер с женой. На завтрак, обед и ужин мы сходились в небольшом холле, зеркально разделявшем миссию на жилье для миссионера и гостевую часть, состоявшую из трех комнат, в одной из которых я и жил.

Мечеть стояла на широком огороженном поле, окруженном невзрачными рощами редколиственных колючих деревьев.

В роще и вдоль ведущего к мечети проселка — в норах под грудями хвороста — жили кролики и даже не прятались, завидев меня. Летали ко-

роткохвостые австралийские сороки и стайки зеленых шумных попугайчиков, которые заменяют здесь воробьев, но в остальном было тихо. Чуть дальше, за деревьями и оградой, проходило двухполосное шоссе, с горки на горку выбегавшее через соседний городок Блэктаун на сиднейский хайвей. С этого шоссе мечеть видна издалика: минарет ее возвышал над верхушками деревьев внезапно, как белый мираж, такой невероятный здесь, в Австралии, что проезжавшие иногда мимо мусульмане, чаще всего турки, заворачивали на проселок, ведущий к мечети, чтобы удостовериться, что она им не причудилась.

Мечеть была построена с расчетом на неминуемое будущее, когда молящихся в ней станет очень много, но пока нас было всего четверо — вместе с имамом, чудесным интеллигентным человеком по имени Шекиль Мунир Ахмад, с которым мы впоследствии встречались и в Кадане, и в Мадрасе, в доме мисс Асфы Захры, его свояченицы.

Моя жизнь текла размеренно и плодотворно, как никогда. Я вставал затемно, в моей маленькой комнате, еле освещенной раскаленной спиралью рефлекторного обогревателя, не было ничего лишнего: кровать, стул и стол, на котором стоял компьютер и лежали переводимые мной книги, словари, справочный материал. После заутренней молитвы — совершалась она не в мечети, а в обеденном холле — я выходил из домика: крупные звезды сверкали над снежными куполами мечети, по промозглому, иногда посеребренному инеем полю стлалась холодная белая дымка, и над самой моей головой мерцал Южный Крест.

Как страстно я мечтал увидеть его в детстве и юности — и как недосяжимо это было! По прилете в Австралию, который случился ночью, я первым делом задрал голову и увидел его наяву, а увидев, понял: что-то в моей жизни свершилось. Но свершилось на деле не тогда.

Полностью я ощутил свершенность, когда милый мне Южный Крест засиял в гармонии и соразмерной сопряженности с минаретом и куполами этой мечети, и не только потому, что слишком уж волшебно выглядела она в сочетании с его звездами, напоминая мне, очарованному страннику и вечно недорослю, мои сны о Казани и арабские сказки Шехерезады, но и потому, что я понял: я стремился увидеть его не случайно, не из ребяческой мечты о заморских землях. Только здесь, над мечетью Божественного Руководства под Сиднеем, Южный Крест превратился из праздной туристической достопримечательности в знак, который надлежало осмыслить и понять.

Это был конец какого-то пути. Конец географии моих скитаний как некой самоцели. Дальше идти, лететь, плыть было некуда. В первые дни я еще вспоминал полторы тысячи километров переезда — автобусом из Аделаиды — в местечко Марсден-Парк под Сиднеем, и перед моими глазами все еще стояли австралийские пейзажи... По временам они походили на Англию — овечьими выгонами и лугами, травяными холмами и россыпями камней, — а иногда на Шотландию или горную Баварию. Вокруг меня была очень странная и, конечно, очень красивая страна. В пути меня не оставляло ощущение, что она — чужая, но я думал, что это потому, что я Австралию еще не понял. Лишь месяцы спустя я догадался, что никогда ее не пойму.

Понять надлежало что-то другое, и именно здесь и сейчас, под Южным Крестом, рядом с мечетью, от которой в заутренней мгле исходил свет, и не только потому, что она отличалась от окружавшего полумрака ослепительной белизной. Легка была она, несмотря на свои размеры, легка и невесома, и рядом с нею еще ошутимее становилась моя земная тяжесть.

Иногда небеса, по-настоящему зимние, затягивало облаками, и Южного Креста не было видно. Но я знал, что он — есть. Иногда перед зарей стеною стоял туман, сквозь который еле виднелась мечеть. На траве поблескивал иней. Было светло и холодно, и это была Австралия.

И я возвращался в домик миссии и садился работать, переводить ахмадийские книги и учиться Исламу. Ведь мне все еще казалось, что Исламу можно научиться по книгам, и я не помышлял о пятикратной молитве. И молиться-то я начал в некотором смысле лишь для того, чтобы не обидеть моих гостеприимных хозяев. В первый же вечер господин Шекиль Мунир, которого предупредили о моем приезде из Лондона, как-то очень естественно спросил, не время ли нам помолиться. И мы встали на молитву.

Если быть пунктуально точным, то в первый раз я встал на молитву не в домике сиднейской миссии, а за год до этого в токийской мечети. Как я попал туда — это совершенно отдельная и в основном туристическая история, но я отстоял пятничную молитву вместе со множеством японских, арабских, турецких и прочих мусульман рядом с моим старшим другом, руководителем немногочисленной татарской эмигрантской общины, прожившим в Японии без малого пятьдесят лет, ставшим внешне похожим на японца, но так и не удостоившимся японского гражданства. Та молитва была актом не мусульманской, а национальной солидарности, и Коран американского издания, который вручили мне — невероятному гостю из Совдепии — по выходе из мечети, так и остался, по существу, нераскрытым. Этот Коран до сих пор стоит на моей московской книжной полке как память о Токио, но я им не пользуюсь, потому что английский перевод, так же как и толкование отдельных аятов³, кажется мне чересчур жестким...

Второй опыт совместной молитвы случился за несколько месяцев до моего ночного прилета в Аделаиду по приглашению Татарского общества Южной Австралии. Случилось это в кельнской мечети, недалеко от тамошнего «маленького Стамбула». В то время я еще переживал пору национальных иллюзий, писал книгу о татарских эмигрантских общинах и находился под дружелюбной опекой немецких турков, которые и привели меня в мечеть. Помню, что проповедь имама, которую я понимал разве что наполовину, была какой-то уж слишком резкой в оценках и суждениях и направлена была против происков христианского мира. Имам временами так повышал голос, что мурашки пробегали по спине. В общем, никакой благодати я не вынес из той мечети, хотя крепкие рукопожатия после молитвы помню и благодарен за них. И эта молитва не стала для меня приобщением к мусульманству, оставшись в памяти как факт уже не только татарской, но общетюркской солидарности.

И только в маленьком домике сиднейской миссии, в буквальном смысле на краю света, во время совместной молитвы в моей душе стало *развидняться*. Молиться я, надо сказать, не умел, и мне было еще трудно сидеть опираясь на пятки, и я все время наклонялся вперед, от этого вначале очень уставала спина. Тем не менее, подражая движениям и позам моих соседей, я произносил про себя единственную кораническую суру, которую знал. Это была начальная, очень короткая, глава Священного Корана — сура Фатиха.

Во имя Аллаха Милостивого, Милосердного.
 Вся хвала надлежит Аллаху, Владыке всех миров,
 Милостивому, Милосердному,
 Властителю Судного Дня.
 Тебе Одному мы поклоняемся и к Тебе Одному взываем о помощи.
 Наставь нас на путь правый.
 Путь тех, кого Ты одарил Своими благами; тех, кто не навлек на себя Твоей немилости, и тех, кто не впал в заблуждение...

Когда я произносил суру Фатиха во время молитвы в маленькой сиднейской миссии, я не вдумывался, конечно, в ее множественные и неисчерпаемые смыслы. Я делал то, что делали другие. Вначале, повторяю, было трудно: и спина болит, и сидеть на коленях неудобно, и все время

³ Ая т — наименьший выделяемый отрывок коранического текста, стих Корана.

наклоняешься вперед и норовишь опереться руками... Но это быстро проходит, и молитва из обязанности превращается в настоящую необходимость. Более того, если не можешь произнести ее вовремя, начинаешь чувствовать себя обделенным.

Пять ежедневных молитв — как пять глотков воды, когда идешь по пустыне. И когда мне приходится работать по шестнадцать — восемнадцать часов в сутки, только регулярно приходящая на помощь молитва способна помочь продраться сквозь дебри срочной работы. Те пять — десять минут, которые я провожу в молитве, «заряжают» меня энергией. Без молитвы я бы не справился с той истерикой усталости, что накатывает от необходимости работать, когда уже, кажется, нету сил. Я говорю о работе, уподобляющей человека кормящей матери, которая не вправе оставить ребенка без внимания, даже если должна несколько раз за ночь просыпаться в слезах жалости к самой себе. Именно такой работой я занят все последние годы, и началась она именно там, в тихой миссии возле мечети Божественного Руководства, снежно белевшей в заутренних сумерках австралийской зимы.

После заиндевелых рассветов наступали солнечные, зеленые дни, и щебетали среди невзрачных деревьев стайки попугаев, прилетали и садились на забор короткохвостые австралийские сороки, кролики грелись на солнце, а из-за роши, от соседнего поселка, доносилась музыка...

Я, конечно же, забрался на минарет и обнаружил наверху теплое голубиное гнездо с пятью матовыми, облепленными пухом яйцами. Оттуда, сверху, хорошо было видно лишь небо да ближние поселки за грядой деревьев. Но если смотреть сердцем и памятью, то показывались на горизонте и небоскребы Сиднея, и бухта Дорогуша, и выбеленные солнцем ноздреватые пепельно-желтые скалы, и под ними, далеко внизу, мощно зеленый океан, до паркетного блеска отполировавший свое скальное, в трещинах, дно и наваливающийся протяженными пенистыми валами на узкую прибрежную полосу... А дальше, за океаном, уже не было ничего — был конец географии, Тасмания и Антарктида.

Но довольно было и самого пятого континента и моего автобусного путешествия через зеленые нагорья его огромных штатов — Южной Австралии, Нового Южного Уэльса, Аделаиды (рая для пенсионеров), призрачного, опалового, печального и нереального штата Нера, с его горными пальмами, убегающей к океанским волнам тропической равниной, с его огромными красными кенгуру, пришедшими на рассвете прямо к окнам моей веранды...

Как же прекрасно все это было! И со мной ли было это?! Я был счастлив в молитве и в ежедневной работе по шестнадцать часов, и мне все время и по-настоящему хотелось, чтобы все те, кого я люблю, были здесь, рядом со мной, потому что счастье это было истинным и непреходящим и для меня одного слишком, слишком огромным.

Просторный зал мечети, высокие окна, сквозь которые виднеются роши над маленьким озерцом. Еще совсем свежий, зеленый, как трава, во весь простор молельного зала ковер. Белые, белые стены, звенящая тишина внутри мечети и зимний, ветреный и солнечный воздух за ее окнами.

Я, которому казалось когда-то самоуничижением встать на колени, я благодарно простирался и касался лбом ковра в живом присутствии Аллаха.

Я не был привязан к словам молитвы — я просто старался забыть самого себя и раствориться в Нем, представляя то высокие волны, разбивающиеся на закате о сиднейские скалы, и алмазное мерцание Южного Креста над ночным полярным океаном, то искрящуюся белизну снегов Алтая в зелени кедров и голубое пламя восходящих над кедром небес, то мощное молчание бесконечной, серебристой, убегающей по черно-белым сопкам на Северный полюс чукотской тундры, под опрокинутым в зенит ковшом Малой Медведицы...

И что-то то горячее, то теплое переполняло меня, хотя пальцы и мерзли иногда в этом австралийском июне. Мне хотелось, чтобы моя душа снова стала прозрачной — как на рассвете жизни, чтобы не осталось в ней ни тьмы, ни тщеты, ни себялюбия и корысти. Когда в конце молитвы я перебирал на устах Божьи имена — Субхан Алла, Субхан Алла, Субхан Алла, — я ощущал, что мое сердце исподволь начинает светиться.

Свет начинал перекипать за пределы моего скудного существа и разливался вокруг, заполняя сначала все пространство мечети, а затем и заоконный простор до самых небес. Сияние стояло вокруг и не исчезало, и мир соединялся этим сиянием в нерасторжимое Единство и в счастье, и в страдании.

Так я начал молиться, брат. Но как далеко еще мне до того молитвенного состояния, в каком обращаются к Аллаху мои братья по Общине. Если бы видел ты, как они молятся!

5

БИБЛЕЙСКИЕ ЛЮДИ

Он плакал рядом со мною.

Простираясь ниц в молитве, он не сдерживал слез. Он о чем-то просил Аллаха при каждом простирании, и я не ведал, о чем, но он плакал рядом со мною — так близко и так бесконечно далеко от меня.

И я думал тогда, слушая его еле сдерживаемые всхлипы, что у него в этом мире нет ничего, помимо Аллаха. Так же молились библейские люди в скалистой пустыне вокруг Мертвого моря, так молятся они и сейчас, отделенные от нас веками и тысячелетиями живой истории, в которой не бывает прошлого. Для Аллаха и они, и мы — равно живы, и драмы наших разделенных целой эпохой жизней разыгрываются перед Его глазами как бы в один и тот же миг Единства, и если прислушаешься сердцем, может, и ты услышишь, как предутренний звездный ветер шуршит по пустынным просторам сухими песчинками, как раздувает он пламя кочевого очага и хлопает серыми пологамы шатров; как овцы пугливо сбиваются в кучу и жмутся друг к другу, пытаюсь сберечь последнее отнимаемое ветром тепло, и как всхрапывают стреноженные верблюды...

Мир, пугающий страшной распаханностью и безнадежными далями, открыт на все стороны, но сколько ни странствуй, все едино: мертвые острые скалы, песок и песок, следы, заносимые ветром.

Так скудно, брат, так сиротливо существование, так не похожи ни на что живое эти очертания диких скал и бесконечных синусоидальных всхолмий, что лишь теплая истина Единобожия и хранит человека от лютого отчаяния мирского сиротства. Скуден, ниц и одинок в миру человек. Но пока у него нет ничего лишнего — он не выдумает себе идола.

...Мы встречались с ним почти всякий день и становились рядом на молитве. Кто он? Я не знал. Мне, конечно, было уже известно, что зовут его Азим, но и только. Он и подобные ему возникают ниоткуда и уходят в никуда, словно забредая в наш с тобою мир из неведомых библейских измерений. Я и теперь почти ничего не знаю о нем, но знаю, как теплы и печальны его глаза, как светла его застенчивая улыбка, когда он, протягивая мне обе руки, говорит: «Мир тебе». Мы молились вместе с ним на случайном перекрестке пространства и времени, в Южной Англии, в начале очередной осени, в Исламабаде — эфемерной и деревянной деревушке Ахмадийской Мусульманской Общины, смиренно соседствующей бок о бок с живописной, богатой и консервативной деревней Тилфорд, от века одетой в камень, непреходящей и добропорядочной, как и ее приземистая и тихая, поросшая по фундаменту изумрудным мхом англиканская церковь Всех Святых.

Исламабад стоит на отшибе и, огражденный со всех сторон, как и все южноанглийские владения, высокими соснами и елями и непролазной, в

человеческий рост, ежевичной изгородью, неприметен с дороги и мало кого из соседей раздражает своей неуместностью. Этот поселок, в котором когда-то располагалась сельскохозяйственная школа (а еще раньше, во время последней войны, отдыхали между боевыми вылетами британские летчики), состоит из нескольких обсаженных цветами и деревьями длинных деревянных строений, где живет около двадцати ахмадийских семей. Здесь же расположены мечеть, типография, книжные склады и маленький музей истории Ахмадийской Мусульманской Общины. На вид — пионерский лагерь, как ты его и определил, навестив меня однажды.

Я понимаю, при всей своей нужности Исламабад — городок Ислама — мог бы действительно показаться неуместным в богатом графстве Суррей, как был бы неуместен одетый в библейское рубище пророк на зеленой лужайке для крикета, широко и ухоженно раскинувшейся посреди Тилфорда между церковью и пабом «Барли Моу». Но у Аллаха — свои пути, да и Тилфорд, который и деревней-то можно назвать лишь условно, поскольку вот уже и последняя его ферма продана за ненадобностью, издавна стоит на дороге паломников. А картинные развалины средневекового Веверлейского аббатства, основанного в XII веке цистерцианцами — католическими монахами-молчальниками, лежащие чуть выше вдоль прозрачной речки Уэй, и сейчас привлекают праздных пилигримов.

Когда-то это был огромный монастырь, в котором обитало около семидесяти постриженных монахов и до ста двадцати иноков, хозяйство было большое. Здесь и теперь замечательно красиво. Через старицу, заросшую белыми лилиями и желтыми кувшинками, перекинут старинный каменный мост, а на другом берегу, среди столетних вязов и кленов, стоит Веверлейская христианская миссионерская школа.

Развалины — каменные остовы некогда величественного храма и монастырских зданий — лежат в низине, окруженной речкой Уэй, в XIII веке она разливалась так, что монахам приходилось покидать монастырь и голодать впоследствии, поскольку половодьем смывало все посева. Теперь, по крайней мере в последние годы, ничто не угрожает здешнему благополучию. Бродят по заливным лугам овцы и породистые английские коровы, а рядом с ними пасется на безлюдье огромная стая диких перелетных птиц. Ночью бывают заморозки, и ягоды шиповника, алеющие на облетающих кустах, размякают от мороза, и даже не успевшая дозреть красная ежевика становится мягкой и вовсе не кислой на вкус. Иногда выходит солнце, и вязы шумят, и зеленеет низкая луговая травка...

Развалины ухоженные, опрятные. Редкие дубы достигли огромных размеров, а на одном каменном остова — когда-то он был краеугольным камнем могучего монастырского храма — выросло причудливое тисовое дерево, разветвилось на несколько вечнозеленых стволов, и замшелые камни оплетены его мощными коричневыми корнями, как Лаокоон змеями: не дерево, а произведение искусства. Багряные грозди мерцают в его мягкой раскидистой хвое...

Да и все здесь — произведение искусства, созданное Временем. Гармония и соразмерность царствуют в этих развалинах, и возникает щемящее чувство ностальгии по прошлому. Ибо что есть искусство, если не соразмерное обрамление жизни? Посмотри на мир хотя бы через сложенные в кольцо пальцы, и эта круглая картинка уже будет отвечать категориям искусства — сюжету и композиции.

Стая диких гусей вскидывается на крыло, слышно истовое хлопанье крыльев — и вот уходят они звенящим клином в свои небеса, в последний раз отражаясь в зеркальной старице... Клики — как звон колокольный. И снова тишина, еле слышное журчание прозрачной речки, несущей оброненные прибрежными кустами золотистые листья. Прекрасное безлюдье...

Англиканская миссионерская школа, расположенная за блистательными купами вязов и кленов в огромном ухоженном особняке, редко подает признаки жизни, да и туристов на развалинах Веверлейского аббатства бывает не так уж много...

Единство взяло свое: развалины вписались в него, как в картину великого художника, изобразившего Христианство эпохи Последних Времен. И чувство, которое возникает здесь, — это чувство благодарности за благодать Единства, слившегося воедино и каменную кладку храма, и живую древесную плоть тисового дерева, посеянного влажным и свежим ветром вечной осени...

Кстати, когда я говорю, что ставший на три года моим домом Исламабад стоит на отшибе и словно бы выпадает в библейское измерение, я совсем не хочу сказать, что он безнадежно отстал от времени: Исламабад от времени не зависит. И не потому, что люди, живущие здесь, довольствуются только самым необходимым. Эти двадцать семей полностью посвятили себя служению Общине и получают весьма и весьма скромное ежемесячное содержание, с которым, однако, обращаются очень умело и ни в чем важном не чувствуют нужды, хотя это общинное пособие меньше пособия по безработице. При естественной экономии и отсутствии суетных трат из этих невеликих денег выкраиваются средства даже на путешествия — в Индию, например.

Поэтому, когда я говорю, что Исламабад живет вне времени, я имею в виду, что время над ним не властно. Цель, ради которой существует на земле эта деревушка и вся Община, — выше и сильнее времени. Конечно, постройки нуждаются в ремонте, но вины нашей Общины в этом нет. Консервативный совет графства в этой «стране советов» не позволяет в округе никаких перестроек и никакого строительства, во всяком случае, не разрешает это Общине. Что ж, деревянные жилища Исламабада все более сливаются в Единстве с осенним пространством, все более тесно врастают в окружающий ландшафт, в гармонию лесов, холмов, небольших полей и перегороженных лугов Южной Англии. И вал безумствующего времени, шумом своим так напоминающий свистящий шелест шин на шоссе, останавливается у древесных границ Исламабада и — с шипеньем и урчанием — откатывается прочь.

Страдания же, которые причиняет людям эпоха Последних Времен, ощущаются в Исламабаде сердцем, а не карманом, как во всей остальной округе.

Это всего лишь местная география, но некоторое отношение имеет она и к предрассветной молитве. Осень, вечная английская осень, холодно, ветрено, сыро... Мы выходили из мечети в морозящий туман и расхаживали каждый по своим делам, но не тотчас. Азим уходил в пекарню — здесь, когда происходят всемирные ахмадийские встречи, пекутся на тысячи людей лепешки, но это бывает летом, в конце июля, а тогда была переходящая в зиму осень, и Азим просто жил в пекарне, согреваясь возле раскаленных спиралей газового калорифера и готовя крутой чай с молоком, на который постоянно зазывал меня после заутрени. Испив с ним чаю, я уходил к своему компьютеру, хранившему мой ежедневный труд, но, прежде чем включить его, некоторое время сидел за столом, глядя в широкое окно, за которым шелестела под морозящим дождем желтая плакучая ива, и пытался услышать в себе мир и тишину. Это не всегда удавалось, и я думал, слышит ли тишину в себе он, мой брат по Общине, так искренне, в таких откровенных рыданиях молившийся только что рядом со мною? Я не мог расспросить его — я не знал его языка.

Такие, как он, библейские люди возникают здесь, в Англии, так же таинственно и неслышно, как вставали они рядом со мной на молитве в мечети Божественного Луча во Франкфурте-на-Майне, или в мюнхенской мечети Обетованного Мессии, или на краю света, в знакомой уже тебе мечети Божественного Руководства под Сиднеем.

Это и не важно, где они молятся. Они — люди Аллаха, которые знают главное: они знают, что Аллах сотворил людей, чтобы служили они Ему.

Всякий человек в нашей Общине служит Ему по-своему, в меру своих средств и талантов. Есть в ней бедняки и миллионеры, писатели и кибернетики, художники и физики, есть государственные деятели, одетые в стро-

гие, европейского покроя костюмы, с дорогими шелковыми галстуками, поскольку это им необходимо. Необходимость и достаточность — вот определяющие категории Ислама. В Общине нет нищих и побирающихся — так много работы, так много еще нужно сделать, так не хватает людей!

Пакистанские, индийские ахмади — странные, по европейским меркам, люди: странствуют по миру и молятся в тех местах и в тех общинных мечетях, которые промыслом судьбы становятся для них ближайшими к Аллаху. Это духовные дервиши, люди гонимой Общины, их часто преследуют на родине и в других странах презревшего веротерпимость мусульманского мира. Они возникают из ниоткуда — то в Европе, то в обеих Америках, то в Африке, то в Австралии, то на островах Океании, возникают как библейские посланники и вновь, и в который раз зовут людей к Богу. Ведь чтобы поделиться Истиной — не обязательны слова. Они и оде- ты по-библейски — в просторные хламиды и шали, подобные той, которой укутывался Иисус. Эти одежды не стесняют движений во время молитвы, и эта серая или черная пастушеская шаль оберегает от пронизывающего холода мирской пустыни, наступающего их и на горных тропах Кашмира, и на лондонской Пикадилли. И когда они, эти библейские люди, плачут рядом со мною и наедине с Аллахом, я вспоминаю Гефсиманию и думаю — как же на самом деле выглядел Иисус? Уж верно, не был он так лубочно красив и не так уж походил на «белого человека». И что за заслуга — полюбить красивое? Люби не близкого тебе, люби — ближнего, — не это ли говорил Он? Свет исходил от Него и преображал Его внешнюю некрасивость.

Свет исходит и от этих библейских людей. Можно не верить в то, во что они веруют, но нельзя не поражаться силе их веры. Ведь они — истинные наследники Ветхого Завета, потому что твердо знают: Священный Коран есть завершение библейского Закона и библейской традиции, и они спешат творить добро так, как понимают его.

Ведь сказал Обетованный Мессия, в приход которого они веруют: «Воистину, зло даже размером с зернышко — наказуемо. Времени осталось совсем мало, и миссия вашей жизни еще не исполнена. Идите быстрее, ведь вечер близок. Выказывайте беспокойство и глубокую озабоченность, чтобы разум ваш обрел покой. Кричите, плачьте от боли снова и снова, чтобы рука Его протянулась и обняла вас».

...Они плакали рядом со мною. В своих библейских одеждах — пришедшие из Индии или Пакистана, кутающиеся в Иисусовы шали от промозглого холода, дождя и тумана.

Когда молитва свершается в молчании — ветер ветхозаветной пустыни бьется о деревянные стены мечети, и тихий свет исходит от лиц, залитых слезами. И слезы эти мерцают, как звезды над шатром праотца Авраама...

Скажите же мне те, что *слышат*: кто плачет рядом с вами? Ведь кто-то же плачет?

6

ЧУЖБИНА КАК ОНА ЕСТЬ

Мне осталось совсем немногое поведать тебе, брат, прежде чем вернуть мое повествование в Индию. Но я вдруг поймал себя на мысли, что ты можешь понять эту книгу всего лишь как запечатленный восторг странствий. Поэтому я должен пристроить и эту галерею к зданию моей книги и назвать ее — чужбина как она есть.

Знаешь, стоит мне вернуться в родные места — если не в Казань, то на берег невеликой татарской речки Кубни — и на пару часов засесть у запруды с удочкой, как все, происходящее со мной в последние годы, начинает казаться какой-то несбыточной сказкой, сном, мечтанием.

Журчит речка у запруды, шелестят на ветру ивовые кусты, плывут облака — плывут-уплывают за холмы, поросшие лиственным и сосновым лесом. Рыба играет — идут по воде круги. Тихо. Так тихо и так знакомо вокруг, что кажется — не только никогда и никуда не уезжал отсюда, но и не взрослел никогда, а так и просидел с удочкой у татарской речки, мечтавая о дальних странствиях... И эти вечные восклицания моего детства, эти заклинания судьбы — о, странствия! о, страсть! о, страсть к странствиям! Не удивительно ли, что так созвучны эти слова? Особенно когда человек всем ходом жизни принужден сидеть в некотором обыденном, по собственным представлениям, мире и с ума сходит при мысли о какой-то другой, идущей своим чередом за морями, за долами, жизни. Париж, Лондон, Вашингтон... Было время, когда простым перечислением этих названий в разговоре создавалось впечатление, что говорится нечто умное и значительное! Но тот, кто никогда особенно не ощущал тепла родины, весьма, оказывается, чувствителен к пронзительной прохладе чужбины.¹

Конечно, чужбина — понятие относительное. Чужбиной может оказаться и соседняя деревня, и уж, вне всякого сомнения, другой, не твой родной, город. Я говорю о другом. Когда есть ежечасная возможность вернуться, беспокойство чужбины ощущается не так болезненно. К тому же о ностальгии уже столько сказано, что повторяться неприлично.

Более того, теперь, когда немного приоткрылся занавес, меня могут заподозрить в неискренности. Дескать, появилась у человека редкостная возможность побывать в заманчивых и соблазнительных странах, жить там подолгу, глазеть по сторонам, а иногда и прикупить что-то — так о чем он тут пыхтит-поет, что пытается доказать, к чему призывает? Нам бы половину его везения да половину его языков — да мы бы горы перевернули! Чужбина? Ишь чем испугал! Да страшнее родины у российского человека ничего отродясь не было!

Убийственная житейская логика. Раньше я терялся перед такими сентенциями. Теперь — нет. Житье в деревушке Исламабад многому меня научило и многое показало в истинном свете. Да, может показаться странным, что вместо того, чтобы сколачивать себе капитал и зарабатывать зарубежную «популярность», я сидел целыми днями в своей деревянной комнатухе и работал до боли в глазах, хотя заставляло меня только сознание моей нужности.

За окном была то весна, то осень, а то и ранняя английская зима, которая так похожа на австралийскую. Я знал, что тут, на просторах чужбины, дубы уже побурели и оголились, клены сбросили желтую и красную листву и речка, по-зимнему прозрачная, увлекает эти арлекиновые листья в неизвестность туманных лесов и лугов, куда не зайдешь и где не погуляешь в охотку, потому что это — Англия, графство Суррей, и все леса и луга по всей округе — частные владения...

И только узкие общественные тропки позволяли мне, привычному к долгим километрам и упоительным просторам марийской тайги, Забайкалья и Горного Алтая, слегка углубиться в английскую эту природу, пройти между высокими кустами озябшей ежевики или мерцающего красным барбариса и увидеть дивные поляны за колючей проволокой, разглядеть растущие в одиночестве мощные дубы и лиственницы самых невероятных, скульптурных, изысканно-японских форм и конфигураций: это штормовые ветры ваяют их зимой и по осени.

Штормовые ветра, садовники Аллаха...

Широкие покатые желто-зеленые английские поляны, некогда вызвавшие к жизни аристократическую игру в гольф, манили к себе и меня, но тоже были частными и доступными без разрешения неведомых хозяев только для вездесущих кроликов, серых белок и толстозадых барсуков... Низкая дымка стелилась, повторяя очертаниями всхолмия и склоны; высокие ели уходили остриями в сумрачные небеса. И все это было красиво до пронзающей сердце тоски, особенно если сквозь мокрые атлантические тучи внезапно проглядывало солнце и проявлялись скрытые краски де-

кабрьской благодати... Страна эта прекрасна, но ты чужой здесь и не смеешь сойти с разрешенной тропы ни вправо, ни влево, и она ведет тебя туда, куда надо ей, а не тебе.

Как-то в Лондоне я сидел в гостевом доме Общины у открытой стеклянной двери, выходящей в маленький заросший сад. Сидел и думал о каком-то деле, и ни малейших мыслей не было у меня о родине — ностальгия и все такое прочее. И вдруг свежий ветер, только что качавший ветви старого грушевого дерева, всколыхнул тюлевую занавесь и на мгновение залетел в дом... Я вдохнул этой свежести — и меня пронизало такой внезапной, такой сладкой и запоздалой тоской! То ли по пути этот влажный ветер побывал на Темзе, то ли на озере в Сент-Джеймском парке, но он оказался таким речным, таким волжским, что я вдруг вспомнил весь водный простор моего детства и острова, острова — не застроенные еще фанерными и кирпичными дачами, девственные, ежевичные и клубничные, щавелевые волжские острова с песчаными берегами и заливы, заросшие лилиями и кувшинками, под широкими блескучими листьями которых ходили и играли на солнце багровыми плавниками полосатые окуни...

Причудилась мне и весельная лодка, скользящая по островным протокам между речной травой и редкими камышами, где кряква не шелохнувшись сидит на покачнувшемся от волны гнезде. Крупные стрекозы с выпученными виноградными глазами и потрескивающими слюдяными крыльями садятся на фиолетовые, белые и розовые цветы водяного разнотравья. Вдруг ударит рядом щука, и серебряные мальки, аж выпархивая в воздух, с шумом разбрызгивают стеклянную воду и резким клином уходят в безопасную сторону — и снова тишина, только хлопают весла, и вдали, под нависшим над рекой лесистым и горным берегом Волги, по мощной струе фарватера проходит в заманчивую неизвестность бело-красный трехпалубный теплоход...

Ничего этого уже нет на свете. Острова явочным порядком застроены сумрачными дощатыми домами, протоки пересохли и заболочены, Волга прижалась к горному берегу, и теплоходы лишились всякой романтики, поскольку известно, что идут они только до Астрахани и обратно.

И если родина — это то, что всегда остается для тебя неизменным, если она — твое последнее прибежище среди стремительно и в дурную сторону меняющегося мира, то мне и вернуться-то некуда. Все, что я любил, среди чего рос, — исчезло, ушло, как утренний туман с английских заиндевших и оттаявших полей...

Так что же для меня — родина?

Но ты знаешь, что она есть у меня, брат.

Однажды, лет в четырнадцать, я оказался с отцом на весенней охоте. Это было дома, в Татарии, в Шемардановском лесничестве, тогда еще богатом всяческой дичью и изобильном лесными угожьями. Добираться туда нужно было поездом. Мы вдвоем вышли на каком не помню лесном полустанке и, сверяясь по карте, пошли через лес к деревне, где намеревались задержаться денька на два.

Была весна... Ты ведь знаешь, как это бывает. Лесные поляны залиты вешними водами — идешь словно по мелкому озеру, разглядывая под водой каждую травинку, каждый листик и каждый сохранившийся за зиму цветок... Сапоги иногда наполовину утопают в чистой ледяной воде, и опрокинутое небо лежит под твоими ногами, и облака, и обнаженные деревья отражаются в этой прозрачной купели. Жуки-водомеры бегают от кочки к кочке, сквозь распускающиеся ветки блестит клонящееся к закату солнце, и вдруг слышишь, как где-то совсем рядом звонко курлычут на заливных полянах журавли. Или гулко кукует кукушка.

Редко встретится сухой холмик, разве что в сосновом бору, и тогда сразу замелькают бело-голубые прострелы, которые в наших краях называют подснежниками, — пушистые соцветья и нежные зеленые стебли над палевой хвоей... Однако вдоль нашего маршрута леса были все больше лиственные, еще совсем почти голые и чернотвольные, и только на мок-

рых, словно обугленных березах сквозь прошлогодние трещины пробивался сок, тек и застывал на бересте красно-розовой пеной.

Стало смеркаться, и нужно было поспешать, но тут над колком берез, на скрещенье двух узких просек, послышалось нарастающее и приближающееся хорканье, и над нами со свистом пронесся вальдшнеп. Мы не сумели удержаться от соблазна и встали на тяге, хотя путь нам предстоял дальний.

Необычайно прекрасен был и этот надвигающийся весенний вечер, славно было стоять в прикрытии березовых стволов и видеть, как очертания деревьев медленно размываются дымчатыми сумерками, как туманится и темнеет высокое небо и как резко выделяется на его фоне отдельная, тайне от всех зацветающая ветвь... И сидел на закатной стороне вырубки на вершине минаретной ели одинокий вороненок. Свечерело, и стало темно. И тут все, что посреди дня удивляло меня и взметало мой детский восторг, вдруг стало чужим, пугающим. Внизу, под ногами, отражаясь в бесчисленных лужах и наполненных вешней водой ямах, лежала бледная луна. Вода стояла кругом, и непонятно было, насколько она глубока: ничего не стоило ухнуть в скрытую яму или сломать ногу в этом наволглом буреломе, в этой крошечной сырой тьме.

Мы очень долго пробирались сквозь черные леса, утопавшие в вешней воде. Мы шли и перепрыгивали от дерева к дереву, пробовали на устойчивость каждую темную кочку, и повсюду хлопало блиставшее ртутью ледяное болото, и не было ему конца, и почвы не было под ногами: каждый шаг шаток и всерьез опасен, — всхлипывала и журчала вода, такая приветливая под солнцем и такая чужая и страшная в мертвенном свете луны! Глубоко за полночь вышли мы наконец к полю, за которым лежала наша деревня. Боже, как отрадно стало чувствовать под ногами прочность проселочной дороги! Уже завиднелись желтые деревенские огоньки, а мне все не хотелось расставаться с этой дорогой, так бы шел и шел по ней невесть куда, но уже уверенно и навсегда поняв, что все это — родина.

Так пусть же и случайный мой читатель поймает себя на мысли, что, воображая за границу, он представляет ее во всех ее красотах и соблазнах *при свете*, не важно, в дождь или в солнце, но — *днем*. А вот пусть попробует представить себя *ночью*, одинокого и без ясной цели, — и все, что днем казалось таким заманчивым и приветливым, станет чужим: чужим будет каждый красивый дом с садом, куда его никогда не пригласят, и любой дивный пейзаж, на который он вынужден будет смотреть через изгородь. И, испытав единожды это чувство неприкаянности и бесприютности, он станет по-другому смотреть на все вокруг и при дневном свете. И тогда, кто знает, может быть, по-иному оценит он и свое теперешнее существование, когда можно все-таки выбраться на твердую дорогу, в конце которой поблескивают огоньки пусть скудной, но живой жизни, где доброму человеку найдется и ночлег, и тепло, волной идущее от печки, и горячий чай с чем Бог послал.

Я глубоко убежден, что все мои странствия принесли мне радость только потому, что во всякой стране, куда я попадал по делам Общины, ждало меня братское участие, кров над головой и простая честная пища. Но словно для того, чтобы напомнить, что мир вне Ахмадийской Общины жесток и страшен, Аллах время от времени приоткрывал мне и другие стороны чужбинного бытия.

Как-то ночью я прилетел в Рим по делам Европейского общества культуры. Уже наученный некоторыми испытаниями, я еще в Лондоне по телефону договорился с одним своим ахмадийским другом, чтобы он дождался меня у центрального римского вокзала Термини и помог устроиться в гостиницу. Но самолет авиакомпании «Алиталия» застрял в лондонском аэропорту часа на два, и когда я наконец прилетел в аэропорт Леонардо да Винчи, римское метро уже не работало, пришлось добираться до Термини автобусом, словом, я приехал глубоко за полночь, и мой друг меня не дождался.

Римский вокзал Термини, даром что расположен в самом центре Вечного города, считается значимым местом, и по ночам находиться здесь, а уж тем более прогуливаться, способен только совсем уж наивный баран провинциал, самой судьбой предназначенный для того, чтобы его побыстрее «остригли». Гостиниц, естественно, тьма-тьмушая, но это все, как правило, скрытые бордели, где в ночь-полночь запрашивают за комнату что вздумается — а куда денешься? На улице оставаться просто опасно. Пришлось обходить да обзванивать притоны и на ломаном итальянском спрашивать, нет ли свободной комнаты. Свободных комнат не было. Наконец голос в телефоне хоть и с недоверием, но сообщил, что комната имеется, и после оживленных переговоров зарешеченная дверь нехотя отворилась, и я вошел в полутемный, жуткий, но в тот момент крайне желанный подъезд. Лифт не работал, и я потащился пешком на шестой этаж. По всем пролетам широкой лестницы времен дуче были расклеены рекламные листки, уверявшие, что любовь в этом районе можно было купить всего за пять тысяч лир. Для сравнения замечу, что маленькая пицца в соседней привокзальной забегаловке стоила три тысячи.

Хозяином гостиницы оказался некто толстый и лысый, запросивший за койку без завтрака — шестьдесят тысяч лир. Такой суммы у меня, разумеется, не было, и если бы не ангел-хранитель, спасший меня и на этот раз, пришлось бы несолоно хлебавши возвратиться на улицу. Бывало со мной и такое. Однако на сей раз, прежде чем начать торговаться, я по требованию хозяина предъявил свой паспорт, после чего он вдруг громко запел. Запел он «Реве та стогне Дніпр широкий», а потом еще что-то украинское. Выяснилось, что его отец был капельмейстером военного оркестра в итальянских оккупационных войсках где-то в районе Краснодона и после войны часто певал дома трофейные песни. Хозяин гостиницы расстрогался от воспоминаний и впустил меня за сорок тысяч, оставив без гроша итальянской наличности.

Страшная это была комната, брат. Огромная и пустая, с единственной двухспальной кроватью посередине и с ободранными обоями, на которых были нацарапаны телефонные номера местных проституток. Истрескавшийся стол, продавленный стул и мутное зеркало над эмалированным умывальником в черных и ржавых пятнах. За высоким окном, из которого задувало так, что тяжелые рогожные занавеси шевелились, как тюлевые, шумел ночной Рим: с ревом пролетали мотороллеры, пронеслись машины, орали и перебранивались проститутки трудной ночной смены...

И я возблагодарил Аллаха за то, что нахожусь здесь почти случайно. Я представил себе, что живу, скитаясь по таким вот комнатам, и — сырой плесенью, затхлым погребом повеяло на меня от возможности такой жизни! Конечно, нельзя зарекаться. И скорбь, и сиротство всегда рядом и терпеливо дышат тебе в затылок, дожидаясь своего часа. И все-таки...

На следующее утро я перебрался в другую гостиницу, близ площади Торре-Аржентина, напротив храма Санта Мария Делла Минерва, где стоит одна скульптура Микеланджело, и в двух шагах от Пантеона, где захоронено сердце Рафаэля... В тот день началась наша конференция, и за номер стоймостью в двести пятьдесят тысяч в сутки платило уже итальянское правительство.

Се человек. Когда за него платят, жизнь тотчас оборачивается к нему праздничным ликом. Тотчас бросаются ему в глаза зеленые пинии над римскими крышами и мощные фонтаны на Пьяцца Навона и площади Испании, и что-то значительное видится ему в мелких струях Тибра, и вообще глаза его замечают только вечное и по возможности прекрасное. Но когда сидишь в тоскливом привокзальном номере, словно находишься и не в Италии, а в какой-то стране неприкаянности, в каком-то другом — для бедных и одиноких — пространственном измерении, то тебе все равно, где это: в Риме, Лондоне или в Замоскворечье. И единственное, что напоминает тебе, что ты все-таки в Риме, — это сфотографированнаяходя зрением надпись краской на стене какого-то привокзального строения: «Рома — мерда!»

Я не хочу завершать эту вставную главку моралью, брат. «Потому что все сказано вот этим:

«Не странствовали ли они по земле, чтобы обрести через то сердца, способные уразуметь, или уши, способные слышать? Ибо дело в том, что не глаза слепы, но слепы сердца, которые в груди».

7

ЛЮБОВЬ КО ВСЕМ, НЕНАВИСТЬ — НИ К КОМУ

Как же я попал в Общину, как узнал про нее? Это случилось в Англии, куда я приехал в девяностом году из Германии по приглашению британского Общества по Центрально-Азиатским исследованиям ради дел и целей сравнительно далеких от моих теперешних. Но нечто все-таки вело меня. И что-то настигло.

Англия в девяностом году была последней остановкой на пути в Австралию. География уже истощивала себя, а душа моя все еще искала покоя. По существу, к тому времени все в моей мирской жизни уже случилось. Была в ней драматическая любовь, была поэзия, был исступленный труд, были многочисленные странствия по многим местам отечества, и даже Венгрия, Турция, Япония, Германия уже были в ней. На первый взгляд, все было в порядке. Настолько в порядке, что, скажи мне кто-нибудь: «Все, пора закружиться и помирать», — я бы не удивился. К тому времени я уже очень устал. Я достиг многих целей, прикоснулся руками ко многим миражам, но ничего не имел. И я подумал, что так и надо.

Правда, было в моей душе и другое. В то время, еще совсем недавнее, благодаря странствиям я начал осознавать единство мира куда острее и реальнее, чем в отечестве, где оно, это единство, мнилось мне скорее поэтической метафорой, нежели живой реальностью. Долгое заточение в отечественных границах научило нас грезить наяву и настолько, что мы в своих медитациях создали для себя вполне материальные образы Англии туманов, Германии выющихся роз, Франции сплошного Азнавура, Брессанса и Пляс Пигаль и, наконец, Японии миниатюрных деревьев-бонсай в горшках, хокку и пленительно цветущей сакуры.

Все эти страны, созданные литературой и необузданной нашей фантазией, стали для нас настолько реальными, что мы умели восхитительно путешествовать по картам городов мира, заходя в ватиканские музеи, блуждая по улочкам Венеции и подолгу задерживаясь, чтобы постоять на мостах через Рейн, Сену или Темзу.

Поэтому-то простое и личное открытие того, что современные японцы после своего ежедневного труда на износ поспешают не любоваться молодой луной сквозь листья и цветы сакуры, а толпами валят в игральные салоны автоматов «пачинко», чтобы в грохоте металлических шариков обрести забвение от своей завидной для нас жизни, неприятно тревожит наше мифотворческое воображение. Поэтому же, впервые попав в Лондон, я был очень разочарован отсутствием в нем тех знаменитых цветных туманов, о которых знал по романам Диккенса и по картинам Клода Моне. Только впоследствии, угодив как-то к своим друзьям-поэтам Кену и Джуди в пролетарский Ист-Энд, я на следующее утро обнаружил, что лондонские туманы сосланы именно сюда, на сто первый километр, в припортовые районы, где обитают теперь бок о бок с местными бомжами, среди пакистанских, индусских и турецких лавок, грошовых магазинов Армии Спасения и неприступных мечетей, в которых так часто проклинают за ересь мою Ахмадийскую Мусульманскую Общину. Прославленные литературой туманы списаны за ненадобностью и живут теперь среди средней руки азиатских торговцев и негров, собравшихся в Восточный Лондон со всей несчастной, голодающей и воюющей Африки, а заодно и со всех островов Карибского бассейна. Лондонский туман живет здесь в вавилонском смешении рас, племен и наречий, как в кунсткамере или в лавке древнос-

тей. Как говорят агностики и материалисты, «ничто не исчезает, ничего нельзя создать». Так уж и ничего?

В Лондоне я опять захотел ясности. Зачем меня носит по миру? — спрашивал я себя. Зачем я был в Японии, зачем я теперь в Англии, зачем ночевал перед отъездом в Лондон во Франкфурте-на-Майне в турецкой мечети? Зачем вообразил себя дервишем, скитающимся по святым местам Европы, когда был всего лишь поэтом? Страшное разочарование уже подкрадывалось и начинало охватывать меня. Я стал понимать, что географические перемещения сами по себе ничего не дают. Туман непонимания жизненной цели клубился в моей душе, и не помогали мне ни национальные устремления, ни попытки вписаться в окружавший меня временами турецкий Ислам. Разумом я понимал необходимость молитвы, но сердце мое молчало. Придуманной мной дервиш внушал: святые места нужно искать не глазами, но сердцем. А я сам все еще искал их глазами.

Ах, какая весна была в мой первый приезд в Лондон! Солнечная, ветреная, прозрачная... Я ехал со своим немудреным багажом с вокзала Виктория в маленьком зеленом и лупоглазом, похожем на лягушонка «ситроене», и везли меня Маргарет и Томас, последний был палевым и шелковистым, цвета золотого руна ирландским спаниелем с волочащимися ушами и печальным взглядом много пожившего существа. Декоративные крапчатые и обильные цветами японские вишни цвели по всему юго-западу Лондона, и морской ветер разносил и разбрасывал всюду крупные облетевшие лепестки. Все вокруг было усыпано, усеяно этой вскипающей розовой манной небесной. Розовый ливень бился в ветровое стекло, омывал зеленый капот «ситроена», и уже тогда какое-то предчувствие посетило меня.

Немного позже, уже проехав по нескольким улицам мимо геометрически выверенных шеренг слитых воедино белых и красно-кирпичных викторианских особняков, мимо пабов с причудливыми и смешными названиями вроде «Свинья и свисток», мимо классических, веками неизменных английских вывесок и отдельно стоящих старинных домов, напоминающих инкрустированные перламутром ориентальные шкатулки, я оказался на берегу Темзы, в типично английском белом особняке с внешним палисадником и задним, внутренним, сокрытым садом. И все это — вдруг — привело мне на ум Японию. «Сад камней» в Киото тихо перешепнул с традиционными английскими лабиринтами из камней на многовековых газонах и лужайках и совсем уж внезапно — со скальными глыбами космического, довавилонского Стонхенджа. И японское неприятие «чужого» перекликнулось с островной изолированностью Англии, которая даже могущественное католичество превратила в собственное англиканство, да и ныне противится европейской унификации, словно чувствуя, что настоящее единство может покоиться только на духовном постаменте, но никак не на материальной, скользкой и всегда юлящей основе взаимной выгоды.

Много лет назад я как-то выдохнул в стихах:

Вымаливаю, как прощенье,
с отчаяньем и прямою
неуловимое уменьье
распоряжаться пустотой...

Умение распоряжаться пустотой и торжествовало в этих двух островных странах, уменьшая сады и деревья до размеров цветочного горшка и завивая храм Вестминстерского аббатства в пространственную раковину, сердцевина которой завязалась еще в период крещения Англии.

Всякий храм священен, и этот, помимо витой раковины, подобен окаменевшей розе или — что менее поэтично, но более внятно — каменной капусте, листья которой — века и эпохи. Аббатство обрастало этими листьями более десяти столетий, и все эти столетия и сейчас присутствуют внутри его, воплощенные в многочисленных узорных стенах, окружающих самую первую часовню слой за слоем. Храм благодаря этому наслоению сложен и причудлив, полон геральдических склепов со статуями, над-

гробьями, гербами, каменными венками, памятными досками и много еще чем, что увековечивает смертных.

Вся франкфуртская мечеть Ходжи Ахмеда Яссави уместилась бы в одной из боковых часовен Вестминстерского аббатства, и внутри ее нет ничего, кроме ковра на полу, на котором я спал подобно некоему дервишу. И при всей простоте и наивности этой мысли она вдруг явилась для меня откровением: все храмы — равны и грандиозное Вестминстерское аббатство равно крошечной мечети Яссави, потому что прямое назначение обоих храмов — одно и то же.

В Англии я наконец-то понял, как мала моя душа для вселенского Единства. В саду, за высокой кирпичной стеной, увитой плющом и обсаженной зацветающей жимолостью, жили в одном со мною мире цветы и деревья: белые девственные крокусы и звездно-желтые нарциссы, фиолетовые восковые гиацинты и полыхающие тюльпаны, и старое грушевое дерево сосредоточенно и неторопливо отцветало над этим эфемерным, но скрупулезно продуманным праздником краткой весенней жизни. А перед домом, в палисаднике, мерцала, даря лепестки закатному ветру с Темзы, розовая декоративная вишня.

Я жил опять один. Чудесная Мари Беннингсен-Броксап, пригласившая меня в Англию и уступившая мне свой дом в престижном лондонском районе Барнс, была в то время на отдыхе во Франции со своей семьей, а ее подруга Маргарет и пес Томас, чьему двойному присмотру я был поручен, заходили лишь время от времени, чаевничали со мной и иногда даже выгуливали меня в соседнем Ричмондском парке. Маргарет была американка, но по зову души жила в Англии, где и дома-то собственного не имела — скиталась по друзьям и знакомым, присматривая за домом в их отсутствие. У нее не было ничего, кроме корзины с вещами и Томаса. Когда-то она училась пению в Дублине и мечтала спеть в России. Теперь же, когда выпадала возможность, зарабатывала трудом садовника, а по субботам продавала цветы в цветочном магазине неподалеку, на берегу круглого Барнсовского пруда. Если бы не знакомые и друзья, жить бы ей было негде. Но так она жила из принципа и сокрушалась только о том, что корзина с вещами опять переполнилась. «Опять обросла вещами», — говорила она. Я слушал ее и учился настоящему английскому.

Итак, я жил один в мансарде, писал на английском языке политическую статью по проблемам Татарстана, смотрел с третьего этажа в сад и видел, что этот сад обладал своей собственной философией, в которой и каждый бутон, и цветущая ветвь, и ноздреватые камни бордюра, и белые чашеобразные вазы, и витая океанская раковина в траве имели глубокий взаимообязывающий, сокровенный смысл и жили в Единстве, хоть и были отделены от остального мира замшелым кирпичным забором.

Я еще был поэтом и отдавал дань высокому штилю и наивно искал в мире стезю святящуюся, хотя под моими ногами были асфальт и брусчатка. Придуманный мной дервиш молчал, но в его молчании звучало: «Ногами нужно чувствовать живую землю, а сердцем — брата». А я еще пытался говорить там, где дервиш бы промолчал.

Что я делал, что писал тогда для души? Стихи не давались мне, вернее, я не давался им... Я начинал чувствовать, что Поэзия, которую я когда-то считал божественной и потому самодостаточной, есть лишь крошечная часть чего-то огромного.

Я ездил по Лондону на двухэтажных красных рейсовых автобусах и в метро, глазел по сторонам, заходил в музеи, стоял над Темзой и думал: что же дальше? Неужели и эта цель достигнута и оставит после себя только пустоту, которой я не умею распорядиться? И вот что написалось однажды вечером, в мансарде, за несколько дней до отъезда:

Мудрец свободен и в тюрьме. Не спорю, но сам я еще не сподобился такого просветления. Мне мешает моя тень: вот она плетется то спереди меня, то сбоку — в зависимости от источника света, и если идешь прямо на свет, кажется, что твоя тень исчезла. Ан нет — она просто спряталась

тебе за спину и не отстает. Поэтому единственный способ избавиться от нее — занять источник света в самом себе.

Шибко умно, как сказали бы рассудительные англичане. Но куда деваться от мыслей, когда тебя перевозит вагон английского метро? В Москве на самой глубокой, кольцевой, линии граждане углубляются в книги, чтобы спрятаться от самих себя и окружающих. В Лондоне читают, как правило, газеты. А те, кому нечего читать, рассеянно пялятся на рекламные плакаты или смотрят на темные отражения самих себя в стеклах вагона и тоже прячутся в самих себя.

И перемещаешься в этом иллюзорном пространстве своего одиночества, перемещаешься по собственной жизни от станции к станции. Спустишься в метро на «Киевской»-кольцевой, а выйдешь если не на франкфуртской Констаблервахе или мюнхенской Мариенплац, то уж наверняка у Вестминстера — и не заметишь в себе никакой перемены. Всякий сам себе Вергилий в этой сообщающейся и паукообразной всемирной подземке, где теряется всякое школьное представление о географии, где за два фунта тридцать пенсов (по ценам 1991 года) можно загнать себя в бутылку Клейна и в геометрию Лобачевского. Здесь нет ничего, кроме отнимающего жизнь времени, но и оно играет с тобой в странные шутки. А что, если вагон вдруг остановится в этой тьме, не доехав до станции? Что, если эта ненадежная, на одном-единственном тросе висящая кабина фуникулера, которая перевозит тебя через тьму и пропасть существования, вдруг зависнет над бездной? Со мной случалось такое в Москве. И вот она, метаморфоза жизни, преображенной в житие: все читатели и философы подземки, потеряв чувство движения, внезапно осознают, что их поймали в какую-то крысоловку, глубоко зарытую в землю. Они внезапно понимают, что находятся уже не в своей собственной жизненной ловушке, где худо-бедно и буднично обжились и попривыкли, но в какой-то совсем другой, где их вкуче с помноженным на количество пассажиров эгоизмом настигло Неожиданное.

И все эти случайные попутчики, которым за секунду до этой внезапной и страшной остановки никакого дела не было друг до друга, вдруг постигают, что теперь они — общность, насмерть спаянная ожиданием общей беды, — так переживают внезапную потерю движения в Москве. В лондонском же неглубоком метро происходит другое: увидит какой-нибудь нервный клерк спортивную сумку, стоящую в вагоне вроде бы без прищмотра, и задрожавшим опасливым голосом спросит: чье это? Потому как если ничье, то это наверняка бомба, адская машина ольстерского или иного какого происхождения, смотря по политическому сезону. И, как и в Москве, при всякой вагонной неожиданности выглядывает из каждого человека заспанная душа и начинает, озираясь, спрашивать: как, ребята, и вы все тоже тут? что делать-то будем? страшно же!

А что, если все эти экстремальные ситуации нужны нам, чтобы понять, что мы все — в одной ловушке? И разве не предупреждали нас поэты и пророки, что так оно и есть, как ни мудрствуй и как ни прячься в свое собственное наполовину придуманное «я»? А поскольку в Лондоне глас пророка услышать трудно, то поэты оказались изобретательными и придумали «поэзию подземки». Это попытка разбудить человеческую душу хотя бы поэзией, отдельными короткими стихами на белых плакатных листах, расклеенных между лживыми рекламками, объявлениями и призывами не вандалничать и не класть ноги на сиденья. Оторвешь глаза от собственного темного отражения — и скользнет твой взгляд по таким, например, стихам:

Я талдычу вам повесть скитальца, все ту же,
что затеял давно: я — пацан, все в каком-то сарае,
я навек здесь забыт и потерян, и место мое,
где б я ни был, от века мне чуждо. В кармане
нездешние деньги, а то никаких, не те документы,
карта не этого города и разговорник

вчерашнего языка, билет в одну сторону
до следующей остановки и свод наставлений;
в вестибюле «Банко Бильбао»
темнокожая женщина сунет мне ключ и пакет,
название отеля, номер текущего счета,
эти первые буквы неизвестного мне алфавита...

(Кен Смит)

Или в другом вагоне последней, насквозь пустой подземки, идущей от Хитроу, где я однажды ехал вместе с каким-то полупьяным-получокнутым мужичком, который все старался обратить на себя мое внимание диким ревом и скверными гримасами и при этом обзывал меня почему-то Джеком Лондоном и брызгал слюной, я прочитал над окном стихотворение Кольриджа:

Мороз вершит свой сокровенный труд
в безветрии полнейшем. Крик совенка
так громок — чу, и вновь — как прежде, громок.
Мое семейство отошло ко сну,
и я совсем один, что так созвучно
сокрытым думам: разве только рядом
малыш мой в колыбели дышит мирно.
И вправду — тишь. Такая, что мешает,
смущая мысль мою своим предельным,
чужим безмолвьем. Море, лес, холмы
и край наш людной! Лес, холмы и море
с бесчисленными данностями жизни
неслышимы, как сны!⁴

Блик, лучик поднебесного света, солнечный зайчик в смутные твои думы. Паутина лондонского метро, фаллопиевы трубы чрева города, по которым скользит и мчится в неизвестность какая-то еще не сбывшаяся возможность настоящего бытия, хотя бы иногда, о Господи, пронизанная светом и счастьем откровенной слезы. Так легко превратить поэзию в идол, не угадав в ней отраженного света, так легко стать наркоманом известности, когда, будучи на время отлученным от света прожекторов и от журнальных страниц, начинаешь терять человеческий облик от страшной и кромешной ломки честолубия, требующего ежедневной порции популярности.

Нет, уж если печататься, то в подземке. Я хочу быть рядом с кем-то, когда вагон остановится во тьме.

...Когда я вспоминаю, брат, как писал это четыре года назад, я понимаю, что во мне что-то происходило. При всем внешнем благополучии моего существования, при всей открытости мира на все четыре стороны, до самой Австралии, при знании языков, при визах в паспорте — я был на пороге потери самого себя. Моя жизнь себя исчерпала, та жизнь, в которой я писал стихи и придумывал дервишей, чтобы объяснить себе собственные метания. Тоска духовной смерти накачивала на меня, и только свет закатной японской вишни и облетающие ее лепестки намекали мне на возможность другой жизни. Но ведь и эта вишня в палисаднике на улице Элм Бэнк-Гарденс была декоративной и, значит, придуманной для украшения реальности.

Да, я и раньше догадывался, что та реальность, которую я считал настоящей и в которой жил с детства, на самом деле вторична. Но только путешествие по миру убедило меня: да, она вторична, и ждать от нее нечего, если жить ею одной.

И тут случилось чудо.

Однажды вечером, когда я смотрел по телевизору новости о продолжавшемся уже неделю мятеже заключенных в английской тюрьме Стрейндж-уэйз, раздался телефонный звонок. Трубку, конечно же, взяла оказавшаяся

⁴ Перевод стихотворений мой.

в доме Маргарет. Кто мог звонить мне? Кому я был нужен в этой стране? Это был английский звонок в английском доме по английским делам. Действительно, спрашивали хозяйку дома, но она была во Франции. В любых других обстоятельствах разговор был бы исчерпан. Но что-то заставило Маргарет сказать, что в доме есть гость из России. Никто ее об этом не спрашивал, и по английским правилам подобное недопустимо, неприлично. Потому я и считаю это чудом, которое случилось только потому, что должно было случиться. И меня вдруг пригласили к телефону! И Маргарет передала мне трубку! Человек на другом конце провода поинтересовался, откуда именно я приехал, и пригласил меня на следующий день посетить ахмадийскую мечеть. Мне ничего не говорило слово «ахмадийская», но всякий повод выбраться из дому был интересен, и я согласился.

Наутро за мной заехали и повезли в мечеть, которая оказалась неподалеку, в Патни. Первое, что я увидел там, был девиз Общины: «ЛЮБОВЬ КО ВСЕМ, НЕНАВИСТЬ — НИ К КОМУ». И с первого дня я так заинтересовался этим странным Исламом, что оставил все текущие дела и принялся за перевод ахмадийских книг, которые меня попросили перевести. Я встретился с Халифом Общины Мирзой Тахиром Ахмадом, проговорил с ним два часа и с изумлением обнаружил, что на мир мы смотрим почти одинаково. Я сразу втянулся в работу и начал учиться Исламу, еще не понимая, что учусь. Я все еще думал, что просто перевожу книги, но содержание их оказалось настолько ясным, поразительным и познавательным, что я скоро убедился: мое присутствие в Общине не случайно.

Лимит моего гостевания у Мари Броксап подходил к концу, но Халиф попросил меня задержаться в Англии, чтобы помочь Общине с переводами на русский. Мне сказали, что я могу пожить в Исламабаде, и я, естественно, подумал, что речь идет о пакистанском Исламабаде. Но оказалось, что речь идет о том самом ахмадийском участке английской земли, о котором ты уже знаешь. И я переехал из Барнса в этот суррейский Исламабад, совершенно еще не предчувствуя, что буду работать здесь месяцы и годы. Я еще мало что предчувствовал, но в этой тихой обители, с широким полем и старыми черными елями, стоящими между длинными деревянными домами, мне вдруг очень захотелось поработать.

За первую неделю в Исламабаде я перевел единым духом, почти без сна, четыре небольшие книжки по Исламу. Содержавшиеся в них притязания Общины все еще казались мне невероятными. Больше всего поразила меня твердая и уверенная убежденность, что весь мир в будущем станет исламским.

ЧТО-О-О?!

Незадолго до того я посмотрел по телевизору какой-то очередной художественный фильм про мусульманских террористов, один из которых, сидя за штурвалом захваченного «боинга», вещает, глядя на лежащую вокруг пустыню: «Пророк сказал, что в грядущем мире не будет ничего, кроме Ислама... Это будет прекрасно, как ветер пустыни, сметающий все лишнее на своем пути».

Неужели аскетизм Ислама, как суховей, снесет и уничтожит все наследие человечества, не отвечающее Исламу?! — подумал я тогда в своем невежестве, не понимая, что, если человек живет в духовной чистоте и умеет отличать добро от зла, он уже живет в Исламе, хотя и не осознает этого. И разве не преподала мне урок Турция, бережно сохранившая на своей территории наследие всех цивилизаций, начиная от античной? Но понять предстояло еще очень многое.

Община, в которую привело меня чудо, была Общиной меньшинства в Исламском мире. Более того, это была Община, которую остальной Исламский мир считает еретической, поэтому принадлежность к ней чревата многими осложнениями, и не только в каком-нибудь далеком от меня Пакистане, но и в родном отечестве, в дедовском татарском Исламе. Стоило ли идти против течения, если бы я не ощутил, что нашел то, что искал и ради чего можно пренебречь мнением всего остального мира?

Нельзя сказать, чтобы меня не мучил этот выбор. Но перед тем, как я вступил в Общину, в лесном английском Исламабаде мне приснился сон. Это было под утро, уже осенью, после прилета из Австралии, после того, как я уже начал молиться пять раз в день и многое знал об Ахмадийском учении. Это был странный и вещий сон.

Мне приснилось, что я молюсь на втором этаже казанской мечети Марджани. Там было много других людей, которые совершали сунну, то есть личную часть намаза, перед тем, как встать в ряды для совершения совместной молитвы. И вот я понимаю, что все люди молятся в сторону михраба⁵, то есть смотрят в том направлении, в каком положено им смотреть, а я один молюсь по направлению к витражному окну, из которого на меня проливается поток солнечного света. Я спрашиваю себя: почему я смотрю не туда, куда все остальные? И, во сне, понимаю: ах да, я ведь нахожусь в путешествии, поэтому мне, по правилам Ислама, можно смотреть туда, куда я еду, туда, откуда идет этот ослепительный свет.

Раздается зов на совместную молитву, и я встаю в ряд с другими и тут обнаруживаю, что — совершенно голый, только голова прикрыта. Но мне почему-то не стыдно. Словно я — младенец. Более того, пространство мечети какое-то причудливое, пересечено поверху галереями, на которых толпятся татарские старушки в белых платках. Но я не стыжусь и их. Одна мысль у меня в голове: как же я стою перед Аллахом совсем нагой?

Я рассказал Халифу об этом странном сне. И получил ответ, что никто не может надеяться заново родиться в вере и начать путь к Единству, пока не сбросит с себя все одежды прошлого и не предстанет перед Ним в скудости и наготе своего естества.

Так, во сне, я понял, что настала другая реальность, в которой нужно было не только родиться, но и научиться жить по-другому, заново, испукая проступки прошлого.

Ты скажешь: вольно же ему рассуждать об иной реальности, обращаясь к людям, для которых не существует другой реальности, кроме их собственной. У которых нет другого мира, кроме того, в котором они уже набили себе шишек и как-то обжились. Они, как и ты, скажут, что я принимаю за чудеса простые совпадения, и я не хочу убеждать их в обратном. Если бы я перечислял в этой книге все так называемые совпадения, в которых я теперь вижу дорожные знаки моего пути, ты подумал бы, что я хочу убедить тебя чудесами. Нет, не хочу.

С тех пор как я решил ступить на путь, которым сейчас, как мне верится, иду вместе со всей Ахмадийской Мусульманской Общиной, на который зову и тебя, и всех людей, не утративших еще души, вся моя жизнь состоит из так называемых *совпадений*.

8

«Я ТАЩИЛ ТЕБЯ НА СЕБЕ»

Я вылетал в Индию из лондонского аэропорта Гатвик в ночь под католическое Рождество. Гатвик поновее Хитроу и намного больше: между его внутренними аэровокзалами ходит монорельсовый поезд с просторными вагонами. Отсюда вылетают во все концы света; в Австралию я летел тоже отсюда. Сам понимаешь, что иммиграционная, то есть пограничная, служба в Гатвике весьма многочисленна.

И вот приключения мои начались с того, что иммиграционный служащий, поглядев на мой желтый выездной листок, который обязаны заполнять перед отлетом из Англии все пассажиры с «прочими» паспортами, вдруг спросил:

⁵ М и х р а б — ниша в стене, обращенной в сторону Мекки, обозначающая направление, в котором обращены лица молящихся.

— Вы — ахмади?

Очень странный это был вопрос для иммиграционного служащего, который вправе спросить о чем угодно, кроме, вообще-то говоря, вероисповеданий! Но уж если спросили, я ответил, что да, я ахмади.

— Я тоже ахмади, — смущенно улыбаясь, произнес он.

Это было неслыханно! Встретить собрата в иммиграционной службе, наверняка единственного среди тысяч и тысяч ее служащих, да и встретить не просто так, а вылетая в Дели — Кадиян на ахмадийское столетие! Назови это совпадением. Отдавая мне паспорт, он сказал:

— По-хорошему завидую вам. Вспомните меня в своей молитве в Кадияне. Салам алейкум!

— Салам алейкум ва рахматулла! — попрощался и я, все еще не веря, что такое совпадение может произойти наяву. Но с той самой минуты я уже знал, что путешествие мое сложится наилучшим образом, и после, мчась в такси через пенджабскую ночь, чреватую выстрелами и минами, я знал, что не погибну, и знал это наверняка.

В «боинге», на борту которого я девять часов летел в Дели, произошло еще одно совпадение: моим соседом оказался еще один ахмади — господин Наим, впоследствии ставший моим добрым другом.

Расскажу тебе притчу, услышанную в том полете от господина Наима.

Приснился одному человеку сон, что идет он рядом с Господом по пустынному песчаному берегу моря, и проходят перед его взором картины его прошлой жизни. И вот посмотрел человек назад — и видит, что тянется за ними по песку двойная цепочка следов: одни следы — его собственные, другие следы — Господа его.

И, сопоставляя с этими следами картины своей смертной жизни, убедился человек, что в самые отчаянные, тяжкие, безысходные часы, дни, месяцы и годы его свершившегося бытия двойная цепочка следов превращается в одинарную и второй след исчезает. И возопил человек к Богу:

— Что же это, Господи! — зарыдал он. — Когда мне бывало хорошо, Ты всегда был рядом со мною, а когда постигала меня беда и отчаяние, Тебя не было рядом! Где же справедливость Твоя!

— Бедный сын мой, — тихо ответил ему Господь, — в эти минуты, дни, месяцы и годы я ведь тащил тебя на Себе.

Итак, брат, я опять летел куда-то и опять на «боинге» авиакомпании «Бритиш эйруэйз». Летать-то на большие расстояния нам с тобой не в ди-ковинку, летали мы и в Магадан, и в Петропавловск-Камчатский. Полеты — дело привычное, как привычно и то, что, летя на восток, долгие часы наблюдаешь в иллюминатор наступление рассвета. Все вокруг спят или дремлют, а ты глядишь в багровеющее небо и думаешь о том, что такое время, особенно если летишь в завтра... Редко промерцают под крылом огни города, словно брошенное и остывающее кострище, земля внизу темна и таинственна, словно и не родина это, а неведомая планета.

Часто, впрочем, бывало и так, что под крылом самолета расстилался безбрежный океан, а мерцающие внизу города назывались действительно как инопланетные: Бангкок, Куала-Лумпур, Тайбэй. Но ощущение от дальнего перелета на восток всегда одно и то же: долгое, бесконечно долгое наступление зари.

9

ГДЕ ЖЕ ИНДИЯ СКАЗОК?

Мой друг господин Наим перед посадкой в Дели предупредил меня, чтобы я нечаянно не вздумал в Индии тронуть корову или отогнать ее. Иначе будет плохо, добавил он.

Однако по пути из аэропорта Индиры Ганди в делийский район Туглакабад из окна разбитого и дребезжащего такси я таки увидел, как один индус замахнулся палкой на тощую и горбатую корову и отогнал ее от

своего деревянного лотка на колесах, хотя по всем законам индуизма обязан был с благоговением наблюдать, как эта коровенка поедает его фрукты. Увы, священные коровы постоянно голодны, ибо нищии и никто их по-хозяйски не кормит. Животные слоняются по всему городу, лежат на проезжей части дорог, но в основном все же бродят по городским помойкам, разыскивая пищевые очистки и отбросы, а если таковых нет, то жуют с голодухи ветошь и бумагу — я наблюдал это в Индии не один раз.

Вообще по прилете в Дели начались потрясения. Я оказался потрясенным до такой степени, что почти весь первый день ехал по Индии с закрытыми глазами: такая отвратительная и неопрятная была нищета, что, поверь, я не мог на это смотреть, я не мог видеть это — глаза поневоле слезились.

...Мальчонка-старичок, профессиональный нищий, на первом же светофоре прилип к стеклу нашего такси и заголосил, заканючил, заныл, и его личико, изможденное, морщинистое и старое, с натянутой на скулах кожей, заострившимся носом и нездорово блестящими карими глазами, потрясло меня. Он был с головой закутан в пыльный коричневый платок, бос, кожа да кости. Он терся вокруг машины, попавшей в транспортную пробку, довольно долго. Когда шофер, донятый его назойливым попрошайничеством, решил припугнуть его, мальчонка привычно завыл и прикрылся от удара, которого, по крайней мере на этот раз, не последовало. «Не давайте ему ничего, — предупредил шофер, — иначе вокруг нас соберется тысяча, и тогда вообще не проедем».

Наконец пробка рассосалась, и нищий мальчишка остался позади. Но, брат, и дальше были нищие, нищие, нищие, пыльные, грязные, со свалывшимися волосами, одетые в какую-то ветошь и обитающие прямо на мостовой или в низеньких тентах, пропитанных сальной нечистотой столетий. Меня поразили и лавки, и уличные забегаловки, похожие на трущобные и тем не менее вполне обжитые; мне, только что прилетевшему из Англии «джентльмену», казалось, что в эти темные и сумрачные, на скорую руку побеленные известкой пещеры и зайти-то боязно, не то чтобы купить или съест там что-нибудь!

В первый день Индия была поразительно однообразна в своем бытовом неблагообразии, потому что мы поехали круглым путем и не увидели помпезного центра Дели. «Я не брезглив, — думал я про себя, — но даже для меня такое — чересчур: эта грязь, эти копошащиеся, как земные черви на пригревающем солнце, или, как мухи, роящиеся люди... Неужели же можно так жить?!»

А теперь вот что я скажу, брат: мне мучительно, до отвращения к себе стыдно за то брезгливое высокомерие. Теперь-то, после Кадиана, я знаю, что это и есть то реальное бытие, в котором существует подавляющее большинство людей на нашей планете. Всех, кто в нашем отечестве считает себя нищим — даже сегодня, при кажущемся конечном разорении, — я бы отправил хоть на день в Индию за государственный счет. И это бы оправдало себя, потому что совестливые люди перестали бы впадать в отчаяние и считать себя обманутыми.

Ведь человек впадает в отчаяние только потому, что убежден: ему, именно ему, — недодано. Ему кажется, что все остальное человечество живет припеваючи, а вот он — мается. Наша беда в том, что мы сгораем на яростном огне желаний, которые подогреваются фальшивой рекламой и фальшивыми представлениями о том, как живет мир. Отсюда и психоз, и ощущение обделенности. Заметь: человек никогда не психует, если добивается необходимого. Он начинает психовать, когда возжелает того, без чего, в принципе, может и обойтись. Мир в своей реальности — нелицеприятная вещь, и вся обширная Северная Индия — это и есть такие вот лавки-пещеры и лотки со снедью, питающие сотни миллионов людей в зимнем нездоровом, резкого болотного запаха тумане.

Прошло, однако, некоторое время, прежде чем я стал различать людей в серой массе народонаселения; прежде чем начал видеть в толпе лица, глаза и улыбки таких же в точности созданий, как ты и я. Я винюсь перед

Индией за невольно испытанное мною чувство превосходства, от которого так близко до презрения. Я не имел на это никакого — понимаешь, совершенно никакого — права. *Люди*, обитающие в низких, в три погребели, глиняных мазанках, залатанных всякой ветошью, не виноваты в главном — в том, что они родились и живут. Впоследствии при виде красных остывающих кораллов в витрине возле торгового венецианского моста Риальто мне все вспоминался тот эбеново-черный и почти нагой нищий, которого я встретил у вокзала в Бенаресе, священном городе на Ганге, намного более древнем и тесном, чем даже набитая туристами Венеция. Лежавший на самой дороге у привокзальных ступеней, он казался мертвым — кожа да кости, страдальчески раскрытый рот, свалывшиеся, в пыли, смоляные курчавые волосы. И черный рой мух отлетел от него, когда мы прошли мимо. Я осторожно спросил, жив ли он, и мне ответили, что — ничего, живой. Это был нищенствующий монах-садху. Он лег здесь, наверное, еще перед рассветом, в одиночестве, и теперь спал на набравшем силу солнцепеке посреди суетливой вокзальной толпы так, как будто был один во всей вселенной. Да так оно и было. Для него.

Се — человек.

Таким же в точности людям Иисус, мир да пребудет с Ним, мыл ноги; а нам, замирающим в восхищении перед изображением Страстей Христовых в залах Эрмитажа или музея Коррер в Венеции, уже и не понять и не осмыслить этого естественного сострадания...

Так, в смуте нехороших мыслей и нарастающего разочарования, я и доехал до делийского района Туглакабад, и ничто почти не задержало на себе затосковавшего взгляда, кроме огромной статуи Будды на голом каменистом холме по пути из аэропорта. Помню еще, впрочем, промелькнувшую огромную туглакабадскую крепость, наследие былого мусульманского величия Индии.

От Дели до Кадиана, в общем-то, недалеко — как от Москвы до Казани, километров восемьсот. Но нам нужно было поспеть туда к утру, к началу праздника, и мы, с помощью Мансура, решили взять такси, скинувшись по сто долларов с носа. Но трудность была не в деньгах, хотя и немалых. Никто не соглашался ехать, поскольку большая половина пути пролегла по ночному Пенджабу.

В поведении таксистов был свой резон: в Пенджаб и дальше, в Дхамму и Кашмир, европейцев не особенно пускают — для ахмадийского праздника сделали знаменательное исключение. Но при этом индийские власти, конечно же, не предполагали, им в голову не приходило, что кто-то окажется настолько безрассудным, чтобы отправиться в зону чрезвычайного положения на такси, да еще на ночь глядя. Поэтому опытные делийские таксисты и смотрели на нас как на сумасбродов. Однако сумма была притягательна, и после каких-то двух часов, ушедших на уговоры бородатых водителей в синих сикхских чалмах, мы таки двинулись в путь, бисмилла ир-Рахман ир-Рахим.

Шоссе, по которому мы отправились из Нью-Дели в Пенджаб, — это северный отрезок Великого Магистрального Пути, столбовой дороги, история которой начинается аж в IV веке до нашей эры, когда император Кандрагупта построил проезжий тракт на северо-запад из своей столицы, города Паталипутра. Этот тракт, за состоянием которого следили специальные чиновники, был снабжен постоянными дворами и уже тогда имел дренажные откосы для стока дождевой воды. Впоследствии, уже в середине XVIII века, британцы усовершенствовали и удлинили эту стратегическую транспортную артерию Индии, связав с ее помощью Северный Пешавар с Южной Калькуттой.

Многое видела эта дорога. По ней двигались войска бесконечных завоевателей — от арийцев до моголов, но путь этот был и путем паломников, поскольку соединил величайшие святыни Индии: Амритсар с его Золотым Храмом, Курукшетру — место священной битвы Пандавы, запечатленной в Бхагавадгите, Вриндаван и Матхура, где, по преданиям, родился

бог Кришна, а далее — Агра с Тадж-Махалом, Бенарес с его тысячей храмов и Сарнат, место первой проповеди Будды, и, наконец, Гайю, где получил свое просветление Будда, тогда еще странствующий царевич Шакьямуни.

Я уже, кажется, говорил тебе, брат, что меня с самого начала индийского путешествия мало что тревожило. Не беспокоили меня ни террористы, ни пенджабские пули, пущенные при посредстве приборов ночного видения. Я помнил о добром напутственном знаке в аэропорту Гатвик и говорил себе: разве мало человеку того знания, что не бывает случайной смерти? И что смерти вообще не бывает? Бывает только боль. Бывает печаль утраты, тоска по свежести детских и юношеских ощущений и чувств, которая уже не вернется к нам. Уходит, откатывается назад, исчезает. Исчезает и боль, и память о ней. И сейчас, глядя назад, на свои индийские странствия, я тоскую о том, что никогда уже не увижу свою Индию теми моими глазами.

Итак, мы ехали в Пенджаб, и, как я уже с трудом признался тебе, брат, по дороге, покуда было еще светло, меня разбирало тоскливое разочарование.

ДА ЧТО ЖЕ ЭТО ТАКОЕ! — возмущалось и кричало мое воображение. Где же Индия сказок, Голконды и Моголов, где, наконец, Индия Будды?! Неужели все это — только придумки досужих умов и коварная реклама для приманки простодушных туристов? Неужели вся тайна Индии — это то самое и одно-единственное исполинское каменное изваяние Бодисатвы, восседавшее на голой скале рядом с развалинами средневековой могольской мечети, которое я успел мельком углядеть по дороге из аэропорта?

Ведь все остальное — это скопище нищих всех возрастов, облепляющих машину на каждом светофоре; это коровы, серые костлявые зебу, откровенно бродящие повсюду; это помойки, по которым слоняются черные длиннорылые свиньи, скверного обличья, со скверной ухмылкой, и птицы, едящие на них верхом, прямо на волосатых спинах, и черные юркие поросята, и собаки, сонные, как коровы, и опять коровы, поджарые с голдухи, как собаки.

Черные и разноцветные знаки неведомого языка хинди; повсеместные огромные рукописные надписи на домах и заборах, странные, чужие, но невероятно похожие на надписи других широт — те распыленные из пульверизатора «граффити», что изукрасили все свободные стены, а заодно и поезда европейских электричек. Но мы уже въезжали в ночь.

Ехать стало опасно и без всякого терроризма: встречные грузовики, украшенные, словно боевые слоны, узорными золочеными чепраками, сверкающей мишурой и разноцветными кистями, ослепляли нас фарами на узкой дороге и мчались с диким ревом клаксонов и сирен — в Индии звуковые сигналы не запрещены и даже поощряются. Вот они и гудели — так, что с непривычки уши закладывало. Вдоль шоссе нам то и дело попадались перевернувшиеся вверх брюхом грузовики — странно было бы, если бы их не было...

Но чем дальше в ночь, тем меньше становилось машин. Мы были уже в Пенджабе. Я отчетливо помню свое первое приятное впечатление в Индии: перед двухэтажным мотелем, где мы наконец-то решились что-то съесть, была настоящая булыжная мостовая, только что оплеснутая водой и отражавшая свет фонарей.

Эта придорожная пенджабская харчевня оказалась и впрямь опрятной, и мы славно перекусили. Был горячий, вкусный, испеченный в глиняном тандыре нан — хлеб в виде круглых лепешек, свежие, с пылу, с жару, рути — тоже лепешки, но продолговатые, местная рыба в соусе керри, ужас как наперченный салат из крупно нарезанных помидоров, огурцов и редьки и, наконец, обжигающе горячий чай с молоком. Сидя за столом в этом гостеприимном мотеле, я обратил внимание, что вокруг много вооруженных людей — рослых бородачей явно служилого вида. Наши водители-

сикхи были расположены еще понежиться в тепле и безопасности, но путь предстоял длинный, и мы двинулись дальше.

Ездить по Пенджабу ночью, как я уже говорил, никто не советует, и машин становилось все меньше и меньше, и вскоре мы остались совсем одни в наших четырех такси, которые на отчаянной скорости разрывали в клочья зимний туман. Иногда проскальзывали за бортом полуосвещенные придорожные селения, и смотреть на них было грустно и скучно, такие они были однообразные. Я то задремывал, то просыпался в тоске «поэтического разочарования». Вдруг машина притормозила, шофер объявил, что пора выпить чаю: на часах было около двух ночи. Моя бы воля — я бы поехал дальше, но спорить не приходилось.

Мы остановились у крохотной придорожной чайной, она же — постоянный двор для водителей на дальних перегонах. Люди спали на низких плетеных нарах, с головой завернувшись в пропыленные и засаленные одеяла, тут же, под навесом, где на гудящей каменной плите кипятились длинноносые и закопченные жестяные чайники. Слоновье стадо грузовиков отдыхало поодаль.

Чай, заправленный молоком, оказался неожиданно вкусным, и ощущение чего-то воистину человеческого от этого нечаянного пристанища не сумела испортить даже любознательная крыса, время от времени выглядывавшая из щели между газовыми баллонами за спиной продавца. Постояльцы пережидали здесь страшную ночь, и за те четверть часа, что мы провели наслаждаясь чаем, только одна-единственная и притом легковая машина прошумела мимо нас в ту сторону, куда вскоре отправились и мы.

Я навсегда запомню это: стакан чаю, раскаленный очаг и скорбный уют шоферской ночлежки. Запомню потому, что все это могло быть последним, что я видел в жизни. Стакан чаю и зрелище с участием крысы спасли нам жизнь. По милости Аллаха. Я ехал в головной машине нашего ночного кортежа, когда, минут через двадцать, увидел занесенную боком в кювет и вдребезги расстрелянную из автоматов машину — ту самую, что недавно проскочила мимо нас во тьму. Один человек, который, видимо, вылетел в распахнувшуюся дверцу, лежал на мокром от туманной росы шоссе. Другой, водитель в синей сикхской чалме, сидел уткнувшись лицом в руль. В машине еще горел свет, но эти двое были мертвы.

Наш шофер явно занервничал. Он осторожно объехал распластанное на дороге тело и потрудился выжать из машины все, чтобы поскорей миновать злосчастное место. Мы ни о чем не спрашивали.

Впоследствии газеты написали, конечно, и об этом ночном убийстве. Но в ту ночь обращаться к властям не имело смысла, потому что это была пенджабская ночь, когда мятежный штат управляется только с помощью прицела ночного видения.

Чума в мире... О чуме я думал, пока перепуганный шофер вез нас все глубже в пенджабскую ночь. Быть может, причиной тому была и крыса, которая после трупов на шоссе лишилась своего даррелловского очарования.

В чуме самое страшное то, что за всю историю человечества никто и никогда не умел объяснить, отчего возникали ее эпидемии и пандемии. Чума возникала внезапно и внезапно прекращалась. Чума свирепствовала годами, десятилетиями, веками, унося миллионы жизней. Ее считали проявлением Божьего гнева — других объяснений не было. Нет и сейчас.

Чума в мире, брат. Чума мысли, чума чувств, чума бесчувствия.

Я никогда не читал ничего более страшного, чем ежедневные индийские газеты. На каждой странице — сообщения о гибели людей во всех концах Индии десятками и сотнями.

Кровавое и бессмысленное противостояние, которое мы видим повсюду в мире, не поддается никакому логическому объяснению. Национализм, разгулом которого пытаются объяснить чумное безумие распрей и усобиц в Индии, на Цейлоне, в Югославии, в Нагорном Карабахе, в Чечне, сам

по себе ничего не объясняет. Мыслящие люди встали в тупик перед неистовством человеческого бездушия.

Благодушен или слеп тот, кто думает, что чума эта — принадлежность только Третьего мира?

Чума мысли, развалившая и повергнувшая в прах одну супердержаву, не щадит и другой. Советский Союз пал, и чумной ветер гуляет по его развалинам. Но посмотри, что творится с Америкой! Под лоском внешне-го благополучия зреют и прорываются язвы немарксистского происхождения. Весь западный мир, о загнивании которого так упорно говорили большевики, потрясает сегодняшних неолевыхиков своей внезапно возникшей нестабильностью совершенно непредсказуемого свойства. Сейчас эта нестабильность касается в основном кармана, но есть и другие ее проявления, гораздо более тревожные и, если вдуматься, страшные.

10

КРАЙ ПЯТИ ВОД

Мы продолжали свой путь по ночному шоссе. Шофер включил освещение в салоне, чтобы была видна его синяя сикхская чалма, и мы некоторое время ехали, облегчая работу ночным стрелкам. Но разве спасла такая же точно чалма того несчастного водителя, который остался позади, в кромешной тьме, в развернутой боком машине на туманном шоссе?

Вскоре, однако, шофер наш остановил машину у обочины, дождался своих поделщиков, и они, посоветовавшись, наотрез отказались ехать дальше, пока не наступит рассвет.

Мы, как выяснилось, были в тот заутренний час недалеко от старинной сикхской деревни Дера-Бала, и здесь-то, миновав темные улицы и закоулки и попав в самые сокровенные недра этого древнего поселения, мы и остались до утра — у самых ступеней огромного, ослепительно белого храма.

В этом удивительном и предельно таинственном месте, куда бы я, конечно, ни за какие деньги и ни при каких знакомствах не попал в других обстоятельствах, и началось мое собственное активное изучение великих индийских религий, о которых я, еще до приезда в Индию, задумал написать нечто вроде сравнительного исследования. С этого самого первого дня вещь сила, словно бы одобряя мое намерение, подхватила меня и принялась показывать и объяснять мне то, чего бы я вовеки не увидел и не узнал, если бы двигало мной лишь праздное любопытство туриста. Эта осязаемая помощь и поддержка чего-то незримого, но всемогущего была абсолютно реальна, серьезна и непридуманна, брат; она была так же реальна, как и мое тоскливое желание опрятности и чистоты, как та будничная смерть на дороге.

Меня окружал словно бы в далеких веках уснувший, угрюмо-молчаливый поселок с лежащими крест-накрест туманными, сырыми и немощными улицами, со слепыми окнами, забранными толстыми железными решетками, с наглухо запертыми деревянными дверьми домов и торговых лавок. Но посреди него, в самом сердце этого спящего царства, восходил к звездному небу сказочный, поистине исполинских размеров храм — сахарно-белая, снежно-ледяная, искрящаяся, театрально подсвеченная снизу лучами прожекторов сикхская гурдвара, у которой обрывалась земляная, пыльная, в рытвинах и колдобинах улица.

Этот колоссальный недавно построенный храм покоился на обширном, выложенном мраморными плитами с узорно-цветочной инкрустацией пьедестале, и рядом с основным строением с того же пьедестала устремлялась в небеса высокая отдельно стоящая башня, напоминающая минарет. Эта башня, как с гордостью поведали нам наши водители, была возведена над заповедной зарешеченной ямой, где в самозаточении и отрешении от мира провел 22 года, 5 месяцев, 9 дней и 7 часов Девятый

Гуру сикхской религии. На пьедестал вела широкая мраморная лестница, на которую можно было ступить, только пройдя босыми ногами через прямоугольный каменный ставок с проточной, доходящей до щиколоток ледяной водой.

Здесь, у подножия храма, в предутреннее зябкое время, мы и расположились, чтобы переждать убийственную ночь. Наш кортеж из четырех машин индийского производства, где помимо уже известного тебе господина Наима и меня находились верховный судья Ганы с сопровождавшим его дипломатическим чиновником, египтянка Маха Даббус в широком черном бурнусе, один норвежский ахмади и еще несколько человек, направлявшихся вместе с нами в Кадиян, производил на ночной покойной улице сикхского поселка, надо думать, неуместное впечатление. Во всяком случае, закутанные в белое босые стражи храма, в накрученных чалмах, со средневековыми кинжалами за поясом и деревянными копьями, с широкими секирными лезвиями в руках, косились на нас хотя и без прямой угрозы, но очень и очень неприветливо. Так мы с господином Наимом, упомянутым норвежским ахмади и сотрудником британской ахмадийской миссии господином Мубараком и ежились от предрассветного холода в головной машине, обмениваясь впечатлениями от увиденного.

Пенджаб, «Край Пяти Вод», отгороженный от всего остального мира своей отдаленностью, своеобычностью нравов и верований, Гималаями, беспокойной пакистанской границей и кровавым чрезвычайным положением, предстал передо мной одною из самых своих сокровенных святынь, предстал в виде заповедной глухомани, попасть в которую и мечтать-то трудно любому исследователю, а я сидел в кабине делийского такси, как некий пришелец в собственной тарелке, и не решался высунуть носа на улицу, потому что, как и все, полагал, что нос этот тотчас и отрежут ярые стражи священной гурдвары.

«Не вздумайте закурить! — нервно прошептал кто-то в сумеречной тьме кабины. — Они свирепые люди и не потерпят никакого кощунства». Это правда, сикхи не выносят табачного дыма и запаха. По чести сказать, не одобряет этой вредной привычки и Ислам, и курящих среди нас были несчастные единицы.

Отсидеться нам, однако, не удалось. К машине вдруг подошли два человека и, властно распахнув дверцу, стали что-то говорить на пенджаби нашему водителю. Я не понимал, о чем идет речь, но по всему догадывался, что подошедшие — либо местные жрецы, либо охранители храма. По слову этих двоих все беспрекословно вышли из машины. Вышел и я, готовый к неожиданностям, но никакой боязни; как это ни странно, во мне не было. И действительно, оказалось, что эти непонятные, одетые в белое чернобородые и такие свирепые на вид люди, узнав, что мы держим путь в Кадиян, просто пригласили нас посетить храм, выказывая таким образом уважение посланцам Ахмадийской Мусульманской Общины.

Уважение уважением, но ты ведь знаешь, брат, как нелегко быть гостем, если тебе неизвестно, каким именно словом, жестом или вопросом ты способен насмерть обидеть хозяина. Обычай сикхов никому из нас не были известны в достаточной степени, потому что вся экскурсия в храм составила из людей либо никогда не бывавших в Индии, либо проживших в Европе настолько долго, чтобы отвыкнуть от своеобразия пенджабских традиций. Так или иначе, я следовал общему примеру. Нас очень настоятельно попросили снять обувь и тщательно вымыть ноги под ледяной струей в особом месте, отведенном для омовения. Только тогда, пройдя через ставок с проточной водой, мы ступили на лестницу, широким маршем восходящую на мраморную площадку перед входом в храм. В Исламе омовение — тоже существенная часть веры, и все это было понятно нам, мусульманам. Правда, здесь обувь снималась уже на самих подступах к храму.

Земля была очень холодная, мрамор тоже. Ясное дело, в Индии почти всегда жарко, и прохлада мрамора под ногами в жару — дело приятное и

даже необходимое. Но мы-то попали туда в самое холодное и сырое время года, и не так уж далек Пенджаб от гималайских и кашмирских горных льдов и снегов. В общем, ноги заломило от холода, пока мы обходили священные пределы храма, и я с невольным состраданием смотрел на маленькую девочку, которая босичком топала по цветному мраморному полу, помогая таким образом матери наводить в храме чистоту. Мать ее была в ниспадающем черном платке, и на боку у нее, на узорном наборном металлическом поясе, висел небольшой кинжал. Уборка в храме начинается задолго до рассвета, и все сходящиеся на молитву принимают в ней участие. Наши водители тоже рьяно включились в работу, сметая влажными тряпками с пола невидимые пылинки и цветочные лепестки, осыпавшиеся с гирлянд, ежедневно приносимых на алтарь.

Внутреннее убранство гурдвары белизной и скромностью очень напоминало мечеть, с одной только существенной разницей: на мраморных ее стенах располагались фрески со сценами из жития основателя сикхизма Гуру Бабы Нанака. В центре, под самым куполом храма, под шелковым расшитым балдахином находился огороженный резной деревянной решеткой алтарь, который представлял из себя сундук, весь увитый свежими цветочными гирляндами.

В сундуке этом таился список Священного Писания сикхов — Гуру Грант Сахиб. В сопровождении внимательных жрецов мы обошли алтарь, сделав полный круг. Потом бродили босиком по холодному влажному мраморному полу, рассматривая довольно примитивные фрески, и я задрал было голову, чтобы разглядеть цветочные орнаменты на потолке, как вдруг один из монахов за моей спиной ударил в барабан, словно выстрелил из базуки, да так, что я от неожиданности подпрыгнул как ужаленный.

Оказалось, что этот барабанный бой был первым из призывов к утренней молитве. Под надзором все тех же жрецов через боковую дверь храма мы прошли в башню, где было почти совсем темно и пахло благовонными курениями. В центре башни было устроено нечто вроде беседки над круглым зарешеченным отверстием в полу. Монахи, сидя полукругом при оранжевом свете свечей, нараспев читали священные тексты. Здесь, под этой круглой решеткой, и находился колодец, где некогда заточил себя Гуру, чтобы в одиночестве познать истину. Чтение священных текстов происходит здесь циклами, и каждый цикл должен завершиться через четырнадцать дней.

Святой, проживший остаток своих дней в колодце в отрешении от мира и его страстей! Как было не вспомнить, брат, в ту минуту раннюю весну в оттаивающих южноказахстанских степях, когда я в городе Туркестане впервые воочию увидел священный мавзолей великого тюркского святого суфия и поэта-мистика Ходжи Ахмеда Яссави.

Мавзолей Яссави, строительство которого было начато еще Тамерланом, поистине величествен, хотя и не так известен и знаменит, как архитектурные жемчужины Бухары и Самарканда. Колоссальное здание его возведено над земляным колодцем, в который снизошел в свои шестьдесят три года великий святой, не пожелавший бродить по земле дольше, чем это было суждено Святому Пророку Мухаммаду. Туда, в добровольное заточение, святому опускали скудную пищу и воду, там его и похоронили, когда пришел срок. В Южном Казахстане говорят, что прийти к этой могиле — все равно что совершить малый Хадж. Это, конечно, местный предрассудок, как и то, что у могилы святого просители возносят молитвы, тем самым упрашивая его стать посредником между ними и Аллахом.

Святой Пророк запретил мусульманам молиться у могил святых, и самым страшным его предсмертным кошмаром, как повествуют свидетели, было опасение, что и его могилу рьяные верующие превратят в место поклонения, тем самым великие труды и подвижничество Святого Пророка было бы сведено к очередному обожествованию человека, вопреки неоспоримому Единству Аллаха, и пророческая жизнь его оказалась бы напрас-

ной. Аллах уберег его от этого позора. Никто никогда не смел молиться у простой могилы Святого Пророка. Не смеет и сейчас.

По возвращении в основное здание нам постелили в углу сложенный вдвое ковер, чтобы мы могли передохнуть. Здесь я выяснил у одного из наших водителей, как раз завершившего свое участие в наведении чистоты, что всякий путник, кто бы он ни был, может найти в сикхской гурдваре приют на три дня и будет в эти три дня сыт. Такой обычаем повелся, оказывается, со времен Третьего Гуру Амар Даса, который и учредил общественные кухни, где за счет местного прихода могли питаться сикхи различных каст. Подобный вызов кастовым традициям укреплял религиозное и этническое единение общины сикхов. Любые путники, к какой бы вере они ни принадлежали, могут становиться желанными гостями, но только на три дня, что вполне логично: в мире, не говоря уже о наводненной профессиональными нищими Индии, слишком много желающих кормиться за чужой счет.

Нас же после посиделок на ковре вывели из храма и все так же босиком повели куда-то через узкие проходы и закоулки, и следом за нами шел сикх со страшноватым копьём времен восстания сипаев. В конце концов мы попали в темное, напоминающее пещеру помещение, посреди которого горел открытый огонь, вокруг него сидели местные монахи. Мы по приглашению уселись на толстые, похожие на слоновьи бивни сухие сучья напротив полуобнаженного, чрезвычайно внушительного монаха, на голом лбу которого мерцали отсветы пламени. Он налил нам чаю в высокие, обжигавшие пальцы дюралевые стаканы, и нам тут же захотелось поставить их на земляной пол, но мы постарались стерпеть и не выказать неуважения: так мы и сидели во всеобщем молчании, пили чай и мельком разглядывали озаренные огнем костра полуголые фигуры.

Торжественное чаепитие закончилось, как только зазвучала над поселком музыка, прерываемая речитативами священных текстов. Нас отвели назад к машинам, и люди, со всех концов деревни сходящиеся на молитву, недоуменно и настороженно разглядывали нас.

Запомни меня, брат, сидящего в машине посреди древнего пенджабского поселка, запомни меня, потерявшегося среди столетий и счастливого оттого, что под холодными рассветными звездами Индии, под звуки и слова священного гимна сикхов я ощущал прикосновение вечности — осязаемую реальность настоящего и неизбежность будущего, которое всегда определяется прошлым.

Первая дорога в Кадиян оказалась трудна и таинственна, подобно любой дороге в мире живых. Ведь дорога — это и есть жизнь, цель которой — служить Истине и нести весть об Истине.

Помнится, через несколько дней наш новый водитель беспощадно клаксонил, практически не отрывая большого пальца от автомобильного гудка. Казалось, его приводит в восторг сама возможность заявить миру о своем существовании таким вопиющим образом. Едва заметив в отдалении буйвола, трактор, грузовичок, велосипед с притороченными к багажнику золочеными кувшинами для молока или любое другое сельское средство передвижения, каковых на дороге было видимо-невидимо, он принимался гудеть, да так, что в ушах звенело и у нас, и у нашего седого и интеллигентного сопровождающего — адвоката и директора средней школы из гурдашпурского городка Лудиана, которого звали Баба Кулдуп Сингх Беди. Наши протесты водителя отнюдь не смущали. Этот молодой щедушный шофер на поверку оказался индусом, хотя и носил, маскируясь под сикха, редкую и кудлатую бородачку. Он отрастил ее после того, как чудом избежал гибели, когда террористы расстреляли из автоматов толпу, собравшуюся у местного магазина. Хотя даже по моему скудному опыту оказывалось, что ни чалма, ни борода не спасают в Пенджабе от дурной пули, наш шофер почел-таки за благо бороду отрастить. Как бы то ни было, шуметь ему нравилось.

Минуя однообразные придорожные поселки, часто притормаживая у военных проверочных постов и объезжая перегораживающие путь бревна, мы наконец подъехали к Дера-Баба-Нанак, небольшому городку или, наоборот, большому поселку, от которого до пакистанской границы не будет и пятисот метров. Место это считается у сикхов святым по двум причинам. Во-первых, как я уже говорил, здесь расположен маленький храм, где хранится величайшая священная реликвия — собственная плащаница Гуру Бабы Нанака. Во-вторых, есть в этом селении еще один храм — гурдвара Дарвар Сахиб. Но наш путь поначалу пролег к плащанице.

Храм Чола Сахиб был действительно маленький, одноэтажный, и больше походил на часовню. Мы приехали днем, и деревенские жители рассматривали нашу процессию кто с подозрительным интересом, кто с недоумением. Особенно, я думаю, это касалось меня и английского писателя Иена Адамсона, поскольку мы выделялись и внешним видом, и цветом кожи, и вообще видно было, что мы здесь чужие и прибыли с другого края света. Однако почтение, с которым встретили нашу группу хранители храма, передалось и местным зрителям, и они, посудачив, разошлись по своим оставленным делам.

В храм нас проводил хранитель реликвии, очень уважаемый в Пенджабе человек по имени Баба Ануп Сингх Беди. Впоследствии он приезжал в лондонский центр Ахмадийской Мусульманской Общины, и в его честь нашим Халифом был устроен прием, на котором был и я. Баба Ануп, с окладистой чуть поседевшей бородой, в маленькой белой чалме, выглядел как-то не по-сикхски. Быть может, причиной тому были среднеазиатские черты лица, а может, и бархатная черная душегрейка-безрукавка какого-то казанского образца и пошива, от которой на меня повеяло теплом узнавания... Это был ученый человек, он знал об истории плащаницы все и даже написал о ней брошюру, которая до сих пор хранится у меня.

Под низкими, в разводах синьки, сводами храма Чола Сахиб были еще двое хранителей, которые промолчали все наше посещение. Один из них был истинный сикх, с белой бородой веером и воинственным видом, а второй, с короткой бородкой, очень старался выглядеть значительным в очках с очень сильными линзами. После подробных разъяснений на птичьем языке пенджаби, которых я, конечно, не понял, нас подвели к маленькой и скромной, украшенной алыми искусственными цветами и елочной мишурой нише алтаря, над которой висели желто-синие картины-иконы с житием великого Гуру. Реликвия в свернутом виде находилась в зеленом застекленном сундуке, который, к моему удивлению, хранители храма выдвинули из ниши, чтобы посетители могли с большим удобством рассмотреть его содержимое.

Но любезность их этим не ограничилась. Почтенный Баба Ануп Сингх Беди не только позволил нам рассмотреть плащаницу вблизи, развернув ее и прочтя все разбросанные по полотну надписи. Он милостиво позволил нам даже сфотографировать и заснять на видеопленку весь процесс нашего посещения этой святой святы.

Мы, конечно, не были первыми несикхами, кто воочию видел священную плащаницу Гуру Бабы Нанака в нашем атеистическом веке. Но вот в прошлом веке представители еще совсем молодой Ахмадийской Мусульманской Общины были, насколько я знаю, именно первыми из тех, кому плащаница была показана вблизи. И попали они в этот же самый храм Чола Сахиб не случайно, а по просьбе основателя Общины Хазрата Мирзы Гулама Ахмада, который впоследствии, и уже больше века назад, написал книгу под названием «Сат-Бачан, или Слово Истины». В этой книге он изложил свидетельства и доказательства того, что Сикхизм — не что иное, как Ислам, пошедший на компромиссы с Индуизмом в силу неблагоприятных общественных обстоятельств.

Плащаница была показана нам с должным благочестием. Мы сидели полукругом, и разворачивание святого одеяния, известного под именем Чола Сахиб, заняло около часа. Плащаница оказалась завернута, насколько

ко мы могли судить, в тридцать платков, некоторые из них были изготовлены из очень тонкой и дорогой ткани. Одни платки были шелковыми, другие хлопковыми или шерстяными. На нескольких платках удавалось различить имя вельможного или царственного дарителя. Уже по этим именам можно было судить, что почитание плащаницы не есть нововведение более поздних веков, но уходит своими корнями во времена кончины самого Бабы Сахиба.

Мы вышли из гурдвары Чола Сахиб и отправились на другой конец деревни, чтобы увидеть храм под названием Дарвар Сахиб, который в прошлом был одной из самых священных сикхских гурдвар. Храм оказался огромным и пышным, не в пример скромному хранилищу плащаницы. Вокруг него была возведена мраморная колоннада, увенчанная арками.

Почему же сикхи так почитают именно этот храм?

Дело в том, что гурдвара Дарвар Сахиб возведена на пепле от савана Великого Гуру Бабы Нанака.

Когда Великий Гуру скончался — когда «свет вернулся в Свет», как говорят сикхи, — мусульманская и индусская общины Пенджаба ожесточенно заспорили, по какому обряду святого должно похоронить. Однако пока длились эти споры и выяснения, тело святого самым таинственным образом исчезло, и двум противоборствующим партиям достался только саван, который они и разделили на две половины.

Та половина, которую, по своему обычаю, кремировали индусы, и легла в основание гурдвары Дарвар Сахиб.

Мы уже сидели в машинах. Светало, туман все сгущался, а сикхи все шли и шли со всех улиц и закоулков большой этой деревни, все шли и шли мимо нас к храму. Перед нами разыгрывалось бессловесное мистическое действо, которого никакими словами как должно не передать; было словно в огромной парной, если свет падает сзади: туманные фигуры в белых чалмах и белых закатанных до колен штанах, плеск воды и шуршанье веников из зеленых ветвей, которыми они омывали площадку перед храмом, сгоняя воду вниз по лестнице.

Площадка перед гурдварой, на которой трудились эти сикхи, возвышалась перед нами подобно театральной сцене, подсвеченной огнями рампы, и свет прожекторов падал так, как и нужно было бы гениальному режиссеру подобного спектакля.

А я смотрел, наблюдал, дивился тому, как все прибывали и прибывали люди и как принимались работать — мыть, носить воду, оплескивать мрамор, и это было изумительное зрелище в просвеченном, бродящем волнами тумане: люди что тени, плещущая вода, все больше и больше людей, и все нарастал голос монаха, читавшего поучения, потом полилась из громкоговорителей музыка, производимая маленьким органчиком, действующим при помощи раздуваемых руками мехов.

Это продолжалось долго, под музыку: плеск, мужские фигуры в закатанных белых штанах, — а туман все нарастал, проплывая сквозь лучи прожекторов облачными пластами и уже не рассеиваясь. И было мне совершенно ясно, что все это происходило здесь, в Пенджабе, точно так же и сто, и двести лет назад, и ничего практически не изменилось, и все это — реальное средневековье, зримое, слышимое и осязаемое. Наконец все они скрылись в белой скале гурдвары, опустили над входом занавес, и началась их утренняя молитва.

Рассвело, развиднелось, и мы отправились в путь.

Последним испытанием на пути в Кадиан был все тот же мутно-белый беспросветный туман, из которого навстречу нам вдруг стали выскакивать машины, велосипедисты в чалмах и без оных, запряженные волами повозки, мазаные домики, широкие ирригационные каналы, зеленые поля-озера риса и сахарного тростника, над которыми летали крошечные белые цапли.

Выпархивали из зелени внезапные цветастые удоды; сосредоточенные буйволы тянули тяжело нагруженные арбы, и вдоль всей дороги высушился налепленный кирпичами и сложенный пирамидками буйволиный помет; это работающее животное используют тут полностью, словно в отместку за коровье «безделье».

Немыслимые пейзажи области Гурдашпур! Библейские фигуры местных селян, возникающие по обочинам дороги из молочно-белого тумана, — все вызывало во мне дремотное ощущение какой-то сказочности происходящего, и я думал: да, действительно, дальше забраться трудно, здесь и есть конец света и конец мира.

Или — начало?

Ехали медленно — из-за тумана и из-за того, что через каждые полкилометра с обеих сторон на дорогу были выдвинуты бревна, сучковатые стволы или камни, и проехать можно было только тишайшим зигзагом: предосторожности гражданской войны. Перед самым подступом к Кадияну, на развилке дорог, нас остановил вооруженный пост, но продрогшие от сырого холода, закутанные по самые глаза в серые шали солдаты, узнав, что мы — ахмади, пропустили нас без осложнений, хотя и проверили наши документы.

И мы въехали в Кадиян мимо зимнего, увядшего озера в побуревших лотосах, и утренний пронизанный солнцем ветер шуршал их жесткими, словно жестяными, листьями.

Скажи же мне, брат, что такое Красота: озеро-болото, случайная высокая пальма склоняется над ним озаренной солнцем лохматой головою; мелкий ручей едва ползет по замусоренному руслу, рядом смуглая девочка-индуска присела по первой нужде — и тут же, рядом, — заросли огромных, роскошных пунцово-алых и пышных ирисов...

И вся Индия знает, что лотосы — в сияющей своей белизне, закатной розовости или жарком багрянце — растут обычно в грязи и из грязи болот и никогда на чистой воде, разве что в искусственных бассейнах.

11

«В ИНДИЮ ДУХА КУПИТЬ БИЛЕТ»

Ты далеко, брат.

Далеко ты был и тогда, когда мы наконец въехали в малоэтажный Кадиян по пыльной грунтовой дороге и очень, очень скоро попали в настоящее, пестрое и волнующееся, людское море, в котором наши машины могли двигаться разве что на черепашьей скорости. Но мы уже никуда не спешили.

«Добро пожаловать домой!» — говорили нам по-английски и на языке урду транспаранты, и мы ощущали себя дома.

Погода была ясная. Городок был причудлив и весь облит светом. Я был в Индии Духа. Ты же был далеко и не разделял моих убеждений и восторгов. Но я понимал это, как понимаю и сейчас. При всей нашей несхожести, мне отнюдь не кажется, что в самом начале жизни, когда только что формируется мировоззрение, мы не так уж по-разному воспринимали мир. То, что роднило нас тогда, в моменты открытия мира, роднит и сейчас, по крайней мере время от времени.

Теперь, когда реальная, а не воображаемая Индия Духа началась для меня с постыдной брезгливости, я спрашиваю себя, как много лет назад в алтайских горах:

— Свет придет из Индии?

Ты-то знаешь, что воображаемая, сюрреальная Индия Духа сопровождала мои напрасные поиски нирваны очень давно. Она возникала, как пустынный мираж в кратких записях Афанасия Никитина и мифических татарских сказаниях. Она высвечивалась в осеннем воздухе Горного Алтая, отражалась вместе с желтыми лиственницами в голубой чаше Телецкого

озера и, в буйном воображении моем, направляла скитания старообрядцев в розысках таинственного Беловодья, где Вера свободна от иерархической тирании государства.

Помнишь ли ты семидесятые годы, когда тоскливое желание удержать в душе ощущение чистоты и опрятности выводило нас группками и табунами из марксистско-ленинской действительности в леса и горы? В самом начале этого исхода, в конце шестидесятых, это было, как говорится, массовое движение, сопровождаемое ностальгическими текстами и мелодиями тогдашних бардов и менестрелей, но в семидесятых, по мере возрастания всеобщего здравого смысла и прагматизма, движение это из широченного потока превратилось сначала в ручеек, а потом практически иссякло, сродни западному движению хиппи. А ведь мы, сами не сознавая того, шли в поисках Веры, хотя по молодости лет все еще путали ее с Надеждой и Любовью. Да, мы искали свою Веру по зову Последних Времен. Наш исход из городов, где лукаво и тщетно пыталась самореформироваться коммунистическая утопия, не случайно же совпал по времени с могучим молодежным и студенческим движением на Западе, которое уже в явном виде использовало заманчивые лозунги и внешние атрибуты индийской спиритуальности.

Индия, единственное прибежище неосознанной европейской тоски по Богу, стала для потребительского общества Страной Гуру и Обителью Тайного Знания, краем Лотоса и Огненной Йоги, преддверьем мистической Шамбалы, которая посулила ответы на все вопросы если не будничной жизни, то — духовного бытия. Венцом этой увлеченности Индией Духа стало то, что ансамбль «Битлз» самым естественным образом провел целый год в индийских пределах, и ситар во внимательных руках Джорджа Харрисона зазвучал и отзвучал рок-ностальгией по утраченному Европой Святому Духу.

«Свет придет из Индии!» — это стало тогда самоочевидным постулатом для всех, кто еще искал обновленной духовности. Все традиционные религии, оболганные, утопленные в крови двух мировых войн и нечистом половоде сексуальной революции, были сосланы в запасники мировой интеллектуальной культуры и практически забыты.

Духовность, прихотливо завернутая в сари и украшенная затейливыми психоделическими фиглями-миглями, стала изъясняться йогическими терминами и изобретать все новые и новые направления, каждое из которых, увы и увы, вело, в свой черед, в тупики суеверия и холодной чувственности, превращаясь в истерический гедонизм, оккультизм и прочее опасное для неокрепшего разума столоверчение.

И молодежный мир по обе стороны железного занавеса, склеенный было в некое подобие рок-единства мелодиями Джоан Баез и Боба Дилана, вновь и окончательно распался на тысячи мнимых вер, самодельных культов и несвязных мировоззрений, вновь возвратился в лоно философии индивидуализма и духовной разочарованности, и стремление к Единству выпало из него, как цветок из дула автомата.

Философия разочарования вернулась в мир, где ни на миг не умолкали пушки. Идея Любви и Всепрощения забуксовала, натолкнувшись на первые житейские препятствия, идея Духовности, в которой не было места подвижнической Жертвенности, увяла, и страсти-мордасти Последних Времен вылетели в мир сумрачными роями, как демоны из ящика Пандоры.

Однако метафорическая Индия Духа в виде неоновой иконы с образом то ли Кришны, то ли Свами Вивекананды, то ли индуистского лотоса, то ли арийской свастики никогда не переставала парить в разреженном и наэлектризованном воздухе духовного и политического апокалипсиса. Мир трещал и разваливался, социальные революции мгновенно оборачивались тиранией черных полковников и черных мулл, сексуальная и гомосексуальная революции навлекли на мир проклятие СПИДа, но надо всем этим — для тех, кто уж очень хотел верить, — сияла Индия Духа, страна рецептов мгновенного бессмертия.

Тогда-то, брат, Индуизм — в различных облачениях, неведомый, но притягательный своей древностью, принаряженный и лукаво превращенный ради смущения Европы из религии в философию — и стал массовым ответом на вопрос о сути духовной культуры Индии. При чем здесь какие-то сикхи и какой-то Ислам? Разве может свет, идущий из Индии, вдруг оказаться светом Ислама? И ведь вот что примечательно. Мир задыхается от информационного тумана, тысячи разноязычных газет, радио и телевидение сделали его маленьким, как советская квартира. Мы знаем о мире сравнительно много и с каждым днем узнаем что-то новое и все более тревожное, а предрассудков и предвзятых суждений отнюдь не становится меньше. Напротив, эта поверхностная, обывательская осведомленность обо всем и ни о чем порождает все новые суеверия и фальсификации, и в наш век подобных вещей, сдастся мне, никак не меньше, чем во времена Марко Поло.

Что мы знали о сикхах? Да ничего, кроме того, что это какие-то воинственные бородатые люди, время от времени занимающие с оружием в руках Золотой Храм в Амритсаре и стремящиеся за здорово живешь отделить Пенджаб от остальной Индии... Индия-то, как мы все убеждены со школьных лет, она-то и есть светоч миролюбия и понимания, а они, с позволения сказать, такие вот скверные сепаратисты, потому что (известно из газет) воинственность и чувство религиозной избранности — суть их сикхских верований.

А разве о мусульманах не говорится то же самое в тех же самых словах и повсюду, где господствует и торжествует идеология европоцентризма?

Что мы вообще знаем о реальной Индии, кроме того, что почерпнули из индийских мелодрам, не сходивших с экранов столичных и провинциальных советских кинотеатров? Ведь как гром с ясного неба будет для многих простое открытие, что Индия, даже после ее раздела на собственно Индию и Пакистан, до сих пор остается второй по численности мусульманской страной мира и большинство культурных памятников, создавших ей славу, в том числе делийский Красный Форт и Тадж-Махал, принадлежат именно **ИНДИЙСКОЙ ИСЛАМСКОЙ КУЛЬТУРЕ**. Я уверен при этом, что большинство читателей не сумеет тотчас ответить, какая же страна в мире является первой по числу мусульман. Распространять по миру такие сведения совсем невыгодно тем, кто утверждает, что Ислам — это религия насилия, терроризма и войны. Дело в том, что самая большая мусульманская страна мира — это Индонезия, куда мусульмане никогда не приходили с оружием в руках. Мусульманские культуры Индонезии и Малайзии — это итог мирной проповеди Ислама.

Но вернемся в Кадиян.

Ехали мы по нему недолго. Очень скоро — от базарной площади в центре городка — нас направили к двум гостевым домам, которые ко дню праздника как раз, как нам сказали, были достроены британской и немецкой Ахмадийскими Общинами. Здесь мы и расстались с нашими сикхскими таксистами, которые, надо думать, после долгого и заслуженного отдыха отправились восвояси, но уж наверняка ехали обратно исключительно при свете дня.

Итак, я был в Кадияне, и нужно было устраиваться. Британский и немецкий гостевые дома оказались и вправду достроенными, по крайней мере снаружи, и были уже переполнены, хотя внутри, в комнатах, еще продолжалась отделка, прерванная только на время праздника. Атмосфера там была дружеская и походная; я встретил множество знакомых из Гамбурга, Кобленца и Франкфурта, угостился общим обедом, состоявшим из горячей лепешки и горохового дала, а затем вышел на недостроенную веранду и попытался примоститься в сторонке со своим компьютером. Это оказалось непросто, потому что электропитание пришлось тянуть Бог знает откуда, кругом была оживленная толчея и громкие разговоры, и я придумался. Похоже было, что мечту о походной работе и ежедневных записях придется оставить, но зачем тогда я тащил эту свою «Тошибу» из Лон-

дона в Пенджаб, да еще вытерпел часовую процедуру самой дотошной проверки всех ее частей на индийской таможне? И тем не менее компьютер я включил и попытался описать место, где нахожусь.

Это были два двухэтажных дома, стоявших бок о бок на окраине Кадияна; рядом велось еще какое-то незамысловатое строительство. Я писал, пристроив компьютер на красном пластмассовом стуле, а за моей спиной, в лабиринте свежештукатуренных комнат, многочисленные гости устраивались прямо на засыпанном золотой соломой цементном полу, на расстеленных рядами белых поролоновых матрасах. Всем выдавались подушки и одеяла, но самые разумные и предусмотрительные, вроде моего спутника господина Мубарака, прихватили байковые одеяла с собой из Англии. Я, полагая, что еду-таки в Индию, ни о каком одеяле не подумал, но после промозглой и туманной дорожной ночи уже понимал, что ночью без «обогрева» не обойтись.

Устроиться на полу я мог запросто, и такая полубивачная ночевка не представляла для меня проблемы, как и для всех других. Подобные небольшие тяготы входили в долю пилигрима так же, как и простая еда и питье — во утоление голода и жажды, а не во прихоть. Я думал о том, что более привычным к удобствам немцам, англичанам и вообще европейцам обрести походный уют труднее, но они были мусульманами-ахмади, а значит, умели ценить необходимые ценности в любом их воплощении, были бы пища, вода и крыша над головой.

Иногда и крыши не нужно, чтобы жить со вкусом. Ты помнишь, брат, что лет в четырнадцать я приспособился спать на раскладушке на балконе четвертого этажа нашего старого казанского дома на улице Попова... Я перебирался на ночевку на свой балкон в марте, когда только-только начинали журчать вдоль уличных сугробов золотые ручьи и на карнизах принимались расти кружевные сосульки, а в квартиру возвращался в позднем ноябре, гораздо позже, первого снега.

И я помню, какое оно — ночное небо. Я помню, как оно меняется со временем года, как в августе сыплются с него звезды и как эти же звезды дрожат и расплываются в заморозки, когда так отрадно, взглянув на них, завернуться с головой в одеяло верблюжьей шерсти...

Это изумительное, дарованное нам небо сияло надо мною и в глухой тайге, и в горах, и в подмосковном Переделкине, когда я однажды под страшный соловьиный перепев спал на крыше дачи писателя Николая Ершова, и Сетунь, по-июньски полноводная, шумела неподалеку так, что перекрывала журчанье отчаянные вопли электричек. А может, и не Сетунь это шумела, а многолетние березы в случайном порыве влажного ветра, а может, и вообще было до крайности тихо, и только звезды, звезды над моей беспутной головой перезванивались, упорно намекая на реальность вечности, о которой я тогда думал так мало и легкомысленно.

Помню и ту одинокую острую звезду, что светила сквозь окно, проделанное в крыше ахмадийской миссии в мюнхенском предместье Нойефарн в ночь начала месяца Рамадан, когда я вместе с другими оказавшимися в миссии гостями ночевал на чердаке, а вернее, лежал на вездесущем желтоватом поролоновом матрасе и думал, как чудесно и невероятно складывается моя жизнь после того, как я сделал один-единственный, но верный шаг по дороге к Богу... Небо надо мною было то же самое, что и в детстве, только те, праздные и наивные, балконные мечтания о далеких краях и странах стали обыденной, но всегда полной сюрпризов и открытий реальностью.

Так что устроиться на поролоновом матрасе и в Кадияне не представлялось мне чем-то не от мира сего. Но вот уснуть было трудно.

Люди вокруг, не обращая внимания на походные условия, готовились к празднику. Прямо передо мной, через неширокую грунтовую дорогу, по которой в гостевые дома то и дело прибывали — кто на машинах, кто на конных повозках и рикшах — ахмадийские паломники, лежало широкое поле, на одном краю которого была воздвигнута большая сцена, покрытая тентом. На этом поле — ближе к сцене — уже ставились рядами стулья

для тех гостей, кто не привык сидеть на простой подстилке, по индийскому или пакистанскому обычаю. Остальное пространство было застелено широкими полосами таких подстилок — и для сидения, и для молитвы. Это как бы разделенное тентовой перегородкой на залы для мужской и женской аудиторий пространство принадлежало семье и роду Обетованного Мессии и переходило вдалеке в зеленый, просторный и тщательно ухоженный манговый сад, также принадлежащий роду основателя Ахмадийского Движения в Исламе Мирзы Гулама Ахмада.

12

СВЕТ ПРИДЕТ ИЗ ИНДИИ

Как ни мистична фигура Обетованного Мессии, реальность окружавшего меня Кадияна, история которого тесно переплетена с историей Ахмадийского Движения в Исламе, превращала мои религиозные убеждения в нечто столь же душевно осязаемое и естественное, как и простые исторические факты, связанные с происхождением древнего рода Мирзы Гулама Ахмада. Этот в свое время знатный род, по сохранившимся сведениям, происходил не из Индии, а из Самарканда, откуда примерно в 1530 году выехал в пенджабские края некто Мирза Хаджи Бек, по боковой линии потомок самого Тамерлана. В истории Ахмадийята, а также в книге Йена Адамсона «Мирза Гулам Ахмад из Кадияна» род Обетованного Мессии упорно называется персидским. Надо думать, что, как и во многих подобных случаях, в крови его смешалась и персидская (таджикская), и тюркская струи. Кое-кто из историков Ахмадийята меж тем утверждает, что род Обетованного Мессии происходит не из Самарканда, а из Бухары, что мне, конечно, больше греет душу по причине моей фамилии — извинительная, надеюсь, степень тщеславия. Но продолжим.

Представитель мусульманской аристократии и потомок властителей, основавших империю Великих Моголов, Мирза Хаджи Бек, подобно другим высокородным выходцам из Бухары и Самарканда, удостоился в пенджабской области Гурдашпур поместий, состоявших из нескольких десятков деревень, и был назначен судьей (кади) над всем Гурдашпуром. Сам он, однако, со своей семьей и челядью основал новое поселение, которое укрепил, как настоящую крепость, и нарек Ислампуром. Местный народ скоро прозвал это феодальное поселение Ислампур-Кади, а по прошествии времени деревню стали называть просто Кадиян.

Утратилось не только прежнее название деревни-крепости, но и громкая слава и относительное могущество ее владельцев.

В 1802 году сикхи, воспользовавшись предательством одного из жителей, ворвались в Кадиян и предали его огню и мечу. В грабежах и пожарах погибла и большая библиотека владетельной семьи, где хранились важные документы, закреплявшие за ними права собственности на земли и поместья. Сама семья также подверглась изгнанию и прожила вне Кадияна пятнадцать лет. Отец Обетованного Мессии, Мирза Гулам Муртаза, сражался в войсках махараджи и отличился так, что к 1834 году государь Пенджаба вернул ему пять фамильных деревень из наследственных восьмидесяти пяти. Однако и эта милость продолжалась недолго: в 1839 году милосердный сикхский властитель умер, Пенджаб обуюли междоусобицы, а тут подоспели и британцы. Подтвердив права Мирзы Гулама Муртазы на владение Кадияном и крошечными близлежащими деревушками, они наотрез отказали ему во владении пятью деревнями, возвращенными махараджей. В такой семье, сравнительно состоятельной по индийским масштабам, но практически нищей по сравнению с былыми временами, и родился 13 февраля 1835 года Мирза Гулам Ахмад, второй сын Мирзы Гулама Муртазы, человек, которому было суждено стать реформатором Ислама и основателем Ахмадийского Движения в Исламе.

Тут, словно остерегая мои мысли от чрезмерной торжественности тона, меня отвлекли от экрана компьютера. Оказалось, что поселился я волей случая вовсе не там, где мне было назначено утверждением еще в Лондоне распорядком торжеств. Я снова собрал свой скарб и после совсем недолгой езды оказался в исторической части священного города, где мне было суждено прожить неделю в самом старом и самом уютном гостевом доме Кадиана, о котором ты уже знаешь, поскольку с описания его и началось мое повествование... Вообще, одно из главных моих впечатлений от Кадиана — это поразительные цельность и единство мыслей, чувств и духовных ощущений независимо от того, где находишься — под крышей Благословенной Мечети, возле Белого Минарета, на узких арычных улочках Дома-города, под полуденным солнцем или в прохладной столовой комнате гостевого дома. Если попытаться как-то определить это состояние, то слова ближе, чем «покой», пожалуй, и не отыщется. И этот покой, поверь мне, брат, проистекал вовсе не от сознания собственной значительности. Чем более укрепляется во мне ахмадийское мироощущение, тем яснее я понимаю, что в этой системе ценностей всякое дополнительное к тебе внимание является скорее знаком того, что ты покамест лишь начинаешь свой бесконечный путь к постижению истинных ценностей. Так, к гостям и попутчикам в Общине относятся с гораздо большей предупредительностью, чем к людям, посвятившим Общине всю жизнь. Но чем религиознее и просветленнее становишься ты сам, тем тягостнее тебе и почет, и обходительность, и предупредительность людей, с которыми ты делишь и веру, и убеждения, и жертвы во имя веры. Начинаешь чувствовать себя как бы больным, которому помогают здоровые. Все это, кстати, имеет глубокие корни в раннем Исламе, к чистоте и простоте которого стремится приблизиться Ахмадийская Община. Помимо множества разнообразнейших лавок, крошечных кофеен и едален есть в Кадиане и ахмадийское книгохранилище, старое-престарое и расположенное почти напротив высоких ворот в Дом-город Обетованного Мессии. Памятуя об изречении Святого Пророка Мухаммада, которое гласит: «Чернила ученого дороже, чем кровь мученика», Ахмадийская Община принялась за религиозные исследования и, соответственно, религиозные публикации почти сто лет назад. Это книгохранилище совмещает в себе функции книжного магазина, склада, редакции кадианской ахмадийской газеты «Badr Weekly» и религиозного клуба, куда заходят прямо с улицы, кто приобщиться, кто поспорить, кто просто так — побыть среди людей.

Что до меня, то я проскакивал маленькую клубную часть, где разговоры шли чаще всего на урду и пенджаби, и попадал во внутреннее помещение книгохранилища, где по стенам, как в старинной аптеке, располагались встроенные застекленные шкафы, сверху донизу наполненные книгами, книгами, книгами... Это были и толстые трактаты в твердых обложках, и небольшие, пожелтевшие от времени, брошюры, и совсем уж маленькие, в четверть писчего листа, книги-блокнотики в несколько страниц... Но объединяло эти книги, набранные и арабским, и английским шрифтом, и шрифтом хинди, одно: все они были посвящены в той или иной мере сравнительному изучению религий.

В Исламе и сейчас существует немало людей, стремящихся к мирскому лидерству и господству под знаменем веры. Все они выступают от имени Ислама, даже если говорят совершенно противоположное друг другу. Таким людям, политикам от Ислама, кажется, что они могут привести мир Ислама к процветанию по примеру демократий западного мира, где наилучшим политиком считается тот, у кого лучше подвешен язык. Таким политикам от Ислама снятся толпы, следующие по их пятам, им снится безмерная власть, которая принесет им привилегии, чуть-чуть омраченные обязанностями.

Эти люди одержимы манией величия, и зрелище мусульманских мавзолеев, подобных мавзолею Хумаюна, тешит их тщеславное воображение. Они страстно желают не возрождения истинной веры, а «блого величия

Ислама» и упорно не желают учиться ни на уроках настоящего, ни на уроках прошлого. Но гордыня и рвение к власти противоречат Исламу, где власть — это только тяжкая обязанность и долг перед верующими и Всевышним.

Именно страсть к самоувековечению, непомерному и экстравагантно-му богатству и земному величию явилась причиной упадка великих мусульманских государств — могольской Индии, Ирана, османской Турции... Разве не очевидно это нынешним кандидатам в султаны?

Мне невесело писать об этом, но жизнь дает слишком много примеров в поддержку такого нелицеприятного взгляда на вещи. Словно предвидя появление во множестве именно таких мусульманских политиканов, Обетованный Мессия говорил:

«Будучи свидетелями успехов, одерживаемых Пророками и Посланниками Бога, некоторые люди полагают эти успехи следствием образованности, красноречия и словесного запала. Они говорят: давайте и мы усвоим эти приемы и обретем множество последователей. Однако эти люди заблуждаются. Успех Пророков — это следствие их близости к Богу. Со времен Адама до нынешнего дня еще никто не достиг истинно духовного успеха, не будучи сам праведным. Ключи к такому успеху — в руках Бога. Только тот одерживает истинную победу, кто превосходит других в праведности. Если праведность твердо укрепилась в душе, с ее помощью можно переменить небо и землю».

13

ГОЛУБЫЕ ГРАНАТЫ

Я жил как падишах. У меня была двухместная комната, отдельная душевая и удобная застекленная веранда, выходящая в уже известный тебе замощенный дворик с глиняными стенами. Отсюда было совсем недалеко и до Благословенной Мечети, и до Сада Обетованного Мессии, и до поля, на котором проходили торжества. Одним словом, мне повезло: мне была оказана высшая честь. Я ничем не заслужил этой чести. Как было оправдать ее? Только постоянным духовным трудом и ежедневной писательской работой, которой, вправду сказать, от меня никто не требовал и не требует.

Никто, кроме Бога.

Я говорю это вполне ответственно, брат. Еще несколько лет назад я испытывал обыкновенные писательские амбиции — непременно желание публиковаться и быть частью литературного процесса, что бы это ни значило на самом деле. Но после нескольких написанных мною книг я понял, что, видя их напечатанными, не чувствую ничего, кроме пустоты и грусти. Стоили ли мои труды, эмоции и даже усердие этого конечного разочарования? Но ты скажешь, что цель писателя вовсе не в конечном результате, и будешь прав. Ты скажешь, что восторг творческого труда — вот награда творца. Тоже правда. Но правда и то, что восторг этот, как и всякие другие восторги этой жизни, так краток, что и говорить о нем всерьез не стоит. Наступает такое время, когда самое большое удовлетворение испытываешь оттого, что сумел усадить себя за письменный стол, сумел заставить себя работать.

И тогда главным трудным наслаждением жизни становится пересиливание самого себя — будничная победа над самим собой. Не имея честолюбивых амбиций, чего ради заставлял бы я себя мучиться, искать слова для того, чтобы кто-то другой, хотя бы один из миллиардов людей, понял меня и мою жизнь, мои человеческие терзания, ценные только тем, что и я — человек?

Если бы я не обрел веры в Невидимое, я бы давно пришел в отчаяние от своей профессии, даже сознавая, что не совсем уж бесталанен. Вера же дала мне и уверенность в том, что труд мой необходим, хотя сейчас я не

понимаю, почему необходим именно он... Но я пишу, временами пересиливая себя, и в такие часы вижу твое скептическое лицо, сочувственное его выражение: пусть, мол, тешится очередной идеей фикс, очередной игрушкой болезненного воображения. Пусть так. И довольно об этом.

...Выход на улицу был через двустворчатые зеленые деревянные двери в округлой глиняной стене. Гостевой дом — весь ансамбль с внутренним двором — располагался на углу старинного кадианского квартала. Зигзагообразная улочка, ведущая от торговых рядов и базара, минуя большие ворота, через которые можно было попасть в священный Дом-город, родовые владения основателя Ахмадийской Общины, тотчас за гостевым домом под прямым углом поворачивала к пересохшему на зиму озерцу, а затем выводила к полю торжеств и дальше, к Саду Обетованного Мессии.

Я вышел, чувствуя себя странно легко без того небольшого скарба, который обременял меня от самого Лондона. Весь скарб состоял, правду сказать, из средних размеров серой сумки, купленной, помнится, на втором этаже чемоданной лавки на самом углу Оксфорд-стрит и Тоттенхем-Кортроуд. Половину этой сумки занимал компьютер, над которым я, конечно, трясся, и поэтому сумка отнимала внимания больше, чем того заслуживал бы любой багаж, да и весила прилично. При всей своей мобильности, моя тогдашняя «Тошиба» тянула на восемь килограммов — непомерный вес для портативных компьютеров уже три года спустя. Была у меня и еще одна сумка через плечо — желтая кожаная, в которой лежали диктофон, фотоаппарат и блокнот для записей.

Забавная это штука — собственная вещь. Я как-то не умею прикипать к вещам, но каждая из них, стоит лишь задуматься, обладает своей жизнью, своей историей и тянет за собой целый караван воспоминаний. Вот и эта желтая сумка, которой нет у меня больше, но которая запечатлена на таком множестве индийских фотографий, что стала уже деталью моего тогдашнего облика... Я купил ее в Мюнхене, пленясь относительной дешевизной и отменной ее прочностью. В те дни я предвкушал поездку в Австралию и нуждался в такой вот переметной суме и походной торбе для долгих путешествий. Как вскоре выяснилось, это был школьный обыкновенный портфель, но он мне нравился, и я помню, как шел с ним по направлению к мюнхенской центральной площади Мариенплатц, было начало мая, веял свежий ветерок и накрапывал дождь; на Мариенплатц, рядом с цветочными киосками, только что отгремел какой-то парадный духовой оркестр, а в переулке за площадью, в тени портала, стоял, подняв воротник пальто, бледный и грустный саксофонист и выдувал из своего потускневшего инструмента что-то знакомое и ностальгическое. И я бросил немецкую монетку в футляр саксофона.

Вещи для меня, если вдуматься, — это лишь воспоминания или повод для воспоминаний. Поэтому, быть может, и жизнь моя сложилась как кочевая, не умеющая остановиться и пустить корни ни в одной части света. Или вот одежда... Как я выглядел на той средневековой мусульманской улочке, под зимним солнцем индийского Пенджаба, на краю света? Я бы, ей-Богу, забыл это начисто, но вот на фотографиях я в черной шерстяной будапештской куртке, в турецких, из Стамбула, джинсах и темно-вишневых полуботинках, купленных мне женой в Праге еще десять лет назад, при советской власти. Эти башмаки, надо думать, побили все рекорды выносливости, они года три служили мне парадной обувкой, потом я носил их, как говорится, и в хвост и в гриву, прошел в них всю Индию, и сносу им нет — что-то потрясающее! Не то что те желтые мокасины, которые я «приобрел» на свои жалкие австралийские доллары в одной из сиднейских обувных лавок, у «итальянцев». Те мокасины развалились за полгода, как и другая моя «западная», по доступной цене, обувь. Но начали они разваливаться при весьма удивительных, даже чудесных обстоятельствах, о которых я просто обязан рассказать тебе, брат. Дивность этого моего повествования в том, что из него нельзя выйти, даже если отвлечься на то, что

вспомнилось будто невзначай и внезапно, — в этой повести о Единстве нет случайных воспоминаний. Если помнишь, в произведениях классицизма перед драматическим писателем стояло обязательное условие: единство места, времени и действия... Но посмотри, разве повесть моя — не классическая драма жизни отдельно взятого человека? Место ее развития — это моя душа, время — это время моей жизни и, наконец, действие. Уж в чем, в чем, но в единстве действия сомневаться не приходится. Действие: ошибки, поступки, проступки, деяния — какая ни есть, а жизнь, и эта жизнь — моя. Забавная штука — вещи...

Ты уже знаешь, что в Австралии я жил в домике миссионера при мечети Божественного Руководства. У меня тогда, каюсь, было много «практических» надежд на Австралию. Я надеялся увидеть и северные тропики Дарвина, и Большой Барьерный риф, и голубые лагуны, и розовые атоллы. Более того, я собирался заработать какие-то деньги. Однако этот номер не прошел. В Аделаидском университете за лекцию мне не заплатили. Другие же способы требовали времени и сосредоточенности — ни того, ни другого у меня не было. Зато был у меня великий покой труда. Я садился работать затемно, сразу после утренней молитвы. Я помню, как просыпался в своей комнате, освещенной тусклым багровым светом, и раскаленная спираль электрического обогревателя отражалась в огромном зеркале встроенного стенного шкафа над моим изголовьем. Вставать не хотелось — была зима, и июньская трава по дороге в мечеть сверкала от инея, как звезды Южного полушария сквозь туманную дымку... Я возвращался с молитвы и садился переводить ахмадийские книги, потом был перерыв на завтрак, потом был перерыв на обед. Дни шли за днями, кролики грызли траву, а белокаменная мечеть отражалась в маленьком круглом озере...

Я был счастлив — по собственным меркам. Дни мои были полны осмысленной работы, и мне никуда не хотелось. Было достаточно уже и того, что в редкие свои поездки я увидел Сиднейский оперный театр, подобный колоссальной раковине, и услышал, как мощно и торжественно ворочается океан под высокими берегами Сиднея, как медленно и упорно, круговыми движениями, полирует он сине-зелеными волнами желтоватые, в трещинах, скальные донные пласты. А за горизонтом не было уже ничего, кроме Южного полюса. Мираж Большого Барьерного рифа растаял — медленно, но легко.

На столе лежали книги, которые я переводил, — «Иисус в Индии» и «Жизнь Святого Пророка Мухаммада», был там и Коран в русском переводе, а также русская Библия. Библия на русском языке была мне нужна для точных цитат, а добыл я ее так: раскрыл телефонный справочник своего района и искал русские фамилии, которых оказалось не то чтобы множество, но достаточно много, чтобы найти среди них даже священника. Я позвонил австралийскому батюшке Чемоданову, и мы с миссионером съездили за Священным Писанием, каковое нам, после чая и недолгой беседы, сердечно вручила матушка Чемоданова, русская женщина лет двадцати пяти. Интересно было и вот что. Я несколько смущенно назвал свое татарское имя, не зная, как отреагирует православная наша хозяйка на басурманское его звучание. Имя мое и в Москве не тотчас запоминали, а уж если повторяли с ходу, то звучало оно, как правило, искаженно. Здесь ничего подобного не случилось. Матушку Чемоданову мое имя ничуть не удивило, потому что в Харбине, где она провела детство, они, оказывается, жили бок о бок с татарскими семьями, и училась она вместе с татарскими ребятами, так что имя Равиль было ей не в диковинку, и приготовленную заранее Библию она мне дала охотно.

Итак, я жил, работал над переводами, писал письма и оставлял заметки — не в компьютере, которого тогда еще у меня не было, но на крохотной магнитофонной ленте карманного диктофона. Вот что осталось у меня от собственно австралийских ощущений, вот что сложилось из нескольких отрывков.

Лет пятнадцать назад, в поселке Синегорье на Колыме, я посылал домой телеграмму и в ответ на требование написать обратный адрес нацара-

пал: «Синегорье, проездом». Девушка-телеграфистка восприняла это как издевательство. «У нас проездом не бывают», — заявила она.

Здесь, в австралийском Синегорье, глядя на синусоидальные холмы, покрытые курчавыми эвкалиптовыми рощами, можно придумать любой обратный адрес. Самая хитовая поговорка здесь: «Aussies don't care!» — «Австралийцам все до лампочки!»

Я встречался с австралийцами. Большинство из них было татарами аделаидской эмигрантской общины, один был венгр, двое — турки, а одну австралийку зовут Катя. Она — молодая попадья и живет под Сиднеем.

Хорошо под Сиднеем! Выйдешь покурить на заре, пока иней еще не сошел с зеленых лужаек и на продрогшие эвкалипты на налетели суетливые попугаи, — и слушаешь, слышишь тишину края света... Не то — днем. И на краю света, как блинное тесто по горячей сковородке, расползаются городские поселки, и один из них подобрался уже вплотную к смиренному месту моего проживания со своей несущейся из окон радиомызыкой. Однажды я постарался понять, почему мелодия кажется такой знакомой, пока не вспомнил — это было бессмертное «Дорогой дальнею да ночью лунною...».

И еще я хотел понять — где же она, Австралия? Видимо, вся она сидела по домам — дивным коттеджам, обсаженным олеандрами, апельсиновыми и лимонными деревцами или европейскими елками и березками — по вкусу и склонности.

Или вот — аборигены стояли и сидели цыганской кучкой на центральной площади Аделаиды, томясь от вынужденного безделья и глядя на бронзовую статую королевы Виктории красно-желтыми с тяжелого перепоя глазами. Шумел над ними огромный вяз, и большие белые чайки, прилетевшие с океана, гуляли по аккуратно подстриженному газону.

Для изучения местности и народонаселения надо было бы податься в глубь континента, в какие-нибудь золотоносные провинции — как когда-то на Чукотке. Но нет у меня ни свободного времени, ни денег на перелеты, а автобусом я и так проехал две тысячи километров от Аделаиды и Сиднея — не ближний свет даже для края света. И никто не пересел на другое место, когда в автобус вошел абориген. То ли дело на Чукотке, в автобусе из Билибино на Встречный: стоило войти чукче в расписной малице, как все сразу подались от него на другие места и там продолжили свои цивилизованные разговоры.

Вообще Австралия хорошее место, чтобы попытаться отсидеться в Армагеддон. Рай для намайшихся пенсионеров. «В Австралии — полным-полно жратвы!» — с неиссякшим с сорок седьмого года восхищением в голосе говорил мне венгерский австралиец: он помнил послевоенную Европу. Один из немногих, кстати, кого еще интересует Европа и всякие события на другом краю света. А вообще-то на этом краю света все кажется миражом, виденьем, карточным домиком из аделаидского казино, построенным в перерыве между крупной игрой... Мне на миг даже померещилось, что вся Австралия заставлена карточными домиками, перенесенными из доброй старой Англии на то время, пока строится и растет здесь нечто «свое», пока вызреет, расцветет, даст плоды собственная культура огромного континента.

Боже милостивый! Или я совсем слеп? Почему не увидел я здесь ничего интересного, кроме аборигенских художеств на майках для туристов? Неужели надо ехать так далеко, чтобы насладиться всемирным — пусть даже сверхкачественным, — но ширпотребом? И вспоминаю я сейчас только сумчатых — огромного рыжего кенгуру, что на рассвете заглядывал в окно веранды, и кроликов, и серых пушистых коал, что в темноте сидят по обочинам дороги, и никто их не ловит и не норовит тотчас съесть. Ну да, «в Австралии полным-полно жратвы!».

Слепым приедешь — слепым и уедешь. Если приезжал за миражом.

Да и что спросишь с проезжающего, живи он при вокзале хоть три месяца? Но при всем этом Южный Крест над зеленым зимним океаном на краю мира — настоящий.

Так, в мирских разочарованиях, размышлениях и трудах, я провел почти два месяца, и наступил срок моего отъезда. И тут грех попутал. Накануне отлета своекорыстная мысль посетила меня.

Я бродил в центре Сиднея, в магазинных рядах под утопающей в облаках сиднейской телевизионной башней, в надежде купить какие-нибудь грошовые сувениры, но не только. Был конец июля, приближался день рождения моей жены, и мне, конечно же, хотелось сделать ей «австралийский» подарок. Муж я или не муж, в конце концов?!

Но если в чеховские времена настоящий мужчина состоял из мужа и чина, то нынче мужчина обязан состоять из мужа и денег на семью, пусть хотя бы и небольших. У меня же в результате моей бескорыстной двухмесячной работы даже и небольших денег уже не оставалось, разве что долларов семь на блок сигарет из сиднейского «Duty Free», а в магазинах, ясное дело, было что купить... Впрочем, мое внимание привлекла лишь одна вещь. Я сначала залюбовался ею, а затем попросил продавщицу показать и подержал в руках. Это были сережки, вернее, клипсы: серебро и камни невероятного голубого и светящегося изнутри цвета. Название этих камней потрясло меня: новозеландские голубые гранаты. Продавщица, заметив мое восторженное оцепенение, подлила масла в огонь, рассказав, что, хотя голубые эти камни и добываются в Новой Зеландии, украшения из них делаются в ювелирных мастерских Австрии. При всем том цена была вполне сходная — сорок девять австралийских долларов, не Бог весть какие деньги. Но у меня-то и десяти долларов не было в тот момент... Так, в разочаровании и раздражении на самого себя, не сумевшего заработать в Австралии и пятидесяти долларов, вышел я из магазина на тротуар — и увидел монетку в двадцать центов, запросто лежащую на асфальте. Я усмехнулся про себя и подумал: «Ну вот, все правда: Аллах действительно все, что нужно, посылает тому, кто трудится во славу Его. Не зря я работал бескорыстно... Вот и мне послано по заслугам!» Я потянулся за монеткой и хотел поднять ее, да не тут-то было... Монетка, оказывается, была приклеена к тротуару каким-то цепчайшим клеем, и озорники, приклеившие ее, видимо, покатывались со смеху, глядя на идиота туриста, попавшегося на их удочку! Раздосадованный донельзя, я пнул несчастную монету своим новым ботинком и порвал его о мостовую — хоть брось!

Проклиная все на свете, и не в последнюю очередь итальянского происхождения жуликов из сиднейского предместья, продавших мне «одноразовые» те мокасины за фирменные, я перешел через дорогу в сквер и там отдышался. Отдышался — и мне стало смешно. Я посмеялся и над незадачливым приключением, и над корыстными мыслями, сказав себе: нельзя смотреть назад, когда путь выбран. Разве то, что я два месяца обладал полным и радостным душевным покоем, не награда за мои труды? Бог отчитал меня, и правильно. Конечно, обидно, что я не могу купить жене серьги, но это уже другая, и вовсе не финансовая, проблема.

С такими мыслями я отправился закончить последнее дело в Австралии, а именно — купить сигарет на дорогу. Я уже бывал раньше в этом «Duty Free» и помнил, что сигареты там баснословно дешевы, а помимо сигарет есть много всякой австралийской всячины: скотоводческие замшевые шляпы, майки с улыбающимися коалами, абorigенские поделки и разузоренные картины и много такого прочего... В середине этого просторного магазина, помнилось мне, лежали внавалку выделанные серебристо-серые или рыжие кенгуровые шкуры, и мне вдруг захотелось пойти и взглянуть на них напоследок.

Этот магазин, как я уже сказал тебе, располагался в самом центре Сиднея и всегда был полон всякого народу. В этот момент он почему-то был совершенно пуст, как в сновидении. И, как в сновидении, я подошел к этим распластанным кенгуровым шкурам и увидел, что на одной из них

лежит, как бы дожидаясь меня, бумажка в пятьдесят долларов. Именно пятьдесят. Ровно столько, сколько мне было нужно на подарок жене.

Я поднял деньги и огляделся вокруг. Первым моим намерением было вернуть их тому, кто потерял. Но никого вокруг не было, и это тоже было чудо. Я, честное слово, простоял посередине магазина с этими деньгами минут двадцать, а потом целых полчаса, оформляя свою покупку сигарет — пока с бюрократической тщательностью записывали номер моего паспорта и номер моего авиабилета, — я все ждал, не вернется ли кто за деньгами, не спросит ли кто...

Никто не вернулся и никто не спросил. Тогда я, в полной уверенности, что деньги эти посланы именно мне, отправился в магазин новозеландских голубых гранатов, благоговейно купил жене серьги, которые мне и вручили в черном замшевом мешочке с гербом фирмы. Этот подарок я через две недели вручил ей в Англии и рассказал вот эту самую чудесную историю.

Самое интересное, что с тех пор я действительно перестал думать о каком-либо вознаграждении за свои труды или о каком-то признании своих заслуг и талантов со стороны отдельных людей и восторженных человеческих собраний. Я знал, что за свои труды всегда получу то, что мне необходимо, и уровень этой необходимости на самом деле известен только Богу. На Него я и положился окончательно, и поверь, не было с тех пор случая, чтобы у меня не оказалось необходимого и даже иногда излишнего, и необходимое признание, помимо всяких моих горячих усилий, само пришло ко мне. Книги стали выходить как бы сами по себе. Стали приходить приглашения из разных стран. Меня приняли во всякие всемирные и всеевропейские общества, о которых я знал и не знал ранее. И мне стало одинаково хорошо и в пристрастных аудиториях Рима, Лондона или Тюбингена, и на узких улочках Кадиана, где достоинство человека определяется по его искренности и смирению.

И я перестал ощущать, что мой поезд уходит. Я ехал на *своем* поезде по дороге Бог знает куда, ехал легко, светло и уверенно, потому что осознал: Бог действительно знает, куда ведет дорога.

14

БРОДЯГА Я...

Завершая соображения о вещах, добавлю, что по немногим моим позиткам можно изучать географию моих перемещений по свету. Но если они, эти вещи, складывались в пусть даже и нелепое, но все же единство моего облика, то что было сказать о мировоззрении моем, которое слагалось из столь разных, на первый взгляд, данностей, как математика и поэзия, богема и религиозное служение, европейское самоощущение при квазиазиатском происхождении. Выпадали, например, в моей жизни странные дни и недели, когда я не только говорил, но даже думал, а то и писал стихи на разных языках — по-венгерски, например, или даже по-испански, по-немецки, по-турецки, по-английски, по-татарски. Получалась такая мешанина, что только сквозь призму Ислама и можно было увидеть, что душа моя, как и мир, хоть и разнообразна и противоречива, но едина, поскольку отражает Единство Замысла и моей собственной жизни.

Вид у меня в Кадиане был, таким образом, прямо по старой-старой индийской песенке, в которой Радж Капур пел о том, что, при японских ботинках и английских брюках, он ходит «в русской шапке большой, но с индийской душой». С моей «русской» шапкой дело обстояло так. Шапка у меня была пирожком, с белой опушкой и рыжим замшевым верхом. Шапка была что надо, в пору настоящему индийскому гостю с какой-нибудь несуществующей картины Васнецова. И хотя все вокруг были уверены, что шапка русская, на самом-то деле это была настоящая шотландская, куп-

ленная за пять английских фунтов стерлингов в сувенирном киоске в высоких осенних, ветром продуваемых горах над озером Лох-Ломонд.

Но что было делать со второй частью песенки? Уж не стало ли и это правдой в моих скитаниях, уж не променял ли я на новую действительность того себя, которого ты знаешь? Сталось ли что-нибудь с моей татарской душой, родившейся вместе со мною на окраине Казани, в родильном отделении пятой городской больницы рядом с Азимовской мечетью, где тогда, в пятидесятых, уже прочно угнездились какие-то курсы повышения квалификации? Что сказать тебе на это? Вот он я, не шибко высокий, коренастый, в последнем приступе молодости человек в черной венгерской куртке, шотландской шапке с оранжевым верхом, в поблекших турецких джинсах и вишневых чехословацких туфлях, с немецкой желтой сумкой через плечо, вот он я, неспешно идущий по средневековой кадианской улочке от гостевого дома к Белому Минарету среди множества людей других рас и национальностей, другого воспитания, другой одежды, других вещей, других воспоминаний. И если вдруг — в таком столпотворении — попытаться сосредоточиться на том, что отличает тебя от других, вполне можно впасть в беспокойство, в то самое бесцельно-тревожное состояние, которое всегда наготове для человека, если он слишком пристрастно вглядывается в собственное «я». А ведь я занимался этим пристальным самоанализом почти всю свою сознательную жизнь, обнаруживая в пространстве собственного эго то один, то другой ориентир. Всякий раз эти ориентиры казались прочными и незыблемыми — и всякий раз истаявали, терялись в холодном просторе нелюбезных реальностей. И каждый раз возникал иску: из любой кажущейся истины создать «идола» и поклоняться ему. Таким сотворенным — мной — для себя кумиром в одно время стала для меня моя собственная национальная культура. В обстоятельствах, когда все другое обернулось ложью и предательством, мне примнилось, что только национальное достойно служения и внимания, и я кинулся в этот новый мираж со всей страстью неопита. И не я один, брат. Многие мои соплеменники, десятилетиями вынужденные сносить историческую ложь, придуманную и поощряемую «в интересах великой государственности», приняли мираж национального освобождения за подлинную зарю истины, не заметив, что на деле призывали разве что к замене великодержавной бюрократии своей, национальной, бюрократией... Многие глубоко уважаемые мной люди, даже писатели, в опынении «свободы» внезапно забывшие, каким удушающим, серым и узолобым бывает национальный бюрократизм, вдруг ударялись в романтизм и писали:

«...те, кто имел счастье примкнуть к могущественному объединению, которое носит название «нация», почувствовал теплоту ее заботы, познал счастье служения родному народу, — находит успокоение для своей души...»

Свято место пусто не бывает. Если в этой, безусловно продиктованной искренним порывом, максиме заменить слово «нация» на слова «советская держава», ни идейное происхождение ее, ни окончательный смысл практически не изменятся. «За детство счастливое наше спасибо, родная страна». Опять преклонение перед идолищем государственности, которое пожирает своих собственных детей и иначе не может, — вот в чем беда. Не в осуждение говорю это, брат. Меня самого едва не пожрал этот новый молох. Хотя, наверное, правда и то, что не ему я был предназначен. Слишком далекие горизонты я уже видел к тому времени, чтобы чувствовать себя уютно в четырех стенах национализма. Когда этот очередной идол рухнул, не выдержав соприкосновения с многообразной и широкой географией моих духовных скитаний, многое рухнуло вместе с ним, в том числе и большая книга о татарской эмиграции, которую я истоиво писал, пока не обнаружил, что исхожу из ложных или надуманных аксиом. Впрочем, бессмысленных жертв не бывает. Благодаря своим национальным терзаниям я научился уважать подобные терзания и других людей. Более того, я убедился, что существует предел, за которым твоих национальных

страданий не поймет никто, кроме соплеменника и земляка, а поэтому и не нужно объяснять их другим людям. Объяснять нужно только то, что можно объяснить. «В русской шапке большой». Станным образом эта песенка, впервые услышанная мной в пятидесятые годы в исчезнувшем нынче казанском кинотеатре «Возовец», постоянно возвращалась ко мне в этом индийском путешествии. «...но с татарской душой...» Тут бы мне и ударить себя в грудь и вдохновенно возопить: много чего, мол, я видел и пережил, но лучше родины ничего, мол, нету! Тут бы и признаться, что сквозь все кокосовые пальмы и архитектурные чудеса Индии и остального мира всегда и всюду вставала передо мной Казань и звучала в моей душе татарская песня. А что, если и звучала? Какая в этом моя заслуга? Хочешь не хочешь, а мир гораздо сложнее, страшнее и причудливее, чем пытается казаться. Человек никогда по-настоящему не знает, что именно принесет ему душевные страдания, всегда сомневается в том, чем же из нажитого следует ему дорожить.

Прибыток, стало быть, невелик. Но что я действительно нажил за время моих собственных терзаний, так это мужество быть откровенным. Поэтому и скажу откровенно: я не знаю, люблю ли я родину. Более того, я совершенно не уверен, что она любит меня. И тем не менее — от нее нельзя убежать, уехать, скрыться; ее нельзя забыть. Где угодно достанет она щемлящим чувством пропажи. Но опять же — какая в этом моя заслуга? То, что я татарин, — это данность, от которой я, как и ты, брат, веками не отрекался, даже когда ненавязчиво предлагали отречься. Но и здесь я не обольщаюсь и не люблюю своей «национальной стойкостью». Ведь у меня никогда не было выбора: я не мог перестать быть татаринном.

Более того: мне всегда хотелось быть татаринном и писать на татарском языке. Я даже смею думать, что во мне погиб незаурядный татарский поэт, но что тут поделаешь... В те годы в Казани легче было выучить английский и немецкий, чем системно изучить родной язык...

Говорят, что мой путь в этом отношении показателен. Может быть, но, при всей его показательности, никому, даже завистнику, не пожелаю и части тех душевных терзаний и того, порой мрачного, труда, какие выпали мне на долю. Во мне всегда была пропасть между мною, совершенно и ответно татарским, и мной же, пишущим на русском языке. Я уже было отчаялся перепрыгнуть эту пропасть — помогло изучение других языков. Только после того, как мой венгерский веноч сонетов был опубликован в Венгрии и получил признание, я отважился сложить первые строчки на материнском, бабушкином языке. Но это был мой путь. У других — другие дороги...

И в свете Ислама национализм — это когда человек звереет не оттого, что его задели за живое, а оттого, что его задели за животное. Всякий раз, когда в человеке поднимается злость или ненависть, он обязан помнить, что злость-ненависть не от Бога, но от Зверя, которого в нем потревожили.

«О вы, верующие! Не допускайте, чтобы один народ осмеивал другой народ, который, быть может, лучше его; и не допускайте женщин осмеивать женщин, которые, быть может, лучше их. И не клеветайте друг на друга, и не давайте кличек друг другу. Одно даже имя, означающее бесчестье, есть уже зло после того, как человек сделался верующим, и всякий, кто не кается в том, творит зло» (Священный Коран, сура Аль Худжурат, 49: 12).

15

ЩЕМИТ, ГОСПОДИ

И вот среди желтых кубических домиков и глиняных оград Кадияна, в истинном смешении рас и народностей припоминалось мне, между прочим, что на южной окраине Казани, в Татарской слободе, на месте ушед-

шего в небытие старинного татарского села Плетени был и у моего дедушки собственный дом. В казанской географии названный мною предел издавна зовется Закабаньем в силу того обстоятельства, что располагается он за озером Ближний Кабан. Нечестивое название озера объясняют в Казани по-всякому; чаще всего упоминаются дикие вепри, некогда в изобилии водившиеся в приозерном камыше. Повествуют, однако, и о легендарном болгарском князе Кабане, принужденном удалиться из родного Прикамья и заложившем на диком берегу озера дивный сад, а заодно и мусульманскую слободу.

Одно несомненно: места эти обжиты давно и средневековое население Казани, изгнанное в 1552 году из городских пределов и с превеликим плачем разместившееся по южным берегам озера, справляло свое горькое новоселье и обустривалось, конечно же, не на совсем уж пустынных местах. Известно же, что на противоположном берегу озера существовали ко времени падения Казани пригородные села и посады, в том числе Русская и Армянская слободы со своими храмами и кладбищами.

Как бы то ни было, долгое время после взятия Казани по озеру и вытекавшему из него протоку Булак пролегла татарская черта оседлости, неуверенно разделявшая город на «русскую» и «татарскую» части, и Закабанье было тем прибежищем, где худо-бедно длилась своеобразная мусульманская полугородская-полусельская жизнь. Здесь держали коров, коз и овец, сажали картошку и сеяли хлеб на отступавших все дальше от города пашнях. Здесь же обретались купцы и ремесленники, кожевенных, ичижных, медных, ювелирных и прочих полезных дел мастера, а также славные на всю империю казанские мыловары. В этих местах, сколько себя помню, всегда тянуло мыльным запахом — со стороны бань на улице Тукаевской, возле которых из-под чугунной крышки уличного люка по тротуару вечно стелился и тек горячий пар химкомбината имени Вахитова, он же мыловаренный завод братьев Крестовниковых. В детстве моем, когда еще на углу, напротив этого вонького предприятия, постоянно и в любую погоду сидел некий босой и очень страшный нищий, по Закабанью что ни день колесили на обутой в резиновые шины арбе собачники и кошатники, хватали все живое, мяукающее и твякающее, и увозили в проволочном ящике, занимавшем всю телегу, — по слухам, на мыло. И собаки смотрели на людей сквозь проволочную решетку.

Это было еще в те прекрасные времена моего детства, когда по утрам в здешних пределах появлялись с коромыслами женщины из предместий и разносили по знакомым адресам деревенскую сметану и удивительно вкусный, цвета топленого молока, холодный катык в оцинкованных ведрах, туго завязанных ослепительной чистоты белыми холстинами. Они, эти женщины, словно сходили с картинки какой-нибудь этнографической книги: льняные, с легкими цветочными узорами платки, завязанные на лбу и по-татарски широким концом свободно спадавшие за спину, белые фартуки, толстые шерстяные носки, серые, домашней вязки. И платья с оборками, какие нынче увидишь разве что на сцене, но ведь это — нарочитое искусство, а не жизнь.

Ветер с озера шелестел листьями старых тополей, и листья были белые с изнанки. Гремели трамваи. Вот здесь-то, в конце улицы Мыловаренной, переназванной, как и завод, именем великомученика очередной российской революции Муллапура Вахитова, по соседству с Плетневской тюрьмой и стоял среди прочих похожий несколько на комод или на деревянную этажерку дом, в котором мой дедушка после войны сторговал за небольшие деньги второй этаж, впоследствии самостоятельно разделенный на две тесные клетушки и кухню. Стоял, и сейчас еще стоит, но домом я его называю разве что из ностальгии: он давно уже превращен в обиталище бездомного люда. Одно время там бедовали бомжи. Потом поселили туда молодую семью, новоприбывшую из деревни; власть пообещала скорости снести весь деревянный околоток и дать молодоженам квартиру. Но вот уже и ребенок их подрос, возится с кутенком на засоренной куриным

пухом травке тесного, общего на два обветшавших дома, обставленного серыми тесовыми сарайчиками и отделенного от улицы покосившимися воротами двора. Играет, как я — сорок лет назад.

Уже зарос крапивой и бурьяном, заглох в кучах мусора бабушкин сад-огород, когда-то там, за домом, сияли золотые звездочки огурцов и помидоров, и капли росы светились на пушистых шариках лука-порея, и всякий год зацветала дрожащими пенными гроздьями сирень. Уже сгорело соседское хозяйство слева, и там поросший сорняками и сиротливым кустарником пустырь, а совсем недавно наполовину выгорело и бревенчатое жилье соседей справа. А дедушкина этажерка все стоит, накренившаяся, кое-как залатанная случайными досками и проклиная временными жильцами.

Я сочувствую им. Но что поделать, если в этом мире то, что есть ущерб для одного человека, часто составляет тайное утешение для другого. Каждый раз, возвращаясь в Казань из очень уж долговременных отлучек, я навещаю этот памятник своему детству, и всегда с некоторым страхом: а что, если его уже нет? Что останется мне тогда от родины, если оборвется и эта — не последняя ли? — еще покуда зримая и осязаемая связь, если вдруг исчезнет, пропадет первая и последняя точка касания души с миром бескорыстной любви, где тебя, возникшего на белом свете, любили только за то, что ты — есть?

Зябкой осенью, прежде чем податься в теплые края, кружились над нашим домом разносимые ветром нескончаемые грачиные стаи. Осень, весна ли, но светало здесь всегда как-то неохотно, а вечерело стремительно быстро, и в огромной осине, обломанный остов которой стоит там, где нынче выгоревший пустырь, протяжно вздыхал сырой ветер. По небу — чернильному, со свежими просветами — клочьями проносились голубые и фиолетовые, подсвеченные снизу облака; непросыхающие лужи на Вахитовской морщило железистой рябью, и такая, астаг'фирулла, такая вселенская, сиротская, щемящая хандра вздымалась в порывах осеннего сумрачного ветра, что казалось: дай себе волю, вдохни ее наконец досыта, полной грудью, — и умрешь — то ли от печали, то ли от счастья.

И повсюду со мною — этот отзвук несбывшегося бытия, эхо детского сиротства, зов другой, навсегда другой жизни, о которой лишь вспомни — и захлебнешься от слез и жалости, потому что ее никогда не будет, потому что она уже была — и прошла, а ты и не заметил.

У меня нет другой родины, кроме этой нищеты.

Там, если выйти со двора через покосившуюся калитку в воротах, справа, неподалеку, Старотатарское кладбище, где погребены по-мусульмански мои бабушки и деды, и редко я их навещаю, реже, чем это пепелище моего детства. Слева же — рукой подать — краснокирпичное, обмотанное колючей проволокой здание Плетеневской тюрьмы, на которое прежде и оглядываться-то боялись. А теперь молодежь, забравшись на крышу дровяника, что напротив тюрьмы, громко переговаривается с развеселыми, разбитными узниками, выглядывающими из-за решеток высокого второго этажа, — горланят, матерятся, гогочут. Я не знаю, как относиться к этому, но мне почему-то не по себе.

А дальше по улице — Азимовская мечеть, легкая, как младенческий сон, с чудесным тонким минаретом, откуда — вот чудо! — сквозят гвалт и ругань теперь негромко доносится азан. И я иду на этот зов — по арычной улочке, выложенной узким кирпичом, среди домов-кубиков средневекового Кадиана, по пыли и праху кочевых дорог Индии, — я иду на этот зов по вековой грязи и пузырящимся лужам улицы Вахитова, улицы моего детства. Я дождал до времени, когда с Азимовского минарета заструился, как свежее дуновение, зов на Молитву.

Однажды, лет двадцать назад, когда об азане и речи быть не могло, мне взбрело на ум забраться на вершину этого минарета. Помню, как долго просил у кого-то позволения и как долго отыскивались ключи; как я,

продравшись сначала через какие-то ящики и старые автопокрышки, начал подниматься в полутьме по винтовой лестнице и осторожно восходил, пугая голубей, с треском вылетающих в щелевидные оконные проемы, — и в косых солнечных лучах долго метались и пух-перья, и ожившая пыль страшных десятилетий. И я вышел на верхнюю площадку, окруженную металлическими перильцами, и увидел разом всю Татарскую слободу — от озера Кабан до Старотатарского кладбища, увидел и запомнил на весь остаток жизни — родину мою, разоренную, утратившую разум и достоинство, равнодушную к собственной нищете и скудости.

Тогда я еще не знал, что нам привелось жить в Последние Времена — в Дни Страшного Стыда.

И видна была с минарета — в печальной зелени уходящего лета — жестяная крыша дедовского очага, ничем не примечательное место, пятнышко, точка на земном шаре, в которой совместились начало и конец всех моих снов, мечтаний, иллюзий. Начало и конец того самого «меня», татарчонка с казанской окраины, который где-то в прошлом — или в настоящем?! — воображал мою сегодняшнюю жизнь, засыпая на пружинной кровати с блестящими, сверкающими, гипнотическими металлическими набалдашниками.

...Трещат в печке внесенные из-за дождя в дом дрова, стреляет печка, и ответы огня дрожат на стене, на зеленоватых обоях с цветочными букетами, и очертания этих соцветий живут, движутся, превращаются в лица, и я с трепетом начинаю видеть их глаза-очи, длинные носы, ехидно сжатые губы. В комнате сумрак. В широком окне — отблеск и отражение высокого буфета, на котором — растопыренная розовая океанская раковина, предмет моих игр и младенческих размышлений; теперь, отражаясь в окне, она словно парит в заоконной сырой тьме. За окном — жутко: шуршит и шелестит сад, живущий отдельной от меня травяной, лиственной жизнью; если утихает ветер и перестает моросить дождь, смородинные и сиреневые кусты там, внизу, расправляют ветви и медленно отряхиваются. В траву — нехотя — падают с ветвей тяжелые капли, и боязно: а вдруг по саду ходит кто-то чужой; и в мокрой тишине хрипло лают, захлебываются, с привизгом воют слободские собаки.

И вообще страшно — взрослые запирают нижнюю дверь на все засовы: амнистия. Вдыхает мокрый сад, гудит печка; и сам дом, деревянный, похрустывает, постанывает, издает странные скрипы, добавляет жути.

Взрослые вполголоса переговариваются на кухне, отгороженной от меня красноплюшевыми шторами с кистями, шелковыми, в твердых узлах. Журчащая речь проникает в мой переполненный детскими страхами мир и, вот странно, успокаивает меня. Это татарская речь, главная человеческая речь моего существования, с которой все началось и, по правде говоря, в которой и продолжается все. И где бы ни оказался я, стоит закрыть глаза, отстраниться чувствами от окружающего — и все возвращается ко мне: тепло печки и промозглая сырая мгла за окном, вздохи и шепоты сада, скрипы половиц — и родная речь.

Мир, пугающе чужой мир за воротами дедушкиного дома впоследствии лишил меня этой речи, но не сумел отнять ощущения ее бесспорной главности, ее неоспоримого первородства в моей насильственно отчужденной от татарского детства жизни. До трех лет я говорил только на татарском, но потом вся жизнь перевелась на русский: он стал языком учебников, вопросов и ответов, просьб, желаний и самовыражения в неукложих, но по возможности искренних стихах. Мысли мои — от самой светлой до самой темной и стыдной — также перевелись на русский язык. Сам я выучил татарскую грамматику, а впоследствии и арабский алфавит уже будучи сравнительно взрослым человеком. Какое, в сущности, имею я право называть родным — татарский язык? У меня оказалось немало времени, чтобы поразмыслить над этим — в молчании, а также и в отчаянии, когда — представь себе, всерьез! — я порывался выбросить русский язык из жизни и попыток творчества, и, честное слово, отказался бы от него и

сейчас, написав лежащую перед тобой книгу если не на татарском, то на английском, если бы не Ислам и не Пушкин.

Ислам принадлежит всем, а не только татарам или арабам, и если даровано мне Всевышним благо свободно изъясняться по-русски, не могу я и не имею права пренебречь этим благом.

А Пушкин? Он подтвердил мою догадку о тайне родного языка, о том, почему так сокровенно держит и не отпускает татарская речь мою многоязыкую душу.

Почему при первых же звуках родной татарской речи сжимается душа в дрожащий комок, как осенняя птица в том бедном саду, где ходит, тихо шурша смородинными листьями, нищий дождь моего казанского детства и бабушка с дедушкой еще живы?

Щемит, Господи.

Чем я отведу на эту любовь? Разве собственными русскими стихами?

Чем воздам за сиротскую печаль, за неохватную, высокую и звездную, тоску татарских песен, за горечь татарской поэзии, за осенний листопад на Старотатарском кладбище, где хотел бы я лежать, когда назначено будет, — все ближе к отчему пределу.

Не воздашь за это бытовыми татарскими словами, и русскими не воздашь, ведь, как ни мудруй, нет в них последней предсмертной подлинности, любви и благодарности.

И когда домогаешься этой подлинности, недоумеваешь — в чем же она? — вдруг наводит Аллах на душу, вдруг подсказывает Он полузабытые в сутолоке дней строки:

Не для житейского волнения,
Не для корысти, не для битв,
Мы рождены для вдохновения,
Для звуков сладких и молитв...

Все могу позволить себе произнести по-русски, все выразить: любовь к женщине, испуг, страх, гнев, но — не сущность моей Молитвы, состоящей из отчаянья, надежды и благодарности. Здесь — последний край меня самого, того, кем я должен был стать, да не стал и уже не стану. Не говорю, что цыгане подменили, — сама жизнь подменила меня, привив вместо тюркского — славянский подвой к дичку Богоданной души, и цветет эта душа и плодоносит уже иначе.

16

С ЧУЖОГО БЕРЕГА

Какой же язык подлинный, на каком из дарованных языков говорят сердечную правду Жизнь и Поэзия, две стороны каждой человеческой судьбы? «Каждой ли?» — усомнишься ты. «Каждой», — утвердительно отвечаю я. И разве не поразительно, брат, что окружающая меня сегодня повседневная английская жизнь, уже привычная своей заморской повадкой, цивилизованной растительностью и опрятной архитектурой, вдруг начинает говорить — нет, не на татарском, а на том полупроклятом-полузабытом было тревожном, болезненном моем русском языке, расшатывая и те немногие устои, которые с превеликими трудами созданы мною же в иноземном бытовании.

В Жизни больше Поэзии, чем в самой Поэзии. Забудь, что находишься в Индии, спустись в лондонское метро и окажись ну хотя бы в роскошном, далеко не каждому по карману жилом районе Хэмпстед-Хис с его пышными садами и террасами, с изливающимися за железные заборы фиолетом цветущих глициний, пройдишь по этим улочкам, напоминающим тебе то ли Рим, то ли Венецию, но уж никак не туманный Альбион, и впади в райскую мечтательность, растворишься в этом окружении, стань частью его.

В одном заросшем правильной, хоть и буйно цветущей растительностью уголке увидишь дом Китса, в другом музей Хэмпстеда, где аукнутся в твоей цивилизованной памяти имена Даниэля Дефо, Кэтрин Мэнсфилд, Констебля и еще многие другие, гордость английской культуры. Хэмпстед-Хис — это зеленая крыша Лондона, цветущий, зеленеющий и блистающий озером Олимп небожителей искусства и остальной богемы, и настолько он английский при всем его нездешнем виде, что кому придет в голову вдруг перевести его название на русский язык, да и почему именно на русский? Да потому, что из маленького холла хэмпстедского музея, где проходит русский вечер, на твоих глазах выскакивают на конях в вечернюю, пропитанную моросящим дождем парковую прохладу, ломаются сквозь плети фиолетово-восковых глициний — кто бы ты думал? — да конечно же булгаковские казаки, скачущие вослед за генералом Чарнотой под перезвон колоколов, под звон вечернего чеховского благовеста. Кто спросил меня, хочу ли я помнить их?! И не больно ли мне помнить их, придуманных героев, которых привела в эти упоительно-дорогие, чересчур для многоязычного Лондона английские пенаты не столько Поэзия, сколько драма Жизни, упрямо отказывающейся забыть, примириться, утихомириться, успокоиться, найти утешение... И зачем в музыке петых и нами когда-то романсов дрожит не только свет той, благородного происхождения, петербургско-московской свечи, но и ответ простой восковой свечки с нищего кладбищенского погоста, ответ неба в рассыпанных по каменному надгробию каплях дождя?..

Проскачут ли кони, послышится ли голодный плач, шумнет ли в ушах гвалтом одесского или иного блошиного рынка — и вдруг захочется тебе назвать Хэмпстед-Хис по-русски, и не Пенатами Хэмпстеда, как надо бы по уму и из уважения к британскому культурному наследию, но какой-нибудь Хэмпстедовой Еланью, и разглядишь ты в этой буйно цветущей, изобильной, роскошной растительности не свет, брезжащий в гроздьях глициний, не крупные, нежные и посеребренные дождем розы в частных ухоженных двориках, но какую-нибудь чахлую и сутулую березку с почерневшей от сеющего дождя берестой, стоящей у порога викторианского особняка подобно беженке без родни и перспектив. И музыка пронзительно русских городских романсов проливается в воздух, наполненный совсем другой музыкой, и эти две музыки не смешиваются, не способны смешаться, настолько они разные.

Смотрит с чужого берега Жизнь на Поэзию детства, навсегда оставшуюся на другом берегу, там, за житейским морем. Широко это море, не разглядеть почти ничего, но уж что разглядел — то твое. И тянется Жизнь к Поэзии через долгие и мучительные пространства бытия, тянется, кличет, окликает: отзовись! Но так редко отзывается она...

А казалось бы, чего тридцать лет мучиться, вновь доходить через Пушкина и новое открытие Ислама до пронзительной истины, о которой говорила мне еще бабушка, когда учила нетленным словам «Фатихи» в долгие сырые вечера на казанской окраине. Ведь Аллах даровал человеку речь — для молитвы и для служения Единству. И ведь не то страшно, что не напишу больше стихов по-русски, по-татарски или не смогу, когда приспишит, попросить воды и хлеба. А то стало навсегда отчаяньем моим, что вот взываю ко Всевышнему на татарском — единственном подлинном, вместе с бескорыстной любовью дарованном в детстве и полузабытом языке своей души, — и вдруг с неумолимой ясностью понимаю, что я — немой, что вот это мычание страданья и есть моя истинная РОДНАЯ РЕЧЬ, МОЯ СУТЬ — МОЕ ТАТАРСКОЕ ЭГО.

Родину, если она есть, нельзя забыть и покинуть. Она всегда напомнит о себе. Она коснулась меня и в моем индийском путешествии, и, как всегда, самым неожиданным образом. Когда я, уже после Кадияна, жил в Мадрасе, пользуясь гостеприимством мисс доктор Асфы Захры, рассуждая в маленьком садовом мезонине с профессором астрономии Алладином из Хайдерабада о Боге и рационализме, посещая местные достопримечательности

ти, среди которых, быть может, главные — это пещера и храм, связанные с житием святого апостола Фомы, мои новые друзья-ахмади как-то попросили меня съездить с ними «к русским», которые что-то там строили километрах в ста от Мадраса. Идея состояла в том, чтобы поговорить с ними об Исламе и предложить им книги, в том числе Священный Коран в русском переводе и несколько произведений Обетованного Мессии, уже переведенных мной к тому времени. Сказано — сделано.

Ехали мы в этот поселок — назывался он, кажется, Путтучерри — уже под вечер, потому что по пути заехали в другое место, некогда очень известное в мире, а именно — в городок Пондичерри, где находится ашрам одного из индийских махатм Шри Ауробиндо. После осмотра ашрама естественно было заехать в международный центр духовности Ауровиль, но вскользь об этом не расскажешь, да и всему свое место. Ехали мы как-то долго, вдоль дороги росли пальмы и кряжистые, узловатые тамаринды, свежие листья которых употребляются в пищу; в наступающих сумерках цвела-отцветала глициния и роняла на землю последние цветы зимы. Где-то неподалеку курчавились взбитой пеной воды Бенгальского залива; бронзовые и зеленые ящерицы юрко шастали по стволам кокосовых пальм. Жизнь, окружавшая меня, была совершенно нереальной.

Словом, мы приехали в Путтучерри уже под вечер и разыскали там «русский поселок», состоявший из нескольких серых блочных домов за общей оградой. Зашел я за эту ограду и попал из Индии... в татарский нефтяной поселок Азнакаево. Потому что эти русские оказались, понятное дело, татарскими нефтяниками с Ика, из мест, хорошо мне знакомых, и я окунулся в родную татарскую речь после нескольких месяцев сплошного английского, перемежаемого разве что венгерским. Времени у меня было совсем мало, но хватило и на разговоры с Анваром и Ильдусом, и на совместный намаз, и на то, чтобы с помощью одного из моих друзей-ахмади, имама-геолога, по мусульманскому обычаю назвать сына Рамзии Тагиром, и ей на то, чтобы испечь кыстыбый — дивные, ароматные татарские лепешки с картошкой, и на чай с азнакаевским медом — душистый, ностальгический чай, заваренный с настоящей татарской мятой, настоящей душицей и истинным зверобоем, которые были привезены из тех самых мест, где я когда-то нашел на берегу Ика сокровенную ежевику...

Высокая индийская ночь стояла над нами, южные звезды сверкали, и свежестью веяло с морских равнин. И там, в этих, казалось бы, полуслучайных разговорах о трудности и неопределенности жизни, я вдруг понял, что Аллах нарочито напомнил мне, что я — татарин и останусь татаринцом, и если остались в моей душе чистота и первозданность, то они имеют татарские имена.

На обратном пути в Мадрас я вслух пел татарские песни. В одном из индусских поселков, через которые мы проезжали, была свадьба — мистическое действо в странном освещении, в отблесках огней, со множеством цветочных гирлянд и праздничной мишуры. Музыка звучала, били в барабаны и бубны, грохот стоял. Наш водитель включил радио, чтобы как-то перебить этот однообразный гомон, и когда мы выехали из поселка и ночь вновь сомкнулась вокруг нас, на радиоволне вдруг зазвучала та самая, первая в моей жизни, индийская мелодия, которую я, трехлетний, слышал в том самом казанском кинотеатре «Вузовец», которого нет ныне, на месте которого — разве чуть повыше на холме — стоит памятник Муллауру Вахитову:

В русской шапке большой,
но с индийской душой...

И я помолился за моих новых друзей, за Рамзию и Тагира, Ильдуса и Анвара, я помолился за моего друга Зуфара Хусаенова, с которым бродил в юности по берегам Ика, и вознес благодарность, и в глазах моих были слезы.

Вот это осознание и называлось — Ислам.

БЕЛЫЙ МИНАРЕТ

Я шел на Белый Минарет, здороваясь со знакомыми и незнакомыми людьми, шел по маленькому пенджабскому городку, о котором услышал-то относительно недавно, а теперь ощущал его как свой собственный город. И то, что этот городок был составлен из домов-матрешек и сам — особенно в древней ахмадийской его части — представлял собою как бы единый Дом-город, будоражило мое воображение игрою земных пространств, вставленных одно в другое и всегда совместимых, будь они происхождением из прошлого, настоящего или не проявленного еще грядущего.

И эти множественные ощущения, сложившиеся воедино в моей душе, но все же живущие своей особенной и отдельной жизнью, превращали мое бытие в сиюминутное бессмертие, давая возможность одновременно быть и трехлетним гололобым мальчуганом с казанской окраины, и вечным недорослем, и зрелым, в общем-то, состоявшимся человеком, и даже стариком, улыбающимся при мысли о смерти.

Я шел по плотно сбитой дороге, когда-то вымощенной узким кирпичом, я двигался к новым знаниям и чувствам и новым жизненным тревогам и испытаниям, и, однако же, я вечно стоял на вершине минарета — Азимовского ли в Казани, Белого ли в Австралии или подлинно Белого в Кадияне — и видел живой, ранимый, прекрасный в болящем единстве своем мир, где над окраинными лесами и полями плыли облака, вырастая на горизонте в горы, и горы эти при ближайшем рассмотрении оказывались не чем иным, как оснеженными предгорьями самых что ни на есть настоящих Гималаев.

Люди между тем останавливали меня, спрашивали, откуда я, и не потому, что им не терпелось выяснить мою национальность. Национальность здесь была вопросом даже не второстепенным, а третьестепенным, хотя, конечно, имела значение в свете культурной принадлежности и возможности узнать нечто новое о мире. Для них было важно, из какой страны я прибыл, то есть — в какой еще стране мира посеяно зерно Ахмадийского Ислама.

И сейчас, когда я вспоминаю кадиянские события моей жизни, я лучше, тверже всего помню даже не удивительные закоулки и комнаты родового Дома Обетованного Мессии, но встреченных мною людей и разговоры с ними. Я вспоминаю того молодого калеку — не из Кашмира ли он пришел на своих костылях? — который, несмотря на свою совершенно очевидную бедность, потащил меня в крохотную кофейню, усадил за дощатый стол и принес мне маленький стаканчик кофе; затем мы разговорились, он не знал английского, а я тогда ни слова не понимал на урду, и мы тем не менее прекрасно поняли друг друга, потому что души наши говорили на одном языке — на языке исламского добросердечия и уважения к любому другому.

Смешно было бы выяснять его национальность, ведь Истина, к познанию которой мы оба стремились, была наднациональна. Я помню его, встреченного однажды. Я молюсь за него, потому что он, отдавший нищенскую пару рупий за стаканчик кофе, он, со своей детской искренностью и наивным бескорытием, стоит и сейчас перед моими глазами, как совесть и правда, как брат мой, за которого я теперь отвечаю перед Аллахом. Я не могу его забыть.

В Дом-город Обетованного Мессии можно было войти через высокие ворота, также украшенные цветной мишурой и приветственным черным транспарантом с белой арабской вязью. Черное, кстати, — цвет исламской царственности и благородства, а не цвет траура, который в данной знаковой системе окрашен в белый цвет.

Тогда у самых ворот я впервые и встретил Карла — высокого и красивого американского парня из штата Невада. Пока мы знакомились, к нам подошла нищенка с дитем и деловито протянула руку за подаванием. В руке этой было уже полно мелочи и несколько бумажек по десять рупий. «Хо-хо, — сказал Карл. — Ей уже пора поделиться с нами. За десять рупий тут можно получить на обед целую зажаренную рыбу с кучей овощей, и будешь сыт весь день...» Выяснилось тогда же, что Карл привез сюда, в Кадан, свою американскую невесту, чтобы совершить никах — освятить брак по мусульманскому обычаю — в священные дни праздника. Это должен был сделать сам Халиф нашей Общины. В ожидании торжественного события невеста Карла жила в гостевом доме со всеми удобствами, а он ночевал где придется, денег у него после двойных расходов на дорогу из Америки было в обрез, и свежезажаренная рыба с овощами доставалась не всякий день.

Меня, естественно, интересовало, как люди, подобные Карлу и другим европейцам, американцам, австралийцам, вообще «белым», находят путь в Ахмадийскую Общину. С Карлом дело обстояло так: как я уже упоминал в начале повествования, в своем родном штате Невада он некоторое время работал проводником, и однажды ему случилось сопровождать по горному маршруту Халифа Ахмадийской Общины Хазрата Мирзу Тахира Ахмада, который, надо сказать, старается заниматься спортом во всякое время, остающееся от забот и трудов. В любую погоду и любое время года он совершает пятимильную прогулку пешком по окрестным паркам или по лесам и горам, где как придется. Иногда, если повезет, его можно сопровождать, надеясь на беседу.

Я могу себе представить первый разговор Карла с Хозуром, как уважительно и любовно называют Халифа в Общине, ибо помню и свой первый разговор с ним, в Лондоне, и зимнюю заутреннюю прогулку с ним по Ричмонд-парку.

...Сначала было совсем темно, купы деревьев и кустов Ричмонд-парка еще не обрели отчетливых очертаний, чуть поблескивали тающие звезды, и я шел следом за цепочкой людей, где-то в середине которой находился Хозур. Во время его прогулок приходится принимать меры предосторожности, поскольку на предыдущего Халифа Ахмадийской Общины было совершено покушение, и не где-нибудь, а в мечети, во время молитвы. Есть люди, считающие себя (и при этом только себя) правоверными мусульманами, которые предпочитают разрешать теологические споры ударом ножа или выстрелом в темноте. Я помню, как начальник охраны Хозура, отставной майор пакистанской армии, после того, как мы вышли из машин, подвезших нас к парку, отозвал меня в сторону и, объяснив, как и где мне следует шагать, сказал: «Вы приехали из страны, где из-за угла не стреляют, так что вам трудно будет понять наши предосторожности». Боже мой, Боже мой! Это было так недавно, всего четыре года назад!

Хозур ходит быстро, по-спортивному, и поговорить с ним во время прогулки можно только тогда, когда он останавливается на десять минут, чтобы покормить уток в парковом пруду. Обычно это происходит перед самым восходом солнца, и удивительные ответы на вопросы обо всем на свете можно услышать тогда. Хозур необычайно спокоен и уверенно-убедителен в своей речи, и неудивительно: он действительно знает то, о чем говорит, и верит в то, что говорит. Можно задать ему самый трудный вопрос, и ответ будет прост и ясен, так же ясен, как наступающее в Ричмонд-парке утро, когда сначала проявляются деревья и кустарник, а потом — лужайки для гольфа, с холмиками и впадинами, поросшими словно бы вечнозеленой травкой, которую в то прозрачное звенящее утро серебрил легкий иней английской милосердной зимы.

То, что беседа на прогулке так кратка, вовсе не означает, что Хозур неприступен. Совсем напротив, он всегда рад ответить на вопросы интересующихся Исламом и местом Ахмадийской Мусульманской Общины в современном мире Ислама. Я почти уверен, что и в Америке, при разговоре

с Карлом, Хозур говорил примерно то же самое, что и мне в Лондоне: «В ахмадийских доктринах вы не найдете ни одного элемента противоречия между Словом Бога и Его Деянием в природе, которую Он сотворил. Это самое рациональное понимание религии. И как таковое оно наилучшим образом отвечает разуму и сердцу современного человека. В конечном счете выживает то, что логично, разумно, что может убедить не только сердце, но и разум».

Действительно, ахмадийские убеждения согласуют пытливость разума с исканиями сердца, и это — одна из причин того, почему в Общине много людей, подобных американскому парню Карлу Райххольду.

У ворот Дома-города Обетованного Мессии, в оживленной массе людей, собирающихся на дневную молитву в первый день приезда, помимо Карла я встретил многих знакомых. Была там и одна семья, которую я был особенно рад видеть, потому что мое сердце переполнено и непреходящей благодарностью к ним, и даже восхищением перед некой образцовостью их исламского бытия. Это английская семья профессора-дерматолога Саида Ахмад Хана и его жены, природной англичанки Сельмы. Эта во многих отношениях выдающаяся семья живет в британском графстве Йоркшир, в усадьбе конца прошлого века, которую мы с женой при первом посещении приняли за небольшой, но вполне настоящей замок с развешанными по стенам произведениями европейской живописи и специальной «китайской» комнатой, в которой расположена врачебная приемная профессора. Заработанный долгим трудом достаток не мешает этой семье жить чрезвычайно просто, обходиться во всем собственными усилиями, разводить пчел, а также держать овец, которые пасутся в приусадебном саду и прибегают на первый зов Сельмы из самых дальних его уголков.

В этой уникальной по гостеприимству, по твердости убеждений, по интеллигентности и религиозной жертвенности семье четверо детей, трое из которых уже завершили свое университетское юридическое образование, а четвертый недавно поступил в Королевский колледж в Лондоне, учит русский язык и готовится стать дипломатом, а также политическим деятелем от британской партии консерваторов. Сельма стала мусульманкой более двадцати лет назад, а до этого работала в христианской миссии.

Мы часто встречались и много разговаривали. Это происходило и в йоркширской усадьбе, и возле пчелиных ульев на пасеке, и в машине, несущейся по скоростному шоссе Лондон — Лидс, и в нашей крохотной квартирке в суррейском Исламабаде. В этом маленьком исламабадском доме жена даже взяла у Сельмы интервью для своего документального фильма «Женщины Ахмадии», и я хочу привести его в сокращении, хотя бы для тех, кому претит всякая лирика, но доступна документальность. Так как же Сельма Хан, европейски образованная и воспитанная в английской христианской семье, пришла к Исламу?

СЕЛЬМА: Когда я набиралась медицинского опыта, чтобы стать сестрой милосердия в одной из благотворительных христианских миссий, я вдруг начала задавать себе вопросы, которые прежде не приходили мне в голову. Я внезапно стала задумываться о таинстве Троицы, сути Искупления, смерти Иисуса на кресте и прочем в том же духе. И я принялась искать ответы на свои вопросы в других религиях — Индуизме, Буддизме, Синтоизме, во всех доступных мне религиях, кроме Ислама. Меня совершенно не интересовал Ислам, быть может, потому, что я не слышала о нем ничего хорошего, и мне, как воспитаннице методистской церкви, казалось, что истинная вера может сохраняться у католиков, у баптистов, у кого угодно, но обязательно в лоне Христианства.

Затем, почти случайно, я прочла одну книгу об Исламе, и эта книга рассердила меня. Я увидела, что автор ее не совсем честен в своем подходе к Исламу, это было очевидно из приводимых им аргументов. Чувство справедливости заставило меня прочесть еще две-три книги мусульманских авторов, но они оказали на меня мало влияния. Наконец я прочла небольшую ахмадийскую книжку об избавлении Иисуса от смерти на

кресте, и эта маленькая книга произвела на меня сильное впечатление. Я полностью согласилась с ее доводами и как честный человек после того уже не могла называть себя христианкой. Но это случилось уже после моего замужества.

ЛИДА: Значит, на вас оказал влияние ваш брак с мусульманином?

СЕЛЬМА: Не сам факт замужества. Саид был главным врачом в реанимационном отделении, где я работала медсестрой, и я обратила внимание, что в случае успешной реанимации он ведет себя как-то иначе, чем мы все. Мы обычно гордились собой и своим врачебным умением, он же лишь произносил «Альхамдулилла!» — «Вся хвала надлежит Аллаху». Меня заинтриговало и то, что он, при всем своем мастерстве, никогда не относит успехов на собственный счет. Я спросила о его вере и услышала в ответ, что он — мусульманин-ахмади.

Об Исламе я к тому времени знала только то, что эта религия разрешает мужчине иметь четырех жен, и тому подобное. И я подумала: бедняга, он ничего не знает о Христианстве, и решила просветить и обратить его — в те редкие минуты, которые нам оставались от напряженной больничной работы. Он часто говорил, что все его интересы лежат в том, чтобы угодить Богу. Я подумала, что если он узнает о Христианстве, то станет служить Богу более осознанно, но все случилось наоборот. Он стал задавать мне вопросы, на которые я не нашла ответов.

Отсюда и началась по-настоящему мои собственные вопросы к Христианству. Когда вы веруете — а я веровала истинно, — вы многое считаете само собой разумеющимся. Например, я была потрясена, узнав, что Ислам настолько моложе Христианства. Я-то полагала, что это одна из древнейших вер Востока, подобно Индуизму, скажем, и потому она не имеет ничего общего с современностью и современной жизнью. Ислам же оказался таким молодым и современным, и чем больше я сравнивала его с другими верами, тем более удивлялась в том, что обращаться сейчас к Исламу — это как читать сегодняшнюю газету вместо газеты за прошлый месяц. Так все стало на свои места, а я стала мусульманкой. Только после этого я вышла замуж за Саида.

Считал ли он, бедняга, себя в ответе за бурю, произведенную в моей душе, и за то, что моя семья не одобрила моего религиозного выбора, но он навсегда оказался рядом со мной.

ЛИДА: Наверное, трудно было приспособиться к мусульманскому образу жизни?

СЕЛЬМА: Трудным оказалось вовсе не то, что я полагала трудным. Первый год я все переживала сложно потому, что многое должно было перемениться, и я проводила много времени в молитве. Я спрашивала Бога, правильно ли я поступила, и если нет, то просила Его уберечь меня от неверного выбора. Когда же я убедилась в истинности выбранного пути, все остальное стало не важным. Совершенно не важно, какие последствия вас ожидают, если вы избрали Истину. Ислам был Истиной, я была убеждена в этом, однако трудно было объяснить это моей семье и моему окружению. Вы можете быть убеждены в сердце своем, но на первых порах часто не в состоянии рационально объяснить свой выбор. Вот это было действительно трудно.

Переход от христианской, дважды в день, молитве к пятикратной молитве заботил меня больше всего: я думала, что такое частое повторение делает молитву бессмысленной. Оказалось как раз обратное: по прошествии некоторого времени вы чувствуете себя обделенной, если не можете вовремя соблести молитву.

А вот что касается покрывания головы, когда выходишь на улицу, и прочего... Это не потребовало больших усилий, несмотря на то что в те годы это было крайне необычным в глазах остальных. Сегодня это совсем нетрудно, потому что вокруг много европейцев-мусульман. Когда я стала мусульманкой, это было отчасти одинокое существование, но Община была так заботлива ко мне, что я скоро перестала ощущать одиночество.

О чем я действительно скучала вначале, так это, честно говоря, о плавании, ведь в те годы не было отдельных женских пляжей или бассейнов, а Ислам запрещает показываться полуголой на людях. Теперь и плавание не проблема, потому что есть женские часы в бассейнах, есть пляжи, есть где заниматься спортом.

Что же касается моего европейского происхождения, то я чувствую, что Ислам существует для всех. Здесь нет расовых или иных преград. Благоговение свободно и доступно для всех людей, откуда бы они ни происходили и к каким бы вероисповеданиям ни принадлежали ранее.

Важно чувствовать, что у вас есть что-то воистину драгоценное, чем вы хотите поделиться с другими. Я чувствую, что все, что я говорю, что проповедую людям, — правда. Дело других людей — принять или не принять это.

И я согласен с нею, брат.

18

МАЛЕНЬКИЙ ФОТОАЛЬБОМ

Нам всем пора было трогаться дальше — на зов азана, и я заодно со всеми дошел наконец до мечети Акса и до Белого Минарета, заложенного в пределах родового Дома Обетованным Мессией, достроенного впоследствии его Халифами и ставшего символом Ахмадийского движения в Исламе.

Он был прост и прекрасен в своей простоте. Его скромная и во всем умеренная красота отвечала простой красоте Ислама и его ахмадийского толкования.

После молитвы я, по обыкновению своему, взшел на Белый Минарет, чтобы обозреть Кадиан сверху.

Я уже описывал в начале своего рассказа сонную сказочность и бытовой градостроительный хаос этого похожего на сотни и тысячи других пенджабского поселения. Сейчас же, озирая с вершины минарета калейдоскоп окрашенных то в зеленый, то в желтый цвет внутренних двориков, а также цветных и разномастных, плывущих на разной высоте крыш, разглядывая витиеватые округлые купола отдельных мечетей и сикхских гурдвар и заостренные шлемы индуских храмов, вглядываясь в неглубокие ущелья торговых улиц и распадки базаров, по которым текли праздничные потоки людей, я увидел чуть дальше, за желто-глиняным комплексом гостевого дома и за уставленным сплошь пластмассовыми стульями полем, на котором стоял и подиум для выступлений участников праздника, — так вот, за этим полем, начинающимся от полувысохшего болотца, я увидел большой, засаженный многолетними манговыми и другими плодовыми деревьями, пересеченный по диаметру широкой аллеей Сад Обетованного Мессии, тот родовой сад, который он назвал Небесным Садам и завещал в общинное пользование как последнее место успокоения для наиболее праведных членов своей Общины.

Там, рядом с белыми надгробьями святых могил, под одинокой желто-зеленой пальмой в небольшом, засаженном цветами и цветущим кустарником кладбищенском дворике, рядом с могилой первого Халифа Ахмадийской Общины, известного в свое время по всему Пенджабу врача Нурутдина, находится и тихая могила самого Обетованного Мессии. И если выйти из этого цветущего дворика, тотчас попадаешь на широкую аллею, выводящую сквозь Небесный Сад прямо на Белый Минарет.

Эта перспектива садовой аллеи и минарета, эта осмысленная организованность пространства в стихийной тесноте Кадиана, показала мне единственным, быть может, в здешних древних местах осознанным деянием архитектуры и пока что единственным — в проекте города будущего — истинным проявлением простоты и глубинности исламской геометрии мира, показывающей — но только показывающей, а не указывающей! —

направления по горизонтали и вертикали, распаивающей настезь трехмерность мира, в котором ты уже сам должен обнаружить иные измерения с помощью того шестого чувства, которое называется — ощущение Божьего Единства.

Прямые аллеи в саду, похожем на парк. Деревья-ветви-листья, в которых, в зимней сокровенности, таятся бело-розовые цветы и — неопишьюемые, красно-зелено-золотые плоды манго — царственный плод, король фруктов. Хозур однажды в вечерней беседе сказал, что раньше в Кадииане были огромные, неслыханные сады, и у его отца и дяди тоже был общий сад, где росли сто разновидностей и сортов манго, и дядя умел различать их по вкусу, с закрытыми глазами. Садов этих уже нет.

Один Небесный Сад Обетованного Мессии хранит в себе вольные, побуждающие к отважным помыслам и размышлениям и естественно организованные пространства посреди тесноты и скученности старого Кадииана. И мнится здесь, что весь он — прообраз Рая, где нет места праздному покою, а есть только стремление идти, углубляясь в суть Творения, идти все дальше и дальше в кущах Сада — от одного порога сознания и понимания к другому порогу, за которым снова длится и длится эта прекрасная и вовсе не страшная растущая-цветущая-плодоносящая бесконечность поиска, духовного труда, обостренного зрения души.

Здесь, среди естественной изогнутости, природной кривизны сучьев и ветвей, сквозь которую нет-нет да и проглянет быстрое, умытое солнцем голубое небо, яснее становится и суть структурной геометрии — суть архитектуры и культуры Ислама. Суть эта — в великой и бесконечно разнообразной множественности *обрамлений* Незримого; смысл же этих *обрамлений* сводится к тому, что в исламском ощущении, видении, осязании мира нет незаполненных пустот.

...С недоверием отношусь я к тем воспоминаниям, которые нуждаются в свидетельствах и доказательствах, чтобы не пропасть, не уйти, не скрыться в потемках моей памяти. Часто бывало: доверишься фотоаппарату или краткой блокнотной записи, а потом гадаешь, о чем эта запись или кто бы это мог быть на фотографии. Самые живучие воспоминания легко проходят сквозь годы, не будучи запечатленными нигде, кроме сердца. Однако есть и у меня маленький фотоальбом, собранный в Индии из моих собственных снимков, когда я еще только замышлял повествование об осознании Божьего Единства. И поскольку эти фотографии, как бы различны они ни были и что бы ни изображали, объединены, как и жизнь моя, этим замыслом, мне легко ориентироваться среди них.

И вот открываю этот альбомчик в утреннем рабочем настроении и вижу себя, стоящего в уже известной тебе черной будапештской куртке возле алого цветущего куста, а кругом — широкие красивые пространства, сожженная прошлогодним индийским солнцем рыжая и короткая травка и красноватые развалины когда-то славного монастыря.

Здесь же огромный храм Мулганда Кути Вихара, где, по утверждению паломников, под алтарем, увенчанным золотой статуей, — подлинные мощи Будды. От этого храма по прямой как стрела аллее можно дойти до колоссального буддийского монумента, носящего название Ступа, возле которого немногочисленные паломники и туристы предаются на свежем воздухе йогическим упражнениям.

А это уже после Кадииана, середина января. Это Сарнат, куда пришел Учитель Будда, чтобы провознести свою первую проповедь пяти апостолам после того, как обрел просветление в Гайе. Мои алтайские друзья, впрочем, утверждают, что Будда стал Буддой на Белухе — царственной горе Горного Алтая, откуда берет начало Катунь. И я с ними не спорю. Наверняка это тихое просветленное место сродни и пространствам Белухи, и другому месту, упоминаемому в истории гораздо позже и географически не столь определенному, сродни оно и палестинскому холму, на котором произнес свою Нагорную проповедь Иисус.

В Кадiane уверены, что Иисус бывал в святых местах Индии и даже похоронен неподалеку — в столице Кашмира Сринагаре. Я порывался поехать туда, но мои ахмадийские друзья отговорили меня: слишком запросто там, даже будучи мусульманином, попасть в заложники мусульманских экстремистов. Так что об Иисусе и Кашмире — в другой раз.

Будда, как и все пророки, приходил в мир, чтобы вернуть людей к идее строгого Единобожия, и он преуспел в этом. Преуспел духовно, но не предпринял одного — не запретил людям делать свои изображения. И этого мимолетного промаха оказалось достаточно, чтобы Буддизм, уже ставший было могучей государственной религией при императоре Ашоке, оказался впоследствии практически полностью вытесненным из Индии в северные горы — в Гималаи и Тибет.

И вытеснили его пражние, добуддийские, верования Индии. Вытеснили идола, для которых он оставил в своем учении крохотную лазейку.

Индусские брахманы, озабоченные сохранением основы Индуизма — кастовой системы, не стали бороться с новым учением силой. Зачем? Просто по их наущению изваяния и изображения Будды начали заполнять оставленное им духовное пространство, и брахманы сказали; вот — новый бессмертный, новый бог индийского пантеона.

И люди, всегда падкие до многобожия и идолопоклонства, с готовностью уверовали в это, поскольку многобожие не так требовательно к духовной жертвенности, с многобожием на этом свете жить легче.

А потом им было сказано: а зачем вам новый бог, вам что, мало тысячи старых, в которых верили ваши предки? Старое-то — понадежнее будет!

А вот еще одна цветная фотография из моего альбомчика: глянешь — и вновь словно бы овеет лицо широким утренним речным ветром, особенно свежим и прекрасным после тесной сырости узких бенаресских улочек и томительного запаха священных курений, исходящих от сотен больших и маленьких храмов и часовен. Но помню, брат, и без фотонапоминаний: я приехал в Бенарес поездом перед самым рассветом; было темно, и у платформ, в зябком и сыром зимнем тумане, грелись у костра нищие священного города. А на заре, после заутренней моей мусульманской молитвы, я, выйдя из бедной мечети, увидел, как в розово-зеленой заре на фоне веерных пальм низко над Бенаресом летают огромные хищные птицы.

Как рассвело, я приехал к Гангу и спустился с крутого, сплошь застроенного древними строениями обрыва на берег. Ганг оказался очень широким, и это было неожиданно. За тридцать рупий удалось сговорить лодку и проводника — я сел в нее, и полторы тысячи бенаресских стоящих здесь от века языческих храмов, вереницей растянувшихся над водой, один за другим открылись мне.

В одном месте на берегу молодежь шумно играла в крикет, а совсем рядом, вдоль берега, были гаты — места ритуального сожжения, на которые и смотреть предосудительно непосвященным вроде меня: мертвые тела лежали на нарядных носилках, покрытых блестящими красными и золотоканяными сари, в ожидании огненного погребения.

По Гангу сновали на длинных остроносых лодках торговцы разным мелким товаром — золочеными браслетами, серьгами и побрякушками, уложенными в короба, и были они похожи на казанских торговцев моего детства на улице Вахитова, тех, что торговали с деревянной арбы, весь кузов которой был превращен в короб с отделениями, и можно было купить все — от грозди винограда до надувных шариков со свистком, пищавшим «уйди-уйди»... Прямо с лодки, над холодной и чистой струей великой реки, я купил перехваченное в нескольких местах колечками тяжелое ожерелье из багровых коралловых нитей...

Было свежо, и проводник мой кутался с головою в бурю свою шаль. Я опустил ладонь в холодные воды Ганга — и не ощутил ничего знакомого: как-то совсем по-другому охватывает руку струя Волги или, скажем, Дуная, и ветер над ними совсем другой, и пахнет хоть и свежо, да совсем иначе.

А потом я сошел с лодки под самым знаменитым бенаресским Золотым Храмом и поднялся в гору по лабиринту темных, влажных и пахучих улочек, где двум коровам не разойтись, а уж коров там множество... В одном месте мне пришлось пройти по туннелю, проложенному сквозь жилой дом, и справа вдоль этого прохода были натуральные стойла, чернильного цвета буйволы лежали, жуя бесконечную жвачку, и густой запах хлева висел там с незапамятных времен.

По выходе из туннеля на свет вновь попадаешь в тесноту и давку, запыленную многосложными запахами; здесь, на крошечной площади, стоят под крышами открытых часовен сразу несколько идолов, изваянных из красного камня: слон, телец и обезьяна Хануман. И влажные гирлянды оранжевых тропических цветов возложены на них, валяются в ногах у идолов отдельные цветочные бутоны, и жертвенные фрукты гниют у их подошв...

В Бенаресе полно туристов, ищущих нирваны, кто пешком, кто на рикшах; то и дело мелькают белые лица, а толпа пестрая; пестроты добавляют и фигуры местных святых и монахов-садху, чьи лица расписаны красной и желтой охрой, а лбы замазаны серым священным пеплом. И рты у них красные, словно окровавленные, — это потому, что они все время жуят листья бетеля...

Тесно в Бенаресе.

Калейдоскоп лиц, изваяний, курильниц, храмов; смута мира, не поддающаяся расшифровке; мнимая таинственность, мнимая неразгаданность, код и каббала закоснелого политеизма, подменившего открытые пространства Божьего Лица.

Но скажи об этом инду — и он заспорит, утверждая, что Индуизм — это тоже Единобожие, — а как же Всеединый Вишну? Все остальные боги и домашние божки — это некие «вспомогательные» божества, посредники, медиаторы, и они необходимы, скажет он: слишком низок и низмен человек и недостойн он напрямую разговаривать со Всевышним. Особенно люди низших каст...

О, лукавство многобожия, мнимая запутанность его! И чем древнее заблуждение, тем более истинным кажется оно людям.

А в Сарнате — чисто и просторно. Ясно и светло в Сарнате. Здесь еще от времен Будды в свежем просторе, в сбалансированном ансамбле монастырских строений присутствует мысль простая, как сама Истина.

Человек не только может, но и должен говорить со своим Создателем напрямую, чтобы в образе своем приблизиться к Нему, а не к идолам. В просторах Сарната — в зимних пространствах кадианского Небесного Сада — становится кристально ясно: система нравственных ценностей любой веры формируется ее изначальным Единобожием и впоследствии трансформируется в зависимости от ее отклонений от строгого Единобожия.

Да, ослепительная истина Абсолютного Единобожия слишком ярка для зрения, привыкшего к сырой и тесной тьме. Со многими богами человеку всегда легче, меньше ответственности: долги твои распределены между несколькими божествами и всегда остается шанс на то, что божество посмотрит на твою жизнь полусомкнутыми глазами и сквозь густые ресницы. Но ведь создан он, человек, не ради пронырливости в полутьме.

Светом сыт не будешь! — разумно заметят. При всей резонности этой сентенции те, кто скажет это, окажутся кругом неправы, потому что все живое сыто только, и исключительно, светом. В круговерти жизни, в ставших унизительными в нашей стране поисках хлеба насущного легко забыть, что все органические вещества, необходимые для жизни земных организмов, производятся растениями из солнечного света, и называется это известным со школы словом — фотосинтез. Так что даже и в материальном смысле мы все и живы, и сыты только светом.

Поняв это сердцем, по-другому смотришь и на листья кротких деревьев Небесного Сада, и на алые цветы январских кустов, и на узкую листву

плакучих ив в английском Исламабаде, и на треугольно-ромбические листья берез, резные листья дубов вокруг тихой татарской деревушки Наратлык, что над речкой Кубней, на другом краю мироздания.

19

ПЕРВОПРИЧИНА НЕВЕСОМОСТИ

Простор — Пространство — Свет.

Единство.

Единобожие, которое не только подсказывает и объясняет неразрывную связность всего сущего, но и указывает путь — трудную дорогу к возможному совершенству. Потому-то Единство и объемлет, и пронизывает все, и держит Вселенную в руке Своей, как пышный и багряный сарнатский куст держит на зеленой ладони зимнюю каплю росы, в которой уместается и моя скудость, и весь мир, полный людей, цветов и посильного счастья.

Простор — Пространство — Свет.

В исламском видении мира, в его искусстве, в частности в архитектуре, главное — это линия и цвет, это разумное распоряжение математическими пустотами, когда нечто осязаемое является на деле лишь соразмерным обрамлением пустоты, проема, обрамлением Незримого. И в этом проникновенном подходе к отображению действительности главную роль играет Предвечная Заповедь, которая в строгом смысле определяла движение мира еще до явления собственно Ислама.

«Не сотвори себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, и что на земле внизу, и что в воде ниже земли...»

Эта вторая Моисеева заповедь, запечатленная в библейской Книге Исхода, строго говоря, не была отменена Христианством, хотя и совершенно выпала из мировоззрения огромного большинства человечества. Тогда, стоя на облитой светом вершине Белого Минарета, я вдруг вспомнил, как однажды, бесцельно бродя по Лондону, забрел в Этнографический отдел Британского музея на выставку палестинского костюма.

Крайне любопытной оказалась эта выставка, напомнившая, что относительно недавно в историческом смысле в Палестине мирно уживались иудейские, христианские и мусульманские селения. Поинтересуешься, откуда костюм, и читаешь: Вифлеем, Назарет, Галилея. И вот что интересно: кто не знаток, вряд ли обнаружит существенную разницу между христианским, скажем, или мусульманским костюмом в орнаменте, узорах, расцветке. Не потому ли, что христиане Святой Земли, несмотря на проповедуемые апостолом Павлом нововведения, остались верны еще Моисеевым заповедям? Редко мелькнет среди невероятно причудливой вышивки крохотная фигурка зверя или птицы, но нет в этих узорах изображения человека или креста. Словом, в палестинских орнаментальных узорах, как и во всем мусульманском искусстве, нет самодовлеющего символа, который отвлекал бы от главной его идеи: красота — это Бог, и мир создан, чтобы славить Господа.

Не нужно глядеть с Белого Минарета, чтобы осознать сказанное в Коране: окружающий мир полон намеков для людей разумеющих. Но только здесь, в половодье света, по-настоящему понимаешь, что всякий рациональный реализм, и социалистический, и иной, по сути, самодовлеющ, поскольку отражает не Единство Вселенной, а частности бытия, растаскивая его по деталям, как ребенок — новую игрушку. Гениальность замысла-идеи в том, что Ислам дает художнику только самые главные инструменты для создания практической красоты: линию и цвет.

То, до чего в долгом поиске додумались импрессионисты, было тысячи лет назад задано Моисеевыми заповедями, а затем подтверждено Исламом. Беда лишь в том, что универсальная необходимость линии и цвета неверно истолкованы, потому что инструменты эти начали использовать

ся, чтобы выразить внутреннюю смуту человека. Человек сам попытался стать зеркалом, не догадываясь и не умея заглянуть в зеркало Образа Божьего.

В Христианстве искусство превратилось едва ли не в единственный способ общения с Богом и потому скоро стало самоцелью. В Исламе же Бог — везде и всюду, его нельзя запечатлеть, как нельзя уловить вечно изменяющийся цвет в природе, создай хоть тысячу пейзажей и зарисовок одного и того же ландшафта, как это делал Клод Моне.

Иное дело — узор, орнамент или само арабское письмо, арабский алфавит.

Идея орнамента в том, что он распоряжается пустотой, которая после этого уже не есть пустота, а есть возможность присутствия Бога, живая, хотя и не запечатленная изображением возможность. Так же струится и арабское письмо на стенах и куполах мечетей и минаретов — взгляни! — оно ведь течет, как ручей в пустыне, или же постоянно растет-живет-изменяется, как плющ или глициния, оживляющие викторианские особняки старой Англии, однако при всей самостоятельности своей жизни в искусстве оставляет неизменным и вечным само содержание Божественного Благовестия.

А как непредсказуемо ведет себя цвет, когда отделяется от изображения! Смешно, но и это выдается за открытие Матисса — Сезанна — Леже... Тот, кто считает, что настоящие цвета Ислама сохранились только в черных робах Ирана или белых бурнусов Саудовской Аравии, был бы поражен, увидев расцветку мусульманских костюмов Палестины, унаследованную между тем от времен Пророков!

Это откровение цвета — и в самом деле намек для людей разумеющих. Намек на то, что пути Господни воистину неисповедимы и нельзя ничего загадывать... Истошная желтая полоса на благородном черном; перемежающиеся алые, белые и черные полосы, и черный цвет здесь — только фон бытия, созданного Богом для радости и хвалы. Иногда эта расцветка может показаться ненатуральной и даже кричащей, но это неправда: тот, кто имел счастье наблюдать живой цвет в природе — в горах или в пустыне, — знает, что никакой смертный художник не в состоянии вообразить и придумать непредсказуемые сочетания цветовых гамм природы.

Но разве сказал я, что исламское искусство не вглядывается в частности бытия? На палестинской выставке — мельчайший узор и тончайшая орнаментальная вышивка, которая издалека смотрится совершенно не так, как вблизи, — и по цвету, и по рисунку... Ничто не ново под луной, и странно говорить о художественных открытиях Сёра — Синьяка, когда у всех народов мира пуантилизм — в крови народного искусства.

Исламское искусство, прямое наследие немереных столетий Единобожия, есть искусство целостности и единства. Да, оно не старается остановить мгновенье, запечатлеть образ, который, будучи запечатленным, тотчас становится ложным. Оно, это искусство, пытается мастерски распорядиться струящейся и разрастающейся пустотой — между узорами орнамента в музыкальной гармонии цвета. И палитра этой музыкально-цветовой гармонии обладает спектром от золотисто-голубого Вивальди до черно-желтого Шёнберга.

Все чистое и прекрасное, соразмерное и гармоничное — это тот Ислам, о котором я говорю с тобою, брат. Но часто, ох как часто одолевают человека сомнения в самом очевидном...

Бывают минуты как бы отчаяния и праздности, когда и блуждаешь вроде бы бесцельно, и в любом явлении природы подозреваешь намек на твою собственную бездарность, и тогда цвет заката и замысловатый полет осеннего листа доказывают тебе, что не владеешь ты в своем ремесле ни цветом, ни линией. Тебя окружают изображения — фигуры и силуэты, — и бесят бессилие твое натурализм и кич, овладевшие миром, который в своем тщеславии повсеместно, поминутно славит сам себя, обожая и обожествляя даже собственный скепсис и цинизм... Так настойчив этот мир в

своих рекламных усилиях, так надоедлив и вьедчив, что немудрено усомниться в главном и на время забыть, что всякий талант определяется способностью предельно распорядиться прозрачной пустотой дарованного тебе пространства.

Главное — всегда между строк.

Как жить, чтобы эта прозрачная пустота всегда оставалась заполненной Всесущностью Единого Бога, как жить, чтобы инструменты твоего ремесла не стали самоцелью и не начали навязывать тебе воплощение замысла? (Так давит на психику нечеловечная величественность архитектуры готических соборов.) Как увидеть, что в исламской архитектуре главное — это парящая воздушность даже таких огромных храмов, как Таж-Махал или мечеть Сулеймания в Стамбуле?

Но если осознать, почувствовать первопричину этой невесомости, уже не захочется тебе запечатлеть мгновение, но захочется жить и жить в этом внезапно открывшемся бессмертии, захочется тебе изменяться вместе с этим мгновением — в стремнине жизни, в единстве с цветом и линией.

И увидишь ты в полете листа светящуюся спираль, струящуюся прозрачность воздуха — и само это всеединое, вечно источающее свет полноводье природы, где и тебе всегда остается возможность ощутить не только Присутствие, но и Касание Бога.

И не здесь ли, брат, естественнее всего будет нам расстаться в ожидании встречи, с любовью и памятью друг о друге и с новым пониманием почти суфийского изречения известного рационалиста принца Гамлета: **ДАЛЬНЕЙШЕЕ — МОЛЧАНЬЕ.**

Лондон.
1992 — 1995.



НАТАН ЗЛОТНИКОВ



СЛЕДЫ НА ДНЕ

Встречный ход

Закинешь в воду поплавок —
Прочтешь на дне следы —
И он всплывет, как островок,
Средь золотой слюды.

А рыбе виден небосвод
Из глубины воды,
И существует встречный ход
Удачи и беды.

Так, словно тянут за уду,
Она со дна всплывет
И снизу вверх проткнет слюду,
Как будто тонкий лед.

И воздух ощутит живой —
Глоток, еще глоток...
Потом возьмет крючок кривой,
Крутой, как кипяток.

Кануны

Накануне чеченской войны
Мы все живы, беспечны, вольны.
Но какой-то случайный глоток
Нездоровая наша свобода
Ухватила — в нем хлад небосвода,
В нем подземной реки кипятком.

О, недаром мы чуем нутром
По Кавказу катящийся гром,
И недаром там русский снежок
На героя летит, на злодея,
Кто с горы, от тоски холодея,
Бочку с нефтью толкнул и поджег.

Через нищие наши поля
Мчится, искрами в небо пыля,
Смрадный, страшный, богатый пожар.
В нем — итог, но, быть может, кануны.
Кто убит — тот спокойный и юный,
А кто жив — тот тревожен и стар.

В ночном, 1943

Трофейный конь не знает языка,
Он входит в воду и плывет без всплеска,
И сыромятной кожей поводка
Все сновиденья обрывает резко.

А прямо у воды стоит костер, —
В стене огня зияет щелью просинь, —
Сейчас бы я о нем сказал: костел,
Тогда же — только хворост в пламя бросил.

Роились звезды в близких небесах,
А в дальних небесах гуляли кони,
Паслись в лугах поемных и овсах,
И тени их росли на небосклоне.

И прежде чем костер упал к ногам
И горизонт покрылся краской медной,
Они вернулись к нашим берегам,
К ярму чужому, к жизни этой бедной.

И я грустил до крайних дней войны
Не потому, что не пустился следом
В поля небес, где созревают сны,
А потому, что путь назад неведом.

* *
*

О, не спеши понапрасну.
Время свиданий не в счет.
Я раньше утра погасну,
Тьмой меня смертной сечет.

И, как фонарь у распутья,
Выше времен и людей
Бьюсь о железные прутья
Длинных студеных дождей.

Сирень

Каждый раз забываю, что я уже стар,
В миг, когда окликаешь из тени зыбкой.
Только чую, как веет горячечный жар
Сквозь сирень под окном и сирень за калиткой.

В миг, когда окликаешь, — не помню, к чему
Эту краткую жизнь мучил долгою пыткой,
Чтоб рванулась, переча душе и уму,
Сквозь сирень за окном и сирень за калиткой

К лепесткам, что осыплются под ноги в грязь,
Где друг другу мы только случайные гости —
То ли грезим, как птицы, за ветви держась,
То ли спим, как сирени тревожные грозди.

ИЛЬЯ ФАЛИКОВ



МУЗЫКА РЕБЕР

* *
*

Что ни ровесник — черты подворотни, детдома,
гладких немного, а сытых по пальцам сочтешь.
На карфагенских камнях отпылала Дидона,
пламя ее подпалило астральный чертеж.

Все мои близкие после ухода воскресли,
с ними общаюсь, когда отключается бра.
Музыка ребер, набитая легкими Пресли,
женщину мне принесла из чьего-то ребра.

Так получилось, и очень давно, и не стоит
что-то подверстывать к жизни, устроенной так,
что непонятно, зачем это воет и стонет
ветер ночной, с домовым поделивший чердак.

Их завывания после известного бала
свистом шпицрутенгов, кажется, заменены.
В окна Генштаба с Арбата слоны Ганнибала
смотрят, руины топча, боевые слоны.

Не протрубят — не умеют хрипеть по-сиротски.
Ветром пустыни Бульварное дышит кольцо.
Если хотите, лицо поколенья — Высоцкий.
Голос — не знаю. Вокзальное это лицо.

Снимутся с крыши коммерческого магазина
стражи порядка, верша вертолетный облет.
Время от времени в русском порыве хамсина
черная Африка грохается об лед.

Рим победил. Не уйти из афганского плена
тучной державе, бесславно поверженной ниц.
Встанет Тунис над развалинами Карфагена.
Из карфагенского камня построен Тунис.

* *
*

У тебя по клетям и подклéтям
мышы бегали между мощей.
Изможденная тысячелетьем,
ты не верила в силу вещей.

Ты поверила в сына еврейки,
свой Валдай нарыдала навзрыд,
а теперь и в озера, и в реки
роковая отравя бежит.

И ни выхода стало; ни входа
в Божий мир — от лица твоего
отвернулась живая природа
на развалинах мира сего.

Не забыв ни расстриги, ни вора,
ты былую нашла колею,
на ударную стройку собора
быстро бросила душу свою.

Встал собор — не страшись новодела,
был бы дом — возвратишься домой.
Знать не знала, хотеть не хотела —
нехристь молится, шапки долой.

Лубок

Европейская гравюра, 1423

Реку переходит Христофор,
переносит на плечах ребенка,
и река среди высоких гор
плещет, нарисованная тонко.

Мельницу на правом берегу
видно, и мешок многопудовый
переносит, согнутый в дугу,
тот же Христофор, на все готовый.

Крупно рыба ходит по реке,
ослик слева смотрится достойно,
и сидеть Христу на старике
хорошо, удобно и спокойно.

И за пальму, в голых небесах
помогающую человеку,
держится с младенцем на плечах
Христофор, переходящий реку.

* *
*

И когда прорычало из грязного бака
что-то злое нутро, оскорбившись до дна,
я решил по привычке: наверно, собака,
нагрешил на собаку, а там — не она.

До сетчатки моей не дошли невидимки,
заявило себя оскорбленное дно,
ибо в мусорном баке сошлись в поединке
два двуногих и слились в сплошное пятно.

И покуда рычало оно разъяренно
и творились на свете лихие дела,
я не понял, кому голубая ворона
тополиную ветку во клюве несла.

* *
*

Я пальцем ударил по медной доске —
и новому слову живому
откликнулся колокол невдалеке,
подвешенный к дому жилому.

Нет, я не напрасно на цыпочки встал
и старую медь потревожил.
Не только металлу ответил металл —
весь сад белокаменный ожил.

И шелест незримых каких-то страниц
прошел по кириллице древних гробниц.
А были они молчаливы
среди вековой крапивы.

В каком переулке, сказать не могу,
я счастлив постыдно на каждом шагу,
однако пространство такое
не втянуто в море людское.

* *
*

Все то же. Выйдешь из пустыни
в гул Вавилона — ошалеешь.
Стреляют — и не холостыми.
Чего же в тишине лелеешь?

Все то же — на шальное чудо
надежду, на конец развала,
чтоб из подвала — ниоткуда —
другая музыка играла...

ВИКТОР ГОФМАН

*

КОГДА ЖЕЛТЫЙ ВЕТЕР ДОХНЕТ ПО ОЗЯБШИМ СКВЕРАМ

* *
*

Я пишу тебе из такой тьмы,
которую не осветишь словом Завета,
и все же, послушай, здесь были мы
уже не помню в какое лето.

Когда первые лучики на балкон
просачивались и заливались птицы,
я просыпался с твоим шепотком,
чувствуя голову на ключице.

Среди гладких, однообразных, нагретых камней
память на солнце сморщивается, выгорает,
и чем медленнее, тем больней
в человеке душа умирает.

Когда месяц над Карадагом высвечивает дугу,
в сердце остро тоска запускает коготь,
и я с пространством смириться никак не могу,
я хочу посмотреть на тебя, потрогать.

Ты самое лучшее, что есть у меня,
я тебя вечерами у моря ношу и баюкаю нежно,
я хочу быть с тобой до последнего дня,
до жизни иной или тьмы кромешной.

Я тебя умоляю, возьми билет,
когда желтый ветер дохнет по озябшим скверам...
Куда понесу я пустые бутылки лет
одиноким, сутулым пенсионером?

* *
*

Над кипучей пучиной вокзала
вьется бабочки легкая речь;
и частит, и крошится кресало,
но фитиль успевает поджечь.

Заплутав, из небесного сада
ненадолго сюда залетев,
ты усталому взгляду отрада
и для чуткого уха напев.

Только, знаешь, напрасны усилья,
этот хаос никто не спасал,
опаляя бесплотные крылья,
скоро вспыхнет измученный зал.

Спи, моя соплеменница, сладко,
отдыхай на изломе времен,
где из пункта охраны порядка
обгорелый торчит телефон.

Упорхнув от жующих, снующих,
примирающих душу со злом,
скоро в райских сияющих куцах
замелькаешь беспечным крылом.

* *
*

Вначале с урками братались,
этапы знали и тюрьму,
на людных сборищах топтались,
с наганом прыгали во тьму.

Кидали бомбы, брали банки,
бросали в бой броневики;
передрались потом, как в банке
взъерошенные пауки.

Декретом упразднили Бога,
намяли скептикам бока,
угомонились понемногу
под властью суперпаука.

Недавно вылезли из банки,
по теплым щелям расползлись,
уже без шума взяли банки
и снова с урками сошлись.

* *
*

Он проходит походкой упругой
из салона в Каретном ряду
к «мерседесу» с надменной подругой,
что-то в трубку рыча на ходу.

И подруга, глаза свои сузив,
обращает к нему макияж...
Бедный мальчик в рабочем картузе,
заглядевшийся на экипаж!

Там ее, укрывая крылаткой,
увозил фатоватый корнет...
Взял свое он железною хваткой
через семьдесят загнанных лет.

Он качал свои мускулы злые
год за годом, стремясь к одному,
он бросал свои взгляды косые
на составы в морозную тьму.

Стал он всем, вопреки лихолетью,
как и пелось, — но только сейчас,
совершив революцию третью
без лужги утопических фраз.

Круто он по Москве проезжает,
и теперь уже парень иной
хмурым взглядом его провожает,
возвращаясь со смены домой.

Предпочтение

Ничем меня толстушка не прельстит,
она, обуза в длительном полете,
в постели и потеет, и пыхтит,
и тяготит обильем брэнной плоти.

Но это чудо с резвой худобой,
изяществом и гибким и игривым,
когда овал, когда изгиб любой
упруг и гладок под твоим порывом.

Когда она с полуоткрытым ртом
напряжена и все-таки воздушна,
как под грозой раскрывшийся бутон,
твоим внезапным прихотям послушна.

Нет, только с ней, ликуя глубоко,
ты воплотишь сполна воображенье,
сплетаясь и свободно и легко
и на ходу меняя положенья.

Лишь с ней, к причалу жаждою движим,
к нему гребешь сильнее и сильнее,
пока с последним стоном затяжным
не изойдешь восторгом вместе с нею!

Утром

Осторожный, худой и небритый,
с голубыми пустыми глазами,
ранним утром бутылки на пляже
собирает в мешок вещево́й.

Рядом птицы небесные, чайки,
по камням ковыляют вразвалку,
собирают остатки съестного
и кричат в предрассветную рань.

Здесь вольготно! Здесь теплые ночи,
и не знаешь забот о ночлеге,
алычи и шелковицы вдоволь
и на пляже бутылок пустых.

Вот кого примечает всевышний,
вот кому он дарит милосердно
мир просторный, пустой и высокий,
день недолгий у райских ворот.



ЯН ГОЛЬЦМАН



ГОЛОСА ТИШИНЫ

Рассказы

ЕДИНСТВЕННОЕ, НЕЗАБВЕННОЕ...

I

Если искать и верить, то изредка случаются нечаянные радости. Я открыл эту истину пяти лет от роду. Вернее, отрыл ее, выковырял палочкой в пустынном уфимском дворе, под стеной мрачного многоэтажного дома.

Не знаю, чем привлекло мое внимание чахлое растеньице, но, когда я разворошил цементную пыль и осколки стекла, в руке моей оказалась... небольшая желто-зеленая репка!

II

Таврида. Крым сорок четвертого — опаленный, безлюдный. Выслали татар, и теперь мы живем в Каябашном переулке. Пачку фотографий — улыбочивые смуглые девушки — я нашупал в ковровой подушке на диване. Забытые ослики вопят по ночам в глубине извилистых дворигов.

...Как хорошо, что уцелел кривой татарский переулок, а белый камень так же гулок — не потемнел, не отсырел. И те же ставни изнутри — сухие голубые створки. Ну что же — попляши в восторге и слезы детские утри...

Но это напишется много позже...

В Салгире, почти пересыхающем летом, голубые маринки, маленькие сомики, которых можно колоть вилкой, если осторожно поднимать осклизлые камни. Обрывистые скалы. Собачья балка на окраине Симферополя, где на курганах хорошо варить «пшенку» — незрелые початки кукурузы. Потом археологи откопают тут Неаполис-Скифский, а в «нашем» кургане — знать бы тогда! — обнаружат гробницу скифского царя.

На каникулы меня увозят в Алушту, к бабе Наде, грузной и горбоносой получерногорке-полуукраинке: прадед Иван Никифорович Тучан — родом из Дубровника, прабабка — Мотя Наливайко. Бабушкин дом из дикого камня стоит высоко над морем под двумя кедрами. Еще выше кучерявятся цепкие заросли кизила, граба, ожины, а над ними — голый расстресканный камень коры Капель. Там, говорят, живет питон, сбежавший из зоопарка.

По одичавшему винограднику, где сохнут забытые грозди муската, рыщут дикие кролики. Семейное предание гласит, что дикими кролики были не всегда, а, напротив, сидели некогда в клетке, и ухаживал за ними мой дядя — Михал Михалыч. Но М. М. был тогда еще мальчиком, а тут как раз к берегу подошла султанка-барабулька... Словом, когда мой дед — тоже Михал Михалыч Степанов, бывший офицер императорского флота, а потом известный крымский маринист и главный художник Никитского

ботанического сада, — случайно обнаружил бедных животных, были они при последнем издыхании. Разгневанный дедушка высыпал кроличьи мощи в кусты, выпорол М. М.-младшего и, само собой, позабыл об этой истории. Но кролики не дремали. И по прошествии лет в предгорьях Кастель-горы алуштинцы стали ходить на охоту.

Помнится, и отчима моего, приехавшего с фронта, бабушка пыталась натравить на диких кроликов, которые еще недавно были домашними и одичали, сами понимаете, не от хорошей жизни. Георгий Петрович честно ходил по винограднику с пистолетом «ТТ» наизготовку и даже — ту-дук! ту-дук! — шмалял в кого-то, но, кажется, не попал.

К морю, где закидушку сильно дергает горбоносая розово-перламутровая барабулька, надо долго спускаться по остаткам разбитой дороги, по едва приметным тропкам, по колючему раскаленному шиферу, режущему пятки. Потом — отвесная лестница, прохладные ступени — руины дачи Зинаиды Гиппиус. И вот он, Рабочий Уголок — пустынные галечные пляжи, медузы, сохнувшие у кромки прибоя. Голубовские камни, которые все не камни, а скалы, торчат неподалеку, окруженные зеленоватой водой.

...А еще была голубая изабелла, пыльные кисти которой одуряюще пахли, тихо вялились на зное, свисая с деревьев вдоль дорог. Разлапистые смоковницы. Миндаль — сладкий и горький. Шелковицы: белая — с парфюмерно-приторным вкусом, красная — кисло-сладкая, скоро набивающая оскомину. И полозы-желтопузики, которых было интересно швырять из кустов, набрасывать с высоких парапетов Рабочего на обнаженные плечи визгливых дачниц.

Впрочем, это было уже позже, когда я подросток, а на пепелищах вымахала серебристая полынь. Пустое побережье мало-помалу заполнилось пришлым людом, и запыхтели-задышали в мягкой черноте цикадных ночей духовики на танцвэрандах.

Именно тогда и случилась малость, к которой я так долго и путано приближаюсь.

...Старый серпантин битой-разбитой, перекособоченной оползнями дороги на Ялту петлял под Кастелью в непролазной грабово-кизиловой чащобе. Не помню, куда брел и чего мне вздумалось сойти с пути и напрямки, сквозь цепкие заросли, направиться к морю, туда, где далеко внизу угадывалась следующая петля выщербленной дороги.

Довольно долго я спускался по крутизне, придерживаясь за ветки, пока не выкатился на малую плоскость, полянку, поросшую чертополохом и мелким кустарником. Кривая груша — редкие, но крупные, зеленоватые еще плоды, старый дуплистый абрикос, иссохшие сливовые деревья. Гранатовый куст — обломанные ветви. Одичавшая лоза... То ли здесь некогда стоял дом, да не осталось следа, то ли это укывище крымчака, то ли татарин, по обычаю здешних татар, разбил сад в стороне от жилища, в горах.

И опять густые заросли склона. Ни тропки, ни намека на человеческий след. За очередным кизиловым кустом я крепко ушибаю коленку и неожиданно вижу дощатую скамеечку, некогда крашенную зеленью. Пятачок ровной земли, на которой она стоит, — метр на метр, не более. Перед лавочкой врыт в каменистую землю большой чугунный котел, живчик родника шевелит соринки на дне дырявого казана, тонкая струйка переливается через край и уходит к далекому морю, а в котле, насквозь просвеченном августовским солнцем, шевелят плавниками две красные, две золотые рыбки!

III

А вот и другая столица моего отрочества — самый красивый из встреченных мною прежде городов — полуразрушенный Гомель. Стоило по мосту перейти на другой берег широкого Сбжа, текущего в белых песчаных берегах, и вскоре тебя скрывал разогретый солнцем, пахнущий плавленой смолкой сосновый подрост.

Но все же настоящие грибы — не маслята, а белые — встречались по-дальше, в старом бору. Понизу сосновые стволы укрывал разросшийся орешник. Я продирался сквозь заросли, и пушистые листья лещины щеко-тали разгоряченное лицо.

...Крупное розовое яблоко, пронизанное косым лучом, светилося передо мною. Совсем близко, на уровне глаз. Я тотчас сорвал его, с хрустом надкусил, мигом сгрыз, даже вкуса почувствовать не успел. Только потом разглядел, нащупал тонюсенький — с карандаш толщиной — ствол. Бог весть как пробившийся к солнцу сквозь орешенную чащобу.

Яблоко, столь торопливо проглоченное мною, было единственным.

IV

Мне уже четырнадцать. Нос густо усыпали веснушки. И это совсем некстати, потому что ночами мне попеременно снятся то Аля Клубникина, то Наташа Луценко, то Ремма Лашкевич. Снилось еще Лена Гоборева, но последнюю я разлюбил в одночасье, едва разглядел ее в профиль, — профиль мне не понравился.

Я — ученик автослесаря в АТП, а также ученик вечерней школы. По многу раз выжимаю левой и правой квадратную чушку весом в двадцать кэ. А еще — закаляюсь. Редкие прохожие гомельских улиц шарахаются в стороны, когда уже за полночь я легко и бесшумно проношусь по свежей пороше босиком, в «семейных» трусах.

И все-таки главная страсть — рыбалка. Чудное дело: я родился и первую половину жизни прожил в больших городах, но, сколько себя помню, всегда тянуло меня на реку, в лес.

С крутой гомельской кручи открывалась путаница бесчисленных стариц на другом — пологом, заливном — берегу. С той же, низинной, стороны в Сож тихо вливалась лесная Ипуть. Какие голавли и лещи живут в темных омутах на излучинах, какие лини взбрыкивают под ногой, если вброд переходишь протоки, поросшие мягкой стелющейся травой!

...Случилось так, что в субботний вечер к переправе я пришел один-одинешенек. С последним паромом достиг противоположного пустынного берега и побрел лугами к Ипуть-реке: не отказываться же от рыбалки, от ночевья у костра из-за того, что не пришел приятель.

Конец августа. По ночам уже свежо, но одет я по-летнему: у огня и холод — не холод. У меня спички и нож, закидушки, помятый дюралевый котелок, соль, краюха хлеба. На много верст вокруг — ни души. Луговая пойма, безлесые берега. Только редкие кусты краснотала по песчаным ска-там у стариц да одинокие ракиты у речных излук.

Быстро смеркалось, оком обложила сизая темень. В отдалении бесшумно поблескивали дальние зарницы. Но повеяло влажным ветром, ветер усилился, и не успел я еще добраться до омута, до береговой кручи, как по рубашке, по затылку захлопали редкие крупные капли. Черничная туча неотвратимо надвигалась, погромыхивало у меня за спиной все внушительнее, но отступать некуда — в город мне никак не попасть до утра. Я обреченно шагал к Ипуть-реке, хотя уже текло промеж лопаток и в парусиновых туфлях хлюпала вода.

Приди я к реке посуху, опереди грозу — и, быть может, мне удалось бы еще собрать охапку сухого плавника, наломать мертвых ракитовых сучьев — затеплить костерок. Впрочем, какой тут огонь!

...Темень меня настигла. Дождь перешел в проливень: падающая вода обступила серой гудящей стеною, рыжая глина берегового откоса текла и вскипала желтыми пузырями. Смирная Ипуть под обрывом скрылась из глаз и гремела, как проходящий состав. Даже крепко зажмурившись я видел синие электрические вспышки, слышал близкие многоступенчатые раскаты.

Что тут поделаешь? В ту августовскую ночь меня впервые посетило освободительное чувство безнадежного веселья или веселого отчаяния. Я

разулся-разделся и, мельнично размахивая веснушчатými руками, принялся скакать, плясать, орать и петь, отгоняя остуду и робость, сляясь заглушить раскаты грома.

Больше ни разу за всю мою долгую кочевую жизнь не попадал я под такой сокрушительный и бесконечный ливень: без продыху, без усталости, без перемены хлестало и гремело до самого рассвета. Вконец обезголосевший, много раз прокрутивший весь свой репертуар, я уже не пел, не декламировал «Синих гусар» и «Думу про Опанаса», а что-то нечленораздельное: «ох!», «ух!», «эх!», «ых!», «на!», «ху!», «ха!» — хрипло выкрикивал в ночь, непрерывно махал одеревеневшими руками, падал в грязь, кое-как поднимался и опять скакал, скакал на непослушных ногах, чтобы согреться изнутри. Скользил, месил раскисшую глину и старался не сверзиться с кручи.

В конце концов, под утро, мне стало просто весело! Я чувствовал — ночь на исходе и все будет как надо. Теперь я плясал и жалел долговязого приятеля Фельку Овчинникова, опоздавшего к переправе. Сипел и хохотал — представлял, как мы на пару пляшем в чем мать родила на обрывистом берегу.

...Наконец все смолкло. Небо очистилось и посветлело — туча перетекла за реку, небесная влага истошилась. Тенькнула синица. Всплеснул голавль под ветлою, с которой еще падали в реку тяжкие светлые капли.

Тихо-тихо. Чисто-чисто. Рано-рано. Только краешек неба зарозовел. На донке-закидушке, которую я успел-таки забросить, когда началась гроза, серой запятой изогнулся сопливый ерш. Глазки-бусинки у ерша — светло-голубые, стеклянные.

Только-только я вытянул донку и застыл над омутом в блаженном оцепении, как из воды вынырнула, глядя прямо на меня мокрыми блестящими глазами, темная и круглая усатая голова. В зубах выдры подрагивала белая плотица.

ЛЮБОВЬ ГЛУХАРЯ И ГЛУХАРКИ

Высокий глухарь, заиграй!

I

Не провести хотя бы ночь на Глухариной гриве — значит проворонить весну: весь год потом будет куцым, неполным. Так-то оно так, только все труднее выбраться из города с первыми ручьями. Вот и теперь плакали, видать, мои мошники: почти середина мая! По Карелии охота закрыта, на Архангельской стороне, где лежит Великое болото, — закроется вот-вот.

...Долгий волок от Усть-реки до озера всякий раз скрашивает радость узнавания. Пусть крепко давят на грудь лямки вечно перегруженного мешка, все равно где-нибудь на второй версте зараздуваешь ноздри, освобожденно, шумно, взахлеб примешься втягивать, пить многослойный влажный дух весеннего бора. Возвращаешься — и обнаруживаешь вновь: наслаждением, оказывается, могут быть просто вдох и выдох. ...Вдо-о-ох! А еще — нерушимая тишина, вовсе неведомая горожанам.

Три часа ходу — и разбитной проселок, круто вильнув в перелеске, вырвется на Горнюху, а затем спереди и внизу — всегда нечаянно, вдруг! — распахнутся ширь и свечение большой свежей воды.

...Земная голубень, в отдалении легко перетекающая в небесную. Или густая синька. Или текучий черно-белый простор предзимней пенной волны. Или плоская гладь, крытая чистыми белилами наста. Все зависит от времени года и состояния неба.

Светлые сумерки едва сгущались, когда добрался я наконец до своего порога. ...Убогое, скорбное запустение, успевшее за долгие годы стать почти родимым. Невысокий берег порос острой нетоптаной травой. Чуть ниже одичавших грядок — желто-серая стена прошлогоднего тростника,

крепко помятого апрельским ледоходом Рыбьи всплески-круги на тускло отсвечивающей воде. Чайчий ор, мельтешенье, круженье... Красноклювая крачка зависла, по-стрекозьи мерца узкими крыльями, перед тем как упасть, всплеснуть и выхватить блестящую рыбку.

Остров напротив мелко, светло зазеленел. Тополь под окном, у самой кромки — корни его, верно, уходят далёко в глубину, — тоже собрался выкинуть клейкий душистый лист. Темный сруб осел, заметно тронулся в сторону озера. Почернели, вовсе зачахли дуплистые черемшины и рябина, подмытые волной. Как, однако, рванул и заматерел тополь! Неохватный ствол поднимается теперь высоко, разлапистая крона надежно затеняет избу за полдень, а я все помню легкое деревце, немногим толще моей руки.

Благодарно расцвела, мягко опушилась и выстрелила потешным светлым побегом-загогулиной на вершинке совсем было захиревшая листовка, для которой удалось все же с помощью кольев, бревен и прибрежных камней отвоевать узкую полоску суши на границе прибоя. Заметно вытянулись, загустели другая, малая, листовка и елочка, когда-то привезенные в лодке с восточного берега. И молодая ветла у байны...

В доме сумрачно и зябко: крещенской остаточной стужей веет от русской печи. Плоские клинья света сочатся сквозь щели ставен. Поначалу я ничего не заметил: замки целы, тесовые щиты вроде бы прикрывают все восемь окошек. Но потом...

И старая изба, и новая байна взломаны на один манер — сорван наружный ставенек, выставлены рамы в невысоком оконце горенки и в бане, побиты стекла, пудовым шкворнем — тележной осью — выломаны крепкие доски внутренних ставен... Унесли припасенный с осени сахарный песок. Заодно прихватили выдавший виды спальник, в котором я провел столько ночей под звездами и на снегу, и на воде. Исчезла — подарок койного друга — подозрная труба, без которой теперь, когда ослабли глаза, не много разглядишь в отдалении. Стянули еще кое-что по мелочи...

В бане грязь и зола, ржавая от ржавчины вода в котле. Бутылка в углу — имперский орел на черной этикетке. Пустая жестянка от кофе «Пеле». Надо понимать так: гости пили нашенский спирт, а запивали бразильским кофе. Или наоборот? Большие гурманы и аристократы!

Невелик урон, но... ощущение оскверненности дома, где без меня, хозяина, за двадцать лет никто не тронул ни спички, ни гвоздя... Опустошающее чувство безадресной обиды. Враз навалилась долго копившаяся усталость. Сбросил у печки рюкзаки, сел в тупом оцепенении. Позже, так и не открыв окна, не раздеваясь, пал на койку, забылся дурным сном.

Очнулся — сумрачно, сыро. Яркий свет бьет по щелям. Чайки приглушенно вопят за бревенчатой стеною. Лежал, вспоминал последнюю осень.

...Две недели октября с темна до темна брал бруснику. Переплывал рассветное озеро, сбивая росу, оставляя светлый след, сминал слабую отаву луговины, в которой изредка желтели мелкие послепокосные купавы. Затем поднимался по песчаной дороге в Лизин бор. Шлепал по болотинке у развилки, свергивал на Гужовскую тропу и бред по ней, куда слева, из-под склона, круто уходящего к порожистой Кулгоме, не послышится напористый рокот. Лесная речка бурлит промеж кряжами в груде темных бревен, звавшихся некогда Пялозёрской мельницей. Мокрая гниль завала поросла ельником, крапивой и черной смородой, резко пахнувшей при всяком касании.

Слепая стежка, то обходя, то переступая рухнувшие стволы, неприметно вздымалась, петляла по сырому чернолесью. И вот...

Красные борки распахивались неожиданно и светло. Даже бессолнечные дни тут освещены желтизной сосновых стволов, белыми мхами, устилающими крутые взгорки.

Брусники уродилось не много. К тому же ее споро выбивали рябчики и глухари, нехотя, тяжело взлетавшие при моем появлении. Однако главным соперником на сборе был медведь: всякий раз на том клочке-пятачке, где ягода бурела особенно крупно и густо, я находил поутру опустошенные

смятые кусты. Могучие медвежьи кучи, оставленные тут же для убедительности, чернели и краснели непереваренной ягодой: «сам» очищал утробу, готовился к долгому сну.

И все же я не отступался, изо дня в день проделывал долгий путь: уж больно нравились мне соборная краса и редкостная пустынноость Красных борков — сторонние люди редко забирались в эдакую глухомань.

...Из поселка прикатил толковый паренек-приемщик, выдал мне сколько-то рублей, насыпал три ведерка мелкого, слепяще-белого финского песку. В ту осень за килограмм бруснички давали кило, а сдал я, помнится, четыре пуда ягоды и очень гордился, что в кои-то веки заработал грош, а главное — проявил хозяйскую сметку, запасаю сахаром, который обещал непременно подорожать к весне. Но парнишка приехал с приятелем, а сухопарый дружок тут же спросил стопку и просветлел, когда принял, и оживился.

Конечно, всякая весть тут же становится достоянием округи. С этим следовало бы считаться. Наверное, зимой, когда мертвую деревню завалили снега, некто ведавший про тот песок — основу всякой бражки — сообразил опять же и другое: сахар в доме, не мог же москвич уволочь его в столицу.

...Быть может, впервые за долгие годы захотелось уйти прочь, выйти вон из старых тесаных стен, которые теперь, казалось, таили не только холод, но и чужеватость. Хандра требовала выхода, выталкивала за порог. Ближе к вечеру я все-таки не выдержал, сплыл на лодке под Ижгору и темной ложиной, по стежке покойного Васи Климова, вышел на заброшенную Кулгомскую дорогу.

«...И благословил Бог Ноя и сынов его, и сказал им: плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю. ...Да страшатся и да трепещут вас все звери земные, и все птицы небесные... Все движущееся, что живет, будет вам в пищу; как зелень травную даю вам все».

Левее озерка Изерко на старом покосе, которым давно завладел унылый ольшаник, мелькнул и встал столбцом не чистый еще, не вылинявший до конца зайчишка. Теперь, когда земля пуста и одноцветно темна, уцелевшие клочья грязно-белой зимней одежды выдавали косоного с головой. Только беляк, похоже, не подозревал о своей беззащитности. И вовсе не страшился меня, не трепетал. Видно, не знал грозных слов, начертанных в Книге Бытия. А может, напротив — знал продолжение? Ведь в Третьей Книге Моисеевой («О животных чистых и нечистых») длинноухий бесстрашник удостоился прямого упоминания: «...только сих не ешьте из жующих жвачку и имеющих раздвоенные копыта: верблюда, потому что он жует жвачку, но копыта у него не раздвоены, нечист он для вас; ...и зайца, потому что он жует жвачку, но копыта у него не раздвоены...»

О, дважды нечистый ушастый зверь!

И все же на беляка да русака спокон веку охотились и крестьяне, и баре. Верно, потому, что главная книга так и не прочитана нами.

А еще в библейской Книге Левит писано так: «Из птиц же гнушайтесь сих — орла; грифа и морского орла; коршуна и сокола с породю его, всякого ворона с породю его, филина, рыболова и ибиса, лебедя, пеликана и сипа, цапли, зуя с породю его, удода и нетопыря».

Все! Перечень нечистой птицы исчерпан. Стало быть, потомкам прозорливого Ноя добывать глухаря и есть глухаря не возбраняется. Равно как и прочую дичь — боровую, речную, болотную...

II

На тридцатилетие мне подарили двустволку. Единственное в жизни ружьецо, прямо скажем, не перетрудилося: и ныне все так же зеркально посверкивают хромированным ровноколеччатым нутром его стволы — «чокнутый» и «получокнутый». Все так же медово темнеет прямая березовая ложа. Мелкие ссадины-царапины, неприметные стороннему глазу, ко-

нечно, не в счет. Разве что воронение утратило первоначальную сизую густоту да проявилась светлость стали возле замка, там, где стволы годами терлись о рюкзачную ляжку.

Словом, настоящего охотника из меня так и не вышло: поздновато попало ко мне оружие! С мальчишских лет сердце мое прочно висело на крючке: ладная, обнадеживающе-увесистая «ижевка» так и не сумела меня отвратить, отвадить от бесконечных опытов летней и зимней рыбалки. Занятой оказалась вакансия!

Правда, Аксаков вообще не делал тут никакого различия. «...Сообщаю новость охотникам, — писал Сергей Тимофеевич, — ночью на 15 сентября попал мне язь в три фунта на крючок, насаженный карасем». Казалось бы, охота — и охота: две половинки единого чувства, попробуй-ка их разделить! Матерых щук на вешних разливах, случается, бьют из ружья. Птицу и зверя, бывает, ловят тенетами, сетью.

Только в одном случае перед тобою недвижная гладь, а в глубине — потаенная жизнь, которая изредка топит поплавок или резко дергает леску, а потом, если ей не повезет, влажно трепещет в твоих ладонях, позволяя себя разглядеть и постичь. В другом случае все несколько иначе: изволь сперва отыскать и издалека заприметить добычу, затем изловчись подойти к ней на верный выстрел, и выстрелить, и не дать промашки.

Обе охоты — близняшки-сестры, но какого избытка сил требует верность сразу обеим. А еще — резкого переключения «скоростей»: разные это все же темпераменты — Рыболов и Охотник. А может, просто разные времена в пределах одной человеческой жизни? Даже Аксакову «двоеженство» оказалось не по плечу: в юности он — рыбак, в зрелые годы — стрелок, на закате своих дней — смирный созерцатель-удильщик.

«Скверной действительности не поправишь, думая о ней беспрестанно, а только захвораешь, — пишет Аксаков-старший сыну своему Ивану, редактору славянофильской газеты «День», — и я забываюсь, уходя в вечно спокойный мир природы».

...И все же довольно долго я не только числился по ведомству охотников и рыболовов, но и вправду пытался одновременно бежать по двум дорожкам: то сутками болтался в лодке и при оружии, отчего ружье бессмысленно мокло-ржавело, если наносило дождь или хлестала волна, то продирался сквозь чащобу с двустволкой на плече, выставив гибкую пику березового удильника (первые «телескопы» тогда только появлялись) и осторожно лавируя меж стволами на переходе от озера к озеру.

Листал мудреные книжки-журналы — осваивал опыт хитроумных промысловиков таймырской тундры и ханты-мансийской тайги. Неделями лазал по кочковатым «обидищам» вдоль зарастающих, мелеющих речек, по кряжистым берегам заваленных буреломом родничных ручьев — искал норы, сличал отпечатки лап, увлеченно читал, распутывал прерывистые подслеповатые строчки следов на снегу. Научился вроде почти всему: искать и находить, настораживать ловушки, выделывать шкурки. Но когда пришлось раз-другой добывать угодившую в капкан, истошно вопящую от боли и бессильной ярости зверушку, я понял: охотничья страсть завела меня слишком... не туда.

Старое ружье, что ни говори, и определеннее, и честнее. Нет в нем того коварства. Опять же, предполагаемая добыча всегда может уберечься — не подпустить тебя на выстрел: дробовой заряд летит недалёко.

И еще: тысячи дней проводя в лесу, я обнаружил, что труднее всего убить высшее животное, будь то сердито цокающий бельчонок или матерый сохатый, на которого поневоле глядишь снизу вверх.

...Помнишь упругий шар, свитый из мягких травинок? Ты нашел его довольно высоко над землей, в дудках бурьяна, когда обкашивал изгородь. Внутри оказались девять голых, розовых, слепых — каждый мужичок с ноготок — детенышей мыши-малютки.

А белогрудый щеголь медведь, встреченный позапрошлой осенью?

Вроде бы и не думаешь в те мгновения, что каждого из них, как и тебя, когда-то вскормила своим молоком мать, а вот поди ж ты... Мле-копи-тающие! Родня!

Птицу все-таки бить проще.

Неужто потому, что она дальше отстоит по лестнице эволюции? А может, по той простой причине, что умирает она, крылатая, обычно молча? Птичий подранок не умеет кричать так похоже, ну совершенно по-детски, как — помнишь? — вопил тот заяц-беляк, что волочил по сугробам тяжелый ржавый капкан.

Впрочем, и к пернатым отношение мое с некоторых пор сильно изменилось. Всему виной птица-феникс — Феня, Фенечка, — нежный хищник, сперва полуживой окровавленный птенец, купленный у пьяницы на Арбате, а потом всеобщий любимец, роскошный ястреб-тетеревятник, два года живший у моей дочки.

Чаще всего охотился я, чтобы добыть пропитание себе и близким в местах, где нет ни гастронома, ни рынка. Даже в годы первоначальной увлеченности, когда частенько ощущал на своей щеке прерывистое дыхание девственницы Артемиды, я старался все же не губить живое понапрасну. Бывало, несколько ночей прокружив в глухариных болотах, вдосталь надышавшись, наслушавшись, наглядевшись, возвращался с полным патронташем, так и не сделав своего выстрела. Хотя подходил на подслух чуть не вплотную — мошники щелкали и пришепетывали буквально над моей головой.

И по осени я не выбивал «дэтники» — выводки молодых, рослых уже, долговязых, но беспомощно-глупых глухарят. Дело это нехитрое, да жестокое: если поднять выводок и поначалу сбить самку-кóпалу, птичьи дети в ожидании материнской подсказки так и будут торчать по ближним со снам, вытягивать шеи, удивленно вертеть головами, пока их не перебьют всех до единого.

И все же простите меня, святой Франциск, Велес и прочие покровители зверья: аз многогрешен.

Только не городским людям, сроду не бравшим в ладони лук и стрелы, палицу и ружье, меня судить: еще неизвестно, как поведет себя любой из этих книжников, когда его внезапно настигнет, а то, глядишь, еще и вывернет наизнанку пещерный, темный, когда-то, верно, помогавший сохранить и выжить роду инстинкт выслеживания, преследования и добычи.

О, довелось мне быть свидетелем таких преображений!

Кто ничего толком не знает ни об охоте, ни о себе самом, а все же бодро клеймит или снисходительно не одобряет любого, способного нажать на курок, так напоминает мне первоклассницу, которая вчера открыла тайну деторождения и гневно заявляет во всеуслышание: «Замуж никогда не выйду!»

«Охотничья страсть неожиданно мной овладела, как будто мне свыше старинную песню пропели. Пустынный и книжник, забывший ничтожное тело, теперь оставляю листья пожелтевшие в келье. Кипчак разъяренный, с вершины низринуть в долины. Что свист соколиный, домчусь до любого предела. Настигну добычу, как проливень неумолимый: охотничья страсть неожиданно мной овладела!»¹

...Теперь, когда бóльшая часть дороги уже позади, нет нужды лукавить: не вышло из меня ни «узкого» охотника до какой-нибудь одной охоты, ни удачливого, добычливого скорострельщика-палильщика, ни, тем паче, тертого полесовика, ведающего и могущего и то, и другое, и... все.

И все-таки спасибо тебе, верная «ижевка»! Спаси Бог и вас, друзья моей юности! Спасибо, что в складчину, за шестьдесят целковых, кажется, в охотничьем магазине на Неглинной купили мне бескурковку-двустволочку в том далеком апреле: бродяга при оружии, если он не палит во все,

¹ Стихотворение Шота Нишнианидзе, перевод мой. (Примеч. автора.)

что шевóлится, без разбору, дуром, а неспешно продвигается, вглядываясь в тишину, мало-помалу открывает для себя нечто, вовсе не ведомое грибнику или рыболову-удильщику.

Разве может до дрожи, до спазма в горле взволновать дикое совершенство странной жизни того, кто глядит на реликтовую птицу — жалкую и понурю — в загаженном вольере зоопарка? Или видит ее на картинке, где все искажено, и мертво, и плоско? Смерзшиеся бурые комья на витрине магазина «Дары природы» неизменно отвращали меня своей тщедушностью, обезличенностью, почти что полной утратой естественного многоцветия.

Откуда вообще берутся охотники?

О-о-о, он до этого большой охотник! А можно и так: вот еще, была охота! Кто выбирает охотничью тропу? Одним из первых задумался над этим Аксаков. «Расположение к охоте некоторых людей... есть не что иное, как врожденная склонность, бессознательное влечение». Бессознательное, но так много говорящее о сознании человека.

Сергей Тимофеевич, как и положено прирожденному естествоиспытателю, всю жизнь не только увлеченно следит за бабочками, рыбами, птицами и зверьем, но приглядывается также к себе подобным. Годами, к примеру, наблюдает за деревенскими мальчишками. Одни нороят в каждую собаку и кошку «лукнуть» камнем-палкою, другие, напротив, — защищают, ласкают, кормят безответную тварь. Каково заключение членкора Петербургской академии наук? Вывод таков: именно из сострадающих и отзывчивых «непременно выйдут... охотники до какой-нибудь охоты».

Вот те и на!

Стало быть, как раз не бесчувственные, а скорее чуткие, ощущающие радость, прелесть и полноту бытия пацаны, возмужав, станут по своей воле-охоте зябнуть да мокнуть, холодать-голодать по лесам и болотам, по берегам речушек и морей, гонимые жгучим любопытством, «бессознательным влечением» — охотничьей страстью.

А еще они станут стрелять. Чаше или реже. И убивать, как это ни прискорбно. Только не корысти ради. Какая уж тут корысть, когда безоглядно тратятся годы, силы единственной краткой жизни, а прибытку, считай, никакого. Даже немислимые аксаковские охоты на тройке («В 1816 году, с исхода сентября до 6 декабря, я убил с подъезда около пятисот тетеревов»), с точки зрения домочадцев и дворни, наверняка были барской прихотью и чистым убытком. Не более того. Представляю, как ворчали кухонные девки, которым приходилось ошипывать груды краснобровых косачей, драть железное зимнее перо.

Даже бесцельные изыски Аксакова-гурмана — жареный журавль, лебедь, мелкие пташечки-подорожники и прочая снесь-дичь — только лишнее доказательство исследовательского рвения.

...Изредка встречаются, правда, люди, одержимые убийством. Верно, они вырастают из тех, кто не испытывал жалости к собаке. Впрочем, уродливая жизнь тоже способна исказить естество — породить жестокость.

В тундре, в тайге зачастую нет выбора, а потому русский или эвенк, ненец или якут с детства встают на отцовский путик, наследуют прадедовские еще угодя-зимовья. Но разве те, кто месяцами стынет, мокнет, рискует — в поте лица, как и велено, добывает хлеб свой и при этом знает и понимает жизнь тундрового болота или горного ущелья лучше, чем собственную душу, — разве они любят суще меньше безучастно жующих или лениво кутающих плечи в бывших соболей и песцов?

Аксаковская формула, видимо, справедлива. Неужто по чистой случайности самые-самые, единственные страницы о красоте земной оставили нам именно те, кто нашивал на плече ружье, кого коснулась в свой черед и обожгла охотничья страсть?

Сергей Тимофеевич — зачинатель и предтеча: пожалуй, первым из россиян он не только прошел по земле с ружьем и удочкой в руках, но

еще и описал все подробности пройденного пути. «Записки об уженье рыбы», «Записки ружейного охотника Оренбургской губернии», «Рассказы и воспоминания охотника»...

Охота, как и писательство, — дело сокровенное, одинокое. Наверное, потому на аксаковской тропе сроду не появлялось шумных компаний. И все-таки не пресеклась, не заглохла стежка: за полтора века с той поры, как не стало первопроходца, на ней замечены осторожные тени многих отдельных людей. Одних не сумели толком разглядеть даже друзья-современники, других прилежно читали, переписывали да неприметно позабыли с течением лет, третьих — уже не забудут вовек. ...Сергей Аксаков. Лев Толстой. Иван Тургенев. Иван Бунин. Михаил Пришвин. Юрий Казаков...

III

Обычно я встречаю на Великом болоте у потаенного ночного костерка (большой не разводишь, чтобы не тревожить «хозяев») день своего рождения. В конце апреля по борам истлевают остатки зернистого снега. Мочажины на болотистых воротках под утро кроются ледком. Ночной сумрак еще достаточно плотен.

Случалось, легко пробежал по крепкому насту в полночь, а поутру; когда пригревало солнце или падала морось, шел ослабшими сугробами, проваливаясь по самое некуда. Обливался потом, в полном изнеможении валялся на снег.

Всяко случалось. На обратном пути при утреннем свете видел порою свои встречные ночные следы бок о бок с медвежьими. И трудно было понять — то ли голодный зверь, только что выставший из берлоги, напал на мою тропу потом, то ли в ночной черноте ступал по пятам за мною...

Сей год я припозднился. К тому же весна выдалась ранняя и теплая. Сухая. Лесная дорога совсем походила на летнюю, только в темной ложине под елками светились последние клочья снега, густо присыпанного хвоей. Березы уже не лиловели, но всю пушили первой листвой. На Великом вода стояла ниже обычного: без особого труда выбрел я на знакомую гривку-горушку, поросшую матерыми елями, узловатыми соснами, березами, почти сплошь устланную понизу глянцевиным брусничником да полуголыми пока что кустиками черницы. Вот она, сложенная ветром у комля иссохшая ель, на толстый шершавый ствол которой хорошо лечь навзничь и разглядывать звезды, трепещущие в крестообразной небесной полынне, очерченной недвижными вершинами сосен. Вот и темное углубление на самой макушке борового островка — старое кострище. Сколько раз сживал тут по весне и с друзьями, и в одиночку, дышал скипидарно-бродильной сыростью измокшей древесины да прошлогодней отмякшей хвоей. Грел зябнущие ладони над малым, но жарким от мелкого елового сушняка костерком. Хмелел от его смолистой горечи. Вслушивался в голоса таежного болота.

Усталость и привычное чувство сиротства, посещающее меня с некоторых пор, навалились как-то вдруг. Садится солнце. Теплынь. Дух вешней свежести исходит от земли. Я прилег на широкую, хранящую дневное тепло округлость сухой ели и прикрыл глаза. Дрему мою озвучивали знакомые голоса: вот раз за разом блеет барашек — это, круто падая вниз, тормозит, топорщит куций хвостик бекас; вот на все лады — кто какого звучания подыщет себе упругий сухой расщеп — рассыпает гулкую свадебную дробь дятел-желна. Сам силовфонист матово-черен, точно ворон, зато шапочка на нем цвета спелой куманики — рдяно-малинова.

А вот и он! Издалека донесся низкий, раскатистый, устрашающий рев: «Ху-у — ру-у — р-ра, ху-у — ру-у — р-ра». Кто не знает, решит, что серьезный зверь подает голос, а это всего-навсего вяхирь — лесной голубь, безобидная пичуга... Славно дремлет под нехитрую семиколенную дудочку зяблика.

...Когда я впервые прислонился к этой сосне?

...Давняя ранняя снежная весна. С вечера тогда подмораживало. Ледистая корочка отмякших накануне сугробов почти не проламывалась под сапогом. Ближе к ночи наст еще покреп, хорошо вздымал, так что до Великого болота мы с Володей добежали легко.

Круглая гривка на том краю заснеженного пространства просто оказалась ближе других. Разгребли снег на вершине горюшки меж старыми елями, наломали сушняку, развели широкий костер... По очереди отхлебнули из ледяной фляги. Долго дули в кружки, шумно, мелкими глотками тянули черный обжигающий настой. Кажется, негромко пели-гудели.

Пламя дышало неровно — то приблизится, пахнув дымом и жаром, то лениво откачнется во тьму. Искры извилисто уносились высь, а глаза невольно следили, как они — то сразу, то чуть погодя — гаснут в холоде высоты. Редко какой удавалось вырваться, блеснуть над лесом.

Когда красноватые отсветы костра ослабли, сузился круг и снова ушли в темноту стволы, мы сдвинули в сторону угли, устлали горячую почву заиндевелым лапником, улеглись спина к спине, накрылись с головой. Снизу, сквозь еловые ветви, медленно восходило тепло исчезнувшего огня. Оттаявший лапник сперва одурманил хвойной свежестью июньских лесов, потом от земли повеяло крепким зноем августовского бора.

...И все-таки меня пробрала, разбудила предутренняя стужа. Тишь. Черноту малого неба над головой оживляло быстрое трепетание нескольких звезд. Поджав коленки, ерзал на холоду да тихо посапывал друг..

Где-то поблизости негромко, сухо шелкнул сучок. Такой звук рождается, если сломить тонкую, но крепкую мертвую веточку, какими обычно утыканы понизу елки в чащобе. Снова — только чуть погромче — треснула ветка. Опять... И опять! Что это? Зверь осторожно пробирается в ночи? Но отчего древесно-ломкие звуки доносятся как бы свьше? Сдвинув ушанку, я настожился, замер.

Тонкие сучки ломались не как попадая, но в определенном порядке! Да-да, выстраивался звукоряд, улавливался ритм. Затем что-то разладилось вдруг в неведомом механизме: щелчки участились, хлынули, наскакивая друг на дружку, слились в короткую гулкую трель. И тут же следом за нею — вверху и чуть в стороне — трижды коротко прошелестело. Точнее, так: легкий шелест-треск вначале, а потом — троекратное пришепетывание, как бы включающее в себя краткий, тихий точильно-железный скрежет... Спаренные деревянные щелчки: «та-кэ, та-кэ». Пауза. И опять: «та-кэ, та-кэ»... Двойной дуплет. Вот полилась, но резко оборвалась дробь. И вновь кто-то трижды чиркнул ножом по выщербленному точильному кругу: «скржищи, скржищи, скржищи».

Еще несколько минут, и я окончательно поверил, что слышу, впервые в жизни слышу токующего глухаря! Растолкал друга, но тот, похоже, так ничего и не разобрал спросонок. И впрямь песню глухого тетерея важно не услышать, а понять.

...Только ни та памятная, ни последующие ночи-зори так и не дали мне добычи. Недоставало выдержки. Все портили неопытность да излишняя спешка. Дважды видел их совсем близко, подходил хорошо, но сперва помешали густой ельник-подрост, а потом дрогнувшая ветка и открытое место. Напрасно я стыл-каменел, тарасил глаза, не решаясь сморгнуть, — заподозрив неладное, глухарь уже не забывался, странную фигуру навроде темной коряги из виду не терял, не отворачивался, не глох...

Пустой, помнится, оказалась и шестая ночева на Великом. Солнце уже припекало вовсю, лес наполнился птичьим перезвоном, когда, измотанный бессонницей и топью, я тяжело выбредал на дорогу, хлюпя в болотниках по высокой воде, в какую успели обратиться недавние сугробы.

Только встал, прислонился к сушине, чтобы перевести дух, как метрах в тридцати от меня на сук одинокой тощей сосны пал, громко слопатив крыльями, невесть откуда вылетевший матерый глухарь. Друг друга мы засеки одновременно. Быстрелил я навскидку, не целясь, и тогда крупная

птица рухнула к подножью дерева, громко забилась, вздымая брызги, уминная мох. Затихла между двумя мокрыми кочками, напоследок спрятав под крыло массивную бородастую голову.

В ту минуту я, пожалуй, впервые с такой остротой пережил и мгновенный восторг удачи, и тотчас же вослед за ним нахлынувшее чувство запоздалой вины.

А еще, помню, меня навсегда поразили мощь и редкая красота мертвого двукрылого создания.

«На бору со звонами плачут глухари...»

«Плачет где-то иволга, схоронясь в дупло...»

Когда-то есенинские строчки казались мне не только прекрасными, но и непогрешимо достоверными. Так их, само собой, и воспринимает большинство. Только орнитологи-биологи, знаю, посмеиваются над такими «открытиями» поэта: иволга вьет гнездо на конце крепкой ветки, в развилке, подальше от ствола, а потому нечего ей, конечно, делать в дупле. ...Плачут глухари, плачет иволга. Но разве трехколенный флейтовый пересвист голосистой иволги хоть отдаленно напоминает ночное соло молчальника глухаря? Редкие чудики, которым довелось слышать токующего мошника, знают: ни звона, ни плача нет в его голосе. Нет, собственно, и голоса как такового — брачный зов странного петуха мало походит на птичье пение.

Ну разумеется, поэт — не орнитолог.

— Я не орнито-о-лог! — поет герой славной оперы.

И вовсе не обязательно каждому поэту быть «подробным, как Линней». Хотя желательно все-таки: видимый мир тоже стоит того, чтобы всю нашу недолгую жизнь вглядываться в его удивительные подробности. К тому же видимым — оче-видным — он предстает только беглому взгляду.

Если природа и впрямь — первая книга, являющая «величество» — могущество Божие, как полагал Михайло Ломоносов, а Священное Писание, в коем выражена воля Господня, — книга вторая, то может ли быть незнающим, пустячным даже малое слово первоначальной книги, даже запятая на последней ее странице?

Жаль, дорожить всякой малостью мы начинаем слишком поздно. Если вообще способны дорожить...

Слышал ли юный поэт, видел ли токующего глухаря? Водились они в окрестностях больших рязанских сел Константиново и Спас-Клепики в нашем веке? Возможно, и видел, и слышал, да, захлестнутый «половодьем чувств», не обратил внимания. А может, просто спутал глухого тетереу с тетерей обыкновенным — тетеревом, косачом, полевиком? Угольные краснобровые косачи и посегодня чернеют на березах вокруг лесных деревень. Их раскатистое бормотанье, чуфыканье, скирканье хорошо слышны сельчанам в тихое весеннее утро. Глухарь, в отличие от тетерева, сторонится людского жилья. К тому же он — закоренелый молчун. Только страсть способна извлечь из его гортани негромкие звуки.

Не равняю себя с великими, но в пятнадцать есенинских лет и мне весь мир застила одна отличница-чистюля. И разве сумел бы я в те годы отличить грача от вороны, сойку от иволги, голавля от подуста? Первого тетерева мне, горожанину, довелось встретить, когда я служил на Северном флоте, первого мошника — много лет спустя.

Словом, токмо справедливости ради, а вовсе не для того, чтобы уличить влюбленного отрока, вспомнил я мальчишеские строчки С. А. Напротив, хочется оградить его от возможных насмешек, хотя в заступничестве моем он нынче не нуждается.

Только вот и натуралистам я теперь тоже понимаю: созданию условно-поэтическому, но имеющему при этом вполне определенное, известное имя нет места в ряду выверенных орнитологических описаний.

Ох уж эти мне глухари! Укромная жизнь крылатой животины так чудна, что и ошибиться, право, немудрено. Даже великий знаток всяческой охоты Сергей Аксаков, который, бывалоча, «из обыкновенного ружья, обыкновенной гусиной дробью убивал штук до шести глухарей в одно

утро», считал, что глухим тетерев глухой назван, поскольку обитает он в глухих, крепких местах, а вовсе не потому, что его изредка поражает мгновенная глухота.

...А все-таки и добыв мошника, я ничего еще толком не понял. Зато следующий апрель сразу ошарашил, окунул меня в неведомое с головой.

Трудно теперь припомнить, тем более — объяснить, что творилось со мною в ту ночь, когда я впервые правильно подошел под песню, но еще не видел, а только слышал, стоял, и слушал, и таращил глаза во тьму, покуда мгла нестерпимо долго редела; и наконец выступила из ночи смутная сосна, на которой тэкал, дробил и точил невидимый «сам»; и в морозной тиши меня, цепеневшего в ельнике на снегу, от волнения и стужи бил колотун; и темное небо нехотя становилось дымным и очень трудно потом наливалось синевой, а токовик-запевала изредка умолкал, чтобы минуту спустя вновь самозабвенно шелестеть — выдавать за коленом колено; и в какой-то миг я все-таки заметил легкое движение в темной хвое и уже не спускал глаз, а свет тем временем все притекал, прибывал, делался вокруг меня все очевидней, просторней; и силуэт крупной птицы ясно уже рисовался в небе, и плотная синька над черной стеной дальнего бора на востоке помаленьку явила белесую брешь, а еще чуток погода расплывчатое пятно слабо окрасилось по краю...

Когда же остро и невысоко ударил наискось первый луч, а вслед за тем вспыхнул, зажегся под солнцем змеисто изогнутый сосновый сук, я наконец-то разглядел глухаря во всей красе!

Вот он поднял рывком и даже несколько запрокинул тяжелую голову. «Та-кэ» — и дрогнуло горло, точно камушек проглотил. «Та-кэ»... «Так, так, та-кэ, та-кэ, та-кэ, та-кэ»... И взволнованно зашептал скороговоркой, зашелестел-заскрежетал, зашепелявил... Поставил торчком, резко раскрыл широкий плотный веер роскошного хвоста, слегка приопустил крылья и... крутанулся на желтом чешуйчатом суку.

Будто на шарнире повертываясь в перемолчках, он негромко отбивал свою морзянку, косноязыко вышептывал нежность — что было мочи вопил на все четыре стороны света: нет, он не согласен исчезнуть бесследно, уйти, так и не оставив потомства!

Красновато-желтые сосны светились все жарче, все гуще сыпали свою мелочь-дребедень воробьиные. Мошник вертелся на сосне, но не умолкал, продолжал гнуть свое, а потому шелк и скрежет то ослабевали, отдалялись от меня, недвижно, словно сосна, стоявшего на одном месте, то крепили, нарастали, а то взволнованно и сильно струились прямо в лицо.

Опять смолк. Вслушался в голоса соперников. Сравнил, оценил, взревновал и вновь горделиво вскинул красноватую башку: «та-кэ, та-кэ»...

Слева и справа — то глуше, то звонче — так же отбивали зорю. Гремели крепкие крылья. Изредка слышалось низкое «бак-бак-бак»...

Обалдевший, оглушенный буйством, яркостью, силой ночного зрелища, я возвращался засветло таким измочаленным, что засыпал на тропе, спотыкался о корневища, стучался о деревья.

И покатилося, и понеслось!

Ослепительных дней, когда быстро темнеет лед и все азартнее гомонят на проталинах прилетные чайки, я, можно сказать, не замечал, потому как падал, едва добравшись до койки, и тотчас во сне возвращался на болото: клекот ручьев, все явственней бубнивших в заоконной тишине, казался мне глухариним шелком.

Место действия отныне было известно заранее.

Время действия — короткие сумерки и заря.

Ближе к полуночи я выходил на лед, ритмично прогромыхая лыжами, скользил по озеру напрямик. Почти на ощупь, жмурясь, чтобы не напороться на острый сучок, одолевал чащобу. Снова, только совсем недолго, гремел по льду мелкого тинистого Изерка, уже темневшего пятнами родников. Воткнув в сугроб ненужные теперь лыжи, осторожно и поспешно пробирался к старому саннику. По узкой просеке, смутно белевшей

полоской снега, почти бежал, если позволял наст, — торопился загодя попасть на место, не опоздать к началу: примерно в половине второго на затемненной авансцене Великого болота обычно начиналось действие. Если не поспевал, начальные пробные щелчки заставляли меня прямо на дороге. Стоял на краю ночной болотины и слушал, слушал..

Подзадоривая, воспламеняя друг друга, мошники тэкали все решительней, все чаще. Вскипали, переходили на дробь, а вскоре принимались в полную силу «тянуть ясак».

Голоса тех, что токовали сейчас на противоположном краю болота — у островов, и по высоким гривам, и за ними, и еще, еще дальше, — до уха моего, понятно, не долетали. Тем не менее я прямо-таки нутром ощущал, как виришь и вглубь по неоглядному простору ночи катится теперь горячая волна.

Для полноты картины театру кайнозойской эры, должно быть, чего-то недоставало. Хотя некоторая перемена декораций мало заметна во мраке. И даже когда развиднеется, черный выворотень и ствол косо уходящей в трясину павшей сосны издали так напоминают динозавра. Что касается главных действующих лиц, то они, похоже, играли все так же вдохновенно, а главное — живо, как и тридцать миллионов лет назад!

Ископаемый предок нынешнего глухаря — сверстник динозавра и птеродактиля. Правда, летучий ящер парил вроде бы на степном просторе, когда праглухарь токовал в первом хвойном бору. Допустим... Но кто убедит меня, что древние летуны сроду не встречались там, где встречаются лес да степь? И кто нам скажет сегодня, как призывали друг дружку птерозавры, как объяснялись они, к примеру, по весне?

Ученые с более широким взглядом на жизнь недавно принялись заново переписывать-описывать все сущее: они уверены, что известные нам твари, малые и большие, — лишь пятнадцатая часть нынешних обитателей Земли. Вот так...

Когда во тьме гремят тяжкие удары, доносятся издали хриплые вопли, иной раз оживает детская надежда: может, не вымер птеродактиль, а просто отдалился, ушел подальше от нас, в глубину Великого болота? Вдруг кто-нибудь да отыщёт его послезавтра, увидит, скажем, поутру на старой березе? А?!

Но если крылатые ящеры и впрямь сгинули невозвратно, то не у них ли глухарь позаимствовал напоследок явно не птичий, такой немислимый брачный напев?

...Весны пролетали точно недели. Зато каждый новый апрель медлил и наступал не сразу. Долгими городскими ночами снилось мне залитое водой, разлинованное рассветными лучами болото. На кочках краснели влажные огоньки уцелевшей клюквы-подснежницы. Голоса всех прежде слышанных мною на току глухарей сливались в такое оглушительное единое «та-кэ», что я просыпался среди ночи и долго потом ворочался с боку на бок. Пытался представить, что сейчас делает Он. Или — еще чище! — чувствовал себя глухарем.

Рождественские морозы... Крещенские... Черноту неба расцветили призрачные гармоники полярного сияния. Под утро пушечно бухают льды на озерах. Лопаются от стужи деревья. Обвальные снега пригибают к земле, крушат высокие стволы. Одинокий мошник (хорошо, если собралась малая и вовсе не тесная компания) перемогается теперь на холоду и в темноте — угрюмо и молчаливо щиплет мерзлую сосновую хвою, ежится на ветру, забившись в суземы². Декабрь, январь — глухое, свирепое время. Тают силенки. Крупная птичья вошь, угревшись и расплодившись под плотным пером, все наглее грызет отошавшее тело.

Перетерпеть! Все надо перетерпеть...

Рано ли, поздно, но уляжется поземка, выдохнется, отпустит мороз. Тихим и погожим февральским днем на сугреве встрепенется вдруг боро-

² Суземы — дебри (северн.).

датый боровой старик, почуяв первое веянье далекой весны, и прочистит застуженное горло, и тряхнет стариной. Пробные коленца он выкинет где придется, но песня тотчас включит память и поведет его к нескольким чахлым соснам, к неприметному клочку оснеженного болота, которое давно и по праву принадлежит ему, а значит, другим принадлежать не может.

Незримо для глаза, по минутам, прибывает день, но все равно мошник уже вспомнил, а потому все чаще навещает заветное место, все чаще подает голос и вслушивается, все азартней чертит концами крыльев волнистые борозды, пробегая по свежему снегу.

О, извечный передел собственности! «Нам хочется забрать клочок земли, который только и богат названьем»³. Токовищем называется этот клочок, и, если не перебьют главных участников ристалища, из года в год станут они встречаться на этом месте.

...Хотя границу собственных угодий ты определил примерно, на глазок, все равно она существует в твоём сознании, а стало быть, требует защиты. Молодые самцы — вчерашние поршки — конечно, не в счет, их можно и потерпеть на своей земле: разве это соперники?! Они молчат, любопытствуют, силятся сообразить, что к чему. Голоса юных только оттенят мощь и глубину твоей страсти. Зато соседям-соперникам — никакой пощады! Каждый из них давно известен и по музыке, и «в лицо».

Медленно редеет тьма. Вот-вот заявятся прилетающие перед рассветом копалухи. Успей занять заметное место и распеться на своем суку. Пусть вовсе не тебе, а глухарке принадлежит право выбора, но можно ли показать себя во всем блеске, если ты лишен сцены и отсутствует право на сольный концерт, а твой негромкий голос заглушают усевшиеся поблизости другие петухи? Гони их подальше, тесни на окраину токовища! И, отогнав, тут же затяни победную песнь.

Вот они сходятся в сумерках на границе угодий — вертикально распахнут веер хвоста, приопущены крылья, мускулистая шея вытянута и напряжена.

«Га!» — грезно и гневно басит один.

«Га!» — хрипло и громко орет другой.

И — грудь в грудь с разгону, точно сшиблись на лету два футбольных мяча. Гулкий удар! И опять... И еще... В ход идут и клювы, и крепкие крылья...

Квочки изящны, кувшиноподобны, скромно одеты в пестро-коричневое перо. Во главе компании обычно старая самка-матрона, при ней несколько молодых и сколько-то девиц на выданье. С невозмутимым видом, как и положено членам жюри, кучно рассаживаются они по ветвям, вертят головами, напрягают слух. Перелетают с одного воротка на другой или неторопко прогуливаются по болоту. Их появление каждый раз вдохновляет исполнителей — все чаще глохнут они от восторга.

Чу! Глухарки внимают. Решение окончательное, обжалованью не подлежит. «Бак-бак-бак» — «так-так-так», — изредка глухим басом роняет пожилая копала. «Так-так-так», — согласно вторят тенорком молодые.

Копалухи почти вдвое мельче и, кажется, заметно глупее: подпускают близко, выдают себя громким вхоханьем, будго призывают беду. Но совсем непросто добыть играющего мошника, если глухарка рядом: самка забакает на тревожной ноте, и замолчит самец. Станет настороженно озираться, прислушиваться, а то еще примется с надсадой и хрипотцой, точно старик-курильщик, громко кашлять-рыгать — «эксе-хе-ксе». И — пиши пропало...

IV

Лучшие дни весны: уже тепло, все в клейких почках, в светлой, пахучей, тонкой первоначальной листве, но еще не звенят, не жалят простодушные, откровенно доверчивые таежные комары.

³ В. Шекспир, «Гамлет», перевод М. Лозинского.

«Возле Массельги-горы по два фунта комары!»

Массельга, к слову сказать, неподалеку.

Высокий глухарь, заиграй! Ты видишь, знобит и колотит меня на Великом болоте: сегодня — потемени край⁴.

Именно тут, на Глухариной гриве, сами собой набормотались когда-то в ненастную мартовскую ночь эти строчки, похожие на заклинание.

...Студеную темень качни, прищелкни над мохом оленьим, оглохни на третьем колене! Прислушайся... Снова начни.

На третьем, если «двойной дуплет» — «та-кэ, та-кэ» — считать за одно, колене. Щелчки, дробь, точение...

...Решайся! Кому же еще решиться на нежность и ревность? В напеве — высокая древность — и шелест, и скрежет, и щелк...

Ночь, помню, выдалась ветреная, морозная. Под утро северик рванул в открытую, принялся размахивать вершинами, сталкивать, раскачивать стволы, обламывать сучья. А я все надеялся, что он уgomонится, отлетит...

...Наутро, другим не чета, умолкнешь на старой лесине. Не выбьешь ли черточку сини? Ударь! ...Не видать ни черта.

Давно, давно все это было со мною...

...Что-то рябчики не пересвистываются. И дорогой ни одного не вспугнул, не слышал. Видать, миновало время гуляний: на гнездах теперь терпеливо сидят серо-пестрые лесные курочки. Несколько раз в отдалении глухо проквохтали свое неизменное «бак-бак» копалухи. Потом на соседней гриве грузно захлопали сильные крылья — перелетел, удобнее устраиваясь на ночь, мошник.

И тут же с другой стороны — от сильно заболоченного края воротка, где сосны хиреют среди мочажин да неприметно струится меж кочками темная вода, — донеслось негромкое, но отчетливое «та-кэ, та-кэ»... В первых звуках как бы присутствовала вопросительная интонация. Повтор прозвучал утверждением. Грянула торопливая трель... И вот оно, глухое колено — точка наивысшей страсти, перекрывающей на мгновения ушные отверстия чуткой птицы. Мой глухарь, которого я, казалось безнадежно опоздавший, уж и не чаял услышать этой поздней весной, «тянул ясак», ровно и мощно точил неподалеку, солировал по полной программе. Глухое колено ясно различимо, значит, до птицы примерно сотня шагов. Если напрямую, конечно... Серии ударов следовали одна за другой, без перемолчек, враскат. Вслушиваясь напряженно, боясь не уложиться в отведенные секунды и подшуметь, по шажку, по полтора я завороченно пошел на звуки древней, быть может, древнейшей на земле любовной песни. Они и впрямь первобытны — эти гортанные, утробные, древесно-каменно-железно-костяные, будто бы рвущиеся из глубины существа трели.

...Кинуло в жар. Гулко застучало в висках. Только бы не оплошать, не споткнуться в буреломе, не хрустнуть сучком, не грохнуться с предательски оползающей кочки. Все! Теперь время течет по-другому: ход его отмеряют не секунды, не учащенный стук сердца, но глухариное «та-кэ, та-кэ».

Спустился по скату гривы, прошел-проскакал, то и дело замирая, сухой подол, мшаники, мелкий ельник. И вот началась кочкарник, темно засветилась ржавая разлива. Песня отчетливей и громче, только все труднее выбрать место для следующего прыжка — боязно потерять равновесие, качнуть ветку. Кто знает, может, мошник, поворачивающийся на суку, глядит сейчас именно туда, где я, замерев в дурацкой позе, стою, неловко подавшись вперед, с ружьем на весу — одна нога по колено в воде, другая на кочке.

Проминается под сапогом, тихо клонится слабая кочка, неслышанно громко булькает под ней вода. Стой и не моги качнуть лапу соседней елки: глохнет-то Он глохнет, зато глаз его глядит зорко! ...Ага, уже слышны последние подробности песни, различимые только вблизи, — сиплое клокотание в глухариной груди да короткий шелест-треск, с которым раскрывается веерный хвост. Смеркается. То позади, то где-то слева изредка

⁴Потемени край — непроглядная тьма (северн.).

подают голос глухарки. Умолк! Верно, прислушивается. И конечно же, в самый неподходящий момент: так, перекособочившись, мне долго не простоять. Неужто углядел меня с высоты? Или просто истекла вечерняя зоря и певец решил передохнуть до предутренних сумерек?

Чувствую: он где-то рядом. Сквозь мелкий подрост там, откуда только что текла песня, краснеет ствол подходящей сосны, но ветви ее плотно заклонены соседними елями, ничего не разглядеть.

Молчит и молчит, молчит и молчит!

Стынет нога в тонкой резине в черной торфяной жиже. Ломота в пояснице... Затекала рука... Все, нет больше моей мочи! Разгибаюсь, неловко, шумно вылажу на сухое. ...Тишина. Поспешно озираю крону ближайшей сосны: пусто. Стало быть, он еще дальше, вон на той рыжей лесине, очертания которой угадываются впереди. Терять уже нечего — я подшумел. Мошник наверняка слышал и теперь вертит небось головой, ищет источник шума. Баста, концерт окончен, и продолжения, скорее всего, не будет... Вся надежда на быстро густеющий сумрак. Снизу, из темной еловой мелкоты, может, удастся углядеть могучего летуна в светлом вечерующем небе, прежде чем он обнаружит меня? Шума осторожный глухарь все-таки не очень страшится: шумят и медведь, и лось, и кабан...

Еле-еле, тихой сапой, тенью скользи в сторону умолкнувшей песни. Да не сразу переноси тяжесть тела: а что, как под мягкими мхами стрельнет гнилой сучок? Или вовсе окажется пустота, провал? Не задевай ветки. Так... Обойди выворотень-корягу. Яму, полную гнилой воды... хвойную мелочь, сквозь которую никак не пролезть тишком. Да не забудь, что держаться надо в створе той самой лесины — подходить под прикрытием разделяющих деревьев.

По этим местам мошник всегда токует на сосне, если токует над землею, а потому на лиственницы, елки, березы глазеть ни к чему. Издали старайся сейчас разглядеть причудливо изломанные красновато-желтые сучья. Чем раньше заметишь, тем вернее...

Нет! И на этой сосне пусто. Неужто он еще дальше, там, где кончается сырое еловое чернолесье и смутно брезжит понизу сквозь стволы топкое моховое пространство? Еще шаг, другой, третий...

Я увидел его не выходя из чащобы: темный силуэт могучей птицы четко рисовался на полотне закатного неба. Сосна стояла о край болота, глухарь недвижно сидел боком ко мне вполкроны, вытянувшись вдоль толстой суковатой ветки. Прозрачная хвоя, конечно же, не могла спрятать, укрыть такую заметную жизнь. Внизу, в чаще, уже темно — не разглядеть мушку, а потому целиться пришлось, как целятся палкой — пиф-паф! — в детской войне.

Резкий толчок в плечо. Громыкнуло... Едко-кислый запах пороховой гари... Щелчки обломанных мелких сучьев. Приглушенный мхами удар большого тела о землю. И — вновь тишина... Все! Я сделал свой выстрел, добыл своего глухаря — встретил северную весну. Можно теперь постоять на краю ночи, на краю уходящего в ночь болота, прислониться плечом к сосне. Утишить сердцебиенье. Только мелкие перья, выбитые дробью, медленно вращаясь, все еще опускаются на землю.

Краткое чувство торжества. Похоже, оно становится все короче...

Может, это последний мой глухарь?

Холодный чистый березняк. В апреле на исходе ночи, когда тетерева бормочут, — наскучат ловля и резня. Ночь ветрена и холодна. Зеленоватая, одна, звезда как прежде хороша в апреле...

Страшновато порою, когда с трудом понимаешь себя самого. Откуда в городском человеке эта темная, точно глухаринная любовь, страсть? Ведь хочется не только следить, наблюдать за редким существом в природе, но еще и взять его в руки, потрогать, разглядеть в упор. Не охотнику никогда, считай, не открыть этой красоты, а охотник часто видит ее уже бездыханной...

...Зеленоватый мощный, почти орлиный клюв, которым глухой тетеря щиплет сосновую хвою, почки, ягоду. Ярко-красные брови — украшение крупной головы. Чудная «борода» — пучок стоящих торчком перьев. Си-

негато-зеленая, с металлическим блеском грудь переходит в пестрину — черные перья перемежаются чисто белыми... Тонкого рисунка пепельно-серая спина... Мягко-коричневое снаружи, серебристо-белое с исподу крыло... Широкий веер прекрасного хвоста сверху матово-черен, украшен светлым крапом, снизу — чернь с железным отливом...

Уже не таясь бреду по кочкарнику и бурелому, хлюпаю и ломаю сучья, возвращаюсь на свой острвок. Ладонь ощущает тяжесть и уходящее тепло недавней жизни. Вовсе стемнело. Впрочем, окружающий сумрак сгустился еще и оттого, что потрескивает костерок. Яркое красноватое пламя перескакивает с ветки на ветку. Все блеет и блеет барашек-бекас над соседним воротком. Подал голос, умолок, малость повременил и сызнова закуковал кук или кукуш-самец: самка-кукушка куковать не умеет.

А вот и новый голос в майском хоре! «О-о-к — о-о-к»... и тут же — тоненько, с присвистом — «пси-и, пси-и»... Вальдшнеп. Долгоносый лесной кулик медленно, извилисто летит по кромке болота, хоркает — зовет, выглядывает тихую подругу огромными зеркальными ночными глазами, которые видят и перед собою, и по сторонам, и назад.

Глухаря слышал и даже добыл. Ночь тепла и полна весенним духом. И комаров еще нет. Одинокая звезда глядит в небесное оконце, в крестообразную прорубь... Зеленоватая сильно пульсирующая звезда и — мал мала меньше! — горсть мельчайших, крупяных — манка небесная... Как это у Андрея Платонова? «Звезды увлеченно светились, но каждая — в одиночестве».

...И все сущее на земле по-прежнему занято любовью, озабочено продолжением рода.

Мало-помалу отступало напряжение муторной зимы. Легкость и подзабытое ощущение покоя — чувство, отдаленно напоминающее счастье, — прихлынуло вдруг. «Благослови, душе моя, Господа». И даже если сердце остановится этой ночью, все едино — «благослови, душе моя, Господа, и не забывай всех воздаяний Его». Прожита счастливая жизнь! Пусть была она в чем-то ущербна, как всякая человеческая жизнь, — за все приходится платить! — зато она вместила столько простора и воли, столько рассветных звуков и закатных полотен, что и умереть не обидно.

Впрочем, в такие ночи, когда все пронизывают острые токи весны, хочется жить, жить, жить и... еще пожить!

«Поскольку жить вовек не надоест»...

И дорога уже не кажется безвозвратно пройденной, и счастье еще представляется возможным.

...И копалухи, осторожно бубнящие поодаль, верно, уже сидят на гнездах. Стало быть, по осени каждая из них будет вылетать на брусничные горки с шестью, семью, а то и с девятью глухарятами. Нет, жизнь реликтовой птицы и впрямь будет длиться вечно, поскольку вечны и нерушимы бескрайние северные болота. И главной загадкой древнего двукрылого существа, конечно же, навсегда останется его любовь.

Как умудрится копала издалека во мраке оценить все достоинства своего избранника по незамысловатым, казалось бы, однообразным звукам?

Красуются зря. Поединки бесцельны. Хоть тресни. А все понапрасну! Любовная драма жестока: глухарка не глухнет, но слушает странные песни, на звук приближаясь во тьме глухариного тока. Казалось бы, каждый выводит такие колена! Куда же уходишь? Зачем улетаешь? Куда ты? Выходит, бездарны... Должно быть, и вправду нетленна скрипучая песня, какую сыграл борodatый.

У одного отбоя нет от копалух-любовниц, другие ночь за ночью, весну за весной всю недолгую жизнь «тянут ясак» впустую, зря расточают озвученную страсть. Как тут не вспомнить поэта, который считал, что женщины слабо воспринимают поэзию и писать для них — дело неблагодарное?

Так вот: у глухарок, судя по всему, гениальный слух и безукоризненный вкус, иначе они не переговаривались бы сейчас в ночи.

...Утонченный слух! И, видать, основательны слухи, что этим талантом спаслись первобытные птицы. А кто говорил, что подруги к поэзии глухи и, дескать, не стоит возвышенно петь для девицы?

...Помню, в охотничьем журнале встретила мне статья орнитолога, который просиживал весны в полесских болотах — изучал подробности интимной жизни диких птиц. Похоже, милый и добросовестный человек был не в ладах с чувством юмора. «Много раз мне приходилось наблюдать, — писал естествоиспытатель, — как глухарки уводят самцов в кусты, а также в мелкий густой ельник, однако факта спаривания зафиксировать ни разу не удалось».

Вот так! Стоит призадуматься... А вдруг звуки имеют прямую жизненную силу и копалухи начинают прямо от песни? Может, скрытницы уводят своих кавалеров в кусты только для того, чтобы те лично для них — прямо в негложущую дырочку уха — пропели свою скрипучую серенаду?

Кстати, в чем вообще смысл внезапной, предательской глухариной глухоты? Неужто она бессмысленна и порочна? Тогда почему опасный изъян сохраняется, передается миллионы и миллионы лет? Не глухая ли песня спасла глухаринный народ от полного вырождения?

Всего три секунды длится последнее колено, но и этого довольно: под глухое шипение-скрежет хищник легко совершает дальний бросок, расторопный полесовик успеет трижды шагнуть в сторону песни.

Кто только не охотится на токовище! И волк, и рысь, и лиса, и куница... Филин... Ястреб-тетеревятник... Так что едва ли оставит на земле свое потомство слабый, робкий самец. Лишь самые дерзкие, неизменно готовые к поединку встретят, скорее всего, новую весну. А если повезет, проживут еще долго и переместятся в центр тока — станут запевалами-токовиками.

Учить молодняк мужеству, а главное, искусству пения — вот призвание старожил. Не потому ли при виде ястреба или собаки старый петух не умолкает, но вызывающе выпячивает грудь да еще азартнее принимается рифмовать свои древесно-каменные октавы?

...Как ни тепла майская ночь, но перед рассветом посвежело. Опять затеплил ладонный костерок, грел в его красноватых отсветах озявшие пальцы. Около двух часов. Для короткой северной ночи это ранняя, правда, еще сумеречная заря. Птичьего голоса, притихшие было к полуночи, пробуждаются в чаще. Малым звонкоголосым птахам с вершин старых сосен, наверно, уже видна алая полоса на востоке. Час-другой, и птичий звон-пересвист станет таким густым, что негромкую глухариную песню трудно будет слышать даже вблизи. Самое время начинать свою партию мошнику, но знакомого пощелкивания нет как нет. Подала голос копала, немного погодя тихо отозвалась другая. Где-то в глубине болота громко треснул сук — крупный зверь пробирается чащобой. Тихо. Только звон и щебет малых пернатых становится все азартнее, все немолчней.

Покинул свою гриву, перешел на другую, постоял, послушал, перебрел разливу и поднялся на третий островок, более пологий и обширный. Потом медленно, вслушиваясь в птичий перезвон, описал по Великому болоту извилистую дугу. Не раз я сталкивался с этими причудами на весенних токах: сегодня тут одновременно точат во мраке пять, шесть, семь мошников, придешь назавтра — будто их и отродясь не бывало.

...Когда я плыл по тихой, слабо дымящейся рассветной воде к дому, над Лизиным бором уже плавилась солнечная краюшка.

ГОЛОСА ТИШИНЫ

Чудно устроено человекье ухо.

Вот скрывается за поворотом, проваливается меж кряжами рейсовый автобус-букашка, слабнущий рокот мотора сколько-то раз еще выныривает в отдалении, когда песчаная дорога взбирается на боровые угоры, и наконец совсем пропадает.

Тут-то и возникает ОНО.

Безмолвие тоже имеет голос: тихий волосяной звон является ниоткуда, неотвязно сопровождает тебя первые часы, чтобы потом неприметно сойти на нет.

Немолчными воплями, бормотанием, хохотом серебристых, и озерных, и малых чаек, крачек и гагар встречает апрельское озеро. Сперва жадно слушаешь основательно подзабытую музыку весны. Затем — мало-помалу — перестаешь ее замечать. Неделя-другая — и вот уже непрерывный вопей, светлое мельтешение крыл над водой стали для тебя тишиной и покоем.

...Склонишься поутру над бумажным листом — столешница сбита из четырех темных, многожды скобленных досок — и вскоре приходит смутное ощущение неудобства. Звук! Да-да, мешают звук. За перегородкой на узенькой полке слабо тикает старый будильник, страдающий хроническим сотрясением и нервным тиком. Именно этот последний механический голос (ходики на стене давно остановлены) кажется теперь досадной помехой. Снесешь неумолимое время в дальний угол, накроешь стеганым одеялом, придавишь для верности подушками, вернешься, вслушаешься — и снова уловишь приглушенное, а все же отчетливое: «тик-так-тик»...

Между тем за окном — птичий ор. Волна вызванивает в четырех метрах от моей столешницы. Крячет селезень. Длинно заливается деревенская ласточка, и подрагивает, дрожит в такт счастливому бульканью алое пятнышко на горле.

Прибой не нарушает тишины. И голос редкой птицы, как ни странен. А чайки — те и вовсе не слышны, поскольку крик чайчий непрерывен и вечен: видно, к птичьим голосам за миллионы лет привыкли предки, скитаясь по озерам и лесам. Но даже ветра завыванья редки в бетонной клетке этого двора. Какие звуки слышит детвора? Свист электрички с пригородной ветки.

Вороны и чайки топчут по крыше. Изредка всплеснет крупная рыба. В темном углу погуживает, изнемогает-смолкает и снова, но уже в другой тональности принимается зудеть муха, вокруг которой хлопочет паук...

Разрозненные звуки жизни, слитые воедино, ничуть не мешают. Просто — так озвучена тишина. Помеха, смешно сказать, все та же — едва различимое тиканье под подушкой. До чего же остро улавливаешь теперь всякий неприродный, неживой звук.

...Волна и ветер. Но внезапно, вдруг сквозь всю многоголосицу простора уловит ухо посторонний звук — железный стук рыбацкого мотора. А в городе моторы — звуковой привычный фон привычного уклада. Вороний карк или собачий вой, котачного вешняя рулада коснутся слуха — сердце звуку радо: скупая весть, что мир еще живой!

А еще случаются тишайшие дни июньского сияния, и озеро светит так, что больно глазу, и листва за окном недвижна, и даже чайки, разморенные зноем, почти не слышны. Тогда в прохладном углу, под божницей, где стоит тесовый стол, изредка принимаются тикать иные часы: «тик-тик-тик-тик-тик-тик». Звук отчетлив и ясен. Очень часовый звук. Разве чуть торопливей, чуть короче отсчитываются секунды. Вздрогнешь, застигнутый мыслью, что время, отмеренное тебе, потекло быстрее, а часики вдруг остановятся с разгону. И — тишина...

Немного погодя кто-то вновь отпустит стрелку поспешного хронометра: «тик-тик-тик-тик-тик»...

— Видать, пора на тёмный свет собираться, — шепчут и крестятся старухи, заслышав тиканье на свету или в светлых сумерках северной ночи. — Часы Смерти. Знать, Господь отсчитывает остатни деньки...

А в глубине старой бревенчатой стены тварь Божья — ничтожная козьявка, рыжеватый жучок-точильщик, вечно блуждающий во мраке своих тесных лабиринтов, — в буквальном смысле бьется головой о стенку, резко выгибается и долбит темечком о потолок узкого коридора, призывая подругу. И она порой отвечает ему во тьме таким же манером.

Словом, «тик-тик-тик-тик» — голосок жизни. Или часы Бессмертия.

ОЛЕГ ХЛЕБНИКОВ



ПРОБОИНА В ВОЗДУХЕ

Памяти бабушки

Серые ржаные шали
детство в мякиш погружали,
и лелеяли меня,
и носили имена:

Лизавета Николавна,
Александра Николавна.
Это бабушка с сестрой.
Это пироги горой!

Это за мукою серой
очередь со стойкой верой
до закрытья достоять.
...Сумерки. И снег опять.

Сыплет он на шали с неба,
словно соль на ломти хлеба,
и меня он не щадит,
но при мне и шлем и щит

возраста, любви, заботы...
Вот приходит мать с работы —
о, моих доспехов сталь! —
жаль, на матери — не шаль.

Это странно и тревожно,
и понять-то невозможно,
как меняют времена
цвет, покровы, имена...



Б. П

Бывают дни зимою — как бельмо —
пустые, белые, и пустота такая,
как будто отражается в трюмо
другое зеркало, в пучину увлекаая,

как будто кто-то — только что, сейчас —
здесь пробежал и в жестком воздухе оставил
пробоину, несносную для глаз,
для слуха резкую — как пятая октава.

И все, что тут чернеет: воронье,
стволы деревьев, деревянные заборы
и эти слесаря, залившие за ворот
рабочих телогреек, — всё вранье,

соломинка, чтоб зацепился я
заблудшим разумом. Уж так пошло от века —
меж белым небом в пятнах воронья
и белым полем со следами человека

границы нет. И там, где плакал ты
от горя горького и от восторга,
давным-давно пустое небо только.
И ничего надежней пустоты.

* *
*

Ю. Л.

Все обрывается раньше, чем я успеваю подумать.
Сколько уже этих рваных краев, этих нитей,
некогда звонких, как струны, — ни тронуть, ни дунуть,
чтоб не откликнулась музыка где-то в зените.

Нынче в кладовке души эти нити — клубками,
трещины ловко прошли между мною и — нами.

А между тем мне бы сесть в этот транспорт районный,
в тот городской, по утрам голубой и веселый
чешский трамвай — желто-красный и ярко-зеленый, —
и посетить ваш последний московский поселок.

Мне б только сесть и культурно доехать, а даьше
не было б здесь ни дежурного смеха, ни фальши.

Я бы пришел, ну а вы бы поставили стопку,
мы б наши мненья легко превратили в сомненья
и, без сомненья, подбросили в древнюю топку
новых дровишек — да будет огонь, а не тленье!

О сослагательное -- в никуда — наклоненье!..

ДАУР ЗАНТАРИЯ



ВОТ И ПЛОДЫ ВИСЯТ

Тишина

Белый туман с утра.
Скот выгонять пора.
Но ни одна из коров
Не идет через ров.

Мины цветут на лугах,
Ходишь — и страх в ногах.
Не разогнаться уже,
Так, чтоб отрада душе.

Здравствуй, однако же, день,
Где все дома без стен.
Здравствуй, родной Тамыш,
Где все дома без крыш.

Выжил раненый сад.
Вот и плоды висят.
Только, деревня моя,
Где твои сыновья?

Кладбище обновя,
Спят твои сыновья,
И над могилами их
Воздух так странно тих.

Светлое небо без дна,
А внизу — тишина.
О, мой родной Тамыш,
Странно, ты не дрожишь.

Песня о нашем брате

Ты вези, вези меня,
Бээмпэшка синяя.
Если нас гранатомет
На развилке подорвет,
Обмани мою сестру,
Что уехал в Анкару.

Как садится брат наш Заза
В синей масти «БМП»,
Рация шипит, зараза,
Что врагу не по себе.

Жаркий бой — его стихия,
Но у ближнего села
Он и спутники лихие
Смерть нашли из-за угла.

Ты вези, вези меня,
Бээмпэшка синяя...

Говорят, что брат наша Заза,
Сын отца и бог войны,
По какому-то приказу
Стал виновен без вины.

Мирно спи, спаситель флага,
Зажигатель всех сердец!
Опустела твоя фляга,
Изрешечен «мерседес».

Ты вези, вези меня,
Бээмпэшка синяя..

Водолей

Памяти Ларисы.

Во влажной я лежу траве.
Война уснула. Соловей —
Войной не тронутая птица —
Поет, зовет меня молиться.

И следом из-за туч тряпичных
Над сумраком полей античных
И взрытых бомбами полей
Восходит нежный Водолей.

Прошу созвездье Водолея,
Чтобы, как прежде, не болея,
Вернулась в дом моя жена
И села с чашкой у окна.

А где наш дом — теперь чужак
Вершит разврат и варит мак,
А вдоль — по набережной в ряд —
Все пальмы стройные горят.

И ты молись, молись, жена!
Одна лишь вера нам нужна —
Что с Водолеем, с соловьем
Не просто живы, но живем.

В каждом рисунке — солнце

Рисуют дети на асфальте солнце.
Вожатые оценивают их,
И подъезжают к площади «икарусы»
С туристами, которые полны
Желанья город наш поймать фотоприцелом.

Рисуют дети, соревнуясь, солнце.
Туристы рады. Радио воркует.
Молиться? Вон на лобовом стекле
Иконы наши: Сталин и Высоцкий
Да правнучка смутьяна Емельяна.

Теперь бы жить и жить, да вот беда:
Грозятся снова пальцем из эфира,
А по проспекту, полному лучей,
Совсем не опереточно шагают
Шинели, полные желанья убивать.

И вот, глядишь, вожатые шипят:
Туристы на рисунки наступают,
Иконы ж наши строят рожи нам.
А дети нервно водят мелом по асфальту.
Их солнца — как оконные решетки,
Их лица напряженны и стары.

И вот по лестнице, по лестнице крутой
Сбегаешь вниз. И я спешу к тебе,
Запутавшись в рисованных лучах.
И платье, полное отваги и порыва,
И волосы, взметенные назад, —
А время замерло, остановилось.

* *
*

Памяти Адегура Инал-Ипа.

Сижу под вязами. Никто меня
Не ждет, не помнит.
И тихим трепетом я на исходе дня
Наполнен.
Во влажном воздухе разлит покой.
Так небо низко, что до звезд достать рукой.

И будто нет войны и не бездомен я
На самом деле,
Сижу под вязами, как прежде до меня
Сидели.
И не течет река. И время не течет.
Мне сорок лет. Я отдаю себе отчет —

И так я говорю: пускай года пройдут —
Другие выразить обязаны,
О чем я ведал, сидя тут
Под вязами.

РОМАН СОЛНЦЕВ



ТЫ МИМО НА ПЛОТУ ЛЕТИШЬ

* *
*

В пальтишке старомодном, рыжем
стояла ты в дверях ларька.
И ростом показалась ниже,
и обувь как у мужика.

И, зная, что любил когда-то
я свет твоих татарских глаз,
ты улыбнулась виновато,
что вот, мол, не убереглась.

Безжалостное разрушенье
красы почти что неземной
рождало тяжкое смущенье
во мне, застывшем пред тобой.

Я подошел, стою, сутулясь:
— Ну хоть бы изменилась ты!.. —
И на мгновенье вдруг вернулась
тень позабытой красоты.

* *
*

По берегам повален лес
локтями ледохода.
На холмике повыше — крест,
бессмертье и свобода.
Кто, русский здесь лежит, латыш
или с Поволжья немец?
Ты мимо на плоту летишь,
высматривая нерест...
Своя любовь, своя беда
у каждого на свете.
И как понять, что навсегда
мы ляжем в недра эти?!
Уже пора?.. Но наш народ
еще не выбрал веры:
Коран и Библию берет,
ножи и револьверы...

* *
*

И все-таки свобода,
какая-никакая,
дороже для народа,
чем водка дармовая.

Но водка дармовая
да сабля удалая
роднее для народа,
чем нищая свобода.



НОВЫЕ ПЕРЕВОДЫ

ШАМАЙ ГОЛАН

*

ПОХОРОНЫ

Рассказ

1

Отливающая голубым блёском машина уже стояла у подъезда. Профессор Аксельрод нетерпеливо ерзал за рулем. Он поторопил меня:

— Похороны назначены на час дня.

Я уселся на соседнее сиденье и сказал, что придется ждать Фреймана.

— Нас ведь осталось лишь трое, — добавил я. — Мы должны поддерживать друг друга. Особенно сейчас.

Профессор взглянул на часы, завел мотор и воскликнул:

— Черт бы тебя взял вместе с твоим красноречием!

После этого он заглушил мотор и стал смотреть на улицу.

— Наверное, служащие электрической компании ходят без часов, — сказал он.

— А может, у них электрические часы, — пошутил я. — В Иерусалиме сейчас плохо с электроэнергией.

— Какое отношение имеет электроэнергия к часам? — раздраженно отозвался профессор и снова запустил двигатель. — Шрага Гафни не станет нас ждать. В результате я опоздаю в академию на лекцию по религиозной этике.

Он опять выключил зажигание, затем снова его включил и сказал:

— До Тель-Авива путь неблизкий.

— Может, Шрага нас подождет... — Я постарался говорить в манере профессора, надеясь, что тот отвлечется и перестанет нервничать из-за того, что мы задерживаемся. — В конце концов, если б он знал, что мы едем...

Появился Фрейман. Он был в кожаном пиджаке и серой кепке. Фрейман стал извиняться за опоздание — все это произошло так внезапно... На лице его читались замешательство и неуверенность в себе. Только сев в машину и скользнув взглядом по красной обшивке кресел, он позволил себе реплику:

— Мы ведь трудимся не покладая рук.

— Отличная шутка, просто отличная, — заулыбался я, чтобы сгладить неловкость.

Аксельрод сделал сердитое лицо:

— Не время шутить.

Он снял свою черную шляпу и пригладил седую шевелюру.

Шамай Голан (род. в 1933) — известный израильский писатель. Родился в Польше; во время Второй мировой войны оказался в России, в сибирской ссылке. В 1947 году эмигрировал в Израиль. Закончил Еврейский университет в Иерусалиме. Многократно избирался председателем Союза израильских писателей. Ныне — советник по культуре в посольстве Государства Израиль в Москве. Лауреат ряда литературных премий. Рассказ «Похороны» был включен в изданную в Нью-Йорке антологию лучших современных рассказов мира.

— Этот человек, верно, считает, что мы здесь, в университете, бездельничаем, — пожаловался он мне.

— А что, подшучивать над профессорами уже не дозволяется? — спросил Фрейман, улыбнувшись. Улыбка у него, как обычно, вышла смущенной. — Все так же, как раньше.

— Да нет, не все, — отозвался Аксельрод. Он откинулся назад и хлопнул Фреймана по плечу. Тот накрыл его ладонь своей и одновременно взглянул на его часы, после чего воскликнул:

— Пора ехать!

Даже когда мы уже отправились в путь, ветерок не облегчал невыносимой жары. Фрейман истекал потом. Началось это, когда я стал разглядывать его кожаный пиджак. Пиджак этот был протерт на локтях и напоминал морщинистое и загорелое лицо самого Фреймана. Перехватив мой взгляд в зеркальце, Фрейман запахнул полы.

Аксельрод ухмыльнулся:

— Помню, отлично помню твой пиджак. — Он облизал губы и надел шляпу. — М-да, чертовски много времени прошло с тех пор...

Я вытянул ноги и вздохнул с удовлетворением. Мне пришла в голову мысль, что ехать на похороны в машине Аксельрода куда приятнее, чем добираться на автобусе.

Город распрощался с нами плакатом: «Счастливого пути делегатам съезда Всемирной организации здравоохранения». Я откинулся назад и снова заглянул в утреннюю газету.

«Его внезапная смерть потрясла нас всех, — читал я. — Случилось это ночью, точнее, вечером. Как обычно по пятницам, Шрага отправился к друзьям на вечеринку. Это были такие же, как он, люди умственного труда, ценившие его как газетного обозревателя, чья еженедельная колонка стала такой популярной. Внезапно журналист побледнел и наклонился вперед. Только впоследствии стало ясно, что он хотел опереться обо что-нибудь головой — наверное, о стол. Но стол оказался низким, поэтому Шрага откинулся назад, закрыл глаза — и больше никогда уже их не открывал. Шрага Гафни почил смертью праведника. Ангел осенил его своим крылом».

Аксельрод мельком заглянул в газету и тихо сказал:

— Внезапная смерть... — а потом, помолчав, добавил: — Смерть всегда внезапна.

Я не ответил. Горячий ветер коснулся моего лица. Я потянулся к ручке оконного стекла.

— Жары боишься? — усмехнулся Фрейман и выпустил в меня струйку дыма.

— Он к жаре не привык, — подтрунивал надо мною Аксельрод. — Всегда сидит внизу, в библиотечном книгохранилище.

Быть может, он хотел мне отомстить: когда, забыв обо всем, он рыскал в поисках редких изданий и античных манускриптов, я оказывался свидетелем его слабости.

— Лично я до сих пор лазаю на столбы чинить проводку, — стукнул себя в грудь Фрейман. — Учю молодежь работать.

— Мы тоже не такие уж слабаки, — улыбнулся Аксельрод, сняв шляпу и отерев пот со лба. — Спроси у него, — кивнул он в мою сторону.

После Кастеля машина, летевшая под уклон, послала несколько выхлопов окрестным горам.

— Здесь нас обстреляли, когда мы были в конвое, — сказал я, радуясь возможности сменить тему. — Шрага сидел в первом броневике и попал под перекрестный огонь.

Фрейман с некоторым сомнением в голосе заявил, что это произошло со Шрагой не здесь, а дальше, около Шейх-Амара. Я сердито ответил, что Шраге теперь от этого не легче.

Аксельрод ослабил узел галстука и отер пот со лба тыльной стороной ладони.

Фрейман вздохнул:

— Живет себе человек и горя не знает, причем заметьте: богато живет, потом вдруг поднимается с места — и нет его!

Я подумал: если уж быть точным, все происходило не так, Шрага во все не вставал перед смертью, а умер сидя. Я из тех, кто любит точность. Годы, проведенные за составлением каталогов и библиографий, приучили меня к аккуратности и скрупулезности. Аксельрод знал об этих моих достоинствах. Потому-то он регулярно посещал меня в моем подвале и задавал вопросы о новых книгах. Он мог на меня положиться — я не забывал докладывать ему ни об одной интересной новинке, попадавшей в наше железное книгохранилище. Когда я открывал ему дверь, холодный сухой воздух вырывался на простор из моего убежища. Чем-то это напоминало святая святых в синагоге, не хватало лишь священной завесы. Аксельрод жадно загребал старинные издания, таящие сокровища человеческой мысли, надевал свои очки с толстыми стеклами и шептал: «Ах, как мы всех удивим, ах-ах!» Его жена, урожденная Мейерсон, наверное, получала от жизни наибольшее удовольствие где-нибудь в концертных залах, сам же он — здесь, готова свои сюрпризы.

Сидя сбоку от профессора, я поглядывал на него. Глаза его были устремлены на дорогу, губы сжаты, руки покоились на руле. Но там, в книгохранилище, глаза профессора, и так навывкате, казалось, пытались расширяться, сравняться размерами со стеклами очков, а зрачки — впитать все, что сообщают о порочной природе человеческой средневековые манускрипты Раши¹. Профессор закусывал нижнюю губу, щеки и лоб начинали пламенеть, и я взирал на него издали, смущенный, как будто лицезрел его наготу.

— Если верить газете, Шрага не вставал перед тем, как умер, а просто откинулся на сиденье, — громко заявил я. — Кто знает, может, он бы не умер, будь стол повыше.

Тем временем я разглядывал профессора в профиль. Казалось, нос его удлинился, лицо стало желтым, словно старинный пергамент.

«Ты сам — как мертвец, — любил посмеиваться надо мной Аксельрод. — Восстань и сорви плоды с дерева жизни!»

В таких случаях я улыбался и спрашивал, как поживает его жена Шуламита. Профессор фыркал и, оставив мой вопрос без ответа, говорил: «Если б ты не заговаривал всем нам зубы, не сочинял бы свои небылицы, тебе бы цены не было!»

— Бедный Шрага! — вдруг сказал Аксельрод.

— Про него даже не скажешь, что он умер в своей постели, — отозвался Фрейман.

— Он был не из тех, кого там удержишь, — проговорил я.

— Самое удивительное, что он преуспел без всякого диплома, — вспомнил Фрейман.

— Верно, — подтвердил профессор. — А помните, как он спрятал наши пистолеты? Тогда, в Бухарском квартале. Англичане даже собак пустили по нашему следу.

Голос профессора звучал подозрительно громко, словно он пытался заглушить свои мысли.

И все же я не оставлял своих усилий. Теперь я заговорил о том, что Шрага, кроме всего прочего, умел обходиться с женщинами.

Профессор не ответил. Он жал на акселератор — мы въезжали на холм неподалеку от Абу-Гоша.

— А это место называлось раньше Сарис, что означает «евнух», — вещал я на манер гида. — Сейчас же оно получило название Шореш. Помните историю о евнухе и девственнице?

¹ Раши — рабби Шломо Ицхаки, известный средневековый комментатор Торы.

Оба молчали и хмурились. Шрага мог бы рассказать эту историю три раза подряд, и все три раза мы бы смеялись.

Машина подпрыгнула — колесо попало в выбоину. Аксельрод чуть слышно чертыхнулся. Это было смачное арабское ругательство, напомнившее нам старые добрые времена.

— А бедный Шрага мертвехонек, — плачущим голосом протянул Фрейман.

Я повернулся к нему и сказал с улыбкой:

— А у вас, ребята, до сих пор в ходу такие словечки?

— Мертвехонек, — заунывно повторил Фрейман.

— Он нажил кучу денег и все растратил, — сказал я и глянул на Аксельрода. Вены на его пальцах, сжимавших руль, казались особенно голубыми.

— На женщин, — вырвалось у профессора.

Фрейман перестал возиться с портсигаром и поднял глаза. Мы сидели тихо, ожидая, что еще скажет Аксельрод.

— Мне тоже иногда попадались хорошие женщины, — задумчиво проговорил он. — И даже хорошенькие. На научных конференциях...

Он вдруг махнул рукой и замолчал.

Когда Аксельрод спускался вниз, в книгохранилище, он обычно не мог удержаться от рассказов о конференциях. Это было своего рода платой за привилегию держать в руках редкие манускрипты, которые никогда не попадались на глаза конкурентам профессора на научном поприще. Я остался верен былой дружбе, и воздаянием мне за это были его рассказы о собственных успехах. В такие минуты серые глаза его блестели, и бледный свет люминесцентных ламп делал его похожим на монаха-отшельника. Я останавливал профессора и спрашивал о приготовлениях к поездкам, о том, как он одевался в дорогу, о прощаниях с Шуламитой, о сутлоке в аэропортах и гаванях, любовных приключениях на задних сиденьях машин, пенящемся шампанском в хрустальных бокалах, женщинах с алыми губами, тянущих коктейль через соломинку, их ладонях в белых конвертах перчаток, их бледной коже над локтями... Но он не обращал внимания на мои вопросы и рассказывал только о своих лекциях, о том, какие новые пороки он выискал в тугих свитках зелотов², о великольном изобилии в Садах сатаны, об орехах со сморщенными ядрами и толстой скорлупой, о раскаянии, которое искупает любые грехи. «Понимаешь, дорогой, настоящее раскаяние — это как будто каждую минуту видишь Бога перед глазами: ну, например, когда человек думает о женщине во время богослужения, следует встать на цыпочки и ощутить всю тяжесть своего тела и не опираться при этом рукой о стенку. Или если человек состоит в греховном сожительстве с чужой женой, он должен воздержаться от плотских радостей иначе чем со своей женой. То же — о человеке, сожительствующем с женщиной иного племени. И если человек еще раз стоит перед тем же искушением, приход раскаяния помешает ему снова предаться греху».

Глаза Аксельрода плотоядно сверкали, когда он говорил о подобной развращенности нравов; лицо его теряло обычную свою бледность, щеки розовели. Он подолгу, скрупулезно расшифровывал старинные письма. «Вот история о прилежном школяре, которого дьяволица Лилит соблазнила в образе прелестной девушки, и он назначил себе такое искупление: еще раз пришел в тот сад, сидел рядом с той девушкой, но даже пальцем до нее не дотронулся». Как раз своим большим пальцем профессор указывал противоречивые места в тексте и интерпретировал притчу чуть ли не на пятьдесят ладов, сопоставляя с сюжетами из Торы и Мидрашей³. Подобно школяру из Йешивы⁴, он докапывался до глубин текста, находил

² Зелоты — члены экстремистской антиримской партии в Иудее I века.

³ Мидраши — толкования библейских текстов, в основном раввинские, сложились в первые века нашей эры.

⁴ Йешива — высшая талмудическая школа.

там все новые поводы для раздумья и пережевывал, словно пищу, эти места вкуче с цитатами из античных авторов — в основном о семи ритуальных погружениях в водную среду, как будто пытаюсь прилежностью этой испустить семь своих греховных помыслов.

Разбитые броневики времен войны 1948 года свистели своими зияющими люками справа от нас. Фрейман поведал нам, как его сын Уззи, празднуя Бар-Мицва, то есть совершеннолетие, водрузил венок на один из броневиков. Он гордился отцом, много рассказывавшим ему о Войне за независимость. Мне вспомнилось, о чем говорил этот мальчик тогда, в субботу: о том, что он посвятил очередные чтения из Торы почитанию родителей и учителей, научивших его любить свою страну, стремиться к знаниям и гордиться героями, отдавшими жизни за нас, живых. Вспомнив об этом, я усмехнулся: а эти самые живые, которые встают чуть свет, ходят на работу в подвал, — они разве не заслуживают цветов?.. Даже Шрага Гафни поздравил Фреймана с удачной речью его сына и вручил ему чек, где было проставлено имя упомянутого сына...

— Шрага сидел в одном из них, — показал Фрейман на броневики.

— И выбрался целым и невредимым, — добавил я.

Когда праздновали Бар-Мицва, Шрага был почетным гостем. Его узнали все — ведь фотография его часто появлялась в газете. Все подходили, жали ему руку. Его улыбка нисходила сиянием на его элегантный английский костюм. Тогда-то мы вчетвером и собрались снова, довольные, что опять видим друг друга, но настороженно поглядывавшие на остальных — не предъявят ли они больше прав на кого-нибудь из нас.

— Да, Шрага умел обходиться и с женщинами, и со смертью, — подытожил профессор.

— И все-таки он умер, — возразил Фрейман.

— Все мы умрем, — прошептал профессор.

— Ну, такие вещи говорят лишь те, кто намеревается дожить до ста двадцати, — сказал Фрейман, забившийся в самый угол машины.

Я взглянул на профессора. Губы у него дрожали. За два месяца до этого у него был сердечный приступ. Он стоял в хранилище перед дверью и держал под мышкой взятые из шкафа книги. Вдруг лицо его побелело, одна рука медленно опустилась, профессор прислонился спиной к массивной двери и с ужасом уставился на меня. Перед этим он разыскивал редкую книгу Бахья⁵ «Заботы набожного сердца», изданную в 1629 году. Профессор попытался улыбнуться, но взгляд его выдавал, до чего он напуган. Его глаза будто утонули в глазницах, ушли на дно. Я осторожно обхватил его за плечи и усадил в кресло. «Рука, — шепнул он. — Странно, я не могу ею пошевелить. — И добавил виноватым тоном: — Никогда со мной такого не бывало». Он умолк, сомкнул веки, снова их разомкнул и посмотрел на меня как-то странно, как бы сквозь меня. Казалось, он прислушивается к какой-то далекой мелодии. Потом он проговорил едва слышимыми губами: «Как будто стреляет внутри. Сердце рвется на части». Я стоял перед ним и молчал. Надо было бежать наверх, звонить, искать врача. Но я стоял и не говорил ни слова. Нас разделял стол; я смотрел на профессора, стараясь не упустить ничего из того, что отражалось на его лице. В конце концов я зашел в кабинет, взял книгу «Заботы набожного сердца» и положил ее профессору на колени. Углы его рта дрогнули. Быть может, профессор смеялся.

— Ты недалек от истины, — снова прошептал профессор Аксельрод, на мгновение обернувшись к нам. — Я собираюсь дожить до ста двадцати.

— Надо верить в другую, в загробную жизнь, — сказал Фрейман тоном демона-искусителя. — Тогда ты будешь видеть мир иначе.

Аксельрод побарабанил пальцами по рулю.

⁵ Бахья ибн Покуда — средневековый писатель, религиозный моралист.

— Кто верит в этот мир, верит и в мир иной, — заявил я.

Мы как раз проезжали мимо монастыря траппистов⁶, и профессор кивнул в его сторону:

— Они верят.

— А вы оба — верите? — спросил нас Фрейман.

Не получив ответа, он завел разговор о своем сыне Уззи и о его пути к Господу. Когда мы снова не отозвались, он презрительно скривил губы, и голова его как будто утонула в плечах — надо понимать, он готовился к длительному молчанию. Фрейман довольно часто спрашивал нас, какова, по нашему мнению, загробная жизнь. Мы ведь просиживали годами среди книг, содержащих сокровища святости и благочестия, — кому же знать, как не нам?! Когда Фрейман ничего не добился и от нашего профессора, он сделал вывод, что, глядя на мир сверху, со столбов с электрическими проводами, можно увидеть больше, чем видно нам, книжным червям, уткнувшимся в трактаты о Страхе Божьем.

2

Придорожная заправочная станция представилась нам плакатом, обещающим бензин, чтобы поддержать жизнь наших моторов, и напитки, чтобы прибавить нам сил во время остановки. Я предложил остановиться. Фрейман ткнул пальцем в газету, где было напечатано крупным шрифтом имя «ШРАГА», а под ним — время похорон.

— Шрага никуда не убежит, — сказал я.

— Но ведь профессор Аксельрод... — Фрейман с отчаянным выражением посмотрел на профессора.

Тот расхохотался:

— Что правда, то правда — он никуда не убежит!

— Так ведь похороны в час, — с недовольной гримасой сказал Фрейман.

— Мы не опоздаем, — торжественно пообещал я.

— Ты ведь у нас начальник! — весело воскликнул Аксельрод.

— Шрага был наш начальник, — тихим голосом напомнил нам Фрейман.

Машина остановилась у прозрачной стеклянной стены кафе. Изнутри доносился смех.

Фрейман устроился поглубже на своем сиденье, скрестил руки на груди и заявил, что никуда не пойдет.

— Пошли выпьем за упокой Шраги, — предложил я.

Профессор сидел очень прямо, стиснув пальцами руль, как будто наш разговор его не касался.

— Моя жена не знает, что я уехал, — упрасивал нас Фрейман. — Я думал, мы съездим на похороны и быстренько вернемся.

— Так мы и сделаем, — пообещал я. — Съездим и вернемся.

— Мы сидеть там не будем, только выпьем? — спросил Фрейман.

— Да, что-нибудь покрепче, — сказал я, — или игристое со льдом.

— Я и не предполагал, что будет так жарко, — проговорил Фрейман и снял пиджак. — Я привык к жару, могу взобраться на мачту высокого напряжения, когда металл плавится. Хотите верьте, хотите нет, я лезу туда без перчаток.

Тут он замолк, посмотрел на затылок профессора, снова надел пиджак и шепотом спросил:

— Сколько это займет времени?

Профессор не ответил. Я тоже.

⁶ Трапписты — римско-католические монахи, принявшие монастырскую реформу 1660 года, предписывавшую строгое уединение, труд, чтение священных книг, отказ от отдыха, вегетарианство; монахи также давали обет молчания.

— Вы два университетских шизика! — воскликнул наконец Фрейман, выходя из машины.

Я опередил его и уже открыл дверь Аксельроду, склонив голову наподобие ливрейного лакея. По глазам профессора я понял: что-то ему не нравится. Он собрался было что-то сказать, но тут же раздумал. Наконец он вылез из машины, распрямился, перекинул пиджак через плечо и надел шляпу. Ключи от машины он переложил из правой руки в левую и только затем убрал в карман. Потом он повернулся и посмотрел на меня, как будто ожидая команды. А ведь это был профессор! Шрага — вот кто был настоящим командиром, я же — лишь его заместителем.

Мы уселись за небольшой столик с плексигласовым верхом. Я заказал три кофе по-турецки и пирожные. Я даже согласился платить за всех — в виде компенсации за то, что я их сюда затащил. Пирожные оказались мягкими и даже холодными. Фрейман быстро проглотил свою порцию и извинился, сказав, что в этот час привык съедать пару бутербродов с сыром, чтобы его не мучила язва. Затем он взглянул на часы, торопливо закурил и встал из-за стола. Аксельрод остановил его и попросил сигарету.

— Ты теперь куришь? — спросил я его удивленно, потому что он какое-то время назад вычитал в отчете Королевской комиссии врачей, что курить вредно, и с тех пор к сигаретам не притрагивался.

У профессора была сильная воля, диктовавшая ему распорядок жизни. Двое его детей родились именно тогда, когда он это планировал, — сначала сын, потом дочь, как будто он так и заказывал. И отцу не пришлось за них краснеть. Матерью их была Шуламита. Когда мы впервые встретили ее в доме Шраги, у нее была длинная черная коса.

Я курил долгие годы. И дома, и в кафе. В свое время у меня в голове рождались многие планы. По совету Шраги я пытался опубликовать книгу народных сказок. Потом я пытался собрать неординарные пословицы и поговорки, ну, например, такие: «Не женись на женщине худого рода, даже если в доме ее золото и серебро сыплются из рога». Моя жена сказала мне: «Если ты хочешь быть свободным, как птица, и тратить деньги на кофе и сигареты, примиришься с тем, что тебе суждено оставаться холостяком». Это было справедливо. Так что я склонил свою гордую спину и надел библиотечное ярмо. Когда мне доверили редкие манускрипты, директор поставил условием, чтобы я бросил курить. «Книги слишком уж хорошо горят, — объяснял он. — Но можете утешаться тем, что сюда не долетят бомбы. Мы ведь живем в воюющей стране! Не бояться бомб — это не так уж мало. Сейчас от безопасного убежища не отказался бы никто». Я согласился с директором, и он не отказал себе в удовольствии еще раз напомнить: «Ни одна бомба не достигнет помещения, отстоящего от поверхности земли на высоту трехэтажного дома». — «Да, бомбам сюда не проникнуть, — сказал я, — и человеческим голосам — тоже».

В те времена я прятался от всех своих приятелей в зале каталогов. Профессора здоровались со мною, спрашивали, как я поживаю, хлопали меня по плечу и ждали, чтобы я начал рассказывать им сплетни. В общем, это были друзья. Через многие годы они пришли на свадьбу моей дочери, целовали жене руку, красную от стирального порошка, говорили: «Кто бы мог подумать? Все это так неожиданно!» Пришел и Аксельрод; Шуламита опиралась на его руку. Отец назвал ее в честь героини библейской Песни Песней, да она и была настоящей Суламифью. До сих пор у нее осталась тугая черная коса, до сих пор я не мог наглядеться в ее большие черные глаза. В эти глаза, которые я так любил...

Аксельрод затаился, закашлялся, а потом спросил меня, вредно ли для здоровья курить. Я решил дать ему поблажку и ответил, что не вредно. Но, если он сомневается, могу предложить ему мятные пастилки. Мне их порекомендовал директор библиотеки, и я оценил их по достоинству. Аксельрод оперся о плексигласовый столик, закрыл глаза и несколько раз за-

тянулся так глубоко, словно хотел набрать полные легкие дыма. Наконец он посмотрел на меня подчеркнуто дружелюбно и спросил:

— Ну что, грешим помаленьку?

После затыжек глаза его сверкали.

— Спокойно, старик, — шепнул ему Фрейман. — Если ты не привык затягиваться, лучше этого не делать.

Мы называли Аксельрода стариком, еще когда были молодыми и ездили на учебные стрельбы. И это несмотря на то, что командиром нашим был не он, а Шрага.

— Жаль, что нет Шраги, — сказал я. — Выпили бы за встречу.

Аксельрод засмеялся, а Фрейман заявил, что людей с чувством юмора, подобным моему, следует загонять на столбы электропередач, даже если они — люди из университета.

На сей раз рассмеялся я, а потом сказал, что Шрага, окажись он здесь, знал бы, как себя вести. Фрейман глянул на часы. Профессор задумчиво проговорил:

— Да, он был настоящим командиром.

Я кивнул:

— Это врожденный дар — быть харизматическим лидером. У тебя такого нет — несмотря на жену и на твое профессорское звание.

Аксельрод раздавил в руке сигарету и прикрыл глаза. На лице его, казалось, отчетливее проступили морщины. Внезапно он встал и подошел к стойке. Какое-то время он стоял там и шептался с хозяином. Когда он вернулся, на губах его играла хитрая усмешка.

Подошла официантка и поставила на наш столик бутылку коньяка и четыре стакана, после чего одарила профессора похабной улыбочкой. Фреймана аж передернуло.

— Вот этот напиток мне по душе! — воскликнул я.

Аксельрод наполнил четыре стакана, взял два из них в обе руки, чокнулся сам с собой, потом с нами и возгласил:

— Лехаим! За здравие!

Он настоял, чтобы мы отпили из наших стаканов, а потом сам осушил те, что были у него в руках. Потом он закрыл глаза, снова открыл и взглянул на нас с видом человека, у которого есть для окружающих парочка сюрпризов. После этого он громко позвал официантку. Та подошла, цокая каблучками и выставляя напоказ свою пышную грудь. Аксельрод схватил девушку за руку ниже короткого рукава и опять посмотрел на нас. Лицо его покраснелось, на подбородке выступили капли пота. Профессор притянул официантку к себе, что-то прошептал ей на ухо, а затем шлепнул ее по задку. Потом он еще раз наполнил наши стаканы и выкрикнул:

— Шраге — многая лета!

Фрейман вскочил. Лицо его тоже раздурманилось, кулаками он опирался о стол. Фрейман уже собрался было сказать что-то резкое, но тут я решил, что пора вмешаться. Потянув Фреймана за рукав, я сказал, что раз сам Профессор Аксельрод пьет за здоровье Шраги, значит, все в порядке. Закончил я возгласом:

— Король мертв. Да здравствует король!

Профессор закивал головой, поднес к своему глазу стакан и взглянул на меня сквозь него. Глаз его через стекло казался мутным.

Подошла официантка, поставила на стол тарелку с пикулями, после чего склонилась к профессору, коснувшись его лба грудью, и прошептала, что у них здесь есть все, что нужно настоящему мужчине.

— Коли так, принесите нам американских сигарет, — сказал я.

Официантка посмотрела на меня. У нее был вздернутый носик, лоб был обернут осветленными перекисью косами наподобие повязки, бледно-розовые губы сложились в зазывную улыбочку.

— Шрага умел пить, — печально молвил профессор.

Что правда, то правда. После успешных вылазок он обычно выпивал с нами. «Пошли в кафе, — говорил он, — поедим блинчики с молоком». Из кармана его, как правило, уже выглядывала бутылка, отнюдь не молочная.

— Что ты сказал? — почему-то спросил профессор, провожавший глазами удалявшуюся официантку. — Эх, до чего же крепкий у нее тыл!

И он расхохотался.

— Прохвес-сор эттт-тики! — презрительно процедил Фрейман.

— Мальчишки! — погрозил мне пальцем Аксельрод. — Вам всегда подавай самое лучшее. Пенки любите снимать — и на солнце, и в темных подвалах.

— Тем, кто занимается этикой, полагается снятое молоко, — сказал я.

— Вот Шрага умел жить, — задумчиво проговорил профессор и снова поднял стакан.

— А ты — чего тебе не хватает?! — взорвался Фрейман. — Вставайте, пошли отсюда!

— Я потратил свою жизнь на книги, — негромким голосом констатировал профессор и замолк, а потом вдруг заорал: — Так где же эти чертовы сигареты?!

— Спроси у официантки, — презрительно фыркнул Фрейман.

— У официантки... — эхом отозвался профессор. — У меня не бывает проблем с девушками-студентками — легко приходят, легко уходят. — Он прищелкнул пальцами. — А ты мне тут пеняешь...

Официантка положила перед ним пачку сигарет и кокетливо улыбнулась. Профессор дрожащей рукой вскрыл упаковку. Девушка зажгла ему сигарету, потом убрала зажигалку в карман фартука и опять улыбнулась.

Фрейман плюнул на пол и растер плевок подошвой. Я вспомнил, что у него есть такая милая привычка — Аксельроду так и не удалось привить ему хорошие манеры.

— Если чего-нибудь захотите, я к вашим услугам, — сказала официантка и отошла.

— Шраге — многая лета! — выкрикнул я и отхлебнул из своего стакана.

Мои конечности наливались тяжестью, и мне захотелось освободиться от бремени, хотя бы душевного.

— Знаю я тебя, Аксельрод, хорошо знаю, — заявил я. — То, что ты профессор этики, — лишь маска, своего рода умственное развлечение. Но я знаю, о чем ты думаешь!

— Еще бы! — отозвался профессор вибрирующим голосом. — Девушки-студентки легко приходят, легко уходят.

Он еще раз прищелкнул пальцами и пьяно улыбнулся.

— Да, приходят и уходят. — Я схватил его за плечо. — Скажи, о Профессор Аксельрод, поведай нам, о чем ты думаешь, когда они приходят, чтобы обсудить свои семинарские задания.

Он медленно поднял голову и уставился куда-то в пустоту.

— Я человек науки! — объявил он.

— Какой, какой науки? — не отставал я. — Может быть, гинекологии?

— История праведника, — заговорил он медленно, — рассказанная раввину... — Он обхватил ладонями свой стакан, посмотрел на нас, как будто он и был тем самым праведником, и продолжил: — Я любил женщину, а она была замужем за другим. Я любил ее больше жизни, она тоже души во мне не чаяла. Мы с ней обнимались, целовались, я прижимал ее к себе, но мы с ней так и не переспали. Все эти объятия, поцелуи — все это для меня ничего не значило, как будто двое мужчин или две женщины дружески обнимаются и целуются при встрече. Не то чтобы меня мучило неодолимое желание, скорее я хотел, чтобы оно меня переполняло, и сердце мое пылало, как костер, жаждало близости. Это продолжалось дни, годы... Желаемое могло произойти — мы ведь жили в одном доме, муж ее уезжал в дальние страны, никто бы не мог нам помешать. Но я пребывал в Страхе Божьем и воздерживался от близости, хотя и страстно желал ее.

Так я терпел несколько лет — чтобы получить рано или поздно награду Божью.

Он умолк. Красные глаза его смотрели на меня злобно.

— Ты преодолел препятствие, выдержал испытание, — сказал я.

— Что ты знаешь о препятствиях, испытаниях, выдержке и борьбе с силами зла? — ударил он кулаком по кулаку, глядя при этом куда-то вниз.

Я знал о его испытаниях. Пока он сидел в книгохранилище, расправляя пожелтевшие страницы манускриптов, я многое о нем узнал. Лупа, с помощью которой он разглядывал узоры букв, демонстрировала мне его огромный глаз. В нем и отражалась внутренняя борьба профессора. О своей же я никому не рассказывал.

— Ну и что из этого? — откинулся он на спинку стула. — Да ничего. Прошли годы — и я добился своего. Блестящая победа, правда? — Он смотрел на меня, как будто ждал, что я стану возражать. — Но тем временем слух мой стал тонким, как у собаки. — Он усмехнулся, обнажив розовые десны: — Я слушал. Внутренним слухом. Слушал биение моего сердца. Даже ночью, во сне, в забытьи... — Он вдруг встал и закричал: — Эй, сердце мое! Довольно нам играть в прятки. Давай возьмем быка за рога!

Прибежала официантка и вопросительно уставилась на профессора. Я взял ее за руку и отвел в сторонку.

— Он не имеет в виду вас, — шепнул я ей на ухо. Мы стояли рядом, ее бедро прижималось к моему, и она глядела мне прямо в глаза.

Фрейман вскочил и стряхнул с пиджака крошки.

— Шрага! Шрага! — закричал он. — Мы опаздываем!

Волосы официантки коснулись моего лица. Они были мягкими и пахли шампунем. В ожидании она потупилась. Тут профессор схватил ее за локоть, и девушка повернулась к нему. Он полуобнял ее и почти повис на ней. Она повела, вернее, потащила его за собой.

Фрейман сплюнул. Профессор повернул к нам голову:

— Вот это верно! Так и надо — плевать на все!

Глаза его налились кровью, как глаза быка на случке.

— Кто эти двое? — спросил он у официантки, кивнув в нашу сторону.

Она ничего не ответила, лишь нежно провела пальцами по его лицу.

— Один из них сторожит книги, — сам ответил он на свой вопрос, — другой — дает свет тем, кто ищет тьмы...

Его хохот был слышен нам и когда парочка уже удалилась во внутренние помещения.

3

Фрейман сидел вперив взгляд в стол. Не поднимая головы, он негромко проговорил:

— Все вы такие — с ног до головы порочные. Я-то думал, мы на похороны едем, к Шраге... — Он выпрямился. На глазах его были слезы.

— Едем, Фрейман, едем.

Я хотел похлопать его по плечу, но он с отвращением сбросил мою руку.

Внезапно Фрейман встал и энергичным шагом подошел к хозяину заведения. Вернувшись, он застегнул пиджак, надел кепку и сказал, что здесь вот-вот остановится автобус на Тель-Авив, так что, если я не поддаюсь тому же искушению, что и Аксельрод, нам надо немедленно идти. И добавил, что не ожидал такого от Аксельрода:

— Будь с нами Шрага, вы бы не посмели.

Я кивнул и сказал:

— Будь Шрага жив, мы бы здесь не встретились.

На лице Фреймана промелькнула улыбка, и я сказал еще, что надо быть снисходительным к слабостям своих ближних.

— А ты ведь, — напомнил я ему, — всегда был доволен молочком из той молочной. Без греха, дружище Фрейман, нет и раскаяния.

— Но почему сегодня? Почему именно сегодня?

В голосе его не было раздражения, одна лишь боль. Он наклонился и тронул языком край стакана. Быть может, он прятал от меня глаза.

— Я-то думал... — прошептал он. — Эх!

Он махнул рукой и умолк.

— О чем ты думал? — подбодрил я его. — Ну-ка скажи!

— Я думал, мы уютно расположимся в машине и будем сидеть чинно и печально, — безнадежным тоном проговорил Фрейман. — Что будем говорить о тех замечательных поступках, которые совершил Шрага от первого дня нашего знакомства до самой смерти. Шрага ведь столько всего успел! В своей газете он рассказывал нам обо всем, что видел, думал и делал. Он здорово писал! По пятницам я читал в вечернем выпуске его статьи и рассказывал Уззи о днях нашей великой дружбы. — Он снова махнул рукой: — Теперь все кончено. Я думал, мы будем стоять у разверстой могилы и Аксельрод скажет речь за нас всех. Расскажет о легендарной жизни боговдохновенного и праведного Шраги...

Его хныканье вконец мне надоело.

— Хватит ныть, — прошипел я сквозь зубы. — Коли завидуешь ему, — я показал на дверь, за которой скрылась парочка, — иди и займи туда очередь.

— Нашли время баловаться! — взвизгнул Фрейман и махнул кулаком в мою сторону.

— Да я тут при чем? — пошел я на попятную. В самом деле, хоть я сам все это затеял, сейчас я уже жалел об этом: кто знал, что Аксельрод зайдет так далеко? — Ну, понимаешь, женщины липнут и ко мне.

— Так уж и липнут! — издевался Фрейман.

— Да, липнут, — стоял я на своем. — Как мухи на мед!

Но он тоже не отступал.

— Мне казалось, уж вы-то, университетские умники, могли бы обойтись без трактирных шлюх! — Он глянул куда-то в сторону. — Вернулись бы те, прежние дни, когда мы были молоды и вершили великие дела! Эх, если б все осталось так, как прежде!

— Для Шраги все осталось как прежде, — грустно проговорил я. — Для Аксельрода тоже.

— М-да, — согласился Фрейман.

— Они возвращаются в высших сферах...

— ...ездят на конгрессы и на конференции, — подхватил Фрейман, — пьют шампанское...

— ...в обществе роскошных женщин. А Шуламита сидит дома и ждет его, — закончил я шепотом.

— Потому что он большой ученый, — заявил Фрейман.

— Да и вообще большой человек, — сказал я.

— А ты что — нет? — повернулся ко мне Фрейман. — Заправляешь целой библиотекой.

Я на мгновение сбился, но ответил библейской цитатой:

— Ибо человек рождается для страдания, ангелы же — чтобы устремляться вверх⁷.

— Чтоб тебя с твоими цитатами! — с некоторой даже симпатией сказал Фрейман. — Еще тогда, в прежние времена, ты был доверху набит цитатами из Библии и Мидрашей.

И снова я вспомнил те дни, те долгие зимние вечера в Бухарском квартале. Мы восседали на соломенном матрасе, и даже Шрага с Аксельродом замолкали и слушали, когда я начинал рассказывать древние легенды.

⁷ Парафраз Библии (Иов. 5: 7).

— Шрага предрекал, что ты станешь фольклористом, — сказал Фрейман. — И обнаружишь «таящиеся под спудом сокровища нации».

— Шрага много чего предрекал, — кивнул я. — Многим даже кое-что обещал. Но не все отвечали его запросам. Не могу сказать, что он для меня ничего не сделал: я получил от него рекомендательное письмо к директору библиотеки. «Это легкая работа, — объяснял мне Шрага, — проветривать книги, стирать с них пыль, каталогизировать. Да к тому же и временная — пока ты не окончишь учебу, а потом займешься исследованиями».

— А дальше? — спросил Фрейман, как будто не знал, что было дальше.

— Потом я женился. Шрага преподнес мне в качестве подарка утверждение в штате библиотеки. После этого меня повышали в должности, пока я не получил одну из старших. Мне обеспечена кругленькая сумма в пенсионном фонде. Я даже могу позаимствовать оттуда деньги, если мне, к примеру, захочется купить новую мебель. К тому же я люблю книги, Фрейман, ты же знаешь. Все, что я успел прочитать, я прочитал в своем хранилище. Шрага писал мне: оставь чтение, начинай писать сам. Он был хорошим другом; не знал он лишь одного: все уже сказано в книгах.

— В том-то и дело. Легкая работа. Ты сидишь вечерком за столом и пишешь книгу. Как он, — кивнул Фрейман в ту сторону, куда удалился профессор.

— Он не пишет книг, — шепнул я. — Только статьи.

Послышался шум подъехавшего автобуса. Фрейман выглянул, затем снова сел.

— Сейчас я эксперт по манускриптам и редким книгам, — подвел я итог моему рассказу.

Фрейман посмотрел на меня иронически:

— Не знал, что ты такая важная персона. Эксперт — это звучит!

— А ты думал! — напустил я на себя важности. — Бывают эксперты и без ученых степеней.

— Конечно, — с готовностью согласился он. — Все, кто работает в университете, не могут не заниматься наукой. Не то что мы, работяги, лазатели на столбы.

— Я издали отличаю редкую книгу, — хвастался я. — Когда кто-нибудь умирает и после него остается библиотека, меня посылают оценить ее примерную стоимость. Так вот, я, можешь себе представить, отыскиваю ценные книги среди тысяч других.

— А у меня дома — одни только детские книжки, — улыбнулся Фрейман.

— Тоже неплохо, — рассмеялся я. — Меньше хлопот будет твоей вдове.

Я рассказал ему, как ко мне приходят старушки-вдовы:

— Они хотят подарить библиотеке книги своих мужей. Прсят лишь приделать к стене, можно даже к боковым стенкам стеллажа, медные таблички: «В память о моем супруге, передавшем труд своей жизни этой библиотеке». Но я ведь отвечаю за наше помещение. И я говорю им: «Если мы повесим таблички с именами всех, кто умер, и поместим сюда все их книги, мадам, здесь не останется места для тех, кто жив». Вот так-то. И тогда они говорят правду, Фрейман. Все дело в помещении — его придется сдавать какому-нибудь студенту. Пенсия у вдовы маленькая, расходов много. Поэтому она нас так просит... Ну, я, конечно, вхожу в положение и обещаю: «Мы пришлем швейцара, чтобы очистить вашу комнату». И они даже не спрашивают, что станется с книгами... Шрага, как ты помнишь, хотел, чтобы я тоже писал книги. Ну и кому они нужны? Эту великую тайну знает Аксельрод; потому-то он и не написал ни единой книги. Лишь статьи, лекции...

— Не говори мне об Аксельроде, — перебил меня Фрейман.

Я почувствовал, что во мне закипает гнев.

— Ну и чистюля у нас этот кудесник электричества! Вместо того чтобы сказать спасибо за бесплатную поездку, выпивку и пирожные...

Тут перед нами возник Аксельрод. Подошел тихо, подобно тени, и вполголоса сообщил, что за всех уже заплатил. Мы молча встали и пошли к машине.

Фрейман уселся на заднее сиденье и посмотрел на часы, а затем — с укоризной — на профессора, быть может, надеясь таким образом его поторопить. Я сел впереди. Все молчали. Аксельрод жал на газ, хотя мы еще не выехали на шоссе и лавировали между припаркованными машинами, каждая из которых стояла в нарисованном на асфальте желтом прямоугольнике. Я понимал: профессор ждет, что я попрошу его сбавить скорость. Но я не говорил ни слова, сидел с закрытыми глазами, равномерно покачиваясь в такт движению.

Тут не выдержал Фрейман.

— По-моему, одного покойника достаточно, — заявил он. — Или нет? Аксельрод нажал на тормоз и шепотом сообщил:

— Я приготовил прекрасную речь о деяниях Шраги.

Фрейман по инерции наклонился вперед и воскликнул:

— Неужели ты после всего этого будешь прославлять Шрагу?!

— Что за детская щепетильность, Фрейман? — отозвался я. -- Шраге уже все равно! А люди хотят слушать речь профессора этики.

— Шрага бы нас никогда не простил, — ныл Фрейман.

— Есть некто более могущественный, чем Шрага, — объявил я. — «Бог умеет сострадать и прощать, он не торопит свой гнев, исполнен сочувствия, которое и есть награда раскаявшемуся».

— Опять ты со своими цитатами, — простонал Фрейман.

Аксельрод внезапно остановился — хмурый полицейский знаком приказал ему прижаться к обочине. Фрейман тихо чертыхнулся. Я попробовал объяснить полицейскому, что мы спешим. Тот ответил, что все спешат, но на дорогах, к сожалению, слишком много подозрительных личностей. Поэтому он просит нас пристроиться к колонне машин, стоящих неподалеку.

Фрейман сказал:

— Эти выхлопные газы меня удушат!

Профессор поставил машину в конец очереди и сидел теперь повесив голову.

Наконец пришел наш черед. Аксельрод предъявил документы — довольно большую пачку, непонятно как уместившуюся в его кармане. Можно было подумать, что он надеется на оправдание без суда. Среди документов были свидетельства о рождении, об окончании колледжа и университета, удостоверения личности и занимаемой должности, а также членские билеты Союза выпускников его факультета и Общества ритуального очищения покойников. Наверное, этого профессору показалось мало, и он положил сверху свою визитную карточку, где его имя и ученая степень были напечатаны особым шрифтом, имитирующим рукописные буквы. Полицейский с трудом удерживал эту кипу бумаг. Просмотрев их, он взял под козырек и сказал, что, хотя сперва лицо обладателя всех этих документов и показалось ему подозрительным, теперь он понимает, что перед ним знаменитый профессор, самый настоящий, пусть даже немножко выпивший и расслабившийся. На сем полицейский закончил свою речь, извинился, приложил руку к сердцу и с поклоном добавил, что, хотя он поставлен сюда блюсти порядок, ему не хочется причинять профессору неприятности.

На улицах города сгущались тени, но и они не сделали жару сколько-нибудь приемлемой. Оштукатуренные здания по дороге на старое кладбище не пропускали ветерок с моря. Фрейман снял пиджак и не переставая бормотал:

— Все пропало! Все пропало!

Ворота кладбища были закрыты. Я долго колотил в ржавые их створки, сотрясая висячий замок. Наконец откуда-то появился сторож. В одной

руке он держал бутылку с минеральной водой, другой рукой обмахивал лицо, блестящее от пота. Сторож сердито посмотрел на нас и сказал:

— Всех крупных шишек на сегодня уже похоронили; ежели у вас еще один такой и он успел при жизни приобрести участок на нашем знаменитом кладбище, везите его в контору, к другому входу...

Фрейман зашептал, что здесь нам больше делать нечего, надо возвращаться в Иерусалим. Ясно ведь, что уже поздно, все кончилось. Аксельрод стоял неподвижно, черный пиджак, перевешенный через его руку, бесильно никнул к земле, белая рубашка выбилась из брюк. Я надеялся, что он сейчас заправит рубашку и снова пустит в ход свои верительные грамоты. Но он молчал, только ковырял ногой песок.

Тогда я начал говорить, что мы явились на похороны Шраги, но, к сожалению, не по своей вине задержались — полиция проверяла подозрительных лиц, а чье лицо в наше время не подозрительно? В конце своей речи я дружески подмигнул сторожу. Тот немного оттаял и спросил, о каком Шраге мы говорим — здесь не то кладбище, где могут похоронить просто какого-то Шрагу. В конце концов, здесь покоится Бялик⁸, ну, и другие богатые или знаменитые люди — ведь каждая пядь земли в этом месте стоит огромных денег.

— Это Шрага Гафни, — сказал я, — знаменитый журналист.

— Я не читаю газет, — визгливо стал оправдываться сторож, после чего сообщил, что в этот день покойников было немного, зато все — известные люди, скоропостижно скончавшиеся — быть может, из-за жары или из-за того, что сегодня пятница, а кто умирает в пятницу — попадает прямо в рай.

Я сунул ему в руку мятую купюру, а Фрейман как-то робко протянул ему газету. Сторож заглянул в некролог, затем отпил из своей бутылки.

— Так ведь это было в час дня — а вы явились только сейчас, вечером, — презрительно процедил он. — Мы тут зря времени не тратим.

Я хотел еще раз извиниться, но сторож хитро подмигнул:

— Ну ясно, подозрительные лица. На кладбище ведет много дорог — есть короткие, а есть и длинные. Какая разница...

С этими словами он распахнул ворота и пригласил нас войти.

— Коли пришли к Шраге Гафни, будьте моими гостями. Немало денег загребли мы на его похоронах. Народу было видимо-невидимо. Все они говорили, говорили... Пока покойник не встал из гроба и не сказал: «Хватит!» Нет, серьезно, ежели Господь всемогущий, да будь Он благословен, слышал бы то, что здесь говорилось, Он, ясное дело, пригласил бы покойничка прямо в райский сад. Поскупился только один из гостей. Подхожу к нему с ящиком для пожертвований — а он и говорит: если уж Шрага Гафни умер, никакие жертвования не спасут нас от могилы. Щеголеватый такой тип, в костюме и черной шляпе. Думаете, удалось ему отвертеться? Как бы не так! Дал как миленький — все-таки побоялся взять грех на душу.

Тут сторож замолк и указал нам на прямоугольник перекопанной земли, усеянный букетами цветов. Из земли торчала маленькая металлическая табличка, на ней было написано, что здесь похоронен Шрага Гафни.

— Да, умер, — сказал Фрейман и посмотрел на часы.

Аксельрод стоял склонив голову. Он успел надеть пиджак, который мешком повис на поникших плечах; шляпа же профессора съехала ему на лоб. Внезапно он опустился на колени и стал вглядываться в металлическую табличку. Прочитал имя Шраги, имя его отца — и разразился хохотом. Его неуклюжее тело сотрясали пароксизмы неудержимого смеха.

Подбежал сторож, сердито повторяя:

— Уважайте покой мертвецов! Уважайте покой мертвецов!

⁸ Бялик Хаим Нахман (1873 — 1934) — великий еврейский поэт, родился в Волынской губернии, с 1921 года жил в Палестине. Основные произведения написаны на иврите, ранние же — на идиш (часть из них переведена на русский).

Я нагнулся, схватил Аксельрода за руку и рывком поднял его. Он все еще содрогался от смеха.

— Вот он, его спич, — пробурчал Фрейман.

Только тут я ощутил, как тяжел наш профессор. Вытянув руку, я смог наконец обхватить его за плечи. Шрага часто говорил о нем с улыбкой: «На этих высотах таится ум», — а затем, чтобы мне не было обидно, добавлял, указывая на меня: «А на этих глубинах — понимание».

Итак, я встал на цыпочки, обхватил Аксельрода за плечи и шепнул ему:

— Пошли!

Тело его источало крепкий мужской запах.

— Ну, пошли, — тихонько повторил я.

Он не смотрел на меня. Я за руку вывел его на улицу.

Фрейман шагал впереди с видом человека, который добился своего. Мы вдвоем брели следом. Остановившись у машины, Фрейман облокотился на крыло, картинно скрестил ноги и уничижительно смотрел на нас. Я осторожно извлек ключ из профессорского кармана, открыл дверцу и уложил профессора на заднее сиденье, жестом показав Фрейману, чтобы тот садился вперед.

Фрейман закурил, потер руки, как будто покончил в конце концов с каким-то неприятным делом, глянул на часы и воскликнул:

— Ну вот, а теперь можно наконец ехать домой!

Авторизованный перевод с иврита Анатолия Кудрявицкого.



Л У Б Л И Ц И С Т И К А

СЕРГЕЙ ЗАЛЫГИН

*

МОЯ ДЕМОКРАТИЯ

Заметки по ходу жизни

Моя демократия — это моя демократия, и, вероятно, ничья больше. В том-то и дело, что она у каждого своя. На девятом десятке я прокручиваю в памяти свою жизнь и так, и этак и, что в плане демократического воззрения у меня закрепилось, о том и пишу. На девятом десятке я все меньше и меньше понимаю ортодоксальность, требования единомыслия все равно какого, будь это требования коммунистов, монархистов, фундаменталистов.

Я довольно много читал Ленина и никогда ни впрямую, ни косвенно не улавливал в нем вопроса к самому себе — кто же он? что за человек? Он следовал по стопам своего старшего брата Александра, царевубийцы (к сожалению Володи Ульянова — неудачного), — и всегда и везде, во всех без исключения отношениях с людьми и человечеством, ему было все, как есть все, ясно и понятно. Об этом очень убедительно написал Солженицын («Ленин в Цюрихе»).

В каком-то смысле завидное существование, если забыть, к чему оно способно привести мир, все стороны жизни — философию, искусство, политику, быт.

Коммунисты сами от себя требуют единомыслия — это одна из их высших целей и ценностей, для демократов это исключено. Коммунисты рассуждали и так: мы — великие экспериментаторы, мы — великие служители истины. Если эта истина и приведет нас к гибели, не только нашей, но и всего человечества, мы все равно должны довести этот опыт до конца.

Нынче коммунисты уже не те, нынче они — прагматики из прагматиков, но я-то встречал подобных ортодоксов в своей жизни не раз и не два. Но нельзя забывать, какими они были вчера — пока были у власти.

Многое я помню. Очень хорошо помню Февральскую революцию — мы тогда жили на Урале, в Саткинском заводе, и отец на плечах носил меня в ликующей толпе рабочих с красными бантами на груди, на рукавах, на фуражках, а самое громкое, самое общее слово в толпе было слово «товарищ».

А вот Октябрьскую помню плохо. Не потому, что не запомнил, а потому, что она очень странно произошла: кто-то сверг правительство Керенского, а на местах все еще оставалось как было, и что на что нужно менять, никто не знал. Октябрьскую революцию и революцией-то стали называть года два-три спустя, а до этого говорилось: «переворот».

Иногда, правда, уточняли: «большевистский».

* * *

Так вот, я обращаюсь к своей памяти. Первое, что мне хочется нынче сделать, — это восстановить перед самим собою мой детский демократизм.

Мои родители были демократами уже по одному тому, что они были земцами. Отец из крестьян, из крестьян безземельных, его отец был человеком, по-видимому, очень деятельным, он арендовал земли, и были времена, когда его арендные просторы достигали 17 десятин, но умер он в полнейшей нищете, даже неизвестно, где похоронен.

Моя бабка по отцу была полькой — дочерью сосланного в Тамбовскую губернию участника польского восстания (очевидно, 1863 — 1864 годов). Она умерла при родах моего отца.

Отец окончил Тамбовскую гимназию благодаря тому, что стал воспитанником интерната для бедных детей, учрежденного семейством землевладельцев Чичериных (фамилия в России известная). Затем отец поступил в Киевский университет, но учиться ему, безденежному, было трудно, к тому же он дважды сидел в тюрьме за политическую деятельность (меньшевик), а затем был сослан в Уфимскую губернию.

Однажды, будучи в Киеве, я разыскал тюрьму, в которой сидел отец и о которой у него сохранились, в общем-то, неплохие, главным образом юмористические, воспоминания. Я только-только успел: тюрьму сносили, это было старое деревянное двухэтажное здание, оно разваливалось, но решетки на окнах еще сохранились.

Моя мать происходила из семьи, как принято было говорить, мещанской, ее отец был служащим банка в крохотном городке Красный Холм Тверской губернии. Семья жила трудно, уже по одному тому, что было множество детей от двух браков моего деда, и моя мама всегда училась там, где жил кто-нибудь из ее старших братьев или сестер, — в Рыбинске, в Ярославле (где она окончила гимназию). В этой семье был культ — культ высшего образования. Все братья и сестры обязательно хотели закончить что-то высшее, все были нищими студентами, умирали от туберкулеза, ссылались «за политику», и только один брат, старший, Александр, дядя Саша, закончил университет. Он был кумиром для всех младших. Мать тоже была слушательницей Высших женских курсов в Петербурге (Бестужевских) и тоже не закончила — уехала в ссылку к моему будущему отцу в Уфимскую губернию. Там я и родился.

Я никогда в глаза не видел никого из своих дядьев и теток, более того, никогда не мог их запомнить ни в возрастной, ни в какой-то другой последовательности, и мама очень на меня сердилась, устраивала мне экзамены, на которых я неизменно проваливался.

А вообще-то я видел многих дореволюционных интеллигентов (они были моими учителями в школе, а отчасти и в институте), и у меня сложилось впечатление, что самыми идеалистическими, самыми бескорыстными и самыми неустроенными в жизни были не потомственные, а интеллигенты именно первого поколения, выходцы из «низов».

Собственно говоря, в этом меня убеждала вся моя детская жизнь в Барнауле. Барнаул был тогда городом ссыльных — и еще дореволюционных, и тех, кто ссылался уже советской властью. Ссылное население чувствовало себя чем-то единым независимо от политических взглядов: меньшевик ты, или эсер, или анархист — не имело значения. Я даже и не помню их политических взглядов, была другая оценка — порядочность. Порядочность собственная и всего того клана, к которому ты принадлежал.

В детстве я много болел, перенес ряд инфекций, и к нам домой систематически приходили врачи Элисберг и Казаков (Элисберг вскоре был расстрелян), но я не помню случая, чтобы возник вопрос о вознаграждении врачебного визита.

Отец тоже много болел и ходил к тем же врачам, они и ему помогали как могли, устраивали его в больницу.

Мы жили бедно, можно сказать, нищенски, иногда занимали комнатушку в коммуналке, а нередко жили в углах, то есть в комнатах проходных. При всем том я не помню случая, чтобы отец или мать посетовали на судьбу, поставили своей задачей изменить ее к лучшему. Они были непротивленцами.

Раз в неделю мама варила мясной суп, мы ели его на первое, а на второе — сваренное в нем мясо. Основным же питанием были каши — пшенная и более высокая рангом гречневая. Не помню, когда первый раз в жизни я ел покупной торт или покупное печенье, наверное, когда мне было лет за двадцать. А может быть, и позже — в тридцатые годы торты тоже были «не в моде».

Однажды отец потерял три рубля, отец и мать ночами, когда я уже засыпал, считали — как им теперь быть до следующего жалованья? И надо же, в те же дни я нашел на улице около кассы кинотеатра десять рублей!

И отец и мать много читали (вслед за ними и я). Любимым писателем матери был Лев Толстой, отца — Владимир Короленко.

Вспоминаю еще, что Ленина, Троцкого, Луначарского и Чичерина родители иногда поминали словом «предатель», то есть предатель интеллигенции. Семашко, народный комиссар здравоохранения, так не обзывался — он на любом посту оставался «доктором».

Каждую весну по семьям таких вот интеллигентов ходил какой-нибудь молодой человек и просил на «побег товарищу», и мать уже в январе вздыхала: скоро весна, надо как-то выкроить полтинничек на «побег товарищу». Чаше всего беглецом оказывался Гвиздон — маленький, рыженький меньшевик, польский еврей, лодзинский портной. Он «бегал» каждую весну, и каждую осень его возвращали с польской границы с прибавлением срока ссылки. (В конце концов он, конечно же, был расстрелян.)

Он говорил на множестве языков (некоторое время был еще и механиком на океанском корабле, побывал по всему свету), но говорил так, что с первого раза его трудно было понять даже по-русски и, видимо, по-польски. В Барнауле он слыл неплохим портным.

Отец не раз говорил Гвиздону:

— Ну чего тебе неймется? Каждый год бегаешь — и все напрасно!

— Павел Иванович! — отвечал Гвиздон. — Я все равно убегу в Польшу, в город Лодзь. Я выпишу туда свою жену с деточками, — (у Гвиздона была русская жена-громадина, она каждый год рожала ему маленьких), — а тебе сошью костюм — ты в жизни не носил, носить не будешь, если я не убегу. Все еще не понимаешь? Вижу — не понимаешь... Жаль, жаль!

— Костюм ты мог бы сшить мне и в Барнауле!

— В Барнауле? Ты в уме ли? Да разве может быть в Барнауле такой матерьял, как в Лодзи? Да в твоём Барнауле и утюга-то настоящего портновского не было и нет! Швы разгладить во всем городе негде! А называется «город»!

При всем том Гвиздон был очень начитанным и знающим политиком, участником ранних лодзинских рабочих организаций. Маркса он знал назубок.

Каждую неделю ссыльные ходили в ГПУ отмечаться, и Гвиздон при отметке спрашивал:

— Товарищ! Гражданин! Я тут перевоспитываюсь на платформу советской власти, Маркса студирую, а у меня случай случился: никак не пойму Маркса насчет труда и капитала. Честное слово — столбняк! Будьте добры, у кого бы, у настоящего партийца, мне получить разъяснение? Прямо необходимо, иначе — могила, и боль-ше ничего!

Настоящего партийца не находилось даже в окружкем ВКП(б), где его ненавидели лютой ненавистью.

Мой же отец не имел никакой специальности и в конце концов стал продавцом единственного тогда в городе книжного магазина, мать работала далеко не всегда, так как ухаживала за больным отцом, если же отец оказывался без работы, она устраивалась библиотечаршей в детскую библиотеку — там всегда находилось хотя бы и временное место, а я радовался: книг, самых интересных, у меня становилось навалом.

И книжный магазин, и библиотека были теми местами, куда ссыльные интеллигенты сходились «поговорить», вполне, я думаю, безобидно, просто ради обычного общения.

Таким образом, мои родители были как бы связными. Я же был посильным у одной совершенно необычной фигуры — ссыльного Георгия Сергеевича Кузнецова, меньшевика, активного члена Второго Интернационала, лично знакомого с Плехановым (а Плеханов и Мартов были чуть ли не единственными политиками, признаваемыми кланом барнаульских ссыльных).

Род мастеров Кузнецовых начинался со времен адмирала Ушакова, под руководством которого деревенские братья Кузнецовы строили русский флот в Одессе, а потом пошло и пошло — Кузнецовы стали выдающимися, великими мастерами. Георгий Сергеевич трудился на самых крупных предприятиях России — в Екатеринбурге, в Екатеринославе, в Питере. Путилов заключал с ним контракты, в которых предусматривалось, что сыновья-гимназисты Кузнецова имеют право входа в любые цеха Путиловского завода в любое время: Кузнецов хотел воспитать их все в том же потомственно-мастеровом духе. Это не

удалось, его уже взрослые сыновья жили в Барнауле с отцом, но неизвестно, чем занимались, по-моему, ничем. Георгия же Сергеевича советское начальство вынуждено было уважать и даже любить, он мог восстановить разрушенный цех, с первого взгляда оценить любую новую машину — на что она способна и какой ей требуется уход. Был такой случай, когда он починил мотор самолета, хотя до этого никогда в жизни самолетов не видел. Он знал несколько европейских языков, так как не раз бывал в эмиграции и обладал удивительной памятью: помнил каждую страницу прочитанной книги и очень удивлялся тому, что далеко не все могут так же. Где-то к концу двадцатых годов была введена практика, в соответствии с которой меньшевик или эсер выступал в печати с письмом по поводу своих прошлых ошибок и заблуждений и с признанием советской власти. В газете «Красный Алтай» опубликовал такое письмо и Кузнецов. Ему тут же подали вагон, в котором он уехал на Украину и стал там директором одного из крупнейших заводов, через три года он был расстрелян. Хотя он и не вел со мной никаких разговоров, я все равно был подавлен этим человеком, его неторопливой, неразговорчивой умелостью. Ничего подобного в нашем клане (не нахожу другого слова) не было, он представлялся мне волшебником: невысокого роста человек, седеющий, даже седой, очень не любивший что-либо рассказывать о себе, о своих встречах с Плехановым, с Мартовым, с Вандервельде — а я уже знал эти имена, — с глуховатым голосом и помнивший все на свете.

Я разослал его записки (телефонов же не было) в разные учреждения и разным лицам. Я уверен, что в записках, которые я передавал, не было ничего политического, он никогда бы не позволил себе подставить меня, а через меня и моих родителей.

Индустриализация России была его мечтой, я думаю, именно поэтому он и написал свое письмо в «Красный Алтай» и согласился стать директором советского предприятия.

Другое семейство, которое было очень близко к мне, и моим родителям, — это Швецовы.

Николай Аркадьевич Швецов, раз и навсегда эсер, красивый человек с безупречной военной выправкой, отвоевавший всю мировую и чуть ли не всю Гражданскую войну, был, пожалуй, наиболее откровенным антисоветчиком, он имел большой опыт конспирации дореволюционной, пользовался этим опытом и при советской власти: устроился на работу бухгалтером куда-то в милицию.

Не могу не рассказать об истории нашего знакомства. Мы шли с мамой по тихой барнаульской Бийской улице, мама держала меня за руку, мы мирно беседовали, как вдруг из-за угла вынырнула женщина — в пенсне, чуть растрепанная и в какой-то явно еще довоенной шляпе.

Увидев нас с мамой, она резко остановилась, мама остановилась тоже, некоторое время они внимательно смотрели друг на друга, потом эта женщина бросилась к маме:

— Вы — Залыгина?

— Да! — подтвердила мама. — Каким-то образом мы, кажется, знакомы?

— Ну да, ну да — моя сестра была знакома с вашей сестрой Людмилой в Ярославле и рассказывала мне о вас. Вы — Любочка?

— Любовь Тимофеевна! — подтвердила мама, и на другой день мы все трое — отец, мама и я — были у Швецовых в гостях.

Дом Швецовых вообще стал самым приветливым для всяческих встреч, там-то чаще всего и стали собираться все наши знакомые. Что делали? Пели песни на стихи Некрасова («Волга-Волга, весной многоводной ты не так заливаешь поля, как великою скорбью народной переполнилась наша земля...»). Я тоже пел и даже верил в то, что у меня есть голос. Но больше чем пел, я переживал песни.

Мы пили чай с сухариками, а иногда и с печенюшками, которые готовила Елизавета Ивановна, хозяйка дома. Чтобы на столе было что-то спиртное, я не помню. Может, и было, но так, чтобы дети не видели.

Анастасия Цветаева поведала бы об этом знакомстве как о чем-то невероятном, даже мистическом, но для участников встречи случай был обыкновенным, самым собою разумеющимся: все эти люди узнавали друг друга с перво-

го взгляда, никогда не ошибаясь (может быть, им опять-таки помогал конспиративный дореволюционный опыт).

Политические разговоры в этой компании, конечно, велись (преимущественно в отсутствие детей), но споров между, скажем, эсдеками и эсерами не было — уж очень ценилась дружба, доброжелательство. Советскую власть почти не задевали — каждый имел о ней свои представления, но почему-то все с огромным интересом относились к деятельности Второго Интернационала и к материалам, которые публиковала нелегальная газета («Социал-демократ», если не ошибаюсь), издававшаяся, как я понимаю, за границей.

В этой среде был даже свой собственный язык, свои обозначения: если заходил разговор о каких-то интимных отношениях, говорились: «она ему „симпатична“» («весьма симпатична»), люди же подразделялись на «интересных» и «неинтересных», слово «болезнь» заменялось словом «недомогание» — сильное и даже очень сильное, но — «недомогание», о ГПУ, как правило, говорили — «три буквы», расстрелы назывались «концом»: «он получил конец». Много говорили о только что прочитанных произведениях художественной литературы.

Мы, дети, после чая с печенюшками играли и шалили до полного изнеможения. До изнеможения играл и шалил с нами и красавец ирландский сеттер Дружок.

Швецовы жили далековато, на горе — так обозначался в Барнауле этот район, а возвращались гости уже поздненько — это было небезопасно: по ночам прохожих раздевали, иногда до белья включительно. Большой дефицит одежды и обуви был в те времена (я много лет ходил в черно-белых штанах, пошитых матерью из одеяла, а свой первый костюм купил на первую зарплату агронома, лет уже в двадцать).

Учитывая это обстоятельство — грабежи, — нас провожал Николай Аркадьевич Швецов, он шел впереди своих гостей, а увидев какую-либо фигуру в темноте, громко и требовательно кричал: «Постор-ронись!» Так в ту пору конвоировало ГПУ арестованных, когда вело их или в подвал на улице Анатолия (местный большевик), или на расстрел. В тот же миг прохожий куда-нибудь исчезал. Тем более что ГПУ расстреливало и на нагорном кладбище, а это было в том направлении, куда мы шли. В обратный путь Швецов пускался один, но никогда и никто на него не решался напасть: он умел ходить так, что ни у кого не оставалось сомнений — в кармане у этого человека револьвер.

Нас, ребяташек, родители везли из гостей в санках. Господи, какое это было блаженство — дремать закутанным в мамину шаль, еще в какие-то теплые тряпицы и одежки, слушать скрип полозьев и обрывками вспоминать только что проведенный в гостях вечер, уже обратившийся в сказку!

Когда Кузнецов опубликовал свое письмо, а затем уехал на Украину, это и у взрослых, и у меня — его посольного — вызвало шок, но шок опять-таки молчаливый: в среде этих людей не принято было судить и обсуждать друг друга. Можно было отказаться от того или иного знакомства, можно было отказаться от всех знакомств, но все это должно было происходить молча. Кто как устроится — дело каждого, и дело каждого про себя осудить или принять поступок другого. Мои родители, те к слову «устраиваться» относились неприязненно. Помню, один ссыльный социал-демократ из Перми (из Мотовилихи) поступил на службу в должность заведующего столярными мастерскими, и отец с матерью с явным неодобрением говорили о нем: «устроился!» В начале тридцатых годов от нашего клана не осталось никого, почти никого: наша семья, да еще семья Швецовых, — остальные или были репрессированы, или убежали куда-то дальше Барнаула.

Дома меня очень рано приучили к труду — лет шести-семи я уже подрабатывал: кормил соседских кур и поросят, таскал по полведра помоев на помойку, если соседка стирала или мыла полы.

Будучи учащимся техникума, студентом вуза, я обязательно где-то работал всерьез, в штате (то ли в газете, то ли в вечерней школе, то ли при каком-нибудь состоятельном клубе вел литкружок), и так я мог помогать родителям.

Другую свою особенность я, наверное, приобрел тогда же, в детстве: это нелюбовь к политике.

Я читаю политические статьи, иные — с большим интересом, но не представляю себе политика, да еще и карьериста — а это вещи почти однознач-

ные — как человека. Я никогда не написал бы толком политика как героя своего произведения, не смог бы. (И многие писатели, я знаю, этого не могут.)

В детстве, да и в юности отец несколько раз пытался просветить меня на этот счет, но мама была категорически против:

— Вырастет — сам разберется!

Я вырос, но не разобрался. И не жалею: у меня есть другие, более существенные для меня интересы.

Бывало, отец приносил домой нелегальные социал-демократические издания, советовал прочесть. Мать, наоборот, читать не советовала:

— Нужно очень многое знать, чтобы понимать в политике. Просто так, с ходу, это невозможно! Просто так — очень легко искалечиться!

* * *

Должно быть, я слишком много места отвожу своему детству, но это потому, что оно было демократичным — опять-таки не в политическом, а в чисто житейском отношении.

Я столько повидал хороших русских людей, подлинных интеллигентов — дай Бог каждому! Все они в поведении своем — демократы.

Не могу сказать, что я всю жизнь руководствовался детскими впечатлениями, — нет, я забыл о них на долгие десятилетия, никогда не вспоминал их. Но теперь, уже стариком, я не без удивления сознаю — детство-то больше всего мне и запомнилось. Вот говорят: старики впадают в детство; говорят, и даже сокрушаются по этому поводу. Но сводить концы с началами — это прекрасная мудрость природы!

Некоторые, будем говорить, мелочи современной жизни я безусловно воспринимаю с точки зрения детства.

К примеру, Зюганов не упускает случая, чтобы упрекнуть Ельцина в нездоровье. Неужели он не понимает, как это отвратительно? Наверное, не понимает, потому что это — ленинизм, ленинское учение о борьбе за власть, борьбе, в которой все средства хороши.

Франсуа Миттеран был тяжело болен многие-многие годы, но кто во Франции бросал ему упреки? Кто, в той ли, иной ли форме, говорил Миттерану «чтоб ты сдох!»? Никто, и это потому, что там не было безнравственного ленинизма, для которого «классовый враг» (и любой враг) уже не человек.

На фоне таких современных событий, как бессмысленная война в Чечне, это — пустяк, мелочь, не заслуживающая внимания, но как раз детство и внушает мне отвращение не только к этой войне, но и к житейским каким-то мелочам. Ведь без мелочей-то мы не живем!

Так вот, незадолго до своей кончины отец все-таки сказал мне:

— Сережа! Ты можешь сделать любой выбор, но если будешь вступать в партию или в комсомол, пожалуйста, сделай это после моей смерти...

Признаюсь, эти слова не произвели на меня никакого впечатления, потому что подобных намерений у меня никогда и не было: я пошел в маму. Помню и сейчас — когда у отца что-то не ладилось на работе или он оказывался безработным, мама вполне серьезно, вздыхая, говорила:

— Ну вот! Точь-в-точь как у твоего Керенского!

В то же время она сочувствовала, не столько на словах, сколько на деле, борцам за свободу, равенство и братство. И кому надо, тот знал об этом сочувствии, и к ней подходил совершенно незнакомый человек и говорил:

— Любочка! Мне вас рекомендовали, и вот я обращаюсь к вам с просьбой: подыщите, пожалуйста, квартиру, в которой мы могли бы собираться. Человек семь-восемь, ну, может быть, и побольше!

В свое время мама ходила по рабочим кварталам Петербурга и спрашивала: не согласен ли кто сдать комнатку одинокой курсистке? У обеспеченных пролетариев типа Кузнецова («рабочая аристократия») квартиры были и в четыре, и пять, и даже шесть комнат, и не так уж мало было среди них тех, кто хотел бы одну комнату сдать, а заодно в счет квартплаты обеспечить собственных детей курсисткой-репетитором.

Договаривались, но в последний момент мама говорила:

— Ах, я забыла! Должна предупредить, что у меня изредка будут собираться гости. Довольно много гостей.

Как правило, после этого следовал отказ, но в конце концов находились и такие, кто был согласен.

Затем в маминной комнате в определенные дни собирались какие-то люди решать свои партийные дела, мама на это время уходила куда-нибудь, даже и не зная, кто там собирается — большевики, меньшевики, эсеры, анархисты.

Был такой случай, когда ее попросили оставить у себя какую-то корзину. Она опять согласилась, и корзина простояла полгода или больше. Вдруг в какой-то день к ней ворвались два молодых человека:

— Здравствуйте, Любочка! Корзина — у вас?

— Стоит под кроватью!

Молодые люди увезли тяжелую корзину, а буквально через полчаса прибыли жандармы и тотчас заглянули под кровать — там было четырехугольное пятно по размерам корзины.

— Что тут было?

— Была корзина.

— Чья?

— Не знаю.

— Как так не знаете?

— Очень просто: какой-то незнакомый человек попросил меня сохранить его корзину, пока он съездит домой в Самарскую губернию. Я согласилась.

— Давно эту корзину забрали у вас?

— Нет, недавно. Сегодня.

Жандармы еще покрутились и уехали ни с чем. А ведь могло быть худо: корзина, должно быть, была с оружием, и если бы жандармы ее нашли, маме грозило бы несколько лет каторги.

Однако отказаться от помощи совершенно незнакомым людям она не могла: это было бы «непорядочно».

Из беглых, как бы между прочим, рассказов матери, наверное, можно было составить небольшую книжечку — она рассказывала кратко и как-то очень убедительно. Собственно говоря, то, что я пишу о своем детстве, больше относится к тем взрослым, которые меня окружали, которых я знал.

Я воспринял от них некий — демократический — стиль поведения, и где бы мне впоследствии ни приходилось быть и жить — в деревне ли, за границей, в академических кругах или на работе, — стиль этот оказывался к месту, был тем, что нужно, мне легко было с людьми, разве только при посещении ЦК КПСС у меня возникало ощущение, что здесь я — посторонний и держаться мне надо как постороннему, как посетителю.

Мне казалось, что я таким родился, а мои родители тут ни при чем, и только недавно до меня дошло: родители — при чем. А «детская» демократия существует (или не существует) в разных условиях и семьях по-разному, и мне повезло, что окружающие меня в детстве взрослые тоже в какой-то степени несли в себе детскость, если хотите — качество, свойственное демократии вообще.

Конечно, и сейчас я встречаюсь и рука об руку работаю с демократами, людьми очень близкими мне по духу, но, повторяю, все-таки самые большие впечатления произвела на меня демократия детства, как я ее нынче называю. А то, что старики идеализируют детство, это естественно: детство ведь тоже идеализирует и всю окружающую жизнь, и самое себя.

* * *

Я думаю, что свою аполитичность, вернее, свою беспартийность я вынес из детства, хотя должен сказать, что и студенческие — тридцатые! — годы, как ни странно может показаться, этому способствовали. Весьма и весьма.

От первого до последнего, шестого, курса загородного Омского сельхозинститута (был широко известен как Сибирская сельхозакадемия — «Сибака», «сибаковец» от Луначарского пошло) прошел в так называемой 16-й академической группе. На курсе было две группы, и наша «Б» отличалась большими способностями, об этом знал весь факультет.

В группе было шестнадцать человек, из них две девушки, а еще два комсомольца, которые ходили на какие-то там собрания, имели кого-то, кто был их комсоргом, но все это никак не воздействовало на остальных, все остальные четырнадцать человек совершенно не интересовались тем, чем все-таки были заняты наши товарищи по комсомольской линии.

Никого в нашей группе не было из выпускников школы — все имели среднее специальное образование, кончали техникумы — мелиоративный, речной, машиностроительный, а я вот — сельскохозяйственный. Мы не читали газет, разве что изредка, и тоже изредка ходили на танцы (я так и не научился танцевать), но самозабвенно были заняты учебой. Я не помню, чтобы кто-то из нас пошел на экзамен со шпаргалкой или содрал у товарища домашнее задание. Учили нас здорово и очень требовательно профессора, кончавшие гимназии, а то и институты дореволюционного времени.

Жили мы жизнью примитивной, но жить нам нравилось, мы были дружными оптимистами. Любили ходить в баню. С полком, с паром. Попаришься — и в снег, и обратно на полок — по-сибирски.

В общежитиях (их в чистом поле шесть, по факультетам, наше, чуть на отшибе, — № 6) отопление печное. Дежурные (по печке) недельные: в субботу привозят дрова, их надо запасти, рассовать под кроватями, надо девочкам помочь, а потом топить всю неделю, следить за вьюшкой. У всех у нас дома было так же.

В каждой комнате (шесть-семь человек) свои порядки. Наш порядок: свет гасится в 23.00. Кто пришел позже — раздевайся в темноте. В общежитке никто не занимается, для этого рядом в учебном корпусе была «чертежка», там закрепленный за тобой на весь срок учебы пульман, готовальня, ящик для книг и тетрадей. (Чтобы с пульмана или из ящика что-то пропало — никогда не было такого.) В чертежку из общежития уходили с подушкой, с зубной щеткой, и не на одну ночь, — там и ночевали.

Ходили в Большую аудиторию в кино и на концерты.

Еще мы ходили на общеинститутские лекции нашего очень молодого профессора гидрологии и регулирования речного стока — почти что сумасшедшего рыбака Бефани. Он выступал как международник и утверждал (в 1936 — 1938 годах), что летом 1941 года у нас неизбежна война с Германией. Его куда-то вызвали и велели «прекратить безобразия». Он и прекратил, но на своих-то гидрологических лекциях, тем более на семинарских занятиях, то и дело касался этой проблемы. Но мы войны почему-то не боялись. А Бефани считали чудачком, хотя и говорили ему на экзаменах: что вы строжитесь-то, Анатолий Николаевич, все равно ведь нам идти воевать!

В городском театре бывали редко, и тоже «комнатами». Я бывал довольно часто, и весь этаж знал: Сержик с Любочкой опять подались в театр.

Туда можно было добраться на машине («собачий ящик»), обратно — пешочком шесть километров по морозцу.

Примитив, а вспоминаешь — сердце бьется: молодость! И — хорошая! И, ей-Богу, демократичная. И запомнилась она мне прежде всего личностями студентов.

После экзаменов свет в нашей комнате горел не угасая: две-три ночи — сабантуй. Ребята из города приносили несколько ведер пива. Пили, играли в карты, играли на струнных инструментах (несколько человек играли прекрасно) и в шахматы, слушали патефон.

Было у нас и комнатное имущество: гитара, патефон, старинная русская энциклопедия, библиотечка художественной литературы (классика), несколько отрезков на костюмы. За отрезами ездил на золотые прииски Кока Левшин (столяр по специальности), очень способный парень лет под тридцать, мастеровой, но все еще Кока. После окончания института мы разыграли это имущество по жребию, мне достался — увы! — патефон.

Жила наша комната целомудренно: ни разговоров о женщинах, ни анекдотов, слово «секс» вообще не было известно. Помню только один рассказ нашего однокомнатника. Он на изысканиях ухаживал за какой-то девицей, но однажды застал ее и какого-то парня совершенно голыми, спавшими поутру беспробудным сном. Тогда он облил их соответствующие места зелеными чернилами, а сам ушел с изыскателями по маршруту. Мы хохотали: надо же — зелеными!

Профессура у нас была почти сплошь беспартийной. Двух партийцев доцентов мы считали за придурков (они таковыми и были), а к третьему — профессору гидравлики И. И. Агроскину (в скором будущем зам. министра высшего образования) — относились с уважением.

Диамат мы слушали у молодого преуспевающего партийца в огромной сводной аудитории, человек двести слушателей. Он был необычайно самоуверен, относился к самому себе как к существу высшему. Если где-то в аудитории раздавался шорох, он прерывал лекцию и, выбрасывая руку вперед, громко произносил:

— Спокойно! Внимание!

Мы отучили его от этой привычки — рассаживались по разным рядам аудитории, и стоило ему провозгласить свое: «Внимание», как тут же его кто-нибудь дополнял:

— Фотографирую!

Когда я кончил учебу, занял кафедру и впервые в жизни отправился в Москву и в Ленинград (война застала меня в этой поездке), я счел необходимым разыскать тех ученых, по учебникам которых я учился, — представиться им как их ученик.

Ну, конечно, это был Иосиф Ильич Агроскин, профессор Черноусанов (тоже гидравлика), академик А. Н. Костяков (орошение), профессор Брудастов (осушение), помнятся и профессора Крицкий и Менкель (регулирование стока), профессор Угингус (гидросооружения, один год я слушал его в Омске).

И мои визиты воспринимались учеными вполне нормально, не торопясь я объяснял профессорам, какие разделы их учебников мне понравились очень, а какие и почему — не очень.

С академиком Костяковым мы хорошо дружили до конца его жизни, он читал все, что я писал в литературе художественной, а мне присылал свои переиздания для литературной редакции.

В 1956 году я почти три месяца был в Китае, написал книгу очерков (неважную), а еще брошюру по проблеме орошения в Китае. Оказывается, в двадцатые годы Алексей Николаевич, не будучи в Китае, занимался этим вопросом, а теперь моя брошюра очень его заинтересовала.

Были у меня с ним и расхождения по вопросам преподавания мелиорации: он давал своим студентам двенадцать задач-упражнений, это позволяло ему охватить практически весь курс орошения; я на 4-м курсе давал цельный курсовой проект — материала меньше. Зато хорошая подготовка к производственному проектированию.

Алексей Николаевич слыл человеком сухим, неразговорчивым и прижимистым. Но мы беседовали подолгу, он заинтересовался моей диссертацией, быстро провел ее через ВАК (когда там свирепствовал Лысенко и лысенковцы), и утром осеннего дня мне выдали документ кандидата технических наук, а вечером приняли в Союз писателей.

Позже говорили, что, когда Костяков умер (в 1957 году), обнаружили, что он брал со сберкнижки по 500 рублей в месяц, остальные (гонорары, несколько Сталинских премий, а это были очень большие деньги) перечислялись на счета детских учреждений. Он много читал, знал русскую (и иностранную) классику и уже по одному этому был демократом — мне не хватает встреч и бесед с ним до сих пор.

Нас не затронули страшные 1937 и 1938 годы, кончили мы институт в 1939-м, мало зная — совсем не зная — окружающую действительность.

Мы, как правило, хорошо зарабатывали — если летние каникулы были двухмесячные, мы проводили на производственной практике не меньше трех-четырёх месяцев, а то и больше, и нам платили не только как инженерам, но и как инженерам главным, как начальникам изыскательских партий, руководителям проектов и даже экспертам. Почему так? Потому что на нашем производстве в то время были почти исключительно инженеры-практики (и такая в ту пору была квалификация) без теоретической подготовки, они говорили: это — трудные расчеты, вот уж приедут студенты, они и рассчитают — народ грамотный. И мы опять-таки чихать хотели на всяческую политику. И деканат, и дирекция института каким-то образом умели не вмешиваться в наши дела и настроения.

Когда я кончил учебу, я стал работать рядовым инженером, а главным инженером треста был Куликов — студент-заочник третьего курса нашего же факультета.

Я женился на однокурснице и одногруппнице, дочери профессора. Некоторое время я жил в семье жены и встретил там точно такой же расклад, как и у себя дома в Барнауле: мой тесть Сергей Васильевич умудрился в четырнадцать лет сесть в тюрьму по политическому делу, а моя теща понятия не имела о политике, усердно хлопотала по дому, читала русских классиков и романы на французском.

Я и позже неоднократно сталкивался с профессурой дореволюционного и даже довоенного образования, не знаю уж, повезло мне или еще что-то, но все они были демократами и беспартийными. Иные прошли школу Беломорско-Балтийского канала, канала имени Москвы — первых великих строек, но или разговоров на этот предмет они избегали, или гордились орденами, полученными при освобождении.

Однако самой замечательной фигурой среди этой беспорточной профессуры был, конечно, мой тесть Сергей Васильевич Башкиров. Человек очень скромный, очень нетребовательный, а временами и бесконечно наивный, он обладал поистине фантастической биографией, о которой можно было бы написать интереснейшую книгу.

Один-два эпизода.

Выйдя из тюрьмы, Сергей Васильевич блестяще сдал экстерном за гимназию и занялся выпуском... нелегального журнала. Он его писал и редактировал, набирал и тиражировал в Костроме, наполнял номерами два чемодана и увозил то в Минск, то в Варшаву, откуда и распространял тираж. Потом он решил учиться дальше, но проживание в университетских городах России ему было запрещено, и он уехал в Германию, в городок Митвайду под Хемницем. Там был технический институт, который принимал слушателей без экзаменов, но если человек не сдавал экзамен за первое полугодие, его отчисляли. Так или иначе, народ там был самый разношерстный, в том числе и негры. Негров было очень немного, и они не могли организовать свое землячество. Их приняли русские, создали Русско-негритянское землячество имени Чехова, председателем которого стал Сергей Васильевич. Раз или два он пешком ходил в Швейцарию и консультировался там у русских политэмигрантов.

Другой случай. В 1937 году Сергей Васильевич собрал вещевой мешочек с зубной щеткой, мылом, с другими самыми необходимыми предметами, а когда жена спросила: куда это ты собрался? — в НКВД! — ответил он.

— Да ты с ума сошел!

— Ничуть! Я пойду попрошу посадить меня на недельку, а за это время кому надо разберутся, что за мной нет никаких грехов, и меня отпустят с миром. А то слишком много ведется разговоров, что я меньшевик и еще, и еще что-то такое... А я уже десятки лет как беспартийный.

Жена едва его удержала. Несколькими позже Сергею Васильевичу досталось-таки на орехи, но посадить его не успели — сняли Ежова.

* * *

К чему я все это? Да все к тому же демократизму, как я его наблюдал в свое время, в очень даже грозное время.

Мы жили своим, комнатным, мирком, и нам не очень-то было дела до мира всеобщего. Для нас коридор общежитки, будучи необходимым, был уже чужим. Комната и чертежка — вот это дело другое, это наше дело.

Я даже и не сказал бы о какой-то пылкой дружбе между нами, но вот о нашем демократизме — скажу и еще.

Мы принимали каждого из нас таким, каков он есть, и я не помню случая, чтобы в отсутствие одного из нас мы хоть бы словом об этом отсутствующем отозвались, судили о нем, рядили.

Это было бы для нас чем-то недопустимо бабским. В чем-то мы могли бы помогать друг другу в учебе, в деньгах, может быть, но не помогали: помощь надо было просить, а вот это и не было принято. Никто из нас никогда и никому не был должен ни копейки.

Ну а если кому не хотелось и слова в комнате сказать — молчи сколько хочешь. У нас был и такой молчун — Саша Турбин, в будущем автор ныне забытой «Новой системы орошения», лауреат Сталинской премии. Если он и говорил что-нибудь — так только глубоко вздыхая:

— Ох, ребята, не успеваю я с курсовыми проектами. Значит, и с экзаменами засыплюсь! Годовой отпуск взять, что ли? Отстать на год?!

До весенних экзаменов еще месяц-полтора, Саша собирает чемодан.

— Ты куда, Сашка?

— Да вот думаю пораньше податься на производство. Подзаработать надо.

— А — экзамены? А проекты?

— Да я сходил к декану, а он разрешил мне сдать все досрочно.

— Как сдал-то?

— А на пятерки! — виновато говорил Саша.

Я был самым легкомысленным в нашей комнате, да к тому же писал, печатался. Ребята читали, но никто никогда ни словом не отозвался на мои «труды»: сам писал, сам должен и знать цену написанному, посторонним не след вмешиваться. Несмотря ни на что, среди этой очень серьезной публики я чувствовал себя прекрасно.

Был у нас Вовка Коновалов, тоже под тридцать лет, техник и, более того, — инженер-практик, отличник из отличников. Опять же танцор, франт, кудреватый красавец, институтская гроза всех девчонок. Мы им при случае хвастались: вот какой у нас факультет, вот какая у нас комната! (Я широко пользовался его галстуками, часами и пиджаками — брюки были длинноваты, — пока не завел собственных.)

Ложился Вовка спать раньше всех. Через минуту-другую на него можно было сесть верхом, поколотить его кулаком — никакой реакции. Утром Вовка просыпался тоже раньше всех, садился в кровати (а спал он при любой температуре голым), снимал со стены свою любимую мандолину... Спишь, спишь — и слышишь: «Роз-Мари, Роз-Мари!..», а то и отрывок из арии Онегина (а голос у Вовки был хороший, если уж не отличный).

Значит, 6.30 утра, можно и еще поспать.

Но даже и не этим всем был знаменит Вовка на факультете, а своими чертежами. Каждый лектор знает: наступает момент — и аудиторию надо чем-то удивить. И когда я уже сам читал курс, я имел про запас Вовкины чертежи довоенных времен и с десятков кнопок: «А графически мой сокурсник Владимир Коновалов изображал это и это так. Подойдите! Посмотрите!»

Невероятностью были изображения плотины в разрезах, еще большей невероятностью — экспликация. Вовка был изобретателем шрифтов, любимой его буквой была «К» («Коновалов»), вроде и придраться нельзя — все стандарты налицо, но — творчество, творчество!

И лекции Вовка конспектировал так же: ведет сверху донизу страницы шикарный треугольник и вытворяет по ходу дела какие-то шрифты, какие-то буквы «К» на каждой строчке.

Возил я Вовкины чертежи академику Костякову: мой однокурсник Коновалов! Единственный раз, когда академик мне не поверил, будто это обычный курсовой проект, и было большое взаимное смущение.

Учился Вовка легко и просто, если к нему кто с курса обращался: объясни, — он так и говорил:

— Ну как же — здесь все очень просто. — И объяснял с одного краткого захода.

Еще вспоминаю: гуманитарные науки (диамат, политэкономия, марксизм-ленинизм и болотоведение) мы называли одним школьным словом — обществоведение.

Теоретическую механику и сопромат читал нам большой путаник доцент Голубенцев. Вот он запутается и вызывает: что-то у нас не получается, Анисим Андреевич? А?

Тогда выходит к доске Анисим Жихарев, стирает с доски голубенцевское, пишет заново — и дело пошло ладом.

Анисим прошел прекрасную школу в техникуме, в Ташкенте, у своего старшего брата, выдающегося инженера, и вот сохранил четкие, ясные кон-

спекты того времени плюс конспекты книг, прочитанных им накануне: у него была такая привычка — читать материал не после лекции, а до нее.

Самомнение у Анисима было великое, но то — в аудитории, а лучше всего — перед преподавателями, в комнате же — ни-ни! Два младших брата, Михаил и Анисим, были жителями нашей комнаты (смоленские парни). Они могли и поругаться между собой — но больше никто ни с кем. И никогда!

Этим больше всего и запомнились мне студенческие годы — личностями!

На этом я, кажется, мог бы заключить рассказ о нашей комнате.

В общем-то, мы ведь плохо знали, совсем не знали друг друга — кто, откуда и почему оказался в Омске, а не в той же Москве, в Тимирязевке.

А дело-то, как я позже понял, было вот в чем...

Саша Турбин и братья Жихаревы были из семей крестьянских — раскулаченных, вот ехать им на каникулы и было попросту некуда.

Мой друг, Виктор Богуславский (наши койки стояли в комнате голова к голове несколько лет), человек тонкой души, музыкант и волейболист, ездил к сестрам в Мордовию — а где, спрашивается, были его родители?

За моим отцом в Барнауле в 1937 году приходили дважды, но он лежал в кровати совершенно больной. Барнаул же утопал в крови репрессий (куда там Омск! Если в нашем институте — тысячи на три человек — было «всего» три ареста, то в Барнауле же в одну ночь «брали» учителей, в другую — врачей, учительский институт, совслужащих, а потом все начиналось по второму, третьему и т. д. кругу).

Валя Лепин, латыш, из нашей академгруппы (но не из нашей комнаты), редко, но ездил «домой» на какой-то «остров» ГУЛАГА, где начальником был его отец. Возвращаясь, запивал.

А то был еще в нашей группе «младенец» Саша Малов — на четыре месяца младше меня (я кончил учебу и женился почти в двадцать шесть лет), умный-умный мальчик, выглядел лет на двадцать, женился на второй девушке все той же академгруппы № 16 «Б» Ане Филенковой, и уехали они работать на Сочинский водопровод.

В войну он писал мне, был в чине капитана, потом майора, командовал саперами-понтонщиками, наводил мосты на реках от Днепра до Шпрее включительно.

Вернулся домой, посидел, часок поговорил, поохал и поохал — и решил съездить в город, купить бутылочку-другую ради встречи-возвращения. Пофронтовому, на ходу, вскочил в грузовик, а там стоял контейнер, что ли, и он упал на Сашу. И задавил его насмерть.

Вот и такая была история. Страх...

Но судьба все равно благоволила к нашей комнате: все мы остались почти что целы-невредимы в войну: Виктор служил на каких-то складах, Анисим — в Персии, я — в гидрометслужбе СибВО, Вовка Коновалов получил калечащее ранение в руку и был списан. Одна-единственная покалеченная рука на семь человек — это терпимо.

Один только Саша Турбин хлебнул сначала комвзвода, потом — командиром стрелковой роты.

Я бывал у него на Хакасской опытной станции орошаемого земледелия — это отдельный рассказ. Написать бы, а?

Мы с женой Любой плавали по Иртышу в гости к Вовке Коновалову в Семипалатинск. Такое уютное семейное гнездышко при хлебосольном доме его родителей. Наверное, единственный вполне естественный родительский дом в составе обитателей нашей прекрасной комнаты общежития № 6. И очень-очень скромное служебное положение Вовки при начальнике, тоже выпускнике нашего факультета, хорошо всем нам известном (дурак дураком!). Мы удивлялись: Вовка, как это тебя угораздило? Вовка в ответ улыбался.

Кока Левшин, в душе столяр — всем нам сделал симпатичные книжные полки над кроватями, — умер от какой-то наследственной болезни первым. Вторым — Виктор Богуславский: «от сердца». (Он заменил меня в должности зав. кафедрой, когда в 1955 году мы уехали из Омска в Новосибирский строительный институт.)

Энергичные братья Жихаревы пошли в гору в степном Казахстане. Если они русские пенсионеры и ныне там — не знаю, как им приходится. Не думаю, будто сладко.

* * *

Кроме того, что нас учили «на инженеров», нас еще и готовили к званию младших лейтенантов, командиров стрелковых взводов. И, надо сказать, делали это очень неплохо. У нас был свой командир студенческой роты, с которым мы дважды отправлялись на двухмесячные военные сборы в лагеря, а помимо того нас еще призывали то во время чешских событий, то событий на китайской границе.

Одно время у нашего комстудроты был помощник по политической части, совершенный дурак, он объяснял нам, что «подводная лодка ходит под водой куда ей нужно и приходит куда ей нужно», но потом этот помощник куда-то, слава Богу, исчез, и мы остались лицом к лицу с нашим командиром товарищем Коровкиным. Товарищ Коровкин был человеком огромного роста, пузатым и с сильным голосом, у нас с ним шла непрерывная война, но он никогда не стучал на нас начальству, а мы — никогда на него.

В лагерях, утром, в солдатской столовке он шел к повару, просил его «малость подсыпать», и каша становилась несъедобно соленой. Но есть-то надо — мы ели.

Потом нас строили по четыре, мы запевали что-нибудь лихое красноармейское и шли на стрельбище (пять километров). По дороге комроты останавливал нас и приказывал построиться в одну шеренгу. Мы строились в одну. Он приказывал взять в руки фляжки. Мы брали. «Руки с фляжками вытянуть вперед!» Мы вытягивали. «Пробки отвинтить!» Мы отвинчивали. «Фляжки перевернуть!» Мы перевертывали, слушая, как вода из фляжек булькала на землю. Теперь с восьми утра и до шести вечера нам предстояло провести без капли воды, а полевым кухням, когда они развозили обед, Коровкин давал знак проезжать мимо.

Но стреляли мы лучше всех в нашем полку, в бросках были самыми выносливыми, рукопашным боем овладевали лучше всех, «ура!» кричали громче всех, и командир полка латыш Цауне (вскоре был расстрелян) не мог на нас нахвалиться. Когда мы стажировались в обычных ротах, нам служба была — орешки. Мы там отдыхали. Коровкину же мстили: он уйдет в окоп, а мы откроем по этому окопу (вокруг него) стрельбу боевыми, он и сидит там часика четыре, а мы по очереди ходим на Иртыш купаться. После идем за ним: «А мы вас потеряли, товарищ комроты».

Однажды полк инспектировали какие-то генералы, много генералов, нас пустили «в атаку» первыми, и мы, пробегая мимо них с винтовками образца 1891 года наперевес, так дико орали «ур-ра!», что те ошалели — или стараются ребята, или дураят? Решили дело не поднимать: доказать что-нибудь антисоветское было совершенно невозможно.

Коровкин наш был из фельдфебелей царской армии, во время Первой мировой дослужился до ротмистра, носил белую рубаху навыпуск и, несмотря на свое пузо, бегал с нами наравне. Думаю, что еще до начала Второй мировой он был репрессирован.

А еще был Лодыжка — есть такая часть в станковом пулемете, маленькая, горбатенькая, — вот мы и окрестили генерал-майора этим именем. Он страшно волновался, если кто не выходил на утреннюю физзарядку, и сам бегал по комнатам, проверял выполнение своего приказа. Мы на зарядку не ходили, а встречали его дружно повернувшись к нему голыми задницами, стоя, мол, собираемся идти на морозец.

Лодыжка, возмущенный, убегал, а мы ложились досыпать. Сон был особенно сладким.

* * *

А я вот — жив курилка! — сижу, лежу, пишу эту статью в инфарктной палате. К нам, инфарктникам, уважение очевидное, а мне хочется еще написать рассказик о больнице — только не о той, в которой я лежу, но о самой-самой неустроенной, куда «скорая» сбрасывает вшивых и беспаспортных бомжей: демократическое поползновение.

Само собою разумеется, мне очень и очень повезло.

А — результат? А в результате этого везения, этих исключительных в ту пору обстоятельств вышел из меня типичный... совок. И думал я очень просто: если все будет хорошо работать — все и для всех будет хорошо. Вот и вся логика. И — политика.

Видел я своими глазами коллективизацию и раскулачивание, видел так называемый «лесоповал», со стороны видел репрессии 1937-го и других годов, было у меня вполне демократическое детство, но, оказывается, все это прошло мимо меня, не повернуло, не перевернуло моей души, душевного моего состояния.

Первого живого диссидента я встретил, наверное, лет восемь — десять назад, не раньше. Это был Владимир Максимов. Я побывал у него в Париже и что-то напечатал в «Континенте», хотя тот же «Континент» меня раздолбал за аполитичность, кажется.

Хрущевская «оттепель»: она меня не только вполне устраивала, но и те оценки, которые Хрущев дал Сталину и сталинизму, те послабления, которые он ввел в печати, казались мне чем-то очень значительным. Чего стоил один только тогдашний «Новый мир»! Я полагал его за максимум и был его постоянным автором.

Вскоре после войны я защитил кандидатскую диссертацию и стал заведовать кафедрой гидромелиорации на том же факультете.

* * *

В период великих строек наш факультет пользовался особой популярностью. Прочувшись и год, и два в других институтах, молодые люди, пренебрегая потерей этих лет, шли к нам. Помню, одна очень толковая студентка, ранее закончившая педучилище и два курса педагогического вуза, отвечая на вопросы экзаменационного билета, обязательно спрашивала:

— Вам понятно? Я могу объяснить и по-другому...

Я отвечал, что мне понятно, но, уходя с экзамена с пятеркой в зачетной книжке, она и еще спрашивала:

— Вопросы ко мне есть?

— Вопросов к вам нет...

— Тогда — до свидания!

Возвращались с войны оставшиеся в живых те студенты нашего факультета, которые были призваны в армию с первого или второго курса. Они были всего на четыре-пять лет моложе меня. Все имели звания не ниже лейтенанта, а то и капитана, и майора. Все учились отлично, а защитив дипломные проекты, шли на те же великие стройки — не в проектные конторы, не в управления, а непосредственно на строительство. Через год-другой уже занимали очень высокие посты. Они обладали организаторскими способностями, навыками и командовать, и подчиняться. Будучи руководителем производственной практики студентов и как собкор «Известий», я побывал на строительстве канала Волго-Дон, Цимлянской и Волжской ГЭС, на ГЭС Новосибирской, Усть-Каменогорской и Красноярской. На всех этих великих стройках работали заключенные со сроками не более 10 лет, срок сокращался, если зек работал ударно. По сути дела, арест и заключение были своеобразным набором рабочей силы, включая инженерно-технический персонал.

В зоне мне (и не только мне) все казались одинаковы: прораб-заключенный ругался с инженером-вольняшкой, заключенные участвовали в соцсоревновании и выпускали свои стенгазеты. Возможно, все это было показушное — тюрьма есть тюрьма, — но понимание этого пришло ко мне позже, значительно позже, уже после того, как я побывал в бараках железнодорожной стройки № 501, после того, как прочел Солженицына.

501-я и 502-я стройки были затеяны Сталиным: он решил проложить железную дорогу от Сейды (станция вблизи Воркуты) до мыса Дежнева на случай войны с Америкой. Вот с этих строек практически уже никто не возвращался, и заключенные там были со сроками до 25 лет.

Величие великих строек проникало в наш быт, особенно в быт и мышление людей, которые находились здесь временно — месяц-другой, не больше, когда каждый день кажется днем особенным, исключительным.

Кончалась дневная смена, зеков строили по четыре, пересчитывали и гнали из производственной в «жилую» зону, в бараки, куда вольняшкам вход был строго-настрого запрещен. Мы, вольняшки, шли в общежитки, которые иногда достигали ранга гостиниц, я всегда жил у кого-нибудь из своих факультетских знакомцев, ночевал на раскладушке, на полу в квартирках, тоже похожих на общежитки, но там принимали всегда с распростертыми объятиями: «Слава Богу — человек с воли, а то мы ведь тут живем тоже на манер заключенных!»

Но были-случались — и другие эпизоды. Однажды черт меня дернул пройти по дну температурного шва в теле строящейся плотины — узкая, меньше метра, щель, еще не залитая гудроном, — и вдруг сверху, с высоты метров в десять, что-то упало позади меня, оглянулся — кусок бетона, а впереди — обренок арматуры. И начало, и начало сыпаться. Я бросился бегом в сторону верхнего бьефа и скоро оказался на открытом пространстве. Оглянулся. Там, наверху, стояло человек десять работяг-зек, они смотрели на меня с любопытством: «Все-таки жив? Не покалечен? Ну, Бог с тобой!» Я задумался: почему они так поступили? И пришел к выводу: только потому, что они — заключенные, а я — вольный! Этот случай опять же не имел для меня никакого воспитательного значения — мы все были участниками одного и того же строительства, и этого было достаточно. А мало ли какие случаются «мелочи».

В великих стройках как таковых я разочаровался, когда мне стала ясна их экологическая несостоятельность. А десяток, а то и полтора своих рассказов, весьма положительно встреченных тогдашней официальной критикой, я нынче не люблю брать в руки: стыдно!

* * *

Демократизм, демократия очень часто понимается как система государственного устройства, ставится в ряд определенных понятий: тоталитаризм, монархия, коммунизм, фундаментализм...

Но кажется, что это не так, что демократия как государственная система не должна, не может существовать без демократизма общественного и личного.

Если демократизма нет в обществе, откуда ему взяться как системе государственной? Демократизм — это прежде всего образ жизни, это отношение людей друг к другу, умение личности быть демократичной. Это, соответственно, исторический опыт общества и личности, опыт, который и приводит людей к демократии государственной. Опыт общения, опыт умения отличать умение от неумения, слово — от пустословия, доверие — от недоверия.

Я много раз бывал во Франции, но без языка чужой страны мало что разглядишь, помогает литература, и вот мне кажется, что таким умением обладают французы. Они очень, а иногда даже и сурово дисциплинированы, но эта дисциплина — демократична в пользу всего общества и государства.

Весь мир спорит, можно ли и нужно ли строить АЭС, поскольку каждая АЭС может привести к катастрофе, подобной Чернобыльской, но Франция в этих спорах не принимает участия, а строит атомные станции и получает от них до 80 процентов всей необходимой стране энергии.

Почему так? Да потому, что все ее АЭС построены безукоризненно (то есть дисциплинированно) настолько, что они не представляют никакой опасности. Столь же дисциплинированно они и эксплуатируются, совсем не так, как у нас в России, не так, как в США, и даже не так, как в Японии.

Демократическая дисциплина — самая трудная и самая необходимая, при том что многие выдающиеся политики не раз говорили: демократическая государственная система — очень плохая система, но лучше, к сожалению, ничего не придумано.

Демократическое государство умеет извлекать из собственной истории необходимый опыт. Франция извлекла этот опыт из своих кровавых революций, из бонапартизма, из двух мировых войн, в которых она столь активно участвовала.

ФРГ извлекла опыт из фашизма, Аденауэр ввел демократические институты немедленно после фашизма и беспрецедентных поражений Германии в Первой и Второй мировых войнах, и теперь ФРГ помогает нам, ее победите-

лям. Мы же принимаем эту помощь не моргнув глазом, как нечто должное: мало — давайте еще и еще!

Самая демократическая страна, которую я видел на своем веку (лет двадцать пять тому назад), — это Исландия. Она напоминает мне мое демократичное детство, с тем отличием, что это страна богатая. Богатая опять-таки в меру, все те исландцы, которые хотят стать богатыми непомерно, уезжают в Америку.

Исландцы очень привязаны к своей стране.

Я был у фермера, дом как дом сельского хозяина — особого блеска в нем не наведешь, но мое внимание привлекло множество портретов людей очень простых, трудовых...

Оказалось, что хозяин — одаренный художник, получил соответствующее образование в Америке, вернулся на родину и приобрел ферму, а портреты — это все его соседи и соседки, тоже фермеры.

Другой фермер — кинорежиссер, кончил наш ВГИК, поставил картину в Америке, заработал миллион и сейчас же вернулся домой. О своем киноискусстве он вспоминал безо всякого сожаления — «игрушки!».

Исландия стала богатой страной после Второй мировой войны: оказывается, во время войны мало кто ловил в Северной Атлантике селедку, и рыбы этой расплодилось тьма-тьмушая, вот исландские рыбаки и снимали урожай.

Центр Рейкьявика — добротные двухэтажные и трехэтажные дома без особых архитектурных примет, но с первого взгляда видно — очень удобные. Это — владения капитанов-рыболовов, вышедших на пенсию.

Вот и в порту города: если в бухту заходит рыбацкое судно, погруженное в воду по ватерлинию, публика на берегу ликует и аплодирует — хороший улов, если же судно высоко возвышается над водой — его как бы и не замечают.

В порту можно встретить ветеранов-пенсионеров, внимательно рассматривающих пришвартованные к причалам суда. Нередко они поднимаются на борт, ходят по палубам, заглядывают во все уголки, потом так же молчаливо уходят. Советские суда вызывали у них особый интерес.

Я спросил у нашего капитана: как же так, разве каждый, кто хочет, может подняться на борт иностранного судна?

Капитан ответил:

— Правильно, во всем мире такой порядок — посторонним вход воспрещен, но здесь по-другому: если не допустить на борт исландца, да еще пожилого, вся страна будет в недоумении — как так? почему нельзя?

Вся Исландия — пишет. Пишет романы, очерки, воспоминания, реже — стихи, но обязательно пишет. Ночью коридорные и дежурные по этажам гостиницы пишут старательно и сосредоточенно. Пишут для себя.

Каждый фермер является читателем библиотеки, нередко расположенной и за сто километров. Наезжает он в библиотеку всего несколько раз в год, обменивает одну пачку книг на другую.

Я разговорился с библиотекарем, и она сказала, что никогда не записывает, кто и какие книги взял, но еще не было случая, чтобы хотя бы одна библиотечная книга исчезла. Кстати, она заметила: после того, как советские войска вступили в Афганистан, интерес к нашей литературе заметно упал.

Однажды я ехал в посольской машине по разбитой проселочной дороге, и мы нагнали крестьянку, очень похожую на наших крестьянок: резиновые сапоги, стезонка, платочек на голове.

Хоть наша машина и была с посольским флажком, это ничуть не смутило женщину: она подняла руку — подвезите!

Наш посол сказал:

— Обязательно остановимся и возьмем человека, иначе на всю страну будет если уж не скандал, так нечто подобное.

Остановились. Посадили пассажирку, и разговор тотчас зашел о литературе. Сколько эта крестьянка читала — уму непостижимо! А жила она рядом с писателем, нобелевским лауреатом, и отзывалась о нем более чем прохладно:

— В Америке, да и в Европе не очень-то разбираются в литературе, вот и присуждают Нобеля вовсе не тому, кому следует. У нас в Исландии есть писатели и покрупнее... К тому же он и человек не очень-то: если его овцы зайдут

на мое пастбище, я — ни слова, прогоню их, и только! Но если мои окажутся в его стаде, он обязательно устраивает мне скандал. Разве так можно жить, если мы — соседи?

Весной все фермеры выгоняют своих овец на глубинные пастбища, при этом каждый из них по-своему метит маток.

Там стада никто не пасет (хищников нет), а стадо увеличивается за счет приплода.

Осенью приплод распределяется между фермерами пропорционально числу выпущенных в общее стадо маток. Просто и ясно.

Особенно меня поражали некрологи в исландских газетах: в них говорилось о том, что любил покойный покушать и что послушать по радио, посмотреть по телевизору, сколько у него было детей и внуков и чем они заняты в настоящее время. Конечно, все это может быть только в небольшой по населению стране — в то время население Исландии составляло чуть больше двухсот тысяч человек, — люди знают друг друга очень неплохо, мне даже казалось, что все прохожие на улицах должны здороваться друг с другом. Но нет — не здороваются... Может быть, делают вид, что не знакомы?

Был я в самом крупном научно-исследовательском институте страны — институте рыболовства. Его штат — 25 человек. Вот и численность министерств примерно такая же, а часто и много меньше.

Еще всплывает в памяти, что в нескольких километрах от Рейкьявика мы не раз проезжали мимо довольно старинного дома — на самом берегу океана: не помню сейчас, двух- или трехэтажным был этот дом, белый, но не безупречной белизны, он был совершенно одинок — кругом открытая каменистая равнина, забора вокруг нет никакого, зелени нет, тихо, шум прибоя и гул ветра.

Я спросил — что за странный дом?

Оказалось, это загородная резиденция президента.

Другой раз был я на пепелище — сгоревшая почти дотла деревянная постройка. Это тоже был загородный дом сравнительно недавнего исландского президента: президент, ложась спать, забыл погасить огонь в печке, и ночью дом сгорел, президент тоже.

В Исландии так: как живут все люди, так живет и президент.

Все эти внешние, чисто внешние наблюдения говорят о том, что Исландия — страна демократическая. И это действительно так: парламентский строй здесь — самый древний в Европе. Я видел некрутой склон, по склону в несколько рядов вырыты неглубокие ямки: так вот это и был первый исландский парламент (альтинг) — каждый парламентарий вырывал себе ямку, в ней и заседал. Давно это было — девятьсот лет тому назад.

Невольно приходит мысль — и зачем только существуют великие нации? Не потому ли, что существуют материки, они-то и спровоцировали человечество на создание государств, каждое из которых стремится быть самым мощным. А вот в Исландии не существует национального вопроса, там нет армии, никогда не было революций, никогда ни с кем эта страна не воевала.

Это вовсе не значит, что история у нее благодатная, — далеко не так. Кто только этот остров не оккупировал, не подчинял себе — и Норвегия, и Дания, и Англия, и Америка.

Исландия тяжело осваивала новую технику, труд был ручным, тяжким, железных дорог нет и километра — не нужны, а шоссейных — километров тридцать — сорок. Грунт каменистый, можно обойтись и без асфальта. И все-таки... Все-таки демократическая Исландия — это одна из самых справедливых стран. Может быть, и самая справедливая, самая демократичная.

Конечно, она никому не пример, уже по одному тому, что у нее островное положение, суровая природа, очень небольшое население, но при этом она — Европа, из Европы произошла (первыми поселенцами на острове были ирландские монахи).

Но вот в чем дело: Исландия — сама себе пример. И мне кажется, каждый исландец это чувствует, не расстается с этим чувством никогда.

А это — очень существенно. Особенно для России — мы-то не владеем примером для самих себя, а если случается — время показывает, что чувство это было ложным.

* * *

Почему-то сохранились в памяти мелкие демократические заграничные. Жена председателя Союза писателей Дании — очень организованный Союз, — вызвавшись быть при нас с Полевым шофером, предупредила: вечером я у вас не буду — прием в королевском дворце!

— Ну, конечно, побывать надо!

— Если бы! Но у меня с моей приятельницей крупное пари: завтра я похлопаю королеву по заднице!

На другой день утром, еще до завтрака, мы спросили:

— Ну? И как?

— Конечно, похлопала!

— И что же королева?

— Оглянулась, а я улыбаюсь ей во весь рот! Радостно так! Ну, ей ничего другого не оставалось, как улыбнуться мне.

Позже мы обмывали пари, как будто сами были его участниками.

Другая дисциплинированная демократия в том же Копенгагене: в воскресенье днем четыре часа подряд собака водит пешеходов, ранее нарушивших правила перехода, водит на зеленый свет всей толпой. Никто от собаки не убежит, никто не отстанет. За собакой присматривает полицейский на углу.

А вот в Португалии мы почти четыре часа смотрели спектакль, в котором главным действующим лицом был... мужской половой член ростом до потолка. Скука невероятная, и уехать нельзя — дело было далеко за городом (Лиссабон), а машин не было.

Вот этакая демократия у нас нынче в большой моде. Усваиваем более чем успешно, «деятели культуры» стараются изо всех сил.

...Снова в Дании.

Мы побывали во многих сельских школах страны: прекрасные помещения, классы, компьютеры. Но что нас поразило — учителя: рослые, красивые, прекрасно одетые. Оказывается, отбор — таких и нужно детям, чтобы они могли учителем восхищаться. Учительницы желательно должны уметь шить, чтобы учить мастерству девочек. Мы кинулись в Министерство просвещения. Министр — тоже учитель со стажем, и как таковой он получал больше министра. Пришлось сделать ему персональную надбавку (чтобы согласился стать министром). В здании правительства отгорожен конец коридора — приемная министра. Справа и слева еще по кабинету — всё. Все министерство. Чем же занят министр?

— Бываю на уроках, даю методические рекомендации. Но больше имею дело с инженерами.

— Как так?

— У нас в Дании четыре типа школ. Самые старые, — (мы в них были — очень хорошие!), — построены по проекту (помнится) 1871 года, нынче шла модернизация — заменяем их на проект 1950 года. Непрерывное строительство — главная забота. Ну и новые учебники...

Все ясно и понятно...

* * *

Но не скажу, что я в Советской России нигде и никогда не встречал очагов (или очажков) демократии. Встречал. Причем отнюдь не в демократические времена. И все встречали, кто был причастен к так называемым «академическим городкам», по существу, мгновенно созданным в конце пятидесятых — начале шестидесятых годов в РСФСР, да и в союзных республиках тоже. Правильное было принято в то время решение: рассредоточить науку из Москвы и Ленинграда по всей стране, а в первую очередь — по Сибири. И тогда это решение дошло до Новосибирска, где вместо хилого филиала Академии наук СССР возникло очень мощное Сибирское отделение, которому были приданы «городки» в Томске, Красноярске, Иркутске, Якутске.

Я, как мелиоратор, был привлечен к выбору строительной площадки под Сибирское отделение. «Ударные» строительные работы были выполнены очень

быстро, и через год-полтора стали открываться научно-исследовательские институты по разным профилям, преимущественно техническим — физики, химии, механики, геологии, возник и один гуманитарный институт, он занимался вопросами археологии, истории и литературы.

Строительную площадку мы выбрали очень красивую, благодатную — чуть отступая от Обского водохранилища, в сосновом бору, километрах в двадцати пяти от центра города. (Но вот беда — вскоре бор заселили клещи, а Обское водохранилище зацвело.)

Председателем правления Сибирского отделения стал академик М. А. Лаврентьев — крупный ученый и очень энергичный человек, но с характером отнюдь не легким. Поначалу эта «нелегкость» не просматривалась — все были поглощены новым и спорным делом.

Часто среди ученых, как будто уже и завершивших свою карьеру, встречаются такие, которым уже за пятьдесят, а то и за шестьдесят лет, но им хочется начать что-то новое и в новом, непривычном месте, с новыми людьми вкупе со своими сегодняшними учениками.

Так и в Новосибирский академгородок потянулись за Лаврентьевым очень крупные ученые с выводами самых успевающих учеников — аспирантов, ассистентов, кандидатов (и докторов тоже) наук.

Вот где царила демократия! Ни Москве, ни Ленинграду и не снилось! Я не берусь судить о научных достижениях этого огромного коллектива, мои впечатления, можно сказать, второстепенные, но уж какие есть. Я состоял при академике Пелагее Яковлевне Кочиной, поскольку она, будучи математиком, возглавляла еще и природоохранное направление. Правда, квартиру в городке Лаврентьев мне не дал, там поселили одного или двух писателей, и Лаврентьев сказал: хватит с меня этакого народа, больше — не пушу! Может быть, это и к лучшему — я все равно жил в городке, но ни от кого не зависел. Жил то в гостинице, то у своего шефа Кочиной, с временным жильем не было никаких проблем — можно было подойти к знакомому академику (у всех академиком были обширные коттеджи) и спросить:

— Можно у вас пожить недельки три, месячишко?

И согласие было немедленным — такое было в ту пору в городке гостеприимство, такой был интерес к литературе, к писателям.

Признаюсь, меня больше тянули крупные имена, люди солидные, личности с определенными характерами, с широкими интересами. Чем занималась молодежь, аспиранты, меня не очень-то интересовало. То ли уже в возрасте я был таким — под пятьдесят, то ли поиск некой сложившейся в науке личности меня привлекал, не знаю. А личности я встречал в самом деле интереснейшие, особенно по тому времени.

Был такой член-корреспондент академии Стрелков, физик, специалист по низким температурам, так он в свое время в присутствии Сталина отказался участвовать в создании атомной бомбы. После все ждал — когда его арестуют. Но случилось другое: ему предложили выехать в Америку в какое-то учреждение при только что созданной Организации Объединенных Наций. (Теперь-то я думаю — может быть, для знакомства с этой проблемой в Америке?)

В Америку он добирался ни много ни мало девять месяцев, через Иран, через африканские государства, и все время думал, что его где-нибудь да прикончат. Но добрался-таки живым-невредимым. Так или иначе, но человек это был удивительный и совершенно бескорыстный. Незадолго до кончины он заболел, лишился способности передвигаться — только от кровати до письменного стола и обратно. И тогда вся деятельность Стрелкова как директора специального института была перенесена в его коттедж. Не знаю толком, как складывался его рабочий день, а вечера отводились встречам с молодежью его и других институтов. Что только, какие специальные проблемы там не обсуждались (за чаем и угощениями его супруги), какие только не возникали споры, но последнее слово всегда было за Петром Георгиевичем. Когда он умер, оказалось, что на сберкнижке у него — копейки. Все, что зарабатывал, он тратил на эти молодежные посиделки.

В этих посиделках принимал участие и я — читал главы из романа, над которым в ту пору работал («Соленая Падь»).

* * *

Академик Канторович был первым экономистом-рыночником, которого я видел живьем.

Однажды я забрел к нему в коттедж, мы сели попить чайку под огромным многолистным и ярко-зеленым фикусом, и за полчаса он объяснил мне, почему и чем порочна система государственной монополии и государственного планирования.

Я ошалел. Я ошалел еще больше, когда он сказал мне, что он не может и не должен жить в стране, в которой он никому-никому не нужен, никем не понимаем, а в силу этого даже и презираем, и что при первой же возможности он покинет Советский Союз, поселится в Америке, по модели которой он разрабатывает систему математической экономики.

Так и получилось: года через два Канторович эмигрировал в Америку, а это по тем временам был случай совершенно исключительный, еще год-другой спустя он стал лауреатом Нобелевской премии.

Разговор наш в тот день я чуть ли не дословно помню и сейчас, но я все равно оставался при своем принципе: всем надо работать хорошо, а тогда все будет хорошо.

Были среди ученых и оригиналы — не дай Бог!

Однажды (середина шестидесятых) мы с женой встречали Новый год в доме выдающегося математика, к тому же поклонника (и знатока музыки вообще) Шостаковича — я, пожалуй, и не встречал такого же среди непрофессионалов.

Новогодняя ночь даже для Новосибирска выдалась необычной, жестоко холодной — температура ниже минус 50°, — вокруг этого факта неизбежно и завелся послуживший разговор, выпили чуть-чуть. Было уже часа три ночи.

Вдруг хозяин дома говорит:

— Да это же пустяки — минус пятьдесят! Пустяки, и ничего больше! Хотите, я добегу до угла нашего квартала босиком? Разуюсь и пробегу туда-обратно?

Никто, разумеется, этого не хотел, все закричали, замахали руками, но хозяин был неумолим: пробегу! Одна только женщина (жена нашего оригинала) не сказала ни слова: знала, что бесполезно. А наш академик надел шубу, шапку, разулся и побежал. И не только побежал — прибежал обратно.

Результат: сильнейшее обморожение обеих ног, сильнейшее воспаление легких, два (или около того) месяца пребывания в больнице.

Больного в больнице навещали, оказалось, что он очень горд собой: вот вы все кричали — «нельзя! нельзя! нельзя!», а я доказал, что можно!

В доме другого академика, физика, в столовой стояло два кресла. Если кто приходил в гости впервые, ему объясняли:

— Одно из этих кресел когда-то принадлежало Тургеневу, а другое — Лаврентию Берии. Выбирайте, в которое вы сядете.

Обычно новичок усаживался в кресло Берии.

Наверное, это был розыгрыш, кресла никогда не принадлежали ни Тургеневу, ни Берии.

Но вот другой случай: обедали мы в столовой, академик Будкер, его коллега физик, академик Французской академии наук, и я сидели за одним столом, Будкер что-то объяснял французу (тот знал русский), француз не понимал, оба сердились, наконец француз и говорит:

— Ничего не понимаю! Может быть, я — дурак!

— Вполне может быть, что и дурак! — подтвердил Будкер.

Француз встал и ушел.

Будкер меня спрашивает:

— По-моему, не очень хорошо получилось?..

— Совсем нехорошо! — говорю я.

— Это все потому, что наш коллега — истинный дурак.

— Но он же — академик!

— Ну вы тоже даете, что это за довод — «академик»!

А вообще-то дом Будкерев был один из самых гостеприимных в Академгородке. Кстати, француз прислал Будкеру года через два письмо, признался, что он в том разговоре был дураком.

Однако же у молодежи были и свои, молодежные, интересы, и даже не столько свои, сколько общественные.

Этому безусловно способствовала хрущевская «оттепель» — она возбудила огромные надежды, она звала к политической активности.

Молодые люди устраивали жаркие дискуссии (это не мешало им оставаться надежным резервом своих учителей), они с увлечением работали в лабораториях, с не меньшим читали «оттепельные» произведения многих тогдашних писателей. Нарасхват был, конечно, солженицынский «Один день...», да и другие его произведения в списках.

Многие писатели из Москвы, Ленинграда приезжали тогда в Академгородок, многие и отказывались — Софронов, например, Грибачев. Тогда на сцене не усаживался кто-то из молодых людей и отвечал на вопросы аудитории от имени отсутствующего писателя — это было смешно, остроумно.

Не вполне удачно прошло в Академгородке выступление А. Т. Твардовского: он заявил, что является последовательным сторонником советской власти и коммунистической партии, а публикации в его журнале того же Солженицына продиктованы желанием открыть партии глаза, помочь ей исправить ошибки. Он очень резко отозвался о всеми любимом в Академгородке преподавателе литературы местной физматшколы (результатом было то, что чуть ли не на другой день этот преподаватель был снят с работы).

Встреча продолжалась больше четырех часов в переполненном и душном зале кинотеатра, кое-кто уже падал в обморок.

И ведь вот еще что любопытно: все это происходило в бытность местного первого секретаря райкома, а потом и секретаря по идеологии Новосибирского обкома КПСС Егора Кузьмича Лигачева.

Я вот к чему: «оттепель» многим представлялась шансом обновить и власть, и образ жизни, но тут был снят Хрущев, и это было воспринято как отказ от нового, или хотя бы обновленного, курса.

Наступала пора разочарований. Сникли молодежные тусовки, академики замкнулись в своих коттеджах.

У меня же произошло серьезное столкновение с Лаврентьевым: он громко объявил, что в последующие пятнадцать лет в Кулундинской степи будет орошено 1,5 млн. гектаров. Это была невероятная фантазия: в Кулунде нет столько земель, пригодных для орошения, земли там пестрые, разбросанные островками среди малоплодородной степи, и тянуть к ним каналы — безумие. Население малочисленное, оно не справлялось и с обычными работами сельскохозяйственного цикла, а ведь орошаемые земли требуют в три-четыре раза больше рабочей силы, чем неполивные. (В результате было орошено 500 гектаров.)

Я с глубоким уважением относился к Лаврентьеву, но он уже не был тем Лаврентьевым, который на месте будущего Академгородка в глухом лесу построил избушку и поселился в ней с женой. Теперь некоторые ученые искали знакомства с его домработницей. Лаврентьев был выдающимся исследователем прежде всего в области направленных взрывов и очень помог стране во время войны, он и в Кулунде намеревался не копать, а «взрывать» каналы. Он основал Академгородок, и ему стало казаться, что он может все. Вот так же и советская власть: понастроив великие (но не всегда необходимые) сооружения, победив Германию, она вообразила, что может все... Это и есть коммунистическое воспитание... Утопия!

Этот же тип сознания я замечаю нынче у всех руководителей нашего государства, вышедших из коммунистического аппарата, — Ельцин не представляет исключения.

Да, советская власть могла если уж не все, так очень многое. Могла строить самые крупные в мире ГЭС, не считаясь с размерами затоплений и разрушением берегов водохранилищ, могла догонять, а то и перегонять Америку в вооружениях, могла ни за что ни про что уничтожить десяток-другой миллионов своих граждан, могла тайно тратить колоссальные деньги на поддержку коммунистического движения как в цивилизованных, так и в полудиких странах, могла переселять целые народы с земель предков на земли им чуждые, могла придумать и осуществить проект переделки природы, во многом — против законов природы, могла неизвестно почему и зачем воевать в Афганиста-

не, могла затеять переброску стока северных рек в Каспий, притом что уровень Каспия уже в то время неуклонно поднимался сам по себе. В том-то и состоит ужас тоталитаризма, что он совершает великие деяния только потому, что их можно совершить, а не потому, что они действительно необходимы. Так же обстояло дело и с революцией: вдруг предоставилась возможность ее осуществить (и не более того), но для коммунистов это стало высшей задачей, целью их жизни. И если что-то и противостоит подобным возможностям, так только демократизм, который обладает более широким кругозором, ищет эволюционные пути развития.

Между прочим, дореволюционная Россия тоже осуществляла великие строительства — скажем, Транссибирской магистрали или осушение Барабы, — но кто мог бы поставить под сомнение эти уникальные для того времени начинания?

Правительство Николая Второго не отличалось высокой нравственностью, но сколько там было министров, которые жили ради государства, совершали мужественные поступки вопреки интересам своей собственной карьеры? Столыпин был, А. В. Кривошеин был, и тот же хитрец и интриган С. Ю. Витте. А — нынче? Сидят и смотрят с двух сторон в рот главе правительства, даже и не думая о том, что на них кто-то тоже ведь смотрит. Со стороны. А министров у нас сколько и к ним приравненных депутатов, председателей комиссий и комитетов? С тыщонку, побольше того наберется? Говорят — усложнилась система управления. Не столько она усложнилась, сколько стала вожделеннее.

Но это — отступление по ходу дела.

Уже когда я переехал в Москву, мы встретились с академиком Будкером, и он поведал мне, что очень многие ученые Академгородка отказываются дальше работать с Лаврентьевым, и вот возникла идея: построить где-нибудь в России новый академгородок, начать там все сначала. Не соглашусь ли я поехать к первому секретарю Смоленского обкома КПСС и переговорить с ним на этот счет? Мне это удобнее, чем кому-то из ученых. Я согласился и уже взял билет на поезд, когда последовал отбой — не надо!

* * *

Мои послеинститутские годы были если уж не серыми, так ординарными безусловно.

Кафедрой мы пытались что-то сделать, шефствовали над несколькими колхозами, потом «выбросили» два призыва: каждому колхозу — библиотеку, позже: каждому колхозу — водоем. В те времена надо было (а это — не просто) получить одобрение начальства — первого секретаря обкома КПСС, мы так-то получили, и научные работники нескольких институтов поделились своими библиотеками, а потом дело пошло — сами колхозы уже были заинтересованы.

Водоемы (в степной части области) мы копали сами: находили деньги, и трактористы МТС, и мы сами ездили на бульдозерах и скреперах — дело двух-трех дней.

Тем более что во многих селениях водоемы были сооружены еще переселенческим департаментом Министерства земледелия и государственных имуществ.

Позже я рассорился с институтским начальством, и мы уехали из Омска.

В Новосибирске я уже решил заняться литературой и для начала принялся читать классиков. Я ведь никогда не прослушал ни одной лекции по литературе, общее образование у меня — семь классов. Вот я и принялся читать — всего Тургенева, всего Лескова, всего Чехова, всего Решетникова.

Решетников — не очень-то сильный писатель, но самый демократичный из всех, кого я читал.

А жителем Москвы я оказался вот по какому случаю: в один из своих приездов в столицу зашел к секретарю Союза писателей Г. Маркову, и тот сказал мне:

— Мужик! — (такое у него было обращение к землякам-сибирякам). — Мужик, тебе нельзя возвращаться в Новосибирск!

— Почему вдруг? — удивился я. (Хотя и догадывался, в чем было дело.)

— Не буду объяснять, но — нельзя, и только!

— А где же я буду жить в Москве?

— В Доме творчества в Переделкине. Вопрос обговорен в Литфонде.

— И долго мне там придется жить?

— Года три...

— Почему так долго?

— Потому что они, — (они — это значило ЦК), — меньший срок бесквартирного жителя писателя пропустят мимо ушей, а три года — это убедительно. Через три года я сам возьмусь за это дело и — вот увидишь — сделаю.

Через три с половиной года Марков действительно все сделал как бы даже и в одночасье. За это время я, конечно, не раз наезжал домой в Новосибирск, всякий раз не больше чем на две-три недели (так предупреждал Марков), жена и дочь с внучкой приезжали ко мне на лето в Дом творчества, но это дела не меняло — я уже не был новосибирцем, тем более — жителем Академгородка.

Марков — это особая страница нашей политической жизни тех лет. Он же — тех лет продукт. Кажется, это самый умный и самый прагматичный политик, которого я когда-либо встречал. Свое творчество он очень и очень переоценивал, ставил где-то рядом с творчеством Льва Толстого, но во всем остальном знал меру, с начальством играл хитро, но по отношению к диссидентам был жесток.

Не думаю, что Марков сам выдвигал кандидатов на звание диссидента, но уж если получал указание, скажем, от генсека ЦК КПСС, так исполнял его со всем рвением. Союз писателей он устраивал капитально, помощников выбирал безошибочно. Он мог бы сделать большую политическую карьеру, уж во всяком случае, стать членом Политбюро, но не хотел — дело ненадежное. В тридцатые годы он не в переносном, а в буквальном смысле слова вырвался из рук людей, которые хотели его арестовать, скрывался в глухой таежной деревушке, и все это сделало его очень осторожным. Вероятно, он мог бы стать дельным политиком и руководителем и в демократическом государстве, если бы не один пункт — его непоколебимая уверенность в том, что он писатель милостью Божьей.

У него была совершенно исключительная память, он знал не только, что тот или другой писатель написал, но и когда, в каком году ту или иную вещь издал.

Конечно, это нынче я выдаю развернутую характеристику, а в те времена он был для меня просто Гоша, относился же я к нему с достаточным уважением.

* * *

Ну а в Академгородке промелькнул передо мной период некоего демократизма, если на то пошло — слегка государственного, похожего на демократизм исландский.

Еще маленький штрих.

Как-то ко мне из города приехала в Академгородок жена и во дворе на столике, на месте довольно бойком, забыла сумочку с деньгами. Вернувшись в город, хватилась — но было уже поздно ехать обратно, и поехала она утром, безо всякой уже надежды...

И что же? Сумочка, никем не тронутая, лежала на столике.

Мы радовались и мечтали: может быть, еще при нашей жизни во всей стране будет так же?

* * *

Демократия «детская», демократия государственная, но есть, существует, и я ее очень чувствую, еще одна демократия — природная.

Природа — это система, может быть, даже идеальная для данных ей условий. В самом деле, жизнь возникла на земной коре, а это слой толщиной 30 — 40 километров на равнинах, 70 километров в горных местностях, 5 — 10 километров под океанами. Глубже — огненная лава. Это — под нами. Над нами, на огромном от нас расстоянии, тоже кипящая лава — Солнце, и жизнь возможна

только на этой тонюсенькой оболочке Земли. Да ведь какая жизнь — не какие-то там бактерии, а высшие человеческие организмы!

Значит, земная кора — это продукт компромиссов между бытием и небытием, какое-то согласие между тем и другим, а это уже и есть демократия. Бытие может быть только таким, каким его допускает небытие. Каким оно существует в строжайших рамках законов природы, нашедшей-таки компромисс с небытием.

Конечно, природа сурова и даже — жестока, но не забудем, что она прошла через какой-то компромисс с небытием, очевидно совершив немалые уступки.

У нас в ходу выражение «борьба за жизнь». Но это и есть борьба за компромисс. Черепаха откладывает в песок сто яиц. Пока они ползут в море, девяносто восемь, девяносто девять из них пожирают хищные птицы-фрегаты. Ужасно? А что было бы, если бы выживало 100 процентов черепашек? Зато львы рождаются единицами.

Если мы говорим о системе существования, вообще о любой системе — практической или теоретической, — более совершенной, чем система природы, не только нет, но и не может быть. Разве что где-нибудь за пределами Вселенной. И это глупо — изыскивать какие-то системы совершеннее природных.

Демократизм, с его идеей сотрудничества эволюционного, а не революционного, уже выражен в природе. Демократизм человеческого общества ищет максимально возможной общественной гармонии по примеру природы. Он ищет той природной красоты, которую выражает через искусство, поэтому развитое, ничем не стесненное искусство является первейшим признаком демократии. Признаком, кстати, идущим из древности. Художник, даже когда он изображает нечто страшное и безобразное, все равно делает это во имя красоты, чтобы подчеркнуть ее необходимость. Я думаю, что чувство красоты — это не что иное, как чувство приближения к природе, к ее гармонии, к ее умению устроить жизнь на тончайшем слое земной коры. К умению, которое есть чудо из чудес, существующее в доступном нашему пониманию мире. Устраивая жизнь, природа дала всему живому еще и чувство обязательности жизни, необходимости ее продления в поколениях и поколениях. Покуда организм может, он обязан жить. Даже смерть — это тоже способ продления и обновления жизни. Искусству дано изображать и эту нашу обязанность, а в то же время оно, искусство, уже давно предсказывает неизбежность конца жизни, ее завершения. Это неизбежно уже потому, что человек с некоторых пор стал существом надприродным, подчиняет законы природы своим собственным законам. Все живые существа руководствуются лишь теми потребностями, которые раз и навсегда заложены в них природой, хищные животные, птицы и рыбы не наделены способностью создавать себе запасы продовольствия, они могут съесть не больше того, что могут съесть, именно поэтому ни лисы, ни волки так и не съедят всех зайцев. Животные не хищные (например, белки) это могут. Человек — единственное существо, которое определяет свои потребности сам, а современная цивилизация — это невиданный и ни в коей мере не предусмотренный природой рост его потребностей. Человек, даже хорошо зная, что он приближает свой конец, никогда не поступится хотя бы частью цивилизации. Он теряет чувство обязательности своего присутствия в этом мире. Он уже и существует-то только ради цивилизации.

* * *

Одним из величайших преступлений коммунистических утопий было беспощадное преследование и разрушение религии, которая учила людей ограничивать свои потребности, в том числе — и в революциях. Коммунисты словно боялись, что Бог окажется умнее их, и жестоко-торопливо разрушали храмы, жгли иконы. Тем самым они без зазрения совести сводили какой бы то ни было разум к собственному разуму.

Если религия считает разум человеческий лишь частицей разума Божьего — это прекрасно и мудро. Тем более на это было неоспоримое право: религией созданы книги, которые только и могли стать вечными, — Библия, Коран. Ничего более мудрого человек никогда не изречет, не придумает. Библия — это книга об обязанности человека жить. Жить и после того, как он пе-

рестал быть тварью и стал человеком. Обладая этими книгами, человечество вступило в эпоху своего нового сознания и осознания. Так оно и есть, хотя Маркс, Ленин, Сталин считали, что сознательное существование человечества начинается именно с их «Капитала», «Апрельских тезисов» и с «Краткого курса истории ВКП(б)».

Но почему это в любом случае разум человека мы принимаем за некий стандарт, обязательный для всех разумов, сколько их может быть? Наш-то разум связан с земной природой, а вряд ли где-то существует копия нашей Земли — для этого нужны десятки, тысячи, миллионы совпадений тех условий, при которых Земля возникла.

Если бы Земля была меньше или больше по весу, чем она есть, на одну десятую, у нее была бы уже другая орбита, а значит, и другой климат, и другая атмосфера, а у живых существ, если бы они все-таки возникли, был бы другой состав крови, другой образ существования, другое мышление. Другой разум.

Но на нашей орбите нет больше никого, а на орбитах других — все другое, разве что какие-нибудь простейшие бактерии могут быть одинаковыми.

Могут быть другие Вселенные, но вряд ли там такие же солнца, как наше Солнышко, значит, там и существование, если оно есть, тоже другое.

Не может быть, чтобы у тех, еще неведомых нам, солнц был такой же вес, такой же химический состав, такой же возраст, такое же свечение.

И ученые, и дилетанты все время тычут нам в нос НЛО: видите — другое существование рядом! Но может быть, НЛО вовсе не базируются на какой-то планете, а летают сами по себе в некоторых качествах, которые мы и разумом-то в нашем собственном понимании назвать не решимся?

Ну конечно, легче представить себе НЛО как посланников некой планеты, где созданы головные конструкторские бюро, укомплектованные Сергееми Павловичами Королевыми, развернута мощная космическая промышленность, а трудящиеся выпивают только по выходным, не курят и получают зарплату (без задержек) в три с половиной раза более высокую, чем средняя зарплата в ФРГ. И местные аэлиты грустят в ожидании пришельцев с Земли, о которых они много слышали.

Недавно я не без удивления прочел, что в истории Земли был такой период, когда самыми умными были ящеры (умными по соотношению веса клеток мозга к весу всего тела). Однако настал ледниковый период, ящеры вымерли, и тогда самым умным на Земле оказался человек. Значит, могло быть и иначе?

Все иначе могло быть на Земле, а то, что иначе, не так, как у нас с вами, на других планетах — сомневаться, мне кажется, не приходится.

Ведь налицо система природы, если же есть система природы — значит, есть и цель этой системы; если есть и система, и цель — значит, за этим стоит разум, и не только тот, который мы способны постичь, хотя бы и через понятие Бога, но и тот, который вне любого нашего разума. Быть может, над разумом природы стоит еще некий разум, а над тем — еще и еще разумы, и они бесконечны так же, как бесконечна не только Вселенная, но и Вселенные.

Те разумы могут быть тоталитарными, но все равно, если мы объявляем тоталитарным свой собственный разум, причем обязательным и для природы, — это опять-таки величайшая глупость.

Я также думаю, что человечество уже сотворило свою главную беду, уже позволило себе возвыситься над природой, над ее законами, и это произошло недавно, где-то в середине прошлого века, и продолжается и продолжается в веке Двадцатом.

В прошлом веке еще были два пути развития техники: один — использование природной энергии: Солнца, приливов и отливов, энергии ветра. Но это — энергия рассеянная, концентрировать ее очень трудно, да и не так эффективно, если исходить из интересов цивилизации. И тогда был избран другой путь — путь создания таких энергий, которых в природе нет (не считая отдельных проявлений): сначала энергии электрической, а затем атомной. Нам обязательно нужно было создать не солнечные батареи, а такие энергетические мощности, которые соответствовали бы нашим текущим потребностям.

Мне представляется, что искусство уловило этот перелом в отношениях человека с природой раньше сознания научного.

Выхожу один я на дорогу;
Сквозь туман кремнистый путь блестит.
Ночь тиха. Пустыня внемлет Богу,
И звезда с звездою говорит.

В небесах торжественно и чудно!
Спит земля в сиянье голубом...
Что же мне так больно и так трудно?
Жду ль чего? Жалею ли о чем?
.....

Где еще в столь же поэтической форме и интерпретации выражено это чувство грусти человека, воспринимающего природу божественным и вечным творением, но себя самого — чем-то преходящим и вечно не успокоенным? Такое предчувствие драмы в отношениях между человеком и природой? Человеческое, для которого его будущее — это его вечная, неиссякаемая боль?

Вот уже и пройден людьми путь между двумя эпохами, между теми легендарными годами, когда были изобретены точные меры длины, а измеренное пространство оказалось подчиненным человеку, когда был изобретен календарь и время тоже оказалось в руках человеческих, — и нашей современностью, полностью подчинившей природу своим потребностям, уничтожающей природу денно и нощно. И это опять-таки при том, что мы совершенно отчетливо представляем себе, что совершаем самое варварское уничтожение за историю человечества, а значит, и самих себя.

Конечно, Лермонтов не знал слова «экология» и не догадывался о том, что человечеству осталось каких-нибудь два века для человеческой, людьми устроенной жизни (природных ресурсов нам хватит до 2030 — 2050 годов, к тому же времени и озоновая дыра накроет нас), но его чувство оказалось сильнее знаний, сильнее разума, и я подчиняюсь этому чувству.

Если мы не потеряли окончательно чувства обязанности жить, мы должны принять тот демократический способ жизни, за которым только и может последовать демократическая государственность.

Я довольно много читал философов и натурфилософов, но даже и не чтение, а собственный опыт привел меня к тому, о чем я пишу нынче, что закрепилось в памяти как нечто существенное в этом плане. И вот я вкратце касаюсь здесь своих взглядов на проблему отношений человека с природой, своего восприятия природы, а отчасти даже и космоса, прежде всего потому, что законы природы — это демократия в ее идеальном воплощении. Ничего более мудрого человек придумать не может, а пытаться это сделать — напрасный, а может быть, и вредный труд. Повторюсь: вся природа построена на однажды найденном компромиссе между бытием и небытием, вся она — компромисс между всем и вся, что в ней существует. Демократический компромисс.

Говорят, что я — пантеист. Мне не очень-то по душе так ли, иначе ли классифицировать и свои размышления, и самого себя, но и возражений на этот счет я не имею: моя специальность — гидромелиорация, и многие годы природоохранной (как теперь говорят — экологической) деятельности, верно, дают к тому основания.

* * *

Однако же к чему все это, если автор ни слова не скажет о том, как воспринимает он демократию нынешнюю? Так называемую, но — реальную?

Я, кажется, уже упоминал о том, что нынешняя российская демократия — это нечто вроде незаконнорожденного дитяти, а может быть, и круглая сирота без отца, без матери. (Хотя этого, как известно, и не может быть.) Она пришла на клич Горбачева и других.

Демократическая государственность всегда возникала снизу вверх: из общества, для этого созревшего, шли требования наверх — к государственным структурам, чтобы они не особенно-то мешкая тоже демократизировались.

У нас — как всегда — все наоборот: демократию со своих верхов провозгласил Горбачев, Генеральный секретарь Коммунистической партии: с такого-то числа — мы государство новое и демократическое!

Далеко не все как следует расслышали этот клич, а из тех, кто расслышал, одни пожалы плечами, другие горько или иронически улыбнулись: «Посмотрим...»

Нынче смотрим. И переживаем.

В истории России, не считая времен древнего Новгорода, подобный клич раздается второй раз — впервые он прозвучал в 1917 году от Временного правительства. Чем тогда этот призыв кончился — известно. Чем кончится нынче — неизвестно самому Господу Богу. Обещаниям, которые в неимоверном количестве даются на этот счет каждым, кто оказался у власти — и кто, к собственному великому сожалению, не оказался, — грош цена, возражения, которые, опять же, облечены в форму обещаний, и медного гроша не стоят.

В том-то и дело, что и Ельцин, и Зюганов — воспитанники одной, коммунистической, школы, которая научила их, ничем не стесняясь, давать обещания, исходя даже и не из сегодняшней реальной действительности, а из некоего благополучного завтра, вполне обеспеченного всей и всяческой справедливостью.

Нынешних коммунистов своими руками создал Ельцин, поскольку в стране до крайности неблагополучно, а это и есть среда обитания коммунистов. В странах благополучных такому коммунизму нынче делать нечего, разве что раскладывать собственные никому не интересные пасьянсы.

И не так уж плоха для Ельцина оппозиция коммунистическая: прошлое, причем совсем недавнее, тяготеет над этой партией — а над Ельциным-то оно будто и вовсе не тяготеет, полностью освободился.

Гораздо опаснее была бы для него умная оппозиция демократическая, возглавляемая авторитетным лидером. Но таковой нет и таковых нет. И не предвидится в скором времени. Есть два демократа (по их собственному мнению). Жириновский, который не на барахолке, а в Думе с большой сноровкой таскает женщин за волосы и без конца выпендривается на ТВ (это стало его специальностью). Правительству же он предлагает (в печати) заимствовать опыт мафии, создание мафиозной братвы из кабинета министров («Известия»).

Второй — это Явлинский. Этот говорит так, что понять невозможно: все тонет в некой глубине, а на поверхности остаются одни только амбиции.

Молодые вдумские демократические организации как-то уж очень быстро сникли, постарели, вспоминают свою такую недавнюю, так много обещавшую молодость и не находят своего места в современном обществе. Их довольно много, и по сю пору много там и беспартийных демократов, но все как-то получается, что напрасно, безрезультатно.

Организации эти раздроблены, создать единую политическую партию (подобную коммунистической?) они совершенно не в силах. Коммунисты из такой неприметной фигуры, как Зюганов, сумели сделать лидера, а демократы, при том, что таковыми являются и Солженицын, и Ковалев, а еще недавно в живых были Сахаров и Адамович, никакого лидерства создать не смогли, и нынче для Ельцина что демократические партии есть, что их нет — все равно. Тем более, что Ельцин сам себя нередко объявляет первостатейным демократом (правда, чем дальше, тем все реже и реже).

* * *

Вспоминаю Андрея Дмитриевича Сахарова.

На совещаниях неофициального Президентского совета, которые довольно часто собирал Горбачев, Андрей Дмитриевич брал первое слово и монотонным голосом зачитывал свою очередную политическую декларацию. Декларация была умной, весь вопрос был в том, кто и как ее стал бы осуществлять.

На съездах народных депутатов Сахаров, случалось, выступал пять и более раз в день и тем самым вызывал к себе неприязнь едва ли не большинства депутатов.

Другое дело — дела конкретные.

Когда «Новый мир» пробивал через цензуру публикацию по Чернобыльской аварии, Сахаров очень помог нам в этом деле, может быть, его помощь была решающей. Цензура к тому времени еще была в силе, хотя Главлит, чувствуя шаткость своего положения, многие вопросы передавал под контроль соответствующих министерств. Таких министерств, которым рукопись Г. Медведева о Чернобыле оказалась подконтрольной, было шесть. Мы долго думали, как быть, и придумали: разослали рукопись в копиях всем шестерым министрам, с тем, чтобы они прислали в редакцию свои соображения. Все шестеро такие соображения прислали, обосновав в них, почему и отчего рукопись печатать нельзя — неплохо было бы ее вообще уничтожить. Тогда я позвонил каждому из них и сказал, что рукопись мы можем и не печатать, а вот их ответы на наш запрос напечатаем обязательно. Из этих ответов читателям будет совершенно ясно содержание рукописи, но ответы эти цензуре уже не подлежат: переписка редакции не цензуруется, она не может быть секретной. И значит, так: если из министерств не будет откликов в течение десяти дней, мы печатаем рукопись Медведева, если же ответы будут, мы печатаем их в «натуре», безо всякой правки и сокращений, — это будет очень интересное чтение. Когда мы спустя оговоренный срок напечатали рукопись Медведева с обстоятельным предисловием Сахарова и с кратким моим, все, как один, министры промолчали. Через некоторое время книга Медведева была признана в США лучшей книгой года.

За время сотрудничества с Сахаровым он поразил меня своей простотой, своей высочайшей интеллигентностью, которая ничем себя не выдает, но чувствуется на каждом шагу. Хоть бы словом дал почувствовать, что он — великий ученый (в тридцать два года уже стал академиком Академии наук СССР), лауреат Нобелевской премии мира, трижды Герой Социалистического Труда и т. д., и т. д.

Нет, большего демократа, чем Андрей Дмитриевич, я в жизни своей не встречал; узнав его, я получил новые понятия о демократизме. Слишком, слишком поздно.

Сергей Адамович Ковалев — противник войны в Чечне, причем — с самого ее начала. Не только коммунисты, но и большинство демократов его не слушали, ждали каких-то приемлемых для России условий мира с Чечней. Неужели не понятно, что в таких войнах «приемлемых» условий не может быть, а единственная мудрость заключается в том, чтобы идти на условия неприемлемые и как можно раньше? Когда неприемлемость еще не возросла до невероятных размеров?

Удивительно, что это понял военный человек, генерал Лебедь, а наше штатское и куда как миролюбивое правительство, заседаая по этому поводу в бесчисленных комитетах и комиссиях, создавая на месте событий некое подобие национального правительства (для того, чтобы позже его предать?), теряя в этой войне десятки тысяч жизней, расходуя на войну столько денег, что ими легко было бы покрыть все невыплаты по Приморскому краю, да и не только по Приморскому, так и не смогло себя переломить! Амбиция?

При наличии выдающихся личностей демократов нет у нас демократов-государственников. В этом смысле коммунисты дают демократам сто очков вперед. Они-то умеют из совершенно безликого Зюганова сделать вождя. Они умеют из полудикаря сделать вождя индейского племени — имею в виду Анпилова. Они умеют составить некое закрытое от посторонних глаз руководство, мозговой центр своей партии. Они умеют в борьбе за власть идти на такие компромиссы (правда, ложные), какие демократам и не снились. Вот они уже — не моргнув глазом — и со свечами стоят в церквях, которые они же в свое время превратили в склады, они умеют прибрать к рукам националистов, хотя год-два тому назад отвергали всякое сотрудничество с ними как нечто совершенно неприемлемое для ленинцев. В самом деле, Ленин на каждом шагу обрушивался на «великорусских» патриотов, собственно, с ними в первую очередь он и вел четырехлетнюю Гражданскую войну. И вот еще какое дело: демократия не может принять подобных способов борьбы за власть, но наступает время, когда только эти, неприемлемые, способы дают реальный результат. И коммунисты именно в этот угол и стараются загнать демократию, когда демократам будет нельзя ничего, а им, коммунистам, все и вся можно и нуж-

но. Чего только не сделаешь ради блага трудящихся! Все сделаешь, даже если придется уничтожить самих трудящихся.

Такова наша действительность, таков уже неизвестно какой по счету переходный период, на этот раз переходный от социализма к капитализму, небывалый в истории, причем в стране с небывалой историей — в России.

* * *

Почему-то нашу российскую исключительную историю мы то и дело ставим себе в заслугу — надо же, какие мы особенные! Ну а если представить себе весь земной шар Россией — вот уж страшно! А ведь мы на такое положение претендовали и всерьез — кто намеревался устроить коммунизм во всем мире? Кроме нас, никому в голову не пришло, разве что Карлу Марксу, — так он был одиночкой, а не нацией, не страной и не государством.

Мы все время возвеличиваем русский дух, такие качества нашего национального характера, как доброту, гостеприимство, природную одаренность и т. д., и т. д.

Да, Россия совершила великие открытия в науке, технике, искусстве, во всех областях человеческой деятельности. Но она же дает примеры самые низменные. Кто больше всех в мире страдает от алкоголизма? Кто отвоевал столь жестокие и кровопролитные войны, в том числе и гражданские, и не в каком-то далеком прошлом, но в текущем двадцатом веке? Во второй его половине? Мы утверждаем, что мы великие, но только нас, таких великих, добрых и умных, все время кто-то обманывает, обводит вокруг пальца — то это цари, то самозванцы, то евреи, то коммунисты, а то — демократы, то мафиози. Но если так, если каждый, кому не лень, может нас обмануть, тогда почему же мы — великие?

Если кто нас и обманывал, так это прежде всего мы сами себя.

Немцы крупно обманулись фашизмом, но сделали из этого максимально возможные и далеко идущие выводы — а мы?

Пришел в Россию Сталин, учинил раскулачивание крестьянства, уничтожил русскую интеллигенцию и русскую интеллигентность — и почему же это все ему удалось? Да потому, что он знал (узнал от Ленина), что в деревне найдутся люди, которых хлебом не корми, дай «покулачить» соседей, сколько угодно найдется доносчиков, сколько угодно найдется палачей, которые выполнят его задания в ударном порядке и с превышением на многие-многие проценты. Так ударно все они будут действовать, что Сталину же и придется их останавливать, выступив в роли мудреца и человеколюбца, в роли автора «Головокружения от успехов». Что-нибудь подобное возможно, скажем, в Швеции? Или в послереволюционной Франции?

Коммунисты (доподлинные) допрежь всего изучают (как и мафиози) самые низменные качества людей.

Мы говорим: большевистский террор. А ведь террор поначалу выдумали не большевики — народ выдумал. Уже в конце 1916 года началось бегство дезертиров с фронта в тыл, в европейские губернии России. А чем было заняться дезертирам в тылу? Они грабили, убивали, кто под руку попался, поджигали помещичьи усадьбы, а тут как раз Февральская революция, и что от нее началось — трудно себе представить.

Октябрьская революция и большевики у власти. Их приходу многие почувствовали, даже радовались: какая-никакая, а все-таки власть, обещает быть твердой (очень похоже на то, что происходит нынче).

А что же стали делать громилы дезертиры? Они стали записываться в большевики, тоже стали властью. Той властью, которая и присвоила себе богатые навыки дикого терроризма, ввела терроризм в свою повседневную практику. (В Гражданской войне были и такие периоды, когда чуть ли не единственной организованной силой Красной Армии оставались красные латышские стрелки — дисциплинированные и нечеловечески жестокие по отношению к местному населению. Они-то и спасли советскую власть, подавляя восстания против нее — ярославское, воткинское и другие. Красные мародерские части не были способны и на это.)

Так то — низы, солдаты-пьянчуги, грабители и насильники. Но ведь и поведение большевистских верхов, по существу, ничем не отличалось от этой сцены, тот же способ борьбы за власть: любыми средствами.

Шла война. Первая мировая. Праведная или неправедная, но ведь ни в чем не повинные люди гибли миллионами. Дочери царя, его супруга, дочери великих и не очень великих князей и дворян, учительницы шли в тыловые и фронтовые госпитали, выхаживали раненых. Может быть, хоть одна большевичка пошла сестрой милосердия в лазарет? Мне такие примеры неизвестны; да и для «передового» большевистского мышления это было бы абсурдом.

Да ведь и Ленин, будучи в эмиграции, гуляя по красивым тропам Швейцарских Альп, радостно потирал руки: хорошо-то как! Наших бьют на всех фронтах!

Ленин, пользуясь демократическими порядками Временного правительства, приезжает в Россию в немецком запломбированном вагоне, а затем устраивает Октябрьскую революцию. Как это он делает? Всем известно: он создает коалиционное правительство с левыми эсерами и присваивает их лозунг: «Земля крестьянам!» Левых эсеров он быстренько «устраняет» (позже говорилось: «Ленин успешно справился с обузой революционных союзников»), их лозунги он никогда и не думал осуществлять, но дело сделано — власть в руках Ленина, он строит военный коммунизм. Не получилось.

Ленин теперь — уже как социал-демократ — приступает к нэпу, предварительно устроив в Гражданской войне всех своих противников. Ну а потом и Сталин является — верный ученик.

В чем тонко разбирался Сталин, так это опять-таки в самых низменных качествах людей, он мог эти качества преобразить в святую веру, в энтузиазм, и человек становился палачом во имя высокой цели, а эта психология до сих пор тяготеет над нами, хотя мы этого и не замечаем.

Ленин же и не скрывал своего авантюризма, утверждая, что Октябрьскую революцию надо делать 25 октября, потому что 24-го — это слишком рано, а 26-го слишком поздно. Ничего себе историческая необходимость и мировой прогресс, если на то и другое история могла отпустить один-единственный день! И вся хитрость в том, чтобы этим днем суметь воспользоваться.

О своей (советской) власти Ленин говорил, что это ничем не ограниченное, никакими законами, никакими абсолютно правилами, насилие.

Кем же оно должно было осуществляться на практике, это абсолютное насилие? Расчет все на тех же дезертиров, мародеров и убийц. Эти ни на каком производстве не заняты, днем и ночью они не только готовы, они рвутся к присущей им деятельности, им страсть как хочется еще и еще пошалить.

Таковы истоки советской власти. Такова ее путевка в жизнь.

Если Зюганов объявляет себя и лидером народного национального движения — как понять? Или он уже не ленинец? Ленин-то с кем воевал в Гражданскую войну? В противовес национальному движению Ленин трудился над диктатурой пролетариата: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» И никаких гвоздей. Какие там национальности? Есть классы, а не национальности!

Все теории товарища Ленина, все его философствование уже многие годы никого не интересуют, даже коммунистов, они и не стремятся этот «теоретический багаж» восстановить. Что нынешние коммунисты исповедуют свято, так это ленинскую практику захвата власти. Вот это — багаж! А сводится он все к тому же: в борьбе за власть не имеет значения, какие и чьи идеи коммунист высказывает — монархические, социал-демократические или даже религиозные. Какие сегодня выгодны, те и идут в дело. Главное — это умение критиковать существующую власть и обещать людям светлое будущее. Что именно обещать? А все, что угодно. Разве Зюганов знает, что же он все-таки обещает? Советскую власть в пределах СССР? Диктатуру пролетариата или пролетарскую демократию? Социал-демократическое устройство с частной и даже капиталистической собственностью или государственную монополию? То ли коалицию, то ли коммунистическое правление как таковое? Мы можем припомнить, что в свое время говорили Ленин, Сталин, Хрущев, Андропов; но что говорит сегодня Зюганов? Философ? Ровным счетом ничего. Несмотря на то, что говорит он много-много. Таковую более чем тривиальную фигуру коммунисты избрали своим лидером. Не глупо сделано: сейчас важно не прогово-

ряться, а заговорить они надеются, придя к власти. Главное — создать райкомы, обкомы, ЦК и ПБ, а там видно будет. Тогда и разбираться, кто есть кто среди тех, кто выдвинулся к власти из числа победителей, — кто оппортунист, кто враг народа, кто шпион, кто верный ленинец-зюгановец (или, предположительно, — купцовец, анпиловец — всякое может быть, уж как сложится). Кто присвоит себе генеральную линию, предсказать и Зюганову невозможно.

Коммунисты рвутся к власти, но им надо бы учесть: если они действительно власти добьются, многим из них не снести головы. А головы, несмотря на идею, имеют самостоятельную ценность.

А каков же все-таки может быть коммунизм Зюганова? У Ленина он так и не получился, у Сталина не получился, у Хрущева, у Брежнева — нет и нет, а что получится у Зюганова? Очень любопытно, но еще больше — страшно. В компартии до сих пор состоят и сталинские палачи, и стукачи, и функционеры. Куда им деться-то? Многие, положим, умерли, ну а те, кто жив? Да и кто такой Зюганов? Что он когда-нибудь построил? Когда, кого и чему научил? Кем, как и когда руководил? Все это надо было бы знать широкому читателю, но до выборов 1996 года о нем никто и слухом не слыхал. Разве что стороной. Известно, что был зам. зав. отделом идеологии ЦК КПСС. По моим представлениям, самый безликий отдел в безликом ЦК.

Отдел культуры имел дело с творческими людьми, а этот — с политиздатом, с публикациями речей руководителей партии, с переизданиями «классиков марксизма-ленинизма». Там русский-то язык забывали и говорили на языке партии.

Хозяйственные отделы хоть как-то отвечали за свои отрасли, а этот отдел — за что? За бессмысленные слова?

Вообще-то я звал цеховскую публику, там тоже были люди разные, но для всех существовал неукоснительный закон: будучи на работе, забыть о реальной действительности. Реальная жизнь, действительность могут быть только такими, какими их видит начальство на самом вершине, в кабинете генсека. Оттуда действительность уже видна как на ладошке. Зюганов и готовит свою ладошку (но не он один в компартактиве).

Теперь заметим: из нынешней реформенной демократии наибольшую для себя пользу извлекли две группы — мафиози и компартия.

Возвратясь из поездки в ФРГ, г-н Зюганов еще в аэропорту Шереметьево позавидовал: там (в ФРГ) давно забыли о своем прошлом (то есть о фашизме), а мы все время копаемся и копаемся в истории. Чего ради? Разве не ясно — что было, то прошло!

Попытаюсь объяснить, почему там (в ФРГ) с забывчивостью так хорошо, а у нас (в России) так плохо.

Дело обстоит просто и ясно: в ФРГ отреклись от своего прошлого — там фашистов судили и, несмотря на их возраст, до сих пор отлавливают, а у нас и сегодня на демонстрациях носят портреты Сталина, на совести которого, как считают исследователи, гибель 30 миллионов ни в чем не повинных людей (за Лениным числится 13 миллионов — так он и правил в шесть раз меньший срок, чем Сталин).

В Германии и в голову не приходит завтра же свергать существующую власть, а у нас совсем-совсем недавно возник ГКЧП, к которому прямое отношение имел и г-н Зюганов. Гекачеписты, проигравши, ничего не ждали от властей, которые они хотели свергнуть, — ничего другого, кроме «вышки». Недаром же застрелился Пуго и жену свою застрелил, недаром гекачеписты писали покаянные письма Горбачеву, и тут вдруг... вдруг демократический суд, амнистия, а потом и признание Конституционным судом компартии как партии легальной. Вот какие дары получили от демократии коммунисты, которые никому никогда ничего не прощали. Им и не снилось. Они-то, заговорщики, не скрывали: вот придем к власти — постреляем власть свергнутую. Пострелять не удалось, но первое, что они сделали, оставшись живыми-невредимыми, — начали борьбу с той самой властью, которая их пощадила и легализовала.

Сами-то большевики знали со времен Ленина и знают нынче, что ни на какую коалицию их власть не способна. Они могут править только при условии, что власть принадлежит им от самого верха до самого низа — от генсека

до колхозного бригадира. Разве могли мы себе представить беспартийного министра в коммунистическом Совете Министров? Или — беспартийного директора завода? Председателя колхоза? Не согласованную с обкомом партии кандидатуру председателя областного Союза писателей или художников? Беспартийного директора театра?

Большевики не могли поступиться самой крохотной частью своей власти, своего беспредельного влияния на все и вся, не могли допустить никакого инакомыслия — это их враг номер один. Беспартийный человек был для них не совсем человеком, они не могли допустить малейшего политического индивидуализма уже потому, что такой индивидуализм обязательно окажется демократичнее, чем они сами, а значит, и привлекательнее.

Откуда такое стремление к тоталитаризму, такая сила этого стремления?

Оно — от заговора, от заговорщичества как от непоколебимой системы мышления и действия. Системы, чуждой демократизму.

На Втором съезде РСДРП (1903 год) Ленин потребовал такой программы, которая предусматривала бы диктатуру пролетариата. Дик-та-ту-ру! А чем может быть такое требование на деле? Только заговором — сколько-нибудь легальным и компромиссным оно стать не может. Его сила именно и только в заговоре, в дисциплине, в безусловной иерархии, в неподотчетности «старших» заговорщиков «младшим». И вот уже через четырнадцать лет диктатура осуществлена, только не пролетариата («фабрики рабочим» — об этом забыто), а кучки профессиональных революционеров, которые стали теперь профессиональными диктаторами (часто готовыми истреблять друг друга). Так оно и пошло, и пошло. Политбюро — разве оно не было кучкой все тех же заговорщиков? Кто это из свободных корреспондентов был когда-нибудь допущен в святая святых?

Ну, какую-то часть своих решений Политбюро выносило на народ: план поднятия сельского хозяйства в Нечерноземье, план преобразования природы, опыт повсеместной активизации идеологической работы, а обо всем остальном (скажем, о госбюджете, о репрессиях) ни гугу, тайна из тайн.

Повторяю: разруха, смутное время в государстве — благоприятное время для проповеди коммунистической утопии, тут-то люди и верят в обещания самого светлого будущего, тем больше верят, чем эти обещания несбыточнее. Это время авантюризма, цель которого все та же — захват власти.

Организованность, четкая и настойчивая агитация производят наибольшее впечатление. Ленин собственноручно зачеркнул свои теории единственной, зато руководящей фразой: важно ввязаться в драку, а там видно будет! Собственно говоря, драка никогда и не кончалась для коммунистов, драка с врагами внешними, а того больше — с внутренними: с инженерами (Рамзин), с философами (Бердяев), с генетиками (Вавилов), с экономистами (Чаянов), с музыкантами (Шостакович), с писателями (Мандельштам, Солженицын), не говоря уже о «врагах» внутрипартийных — все дореволюционное руководство партией было Сталиным уничтожено. Во всех сферах уничтожались те умы, которые знали, помнили что-то еще помимо сталинской диктатуры. Если бы Бухарин остался жив, от него, может быть, и пошла бы какая-никакая комдемократическая ветвь, какой-то побег или росток, но Сталин подобных побегов боялся больше всего. Коммунизм их вообще боится как огня.

Но то — Бухарин.

А вот какую формулу (по Ленину) излагал следующий гениальный вождь СССР касательно нашего времени: «...принцип распределения по потребностям исключает всякий товарный обмен, следовательно, и превращение продуктов в товары, а вместе с тем и превращение их в стоимость».

Сталину к моменту Октябрьской революции стукнуло тридцать семь лет, а он еще нигде никогда ни одного дня не работал.

Типичный божж. Их, божжей, на Руси развелось порядочно, никто из них не знал, что делать, и от безделья одни хотели убить царя, другие — перестрелять всех губернаторов, третьи — отменить семью и семейные отношения, но все они были помешаны на идее насилия, все ненавидели земцев за то, что те «предали народ». Чем этакая идейность обернется для России — догадывалось слишком небольшое число людей.

И в общем, так: Россия пережила все перипетии и невзгоды величайшего, самого жестокого, самого авантюрного, исторического эксперимента, а возвращение к нему стало бы величайшим историческим регрессом.

Говорят: но ведь идея-то — хороша и правильна, к ней надо вернуться, но осуществлять ее по-другому.

А что значит это «другое»? Оно не может быть ничем иным, кроме демократизма. Тогда и партия должна быть не коммунистической, а социал-демократической, социалистической, просто демократической, а это — нечто принципиально другое (имея в виду хотя бы социалиста Миттерерана).

Однако вот еще в чем дело. Она перед нами — история коммунизма в России, начиная с 1903 года и по сей день ею можно возмущаться, негодовать по ее поводу, но она существует. А где же история демократии (хотя бы теоретическая), хотя бы за двадцать — тридцать последних лет? Ее нет, да и сами демократы не осознают ее необходимости.

Когда Солженицын выступал в Думе, те же депутаты-демократы Жириновский и Нуйкин ржали ему в лицо, а потом еще и выступили в «Литературной газете», слово в слово повторив друг друга: мол, Солженицын нисколько не нужен, вот они сами — всей России нужны! И это о человеке, который сыграл в нашем демократическом сознании роль не меньшую, чем Толстой! О человеке, которого, как демократа, слушал весь мир! Которому, как борцу за демократию, все депутаты Думы обязаны еще и тем, что Дума все-таки возникла, сменила советские Верховные Советы.

Коммунист Горбачев по нечаянности, что ли, дал нам ту колченогую демократию, от которой многие демократы поначалу пришли в восторг. Вот и вся история. Неужели так?

Да ведь и в самом деле весь мир помнит демократа Горбачева — еще бы! Он остановил гонку вооружений, он «разрушил» Берлинскую стену, он вывел войска из Афганистана, он стоял у начала демократических преобразований, он прослыл миротворцем. Что-то не похоже, чтобы кто-то еще из нынешних российских деятелей обрел в мире подобное амплуа. Он оказался не силен как реформатор. При нем тоже не обошлось без крови и в Прибалтике, и в Закавказье, но что та кровь по сравнению с Чечней? Однако дело не в этом, а в том, что эпоха Горбачева тоже в прошлом и нынешним демократам она не опора.

Я даже думаю, что Горбачев предотвратил бы войну в Чечне. В Ставропольский край, где он был секретарем крайкома КПСС, входила Карачаево-Черкесская автономная область, Горбачев всегда говорил о горцах очень тепло и всегда в одном и том же смысле: только не надо их обманывать, раз обманешь — запомнят на всю жизнь!

* * *

Знакомство мое с Горбачевым, по сути дела, было конфронтационным — раз шесть-семь мы встречались то на ходу, а то на час и больше по поводу публикации «Архипелага ГУЛАГ». Я настаивал, он — отвергал.

Тираж обложки «Нового мира» с упоминанием имени Солженицына уже был пущен под нож — прецедент. Но вот настал день, и Горбачев срочно вызвал меня (из поликлиники) и радостно сообщил: «Печатай! Я своих уломал!» Очевидно, «свои» — это было Политбюро: именно в этой инстанции не раз возвращались к «проблеме» публикации «ГУЛАГа».

Но однажды Горбачев вызвал у меня сомнения как политик, как руководитель государства. Сомнения частные, но — они были. Дело опять касалось Солженицына.

В субботу, 9.XII.91, в полдень меня вызвал Горбачев:

— Тут у меня новые материалы из архива КГБ на Солженицына. Фронтонные. Отвези ему ко дню его рождения! — (Это — 11.XII.)

Я стал отказываться: не успею за такой короткий срок!

— Вылетишь сегодня вечером, в Нью-Йорке, в аэропорту, тебя встретят, и через несколько часов будешь в Вермонте!

Я стал отказываться снова: во-первых, я знал, что Солженицына дома нет, он в поездке по Америке, во-вторых, через три недели я должен был лететь в Америку по приглашению Канзасского университета, а так часто мотаться через океан туда-сюда для меня было уже трудно.

Горбачев согласился. Он умел соглашаться с собеседником, даже при том, что гораздо больше говорил сам, чем слушал.

Недели через три я отвез эти материалы Солженицыну. Он отнесся к ним безразлично.

— А-а! — сказал он. — Ничего не значащие мои фронтовые записки. Вот другой дневничок у меня был, но я его так зашифровал, что в КГБ расшифровать не смогли, а значит, сожгли от греха подальше. Вот те записи и нынче были бы очень интересны. Впрочем, если бы их расшифровали, я бы получил не восемь лет, а «вышку».

Такой был эпизод, в общем-то безобидный, если бы не одно обстоятельство: в тот день, в то же самое время, когда длилась эта встреча с Горбачевым, долгая, наверное полтора часовая, в Беловежской Пуще Ельцин, Шушкевич и Кравчук решали (и решили) вопрос о выходе из Советского Союза самостоятельных республик — России, Белоруссии и Украины. Каким же образом Горбачев мог об этом не знать, будучи президентом СССР? Что у него, соответствующих служб, что ли, не было? А если все-таки не знал, значит, и настоящим государственным политиком и руководителем он не был. Уже позже, спустя некоторое время после его отставки, я, встречаясь с ним, спрашивал:

— Неужели не знали?..

Ответ был один и тот же:

— Право, не знал!

Ну а если так, то и присидеть в президентском кресле он долго не смог бы.

* * *

Видимо, наш нынешний Президент думает, что если он не восстановил цензуру и ГУЛАГ, он — уже демократ. Напрасно! Ликвидация ГУЛАГа — это то же самое, что удаление злокачественной опухоли: у человека удалили опухоль, но от этого он не становится ни лучше, ни хуже, ни демократичнее, ни ортодоксальнее.

* * *

Многие из нас не приемлют коммунизм. Не приемлют из-за экономики. Из-за отсутствия логики. За сокрытие многих фактов своей истории. За примитивный утопизм, да мало ли еще за что. Многие ветераны войны — за коммунизм, их есть за что уважать, но не обязательно во всем с ними соглашаться.

Есть, существует и еще одна сторона дела, которую, мне кажется, мы упускаем из вида: коммунизм виновен в том отношении к власти, которое он в нас воспитал, которым мы то и дело пользуемся.

При коммунизме власть была грязной с головы до ног еще и потому, что потеря власти высоким лицом из сталинского окружения одновременно означала потерю жизни. Борьба за власть становилась борьбой за физическое выживание.

Нынче дело другое: человек теряет власть, но это вовсе не значит, что он теряет и жизнь — живи себе на здоровье обыкновенным, безвластным человеком. Однако же отношение к власти, борьба за власть, в которой, безусловно, все аморальные средства хороши, сохранились, и власть наша все еще грязна, а отмывать ее некому, никто не хочет заниматься этим тоже ведь нечистым делом. В этом пункте значительная часть новорусских предпринимателей является чуть ли не союзником коммунистов.

Самое демократическое государство не может в одночасье сделать всех своих граждан высоконравственными, но оно обязано создать условия для того, чтобы нравственность стала необходимостью почти для ста процентов населения, исключая уродов: ведь преступление — это же уродство. В нашем же государстве дело поставлено так, что государство своими действиями всячески стимулирует безнравственность. И уродство. К чему это приведет? Уже недолго осталось ждать, чтобы увидеть — к чему.

А может быть, и ждать не надо — надо повнимательнее посмотреть кругом. У нас добрая четверть населения — это беспробудная пьянь, сто восемьдесят бутылок водки в год на взрослого мужчину — это же убийственно! Не

наше государство еще и еще спаивает пропавших людей, госбюджет не может без этого обойтись — так что же это за государство? А три четверти остального населения, оно-то разве не находится под теми же винными парами, под влиянием той же алкогольной апатии ко всему на свете?

У нас ворующий человек перестал называться вором, а я все еще толкую о демократии — как это понять? Это понять невозможно. Пишу без понимания этого.

Был у нас Горбачев — демократ (по крайней мере в первом приближении). Есть у нас Ельцин — кажется, демократ (по крайней мере он сам о себе так думает). Рвется к власти Зюганов — тоже притворяется демократом, но дело-то в том, что мы отнюдь не приближаемся к демократии, мы все дальше и дальше от нее уходим — как в плане государственного устройства, так и в плане душевного состояния каждого из нас.

Нам даже некого полелеять в душе: вот кто бы мог стать демократическим президентом!

Объяснения господ высоких чиновников насчет того, что Президент располагает семью вариантами заключения мира с Чечней (ни одного варианта так и не было произнесено вслух), сообщение о новой, все время новой и новой налоговой политике стали невыносимы. Как о чем-то особенно радостном мы узнаем о том, что шахтеры получили зарплату полугодовой давности (а когда это было видано, в какой стране люди объявляли голодовки, чтобы получить давным-давно и честно заработанные ими деньги?), о том, какие новые, новые и новые комиссии и комитеты созданы для решения таких-то и таких-то совершенно очевидных проблем, о том, какие грядут указы со стороны Президента. Все эти объяснения пусты.

Улавливаешь только одно: предлагается очередной способ выхода из очередного тупика. Выход временный — тупик остается тупиком. Никакой политики и экономики у нас нет, ведь суть того и другого — обоснованный прогноз, который должен сбыться, иначе всем этим чиновникам, всему правительству, по всем правилам, будет крышка. Какая может быть политика, какая экономика в государстве, которое существует от одного ЧП до другого, вернее — в сплошных ЧП?

Каких благ, какой стабильности можно достигнуть, если нам объявляют с восторгом и самоуверенностью, что нынче производство уже почти что на уровне прошлого года! (А прошлый год — это каких-нибудь 25 процентов от года 1980-го и даже из эпохи горбачевского правления.) Вот уж кто внимает вещателям, так это теневые и коррумпированные дельцы. Они мгновенно создали на всякого рода махинациях огромные богатства, пользуясь беспомощностью государства, и снова ждут: а не выдастся ли и еще случай? Случай еще добрать денюжат к деньгам, а уж сохранить то, что набрано, — это непременно. Все дело в том, кто и что умеет — умеет, не считаясь ни с чем, кроме собственной выгоды. (Тоже коммунистический принцип.)

Нынче время ДМ — дикого материализма.

Такое материалистическое умение дано не каждому, да и не каждый, если захочет, для начала выйдет на нужного человека. У большинства такой возможности просто нет, и это большинство не слушает государственное вещание, от кого бы оно ни исходило. Послушало до выборов — хватит! Слушать можно только тех, кому ты доверяешь, кто выполнил свои обещания.

Некоторые уважаемые газеты уже не платят гонораров авторам, а берут с них деньги — за публикации.

Нечего и говорить о материалах, в которых кто-нибудь или что-нибудь под сурдинку рекламируется. Отдача велика — не в денежных, так в других каких-то единицах. А присмотритесь внимательно — сколько таких публикаций в самых независимых газетах? Если газеты так много говорят о рыночной экономике, это, кроме всего прочего, значит, что они эту экономику усвоили. Вариантов-то всего два: или вписывайся в рыночную экономику любыми средствами, или — закрывайся.

Конечно, наши нынешние информационные программы ТВ — это огромный рывок, именно то заимствование из западной информационной культуры, которое мы так долго ждали. Но мы не ждали, что информация эта окажется на две трети криминальной.

Предприниматели и государственные крупные предприятия, на которые, собственно, и делалась ставка реформаторов, теперь запутаны в налоговых сетях, им не дают заработать, облагая прибыль и ничем это обложение не компенсируя. Они прекращают работу, прекращается выпуск часто первоклассного и дефицитного оборудования, и таким образом парализуются целые отрасли народного хозяйства и транспорта, возникают невиданные убытки, которые хоть как-то надо возместить, и делается это опять-таки за счет повышения налогов. Заколдованный круг.

Предприятия иной раз и рады бы показать прибыль, да боятся — обложат налогом так, что впору объявлять банкротство.

Ситуация тупиковая: денег нет, чтобы заплатить тем же шахтерам, но чтобы заплатить, нужно кого-то разорить, то есть еще и еще подорвать экономику.

Ситуация явно не в пользу демократии, и это при том, что она не может обойтись без взаимодоверия, без здравого смысла.

Но демократы до сих пор в телячьем восторге от того, что получили свободу слова.

А ведь это даже не политическая свобода — это естественная потребность человека, которую коммунисты ухитрились не только игнорировать, но разрушить в сознании людей. Это — во-первых, а во-вторых — что значит свобода слова, если само-то слово потеряло значение? Говори, пиши, печатай что хочешь, режь любую правду-матку — а результат? Нет никакого результата, и Васька слушает да ест, даже и при том, что у него несварение желудка.

То, что на ТВ цинично кривляются тысячи и тысячи здоровых мужчин и женщин (как не кривляться, если — свобода?), так это тоже в пользу Васьки. Ну и еще — в пользу некоторой части населения, которая либо уже ничему не верит, либо польщена тем, что кто-то льстит ее собственному цинизму.

* * *

На наших глазах происходит и противоположный, аполитичный, на первый взгляд, процесс — сращения властей. Президент и его аппарат, премьер и его аппарат, Федеральное собрание и его аппарат, Дума и ее аппарат — все эти властные структуры стараются создать единое и элитарное целое. Всем лучше всего пожизненно оставаться у власти. Дума вовсе не заинтересована в том, чтобы Президент ее разогнал, в Думе Селезнева немало людей, которые были народными депутатами при Горбачеве, членами хасбулатовского Верховного Совета и Думы Рыбкина — они там уже чуть ли не десять лет «думцы», им понравилось. Только что пришедшим тоже очень нравится. Президенту невыгодно распускать Думу: с новым составом предстоит создавать новые отношения, заново улаживать его податками.

Федеральному собранию выгодно, чтобы при выборах губернаторов и Президент, и премьер поддержали сенаторов на местах: если такой поддержки не будет, сенаторы-губернаторы могут потерять шансы быть переизбранными. Мало того — что там ни говори о самостоятельности регионов, какие бы ни заключались договоры между регионом и центром, плохо, очень плохо придется губернатору, если центр будет смотреть на него косо, а то и вовсе отвернется.

Это только кажется, будто Дума страсть как конфликтует с Президентом и с премьером, это для вида Зюганов выступал в Думе против переизбрания Черномырдина на пост главы правительства. Кто этому всерьез поверит! Когда это было, чтобы в компартии лидер был «против», а рядовые ее члены «за»? Партийная дисциплина этого никогда не потерпела бы. Значит, эта недисциплинированность заранее оговорена коммунистической фракцией Думы. И недаром же вся эта процедура утверждения главы правительства была окутана тайной голосования. Почему так? Я избирал депутата Думы, но этот депутат скрывает от меня свою позицию в вопросе очень и очень для меня важном?! Скрывает, называя тайну «демократическим порядком».

И вот уже Дума единогласно постановляет: каждый «думец» получает 60 тысяч долларов (неподотчетно) на улучшение своих жилищных условий — только несколько «думцев» отказались. Но ведь Дума на госбюджете, следова-

тельно, это постановление должно было быть согласовано с правительством, тем более что через несколько дней после этого постановления Дума подавляющим большинством утверждает в должности премьера, хотя до этого здесь было вылито на него немало ушатов... И борьба идет не за смену власти, а за решающее влияние в этой вновь образуемой властной ассоциации: по существу дела, внутрипартийная и антидемократическая борьба. Пышно расцветают коррупция и мафиозные структуры. Они-то ведь тоже заинтересованы в таком положении дел, для них это более чем благоприятная среда обитания.

После выборов я что-то не слышал от Ельцина слова «демократия», другое появилось словцо — «профессионализм»: мне (может быть, и «нам», не помню точно) нужно профессиональное правительство!

Что же этот чуть ли не вновь изобретенный термин значит? Почему — упор на него? Не говорится же, что мы будем честными, будем демократичными, будем работоспособными, будем добросовестными, — нет, мы будем профессиональными. Но профессионализм-то любого работника или правительства подразумевается сам по себе в каждом деле. Если ты не обладаешь профессионализмом, квалификацией, так ты попросту не должен браться за дело. Так положено в любом случае, не только в министерском.

Но слово, что ни говори, удобное для властей, очень удобное. Это токарю можно указать, насколько он квалифицирован, и присвоить ему разряд, но правительству — никогда. Оно может делать любую глупость и выдавать ее за высочайший профессионализм. Слово это в применении к власти вообще не говорит ни о чем, но устраняет все требования к ней — и политические, и моральные, и те же профессиональные. Что и требовалось доказать в то время, когда государственное дело от начала до конца валится у нас из рук и перестает быть делом, а становится занятием.

Из этого еще многое и многое следует. Если Президенту нужно профессиональное правительство, значит, уж он-то сам профессионал из профессионалов. Все, что он ни делает, какие ни издает указы, какие семь вариантов окончания войны в Чечне ни придумывает (для самого себя?), все это — высокопрофессионально, и не имеет никакого значения, как обо всем этом думают и пишут все другие: они ведь непрофессионалы! Дальше. Ну а откуда начинается профессиональная власть? Попробуйте докажите работнику районной или поселковой администрации или какого-либо жилищного управления, что он (она) — не профессионал?

А мафия? Разве она не профессиональна? Когда я прочел в «Известиях» статью Жириновского, в которой он предлагает организовать правительство по типу мафиозной братвы, с жесткой круговой порукой, с обязательством выполнять друг перед другом каждое свое обещание, я подумал — абсурд! А спустя время подумал еще: абсурд-то абсурд, но ведь реальный!

Для правителей-профессионалов и выборов не надо — зачем? Только для вида? Кто будет выбирать-перевыбирать — мелкие непрофессионалы, что ли? Которые ровным счетом ничего не понимают в том, что такое быть профессионалом власти? Ну прямо-таки советский вариант!

Вполне допустимо, что в результате «профессионализации» все четыре наших власти создадут нечто вроде РАОВЗТ — Российского Акционерного Общества Властей закрытого типа. Проблема внутренних отношений в этом Обществе будет недоступной тайной за семью замками (такой же, как при многих голосованиях в Думе), тайна будет сближать и сближать их друг с другом, а всех вместе — с мафиозными группами. В общем, по рецепту знающего толк в этом деле Жириновского.

Демократические выборы в соответствии с Конституцией у всех у них будут вызывать определенную неприязнь, но ничего — управятся, заранее распределят голоса избирателей между собой. Как распределят, так и будет. Потому что для избирателей все эти группировки будут одинаковы, различия — никакой, а следовательно, и апатия, и заблуждения. В этом (коммунистическом?) направлении быстро развивается наша действительность.

Коммунисты, выступая в ярком качестве националистов, вот-вот на одной из улиц или площадей, которые во многих городах по-прежнему носят имя товарища Ленина, возведут памятники Столыпину, а то и Николаю Второму.

Ну а демократы снова и снова не сойдутся во мнениях, хотя все они и не заметили, как оказались под крылом «профессионалов», под крылом достаточно плотным.

Теперь осталось договориться этим двум властным группам — и дело сделано. Особую роль в РАОВЗТ должны будут сыграть коммунисты, как самые организованные, дисциплинированные и настойчивые в деле захвата власти. И похоже, они своего добьются, обстоятельства — но не разум — в их пользу. (Так что надо поторапливаться дописывать эту статью.)

Может быть, этот компромисс будет временным. Ну и что? И вся-то наша жизнь нынче временна, ни один прогноз на будущее недействителен, кто больше ухватил от дня сегодняшнего, тот и прав. Важно ухватить.

Вот Солженицын предлагает восстановить земство.

Прекрасная идея!

Но я чего боюсь: будут выборы в земства, и в них снова поналезут люди — Бог знает кто! Не исключено, что всякая шваль.

А я-то знаю, что земство на Руси создавалось, во-первых, далеко не сразу, создавалось на базе земельных общин, а не на базе разваленных колхозов и совхозов, во-вторых, не могло оно обойтись без людей совершенно бескорыстных, если на то пошло — наивных. Иначе говоря — без интеллигенции, готовой на общественный подвиг.

Найдутся ли у нас нынче такие? Найдется ли для них соответствующая почва в народе?

Что там у нас в России в прошлом-то еще было? Царизм? Этаким крохотный, ничего не значащий демократизм? Сверхмощный коммунизм? Теперь ничего этого не будет, и не надо: светлое будущее обеспечит нам профессионализм. Разумеется, через самодержавную бюрократию. Уже обеспечивает, радуйся, народ!

Примечание может быть сделано такого рода: ну а разве Сталин, Хрущев, Брежнев, Андропов — не обязательно всех-всех перечислять, — разве они не считали себя высокими, высочайшими профессионалами власти? Вот вам и происхождение суперсовременного профессионализма... Вот вам и коммунизм под именем (не больше чем именем) профессионализма.

Политическая борьба если и будет, так будет происходить под ковром. Журналисты же свободной прессы станут бегать вокруг, вынюхивать — чем и кем все-таки из-под ковра пахнет-то?

Такой вариант... Вот не любил я политики, вот ее и не будет — только некоторое шевеление ковра, под которым что-то такое происходит. Радуйся, друг мой Залыгин!

Но радости нет. Какое там...

* * *

Где же, где же ты, моя демократия?! Посмотреть бы в твое неподдельное лицо. Ведь какую долгую жизнь прожил я в России, но так и не довелось.

Может быть, сам виноват: отстраняясь от политики, слишком мало сделал, чтобы демократия пришла?

Однако от этого она, демократия, не менее желанна для меня.

Есть у меня знакомый немец Отто, он владеет нынче книготорговой фирмой в Мюнхене, фирме этой уже поболее ста лет.

Отто воевал, был у нас в плену и знает русский. В плену он встретил добродетельство, которое его поразило. Особенно после того, как он, вернувшись в Германию, узнал и об Освенциме, о Дахау (таких немцев немало).

Нынче при встрече Отто спрашивает меня:

— Как это вы, русские, такие нравственные, можете быть такими безнравственными: не понимаете, что такое демократия?

Что ему можно ответить?

Не знаю, как кому, мне ответить нечего.

* * *

И разве я один страждущий? Нас десятки, а то и добрая сотня миллионов, а демократия вот уже век, а то и полтора витает в нашем небе, уже сколько

минуло поколений, но она так и не может опуститься на российскую землю — нет посадочной полосы. Вся поверхность, до последнего гектара, искорежена Двадцатым веком, последним нашим десятилетием, сегодняшними нашими днями. А ведь все то, что лишь витает, может запросто исчезнуть насовсем. Вот уж о чем действительно можно будет сказать: кое-как было, но было — не стало.

Уж очень не хочется этому верить...

Не должна история поворачивать вспять, туда, откуда ей все-таки удалось вырваться.

Хочу я того или нет, но то и дело я встречаюсь взглядами с портретами и фотографиями Владимира Ильича Ленина — их много в России, а я жил и при нем, и после него под его знаменами. И сейчас живу под этими взглядами, читаю и его, и о нем. И мне становится все более и более жутко: и это — русский интеллигент?! Во всем ее, русскую интеллигенцию, можно обвинять: в слабых характеристиках, в идеализме и в изменах собственным идеалам, в несостоятельности идеалов; в одном нельзя — в жестокой коварности, воплощенной и в Ленине, и в последующем за ним ленинизме. Тысячу раз прав был мой отец, когда хотел, чтобы я понял это.

До сих пор встает передо мной такая картина: ночь, темень, и вдруг я просыпаюсь оттого, что в окна врывается какой-то свет, зарево какое-то... Выхожу из дома. Так и есть: на причале Захламино, что на Иртыше, чуть пониже Омска, — горит. И если бы только. Еще и рев оттуда какой-то доносится, как бы и человеческий. Утром узнаем: баржа горела, нефтеналивная, трюм которой был заполнен заключенными. Их должны были отбуксировать вниз по Иртышу, вниз по Оби на железнодорожное строительство № 501. О 501-й стройке я упоминал выше (на 502-ю везли по Енисею). Это в ту пору практиковалось — в нефтеналивных баржах, чуть их проветрив, перевозить заключенных. Путь — недели в три продолжительностью — никого не смущал. Так вот, на причале Захламино баржа загорелась. И никто людей не спасал. Отбуксировали баржу на середину Иртыша и дали ей сгореть. Тоже ленинизм, и не надо от этого отпираться: Ленин здесь ни при чем! При чем! От него пошло!

Эпизод?

Но это мне повезло, я такого рода эпизодов избежал, а другие?

Вот почему я, человек, проживший при советской власти благополучную жизнь, такую счастливую, что никто из нашей семьи, из наших родственников и даже однокашников по институту репрессирован не был, что мои заработки тех времен многократно превышали нынешние, хотя я работаю сейчас ничуть не меньше; что хотя тогда мне и удавалось сделать в области природоохранной, кажется, больше, чем теперь, — при всем при том я все равно голосовал за Ельцина, против Зюганова: что ни говорите, а шансов, что такого рода «эпизоды» вернуться, при Ельцине все-таки меньше. Шансов же, что через одно-другое поколение страна воспитает для себя настоящих президентов, — больше.

Впрочем, шансов такого рода у нас меньше малого. Новая демократия (время ДМ) породила генералов, которые объявляют, что они родились победителями, то есть авантюристами, и дело для них осталось за немногим — чуть-чуть подучиться в театрах, еще где-то управлению государством.

Нельзя не отметить первый шаг Лебеда, так ожидаемый обществом. Но когда его спрашивают, почему он так-то и так-то поступает, он отвечает: потому что я так решил. Генерал грозит своему обидчику, тоже генералу, иском в один рубль — он не хочет «взяточнических» денег, но это не мешает ему продавать свое место в Думе третьему генералу, которому вот как нужна депутатская неприкосновенность.

Пресса подает все это как сенсацию, из кожи лезет, чтобы не пропустить «материал» (в первую очередь на свою же голову), а в народе у нас немало людей, которые соскучились по новому Сталину, так что перспектива вполне реальная.

Как я понимаю, американцы, те не выбирают своих президентов по уму. Конечно, ум — это не последний довод, но все-таки. Самый умный француз вполне может стать президентом Франции, для самого умного американца это в наше время исключено. Было когда-то — и прошло.

Здесь первый довод при выборе — это чтобы президент был настоящим американцем, американского покроя и способа мышления по восприятию жизни.

Мне кажется, что для всех других стран это неприемлемо, а для России — просто-напросто невозможно. Невозможно, начиная с того, что мы не знаем самих себя (говорилось уже).

Вот эту задачу нам предстоит решить. Как? Я не знаю. Ну конечно, можно положиться на время, но и время-то свое мы ведь довели до состояния почти полной невменяемости.

Конечно, снова задумываешься и над тем, что же это за страна такая — Россия.

Мы, русские, для всего мира загадка, но для самих себя — больше и трагичнее всех.

Мы, русские, со своей собственной, ни на что другое не похожей судьбой — но кроме того, что судьба эта ни на что другое не похожа, мы о ней ничего не знаем. Мы не только в будущем, но и в истории своей загадочны, не прогнозируем в прошлое, проще говоря — до сих пор исторически несостоятельны.

Может, наши беспредельные пространства в том виноваты: нам все равно, что Мурманск, что Владивосток (Евразия!), — везде Россия; у нас как бы утеряно чувство меры и чувство границы возможного с невозможным. Мы в этом пространстве все еще кочевники, не только в буквальном, но и в духовном, в моральном смысле, и вот уже в ход времени, в историю мы переносим эту кочевую бессмыслицу! Не успели как-то устроиться в Двадцатом веке — ничего, устроимся в Двадцать первом (и Ельцин так обещает). Но ведь на век Двадцатый точно такие же надежды возлагал век Девятнадцатый, а припомнить, так и век Восемнадцатый (тот же Петр Первый) уповал на Девятнадцатый: вот уж наступит, тогда и...

Но история государств только тогда разумна, когда то, что в ней происходит, — происходит вовремя. Разве можно это сказать о нашей истории? Разве можно сказать о ней, что мы ее поняли? Не говоря уже о настоящем?

Тем более — о нашем будущем?

Хотел написать воспоминания, а получилось...

Что получилось?



ВРЕМЕНА И ПРАВЫ

ЕРМОЛАЙ СОЛЖЕНИЦЫН

*

ОТ ГОРСТИ РИСА — ДО СОТОВОЙ СВЯЗИ

По китайским впечатлениям

Великое устье великой реки под океанским солнцем. Мы вошли в ее сверкающее пестрение — и грянули трубные переключки пароходов, буксиров и катеров. Баржи, идущие на разгрузку, краны, краны и краны по берегам, шум, плеск, грузы, причалы. А надо всем — величественной аркой перекинутый мост, гордость городских строителей, — словно зазывно распахнуты ворота — в Шанхай. Сильный палубный ветер добавляет мощи окружающему пейзажу: вперед в XXI век!

В моем рюкзаке лежал свежий номер журнала «Экономист». Я только что прочитал статью под заголовком «Янцзы поднимается». Устье Янцзы по численности населения и производству равно Индонезии, четвертой по населению стране в мире. С 1990 по 1993 год, учитывая инфляцию, производство в этом регионе выросло на 67 (!) процентов, треть всего производства страны — здешнего происхождения. Устье привлекает четверть всех иностранных инвестиций в Китае, но отличается от равно интересующей иностранцы провинции Гуандун тем, что здесь существующий промышленный потенциал послужил своего рода магнитом для инвестиционных вложений, в то время как на Юге рост экономики изначально основывался на иностранном капитале.

Когда-то Наполеон бросил фразу, ставшую крылатой среди обозревателей сегодняшнего Китая: «Китай — дремлющий лев. Проснувшись, он потрясет мир». Глядя на кипящие человеческой деятельностью просторы Янцзы, нельзя было не увидеть огромную пасть потягивающегося льва, распахнутую в утреннем зёве.

Зная разговорный китайский язык, осенью 1995 года я два месяца путешествовал по Китаю без спутников, стремясь уловить местную жизнь, не боясь сворачивать с трасс на проселки и стараясь разговаривать с китайцев, с которыми сводила дорога. Среди пятнадцати городов, в которых я побывал, были и крупные центры, и провинциальные захолустные дыры. Полумифическая непроницаемость Востока таяла в улыбках и приветливости китайцев при встрече с иностранцем, уверенно говорящим на их родном языке.

Так было и однажды в Пекине. Я отдыхал, сидя на корточках по-китайски, и не сразу заметил семенящего в мою сторону взъерошенного китайца. Неудачно выбранное место для отдыха с запашком из мест общего пользования, следами недавней торговли овощами и стоком гнилой воды заставило меня подняться, я машинально ответил на его приветствие. И внезапно последовал сбивчивый монолог:

— Китай — ужасное место! Все вокруг вранье, обман. Всех используют. А направляют всем воры, все теплые местечки раздают своим родственникам. Мао был главным лжецом, убил миллионы людей. Я помню, как вон там за углом штабелями лежали трупы. Когда в Культурную революцию доведенные

Ермолай Солженицын (родился в 1970 году) — старший сын писателя А. И. Солженицына. Окончил факультет восточных языков в Гарварде. Жил и работал на Тайване, потом в Москве. В настоящее время учится в аспирантуре Принстонского университета.

до отчаянья люди от голода умирали на улицах, к ним боялись подойти, обходили, точно чумных. И Дэн — лгун. Все, что болтают на Западе о китайском экономическом чуде, — мираж, наши правители бездарны, не способны управлять городом, не то что страной. Тибет, Синьцзян — надеюсь, скоро восстанут. Ты недавно с Тайваня? Передай тайваньцам, чтобы ни в коем случае не соглашались объединяться с Китаем, ни в коем случае. Тут всюду ложь и насилие.

Я понимал, что для такого монолога требуется немалая смелость, такое с рук в Китае не сходит. Слушал молча. Он выговорился и быстро скрылся за ближайшим углом.

Двусмысленность сегодняшнего Китая: диктатура рука об руку с экономическим мощным ростом.

Вот ходячая формула, чуть не общее место: Запад настаивает на демократии и правах человека — они, и только они, обеспечивают эффективное экономическое цивилизованное развитие; Азия же пытается построить высокоэффективную экономику, сильной авторитарной властью защищаясь от превратностей рынка и духовной мешанины — следствия коммерческой масскультуры.

В России сегодня, очевидно, многие завидуют китайскому варианту «выхода» из коммунизма, сравнивая горбачевское «сначала политика, потом экономика» с ровно противоположным подходом Дэн Сяопина, начавшего реформацию с экономики. Но все-таки не мешает помнить слова камбоджийского диссидента (в прошлом министра финансов): «Ни перед одним человеком не должен быть поставлен выбор между хлебом и свободой». В России многие завидуют сегодняшнему Китаю... Там хорошо, где нас нет.

Губернатор Сычуаньской провинции, родины Дэн Сяопина, прошлым летом высказался так: «Китай — поезд, летящий со скоростью двести километров в час. Даже если б мы, власти, этого захотели, его уже все равно не остановить. Наша задача — задача машинистов и стрелочников — только в выборе наивернейшего и самого выгодного пути».

Да, скорость налицо: за последние пятнадцать лет рост китайской экономики свыше семи процентов в год. Очевидно, никогда в столь сжатый исторический срок не было еще выведено из нищеты сразу столько миллионов людей. Всего на 8 процентах всей орошаемой земли нашей планеты кормится свыше 20 процентов ее населения! Городские магазины ломятся от товаров, уверенно приобретаемых средним классом. Жизнь в кипении. Думая о будущем Китая, чувствуешь головокружение.

И все-таки на сегодняшний день примерно 65 миллионов все еще перебиваются с риса на воду; инфляция, перенаселенность, коррупция, интенсивная миграция в города, растущий большой разрыв между уровнем жизни глубинки и побережья, между бедными и богатыми, центробежные процессы, все еще слабые транспортная и коммуникационная инфраструктуры — вот болезненные сопутствующие компоненты гигантского экономического рывка Китая.

Можно представить мысли вождей: динамика разгона такова, что если резко затормозить, то произойдет катастрофа. А с другой стороны, тормоза, вообще долго не бывшие в употреблении, могут не сработать именно тогда, когда действительно это будет необходимо. Самое опасное, что локомотив несет, а рельсы-то до конца отнюдь не проложены и даже пункт назначения отчетливо не указан. Движение неумолимо, учиться не у кого — уж слишком своеобразно развитие. Правда, не грех припомнить уроки собственной истории — хотя б за последние двести лет.

...Начало XIX столетия. Китай дремал под пятой очередной самодовольной династии: уже более века управляли маньчжуры. Но вот предприимчивые иностранцы приходят со своими плодами промышленной революции, и все больше охотников пожинают эти плоды. Империя теряет идею, путеводная историческая звезда почти что неразличима, крестьянские массы брошены центральной властью на произвол судьбы и на местном уровне ведут борьбу за существование — со своими мелкими деспотами, голодом, наводнениями, неурожаями. С центральной пекинской властью контакты совсем размыты,

«горы высоки, а до императора далеко» — гласит древняя китайская поговорка.

Гражданские междоусобицы, череда поражений от иностранных армий, — к началу века нынешнего Китай — это полуколония. Заграница не оставляет раненую тушу в покое: кому нужны недра, кто навязывал опиум, кто просто не мог жить без Кореи — всем было от Китая чего-нибудь надо, каждый его использовал в меру своего эгоизма и колониального соперничества. Наконец, все различимей сделались призывы к самоукреплению, ставившие Китаю цель: перенять западную науку и технологию, но не заразиться идеологиями и чужеземной культурой; тем более, что у соседней Японии это, кажется, получалось. Но, увы, по определению Сунь Ятсена, Китай в итоге так и оставался «кучей рыхлого песка» — без мощной объединяющей нацию идеи.

Скинули императора (в 1911 году), потом — десятилетия «удельных» княжеств под властью местных царьков (кто — выпускник военной академии, кто просто бандит), безрассудные траты жизней и энергий на междоусобицу. Наконец, как это всегда и бывает, возвысился самый ловкий и сильный из удельных властителей: Чан Кайши был признан большинством в качестве правителя, президента, главнокомандующего. А он, соответственно, признал их власть — на региональном уровне. Такая вот хлипкая сделка: Чан только и успевал регулировать отношения — то маньчжурские генералы что-то затевают, то на Юге громкие перестрелки. Тут и японцы начали насаждать. В 1929 году столкновение в Маньчжурии с СССР — к вящему позору Китая. Решили начать формирование армии, отвечающей современным стандартам, — пригласили немцев. И — ввели «синие рубашки» (как черные в Италии и коричневые в Германии), как бы свои опричники. Но мы же, гоминьдановцы, — «партия народа», так что идем к конституции и Учредительному собранию. Война, грянувшая в 1937 году, заставила отложить эти благие демократические начинания до 1946-го. Правда, законопроектов из центра было за это время немало, но, как правило, они застревали на местном уровне, — центр оставался оторванным от страны. Попытки Чана внедрить идеал дельного, законопослушного гражданина не увенчались успехом.

Первоначальные усилия коммунистов тоже не увенчались успехом: городские восстания 1927 года были сорваны, и те из коммунистов, кто тогда избежал расстрела, сконцентрировались в провинции Цзянси. В 1931 году они там образовали свои «Советы». В 1934-м Чан организывает карательную операцию (пятую за три года). Из 100 000 вышедших из окружения коммунистов более 90 000 погибли при сложнейшем (шесть тысяч километров) отступлении, окрещенном «Великий Поход». Было упорство, была верность — утопической идеологии и вождю; другим — просто некуда было деться: раз уж взялись за оружие — пришлось идти до конца. В середине 30-х Мао становится общепризнанным китайским коммунистическим лидером. Началось растянутое во времени противостояние с гоминьдановцами: отступали, бежали, сопротивлялись, стреляли, а бывало, что и сотрудничали. За двадцать лет выработался у коммунистов и опыт управления, и опыт земельной экспроприации с передачей земли крестьянам: всем поровну понемногу. Сталин в Азии плел столь тонкие козни, что все никак не решался поддержать в открытую китайских товарищей, а Мао никогда и не стремился к сотрудничеству с Кремлем. В 1946 году Сталин таки передал им японское трофейное оружие из Маньчжурии, послужившее осуществлению южного натиска коммунистических сил. Чанкайшисты, измотанные восьмилетней войной с Японией, вяло сопротивлялись, а то и массово переходили к Мао. Американский генерал Маршалл констатировал в 1946 году: «Одни связались с коммунизмом, будучи возмущены насилием, коррупцией и полицейскими мерами Гоминьдана. Другие — с отчаяния, не видя никакой перспективы. Третьи — принимают новую власть по инерции».

1949 — 1956 годы — становление коммунистического режима во всей его полноте, создание разветвленной маоистской бюрократии — приводных ремней от центра к провинциям. Но тут Мао, во избежание чрезмерной самостоятельности своей номенклатуры и бюрократии, грозящей его абсолютной власти, выпускает на сцену интеллигенцию: критикуйте! Та сначала побаива-

лась, но потом вошла во вкус: полилась критика социализма, да даже и самого вождя. Тут же Мао интеллигенцию пересажал («правый уклон»).

Опешившие было бюрократы вновь вгрызлись в свою работу. 1958 — 1961 годы — новый р-р-революционный Большой скачок вперед: «народные коммуны»; плавка всего доступного металла для ускоренной индустриализации; пламенный лозунг «Обгоним Англию и Советский Союз!». По меньшей мере 20 миллионов вымерло с голоду; колхозные коммуны неэффективны, впопыхах переплавили и все необходимые инструменты; все рапорты о достижениях — дутые. Но Мао не ослабляет натиска: «Идеология выше практики».

В январе 1962 года даже Мао был вынужден признать неудачи и, правда с бесконечными оговорками, свою долю вины. Бюрократы опять выходят на первый план, пока через четыре года Великая Пролетарская Культурная Революция не сотрясает Китай. Оболваненная молодежь, а следом армия — ее самые фанатичные исполнители. 40 миллионов (!) жертв принесены на ее алтарь — вплоть до 1976 года, пока Кормчий не умер.

После его смерти напуганная, деморализованная террором бюрократия ищет наконец безопасности и покоя; сам Дэн три раза низводился с правительственных верхов, хотя из партии и не изгонялся: он, верно, был нужен Мао как очень толковый администратор. И все три раза непотопляемо возвращался, на третий — уже бессменно.

Умный маленький Дэн четко понимал — измученной стране нужны не судороги очередной идеологической кампании и террора, а стабильность и еще раз стабильность. Первое поколение вождей жило легендарным партизанским и идеологическим прошлым и утверждало, что победа в 1949-м стала возможна именно из-за примата идеологии. Но нынешним вождям уже не убедить своих подданных, что идеология важнее материального достатка.

Дэн начал с необходимого: пересажал «банду четырех» (радикалов-фанатиков из Политбюро), издал — подобно Хрущеву в 1956-м — секретный документ об ошибках, допущенных при проведении в жизнь идей вождя (сами идеи не посмев тронуть); а главное, стал во всем подчеркивать необходимость профессионализма, идеология при этом отступала как будто в тень.

Но не все так просто. Возьмем армию — Дэн решил ее деполитизировать, политработники (красные комиссары) из ее рядов вымывались. Пусть занимаются наконец своими прямыми обязанностями, а не как в 1969 году, когда три четверти ЦК — в военных мундирах. Прямо у военных частей стали разбивать огороды, а то и возводить фабрики: пусть солдаты занимаются теперь не только военной подготовкой и политграммотой; сегодня армии принадлежит видная роль в экономическом раскладе страны. Сокращение военного бюджета, на миллион с лишним — численного состава Народной армии. «Партия должна управлять ружьем», а не наоборот. Но сила-то «вытекает из дула ружья», любил говаривать Мао. 4 июня 1989 года заставило вспомнить присказку Кормчего. Уже более месяца студенческое движение бушевало в столице и грозило перебраться в другие города. Генсек Чжао Цзянь чуть не в открытую поддержал демонстрантов, но не одолел в политической схватке премьера Ли Пэна, который 20 мая подписал приказ о введении военного положения. В ответ поступили предупреждения от влиятельных военных чинов в отставке: «народная армия» принадлежит народу, стрелять в него не будет и ни в коем случае не должна вступать в город. Развязку пришлось отложить на две недели, и похоже, что только личное вмешательство Дэна восстановило дисциплину. «Партия удержала ружье» в своих руках: к концу 1990 года шестеро из семи командующих военными округами сменены, политкомиссары переведены, командиры городских гарнизонов Пекина, Шанхая и Тяньцзиня сняты с должности. Количество времени, отводимое под политзанятия, опять подскочило. Формируется Народная вооруженная полиция в целях оперативного и эффективного подавления будущих беспорядков.

Все та же дилемма: без профессионализма не достичь эффективности, без идеологии — необходимой покорности. Надо как-то найти необходимый баланс. Идеология — испытанное оружие контроля за обществом — ее не след впопыхах откидывать. Вот генсек Цзянь Цзэминь в конце 1995 года подчеркивает: в гуманитарных и социальных науках главное — руководствоваться мудростью председателя Мао; прессе — проводить идеологическую линию Мао —

Дэна — Цзяна (художественно, но такую преемственность как-то обосновали). А главное — умение убедительно преподнести ее (знамение времени: партия не насаждает, а убеждает, как бы борется за общественное мнение и поддержку). Нельзя забывать об идеологии! И вновь — интеллигенция должна учиться у рабочего класса. Но в то же время Дэн ведь еще в 1992 году определился на весь будущий век, заявив: «По капиталистическому пути следующие сто лет!» Ну а уж потом и социализм. И добавил: «Разбогатеть — это почетно».

Маятник последних пятнадцати китайских лет: то борьба с «духовным загрязнением», с «буржуазной либерализацией», с «мирной эволюцией», то спад идеологического шума и преобладание мер либерализации экономики. Вопрос, стоящий перед «самоуправленцами» конца XIX века, повторяется: как получать и адаптировать одни плоды западной цивилизации и решительно не импортировать другие, для целей партии вовсе не подходящие? Вот в Сингапуре, кажется, получилось, там строгая администрация и одновременно развитие. Да и премьер-министр Махатир в Малайзии противостоит «западнизации». Но одним масштаб помогает, другим — ислам. А Китай слишком огромен и пестр; отсюда и рывки, и вибрация. То мощное впрыскивание в экономику: она растет, бурлит, нагревается, перегревается — инфляция. При тормаживании. Через два года опять: денежное вливание, ослабление кредитного контроля — а то, мол, утратим темп.

Но вот в самое последнее время, кажется, определяется новая тенденция: вместо рывков и метаний — сбалансированность рынка и плана, отказ от крайностей. И все — в идеологически подтянутом климате.

Но не следует забывать, что, несмотря на демонстративную солидарность в верхах, смерть Дэна может заставить многих выложить самые неожиданные карты на стол. Трижды в истории коммунистического Китая один человек совмещал посты главы государства, партии, армии. Мао — умер на властном олимпе. Хуа Гофэн был быстро оттеснен Дэном. Цзян Цзэминь второй уже год занимает эти три поста...

Борьба с коррупцией и патриотизм — вот, пожалуй, два кита, на которых власть и обыватель могут солидарно держаться. На них же крепится и партийная дисциплина — сама по себе, без определенных целей, она расходится по всем швам. Правда, деликатность необходима: а то вон летом 1995-го начали выкорчевывать коррупцию, так вице-мэр Пекина наложил на себя руки (а бывший мэр дожидается процесса в тюрьме). Тут недалеко и до самоубийства партии — пришлось приостановить кампанию. И одновременно в январе 1996-го рассылаются местным властям инструкции: в течение года возбудить уголовные дела по наиболее крупным и вызывающим у народа особое возмущение случаям коррупции, — генсек определил это как «одну из важнейших задач, стоящих перед местными властями». Определены «три нельзя» (в Китае особенно любят умеровать цели, решения и т. д.): 1) ни одно крупное, затрагивающее развитие всей инфраструктуры решение не может быть принято чиновником единолично, но лишь коллективно; 2) любое назначение на высокий партийный или чиновничий пост должно пользоваться поддержкой на местах; 3) такое назначение должно быть коллективно поддержано местным партколлективом. Иными словами, партия должна остаться правящим классом, но честным, самоотверженным, подающим пример правильной жизни. Партийные кадры сверху стыдят и увещевают: не ездите на иномарках, не посещайте дорогих увеселительных заведений — пусть народ видит, что вы работаете на страну, а не на себя.

Или вот патриотизм — что ни говорите, а страна-то наливается мощью! И Америка нервничает, и Россия хочет дружить, и японцы опасаются военной угрозы. Есть чем гордиться. И направим наш патриотизм — против американского «культурного империализма», «вмешательства во внутренние дела» под маркой «прав человека» (да сколько же раз им повторять: первое и основное право человека — право на кров и пищу), наконец, против тайваньского сепаратизма.

Один пожилой инженер твердо ответил на мой вопрос о власти, демократии и реформах: «На заводе нужен порядок. Если каждый рабочий начнет выставлять свои требования, завод станет». То есть страна — завод... Азиатское мировоззрение? Но рабочие все-таки ведь не роботы. Как заметил один американский профессор: «Только из того, что они китайцы, еще не следует, что им хочется сидеть в тюрьме».

...Стабильность под руководством партии, являющаяся первостепенной целью вождей, обходится китайскому народу недешево. По некоторым данным, до 20 миллионов зекв китайского ГУЛАГа бесплатно вкалывают на обеспечение китайского Чуда. (Несколько лет назад китайская фирма получила подряд на прокладку железной дороги в одной из стран Африки; выгода предложенного ею контракта оказалась легко объяснима: закончив работу, она увезла своих рабочих-заключенных назад в Китай.) Испытанные политические диссиденты получают повторные пятнадцатилетние сроки, преступников расстреливают прилюдно на стадионах — в 1995 году была приведена в исполнение тысяча смертных приговоров. Вторично забеременевших женщин штрафуют, вынуждают к аборту, а то и стерилизуют. Приказ стрелять на уровне груди в студентов на площади Тяньаньмэнь в 1989 году был отдан нынешними же властями. «Убейте курицу, чтобы запугать обезьян», — разъясняли в Китае исполнители репрессий прошлых десятилетий. Это правило прижилось, и, похоже, от него власти не собираются отказываться и ныне.

С другой стороны, любой средний китаец возразит: «Сегодня мы живем лучше, чем когда-либо. Зачем заниматься политическими рассуждениями, подвергая себя риску, когда изменить все равно ничего нельзя? Это Китай, и мы идем своим путем». И ведь — идут.

Чего только я в Китае не слышал; вот несколько памятных фраз из этой разноголосицы. Таксист в Харбине: «Партии недолго осталось управлять, народу уже они поперек горла стали». Шанхайская студентка: «Студенты на улице снова теперь не выйдут. Но никто больше не верит ни партии, ни правительству». Молодой музыкант из Чунцина: «Как ни крути, а без демократии Китай сгниет». Работник городского аппарата города Чэнду (несмотря на постоянное одергивание за рукав жены): «Юг и так нестабилен, а отравленный дар не желающих попадать под власть Пекина гонконгцев лишь усугубит центробежные силы этого региона, передового экономически. Да и вернуть Тайвань будет намного сложнее». Упитанные партийцы в Кайфыне: «Реформы верные, да уж чересчур скорые, фундамент не окреп, а все надстраивают, надстраивают». «Жену сыскать теперь трудно», — жаловался бедный крестьянин.

И все же воздержимся оценивать перевес отрицательных отзывов как показатель провальной непопулярности режима. Во-первых, в какой стране, пусть и самой благополучной, не любят жаловаться? Это оживляет разговор, дает возможность как-то себя показать, выразить. А во-вторых, это все-таки лучше хора слитной поддержки славных вождей и их решений — свободы сейчас явно побольше, чем пять лет назад. Относительно больше. Группа студентов, карьера которых в полной мере зависит от успеха на предстоящих экзаменах, громко и уверенно на оживленной площади ответила на вопрос о состоянии родины: «Сейчас лучше, чем прежде, а в будущем будет лучше, чем сейчас. Мы любим наших руководителей и уверенно шагаем за ними в будущее». Словно отбарабанили лозунг. А потом, возвращаясь по двое, по трое, советовали: «Хочешь знать правду, не верь тому, что говорят на улице вслух. У нас-то, молодых, все впереди, зачем рисковать из-за неосторожного слова?» Впереди-то впереди, но показательно, что не уклонились, а по-плакатному отчеканили.

...Летит плотно набитый людьми состав. Остановки бывают, но никого не выпускают размяться. Говор, шум, плевки, кашель, карты, табачный дым, багаж, корзины, велосипеды, мешки, рис, макаронны, пиво, водка, споры, стычки, грязь, гудки, сделки, сотовые телефоны. Из громкоговорителей — призывы, по стенкам — плакаты. Никуда отсюда не денешься. Даже как-то весело. Правда, иногда кондуктор звезданет кого-нибудь по башке дубиной, потом уводит. Что ж, лишнее место освободилось, только спешить занять, — дарвинизм, естественный отбор. Вот все и примериваются, как бы поудобней расположиться. Кого-то совсем вытеснили в тамбур, так тот еще ожесточенней толкается: все равно дальше уж некуда, а то и с поезда могут вытолкнуть.

Каждый гражданин Китая числится в «рабочей ячейке». Что отнюдь не означает реальной в этой «ячейке» работы. Но она — источник социального обеспечения, орган общественного контроля. Прописка, квартира, работа, возможность куда-нибудь поехать — все зависит от ячейки. Запрещено без ее со-

гласия жениться и выходить замуж. Заболел человек — она заботится о его лечении. Одинокая пенсионерка тоже опекаема ею. Собрался человек поехать отдохнуть — ячейка дает согласие. Для многих она становится эдакой общественной семьей. И исполняет функции подразделения «страны-завода». Но и если что не так — по собственному желанию не уволишься. В ячейке содержится «папка» на каждого гражданина. Еще не «дело», но легко может им стать. Формируется она годами и в «час икс» может быть затребована. Сегодня в Китае народ уже не марширует колоннами, большинство успешно занимается своей деятельностью, ощущая тоталитарную власть не более, чем граждане других стран — бюрократические и юридические рамки своего общества. Но психологический эффект ячейки и папки очень велик: словно человек себе не принадлежит.

Несомненный идол общества — деньги. Они открывают почти все двери, объединяют общими интересами и в общих проектах партийцев и молодую поросль миллионеров. Вся энергия общества устремлена к заработку. Политика отодвигается так далеко, что ее уже почти и не видно. Бизнес — в нем заинтересованы правительство, предприниматели, директора. Зарабатывают астрономические суммы; несмотря на казни, взяточничество процветает. В Китае все строится на г в а н ш и — неформальных отношениях, так что вряд ли государству под силу выкорчевать коррупцию. Но основная часть капитала — и в этом положительное отличие от современной России — не утекает за рубеж, а крутится в самом Китае. Эффективность личной экономической заинтересованности — на фоне неконкурентоспособных госпредприятий — ясна правительству, и негосударственный сектор, по некоторым данным, уже составляет 60 процентов промышленного производства страны. Государство в очередной раз объявило, что начиная с 1996 года госпредприятия перестанут получать дотации из центра, сами будут ответственны за свое финансовое положение; не способные это осуществить — обанкротятся. Особенно преуспевают предприятия, растущие в деревнях. Общая для всех развивающихся стран проблема незанятости сельского населения полностью, конечно, этим не разрешается, но именно эти предприятия — лучший двигатель экономического роста страны, их продукция по карману широкому китайскому потребителю из всех слоев общества. Экспорт по-прежнему приветствуется, но все понимают, что потенциально самый большой рынок планеты должен как следует подготовиться к неизбежному потоку импортных товаров и местные предприниматели должны первыми хорошенько его освоить.

Китайские заказы ежегодно составляют значительную долю продукции авиастроительной фирмы «Боинг». Китайцы все больше летают, ездят, путешествуют — скачок туризма произошел с марта прошлого года, когда суббота была объявлена выходным днем.

Западные инвесторы вкладывают в Китай очень крупные суммы, и взаимная зависимость экономик Китая и Америки стала теперь одним из основных факторов в их отношениях. При нынешних темпах роста к 2025 году валовой продукт Китая может превысить американский.

Китай — в движении. И в такой огромной стране это движение кажется порою сказочным, ход истории — невероятно размашистым. Но и трудности на пути — не менее впечатляющи.

Несмотря на все сдерживающие усилия властей, в этом году население страны увеличится на 20 миллионов. Валовой продукт в расчете на одного человека — 520 долларов (в 1995 году в РФ — 2960 долларов, в США — 28 440 долларов). И без тонких вычислений понятно, сколько усилий стоит властям поддерживать хотя бы минимально приемлемый уровень жизни для 1,23 миллиарда жителей. Голода в Китае сейчас нет, но он всегда был и не исключен в будущем. Экономический успех и соответствующее материальное улучшение уровня жизни последних пятнадцати лет — феномен в современной истории.

Хотя военный бюджет увеличится в этом году на 10 процентов, Китай неустанно заявляет, что не имеет агрессивных притязаний к какой-либо иностранной державе. Понятно, однако, что страны региона обращают внимание не только на слова, но и на арсеналы своих соседей, и некоторые из них по-

дозревают гиганта с такой плотностью населения в желании расширить свои владения.

Южная провинция Гуандун представляет собой пример проблематичности быстрого развития. Последние пять лет экономический рост провинции составлял 19 процентов в год, но сельское хозяйство росло только на 5,3 процента в год. Орошаемая земля часто недальновидно застраивалась в производственных целях, и за эти же годы ее стало на 30 процентов меньше. В 1995 году урожай Гуандуна составил всего две трети от намеченного, а население растет по миллиону в год. Несмотря на такие озадачивающие тенденции, трудно представить, что в скором будущем станет достигнута та критическая точка, когда военная агрессия — скажем, по отношению к русскому Дальнему Востоку — принесет больше пользы, чем вреда; это может случиться только в той ситуации, когда без добавочных природных ресурсов Китаю будет уж вовсе не обойтись.

Реформы Дэн Сяопина начались с деревни, где проживает 75 процентов населения. С 1978 года крестьяне получили возможность арендовать земельные участки у колхозов, и до 1984 года в стране стремительно росли урожаи. Промышленные предприятия в деревнях предоставляли заработок избыточной рабочей силой. К концу 80-х в самых благополучных сельских местностях 10 процентов населения, работая на земле, обеспечивали остальные 90 процентов — производящих товары широкого потребления. Но за последние несколько лет миграция крестьян в города в поисках работы выросла в одну из заметных (и для правительства тревожных) тенденций экономического развития Китая. До 150 миллионов крестьян «кочуют» по стране, живут на вокзалах, под мостами, нанимаются чернорабочими, нередко конфликтуют с горожанами и городскими властями (бывали и стычки с полицией). Концентрация бедной и бездельной массы в городах видится правительству как достаточно взрывчатая почва для возможных беспорядков. Наблюдаются попытки официального найма рабочей силы одной провинции властями другой — с двойной целью: и проконтролировать нарастающий демографический сдвиг, и заработать на нем. Возможно предположить, что при наличии этого несомненно дестабилизирующего фактора в экономике городов правительство не рискнет слишком жестко обойтись с госпредприятиями, банкротство которых послужит усугублению безработицы (в 1989 году окончательное решение применить оружие против демонстрантов было принято именно после присоединения к студенческому движению рабочих, быстро и дружно организовавшихся). Нечувствительная к идеологическим призывам, эта взрывчатая масса будет оставаться относительно спокойной, пока экономическая ситуация предоставляет возможность заработка. Если же экономика споткнется, то никто не поручится, что не возникнут крупные беспорядки.

...В 1995 году валовой продукт Китая вырос на 10,2 процента; инфляция — на 14,8 процента. Продолжающаяся борьба с инфляцией, скорее всего, снизит рост цен в этом году до 10 процентов (цель, объявленная правительством), и жесткая кредитная линия центра опустит рост валового продукта до 8 процентов. Стремление не допустить перегревание экономики можно рассматривать в свете «неофициального» высказывания одного пекинского чиновника в сентябре 1995 года, что если рост валового продукта страны опустится ниже 8 процентов, то центру придется серьезно отнестись к возможности рабочих беспорядков в городах. Центр, очевидно, чувствует себя достаточно уверенно, объявив в начале 1996 года, что освобождает цены на «основные» материалы, используемые в промышленности, — оборудование, химикаты, уголь, железо и сталь. К этому времени цены на 80 процентов потребительских товаров уже определялись рынком, но до сих пор правительство жестко контролировало цены промышленных материалов, опасаясь инфляционного взрыва. Правда, не следует забывать, что если новое решение и объявлено — это еще не значит, что оно будет осуществлено.

В феврале 1996 года в Китае обнародованы данные о доходах и сбережениях 300 миллионов городских жителей страны, разделенных на пять категорий. Бедствующие семьи (безработные или временно подрабатывающие рабочие), составляющие 8 процентов городского населения, получали около

600 долларов в год, имея также 360 долларов в сбережениях. (По иным правительственным данным, минимальная зарплата, определяемая каждым городом, устанавливает заработки от 170 до 570 долларов в зависимости от экономического успеха региона.) 30 процентов составляли семьи с низким доходом. Проживающие в малых городах отдаленных от побережья регионов зарабатывали от 600 до 1800 долларов в год, имели сбережения на сумму 1000 долларов. 53 процента составляли семьи со средним доходом — от 1800 до 3600 в год, опирающиеся также на сбережения в три с лишним тысячи долларов. 6 процентов составляли семьи менеджеров СП, таксистов, гидов для туристов и частных предпринимателей, зарабатывающих от 3600 до 13 000 и имеющих свыше 10 000 долларов в сбережениях. Верхняя прослойка — 3 процента городского населения страны — имела доход свыше 13 000 и сбережения около 50 000 долларов — «предприниматели, директора СП, звезды кино и спорта, вербовщики рабочей силы и некоторые чиновники». Средний доход китайского горожанина вырос в 1995 году на 3,9 процента, учитывая инфляцию, и составил 620 долларов в год. В Китае больше миллиона миллионеров, если считать в юанях (1 миллион юаней = 120 000 долларов). В то же время 65 миллионов (7,1 процента населения страны) живут ниже черты бедности, зарабатывая меньше 64 долларов в год. (В 1978-м, при начале реформ Дэна, 250 миллионов, или 30,7 процента населения, жили ниже черты бедности.) Все они живут в провинции, где средний годовой заработок, в расчете на одного человека, вырос на 5,3 процента в 1995 году и составил 190 долларов. На очередном съезде, в марте 1996-го, власти особенно подчеркивали необходимость сократить растущий разрыв (увеличивающийся на 50 процентов в год) между бедными и богатыми.

В 1995 году необходимые годовые расходы горожанина выросли на 22 процента, составляя 550 долларов на человека к концу года. 50 процентов годовых расходов уходило на еду. Около 70 долларов тратилось на одежду, около 50 — на хозяйственные товары и услуги. 25 долларов человек тратил на образование за год и 13 — на культурные и увеселительные цели. Принимая во внимание инфляцию, власти считают рынок достаточно стабильным.

Бурное развитие юго-восточного побережья Китая, основанное на экспорте, во многом символизирует успех рыночных реформ 80-х годов. Эти регионы через десятилетие, вероятно, полноправно войдут в нынешнюю четверку «тигров» Азии: Южная Корея, Тайвань, Сингапур, Гонконг. Центр, Пекин, из покровителя превращается для них в обузу. (Шанхай и регион устья Янцзы относятся к Пекину несколько по-иному: шанхайская группа Цзян Цзэминя находится у власти в Пекине — и это положительно сказывается на отчислениях сюда из государственного бюджета.) Инвестиции в эти регионы поступали бы и без налоговых обязательств северной столице. Сегодня побережье платит налоги, понимая, что их средства перечисляются центром на поддержку более отсталых, отдаленных провинций. Сидя на очередном пышном банкете в честь очередного гостя-миллиардера, губернаторы передовых провинций знают, что тащат на себе экономически слабые регионы. А здесь рядом — Гонконг, Тайвань. В провинции Гуандун говорят на том же диалекте, что и в Гонконге; в соседнем Фуцзяне — по-тайваньски. В Сингапуре была даже конференция на тему проекта Южнокитайского Экономического Сообщества: Гуандун, Гонконг, Фуцзянь и Тайвань — локомотив с населением 120 миллионов человек. Отделяться от Пекина — без особого толчка — здесь никто не поспешит и не посмеет, но цикл расчленений-объединений равномерно катится уже через два тысячелетия китайской истории.

...Особенно важны в китайской традиции понятия престижа, «лица». «Потерять лицо» — как для вождей, так и для простого китайца — равноценно сильному поражению. Одним из наиболее ярких примеров этого феномена является отношения КНР с США и Тайванем.

С 1949 года Пекин и Тайбэй придерживаются одной официальной позиции, хотя и понимают ее диаметрально противоположно: Китай — един, и Тайвань — его исконная часть. Китайская республика на Тайване только в 1986 году отменила военное положение, связанное с подавлением «бандитского восстания» коммунистов, и до недавнего времени в Тайбэе работали мини-

стры по монгольским и тибетским делам. Тот факт, что рядовые тайваньцы вообще не могли уезжать с острова, не мешал Тайваню заседать до 1971 года в Совете Безопасности ООН, а самая населенная страна в мире вообще не была представлена в этой организации. Накаленная вражда с СССР не позволяла КНР полагаться на Кремль в поддержке изменения этой ситуации. Политически выраженное желание США сблизиться с Китаем в общем противостоянии «русскому медведю» и визит Никсона в Пекин сделали возможным уход Седьмого американского флота из Тайваньского пролива (где он более двух десятилетий гарантировал безопасность острова; впрочем, его там и не было, если бы не повалили китайцы через реку Ялу в октябре 1950-го, вмешавшись в корейскую войну). И США, и европейские страны поспешили перевести свои посольства с тропического острова в северную степь Большого Китая — в Пекин. (Китай рвет дипломатические отношения с любой страной, официально признающей Тайвань.) И все же сегодня тридцать стран имеют официальные дипломатические отношения с Тайбэем, из которых ЮАР является, пожалуй, самой весомой. Нынешняя политика придания себе международного веса, проводимая Тайванем, как правило, сводится к поездкам высокопоставленных гоминьдановцев по странам Центральной Африки и Америки, где за круленькие суммы покупаются официальные отношения. Хотя официально Тайвань не преследует цель «независимости», президенту острова приходится учитывать стремящиеся к ней политические движения, а Пекин прямо обвиняет тайваньские власти в «предательских кознях»: в скором будущем провести попытку «отделения». Несмотря на отсутствие всеобщего политического международного признания, сегодня Тайвань — практически независимая страна. Наиболее остро отреагировал Пекин на поездку тайваньского президента в США в мае прошлого года. Летом начались ракетные испытания Народной Освободительной Армии в водах неподалеку от острова. В марте 1996-го они были повторены — за две недели до первых демократических выборов президента на Тайване — и вызвали неожиданно резкую реакцию Вашингтона. США даже направили к Тайваню военные суда, составившие самую большую со времен вьетнамской войны американскую флотилию в Азии. Несколько лет назад Пекин с Тайбэем договорились использовать формулу «одна страна — две системы». И Пекин не устает подчеркивать, что если остров попытается объявить независимость, то КНР прибегнет к военному решению. «Тайваньский вопрос» остается открытым.

По мнению специалистов, для взятия острова потребовалось бы по меньшей мере полмиллиона солдат, пересекающих пролив в два с лишним раза шире Ла-Манша, с использованием десантной техники, которой у Китая, в общем-то, нет, — под ураганным огнем тайваньских самолетов американского и французского производства, предусмотрительно закупленных Тайбэем. В хорошей подготовке тайваньских военных летчиков не приходится сомневаться; кровопролитная, чреватая, по оценкам экспертов, потерей половины десанта военная операция вряд ли соблазняет Пекин. Блокада же острова — теоретически, в общем, осуществимая, — безусловно, повлечет за собой торговые санкции нынешних партнеров Китая, нанеся его экономике серьезный ущерб, породит внутреннее недовольство отведавших плоды развития торговли китайцев и уж никак не убедит тайваньцев «вернуться в объятия родины».

С определенной долей приближенности не исключено такое сравнение: тайваньцы — такие же китайцы, как жители северо-востока США — англичане. ...В XVII веке бежавшие от маньчжурской династии переселенцы с континента, успешно потеснив голландцев и аборигенов, обосновались на острове. На них мало кто обращал внимание, и китайский император открещивался от ответственности за их морское пиратство, оправдываясь, что данный остров вне сферы его влияния. Разгромив Китай в 1895 году, японцы приобрели Тайвань, через пятьдесят лет он перешел к Китаю. Когда два миллиона китайцев бежали на остров от коммунистического режима, они «нашли» там восемь миллионов жителей, говорящих на не вполне понятном им диалекте и уж точно знающих японский язык лучше китайского. 28 февраля 1947 года произошло так называемое Тайваньское восстание, когда чуть больше чем за неделю были вырезаны гоминьдановцами несколько десятков тысяч тайваньцев. Этот

чудовищный факт тайваньцами, разумеется, не забыт, что тоже объясняет, почему островитяне смотрят на объятия континента без энтузиазма, с опаской.

В последние десять лет тайваньский язык вновь расцвел, послевоенные эмигранты из Китая мирно вжились в тайваньское общество. Искоренили б тайваньцы коррупцию (например, в опорных столбах надземной рельсовой дороги были обнаружены недавно трещины — очевидно, некоторые контракты передавались по цепочке подрядчикам по многу раз) — могли бы стать образцовым примером и финансовой опорой азиатского развития в будущем веке. Объединяться напрямую с Китаем хочет около 10 процентов населения острова. Свыше половины предпочитают существующий статус-кво: официально подтверждать тезис «одна страна — две системы», а тем временем все активнее заинтересовывать мировое сообщество выгодами своей действительной независимости. Рядового тайваньца, зарабатывающего в среднем до 14 000 долларов в год, трудно убедить в необходимости административно подчиниться Пекину. Тайваньское правительство избегает пока прямых связей с континентом: почта, суда, самолеты — все через Гонконг. Правила, регулирующие эти контакты, когда Гонконг отойдет Пекину в июле 1997 года, наверняка будут довольно изощренными. В октябре прошлого года наш рядовой очередной рейс тайваньской авиакомпании в аэропорту Гонконга неожиданно встречала большая группа фотографов. В чем дело? Оказывается, стандартный гоминьдановский флаг-эмблема на хвосте самолета начиная с этого рейса заменен на алый цветок. Хорошо, если столь безобидно — и не больше того, не заставляя никого «потерять лицо», китайцы и тайваньцы будут дружно «делать деньги», тем самым обеспечивая те 15 миллиардов долларов, которые тайваньцы уже инвестировали на сегодняшний день в Китай.

При столь стремительном социальном и экономическом процессе, в определенной степени необузданном, коммунистическая власть всячески старается доказать свою необходимость стране, склонить ее в свою пользу. Перенаселение, коррупция и Тайвань — власть хочет казаться гарантом решения всех этих трех фундаментальных проблем. Кто хвастает: «За сутки возьмем», кто ратует: «Постепенно...» — но, во всяком случае, струнка державной гордости властями задействована.

Вспомним два требования федеральных властей Америки к своим штатам: международная политика и военные действия полностью в компетенции центра. Ныне Тайвань рассматривается Пекином так же: полная политическая независимость острова представляется китайской столице вызовом ее государственным полномочиям. Будучи в долгу перед армией за поддержку в 1989 году, правительственный Пекин вынужден вежливо рассматривать самые сумасбродные предложения генералов. А армия есть армия: без боевых действий и бюджет могут сократить, и карьерное продвижение пробуксовывает за письменными столами.

И все-таки военное решение представляется, слава Богу, партийной номенклатуре наименее привлекательным. Ставка делается на плавный экономический рост, на законопослушание, стабильность, органичную интеграцию. Ведь с Китаем всерьез считаются в современном мире не столько из страха перед его военной мощью, сколько из уважения к его — на взгляд аналитиков — административно-политической мудрости. Ясно, что тайваньцы просто так не сдадутся и в лучшем случае Китай получит остров с горящими фабриками и раскаленным сепаратистским свободолобием. Не исключено брожение в мусульманских провинциях Китая. Поток инвестиций резко сократится, как, впрочем, и вся торговля.

Стоя в цепочке очереди к подзёрной трубе, направленной на тайваньский островок Цзиньмень всего-то в каком-нибудь километре с лишним от китайского берега, китайцы шутят: «Мы развлекаемся, посматривая на них, а они сейчас веселятся, поглядывая на нас».

Мао называл США «врагом, достойным наибольшего уважения»: он более всего уважал именно силу. Война казалась ему вполне естественным состоянием между классами или странами, а мир он рассматривал именно как промежуток между конфликтами.

Нынешние правители Китая не столь воинственны, но силу уважают — и свою, и чужую. Даже создается впечатление, что регулярная и острая критика политики США в Азии обусловлена не только китайским ею неудовольствием, но и гордостью: мы, мол, на одном уровне и критикуем на равных. Тезисы Мао о Китае как защитнике и покровителе третьего мира и сегодня подкармливают тщеславие пекинских политиков.

Соединенные Штаты трудно назвать мировым полицейским в Азии. Все страны, включая даже Малайзию, пожалуй, единодушны в том, что американское присутствие в его нынешнем виде — гарант стабильности. Раздражает многих азиатов другое — самодовольная уверенность американцев в своей единственно положительной культурно-политической миссии на планете: демократия, рыночная экономика, права человека и плюрализм как единственно универсальные принципы. Особенно это нервирует Малайзию, Сингапур и Китай. В случае чего Вьетнам к ним, конечно, подсоединится, но пока ему важнее продемонстрировать свою независимость от Китая. Впрочем, азиатская молодежь охотно принимает западную масскультуру, пришедшую рука об руку с экономическим ростом, и местным политикам вряд ли удастся противопоставить им что-нибудь идеологически эффективное. Однако раздражение, что китайское общество поучают и несколько свысока третируют, налицо, и в этом важный изъян американской внешней политики.

XXI век будет на «тихоокеанском» полушарии во многом определен взаимоотношениями США, КНР и стремительно развивающихся стран Юго-Восточной Азии: Малайзии, Таиланда, Индонезии, Вьетнама (к ним присоединятся Лаос, Бирма и Камбоджа). В этот многоцветный спектр включится, несомненно, и Индия.

Коммерческая спайка их будет надежным цементирующим стабильность фактором; необходимость торговли и экономического развития осознается всеми крупными игроками этого региона, понимающими, что дипломатия надежней, чем силовые военные рычаги. Авантюризм сейчас никому не на руку. В связи с этим можно предположить, что вожди Китая не станут сознательно действовать в ущерб собственной долгосрочной пользе.

Впрочем, это скорее благое предположение, и степень их «сознательности» остается неизвестной.

«Поддержание политической и социальной стабильности является основным условием для успеха реформ и развития, а стабильность достигается через углубление реформы», — публично заявил этой весной премьер Китая. С этим согласится любой лидер любой развивающейся страны и любой идеологической окраски.

Вопрос сводится к действительному соотношению провозглашаемых и реальных намерений. Насколько ныне коммунистическая идеология — оброк, дань прошлому и дисциплинарный фактор, насколько ею реально наэлектризованы нынешние вожди Китая? Совместима ли она с успешным экономическим развитием в будущем?

Дьявол — как утверждает английская пословица — в деталях.

POST SCRIPTUM

Летом 1996-го мне вновь привелось побывать в Китае. Закончив четырехнедельную работу переводчиком в нескольких центральных городах, я воспользовался желанной возможностью посетить «дикий Запад» Китая — Тибет и Синьцзян. Эти два «автономных региона» составляют 30 процентов территории всей страны, но живет там всего лишь 1,5 процента ее населения.

«Когда в Тибете встает солнце?» — спросил я в первый день в горах, пытаюсь высчитать часовой сдвиг, созданный властями (вся страна должна жить по пекинскому времени). И в трех тысячах километров на запад от столицы услышал ответ: «Утром».

В этом ответе и все последующие мои дни в Тибете я чувствовал какую-то неоспоримость: неоспоримость завораживающей природной красоты, неоспо-

римость слияния кочевнической жизни с буддийской религией, неоспоримость молчания встречных, как и неоспоримость их улыбок. И неоспоримость того, что перед глазами расстилается оккупированная земля.

Хотя китайское население в Тибете теперь превышает по численности местное и любая карта мира подтвердит границы КНР, но в разреженном горном воздухе было четко видно: это — не Китай. Китай лежит там где-то, на востоке, на севере, а сюда протягиваются только щупальца его — по сорок, по пятьдесят военных грузовиков. Щупальца опутывают селения, превращают их в города, несут с собой дым, металл, переселенцев. Несут с собой силу, деньги и солдат. Притекают по ним и свойственные китайцам активность, шумливость, веселье, но по глазам тибетцев было видно, что утекла-то по ним — свобода.

В VII веке тибетские племена объединились под сильным правителем, захватили Непал и двинулись на Север. Их столкновения с китайцами привели к взятию китайской столицы Чанан тибетскими войсками. Но междоусобицы раскололи тибетскую империю, и после IX века ее армии уже никогда не сходили со своего плоскогорья. Здесь они развили невероятной тонкости и изощренности цивилизацию, эстетический уровень которой и в наше время виден в монастырях и храмах Тибета. В XIII веке монгольское влияние пришло и сюда, но впечатленные монголы решили пригласить тибетских лам в свою столицу в качестве духовных наставников и главному из них присвоили титул «Далай-лама» — океан Мудрости. Далай-ламы стали «царями-богами» Тибета и после смерти перевоплощались, по тибетскому верованию, в следующего по счету Далай-ламу. (По древнему пророчеству нынешний, четырнадцатый, Далай-лама будет последним; после его смерти совокупная душа этих лам должна воплотиться в каком-то другом поле деятельности.) С середины XVIII века китайская империя отгосподствовала монголов и стала посылать в Тибет наместников для контроля над его иностранной политикой. Но власть Далай-лам оставалась реальной, и Тибет чувствовал себя вполне независимым. В 1950 году Освободительная Армия оккупировала восточный Тибет и вынудила Далай-ламу подписать договор, по которому вся территория Тибета переходила под военный контроль КНР, но политические, общественные и религиозные структуры оставались бы нетронутыми. Через девять лет вспыхнуло восстание, Далай-ламе пришлось бежать в Индию (на осле, надев форму китайского солдата), и игры в автономию были пресечены НОА. Но некоторые тибетцы продолжали сопротивляться до 70-х годов. Они вели партизанскую борьбу, но постепенно отступали все дальше и дальше на запад, производя вылазки со своих баз на территории Непала. Рассказывают, что одно время ЦРУ вывозило тибетских «боевиков» в США на учения, но эти операции прекратились перед визитом Никсона в Китай. Пекин дал Непалу понять, что если не будут пресечены набеги тибетских партизан, то НОА придется перейти границу. Тибетцы были ночью окружены непальцами и уничтожены. И вот уже более тридцати лет тибетцы живут фактически под военной оккупацией.

Вернуть свою независимость Тибет не способен. У малого народа на это просто нет сил, ресурсов, организации, да и поддержки. Мне не попадались тибетцы, прямо говорившие о том желанном дне, когда оккупация будет skinута, но на тротуарах Лхасы нередко встречались глаза непокорные, блестящие, свободные. Город все более с и н и з и р у е т с я (окитаевается), крепкие тибетские пятисотлетние дома сносятся, — китайцы не собираются никуда уезжать. С геополитической точки зрения это и понятно, учитывая непростые отношения Китая с Индией. Империи все, однако, рано или поздно распадаются, и только в Тибете я впервые почувствовал колониальные штрихи этой азиатской сверхдержавы.

А выехав за город на поражающие просторы этой земли, попадаешь как будто в другую эпоху, далекую от проблем нашего времени. Кочевники пасут свои стада, вечные горы обрамляют зеленеющие долины, невероятной синевы небо постоянно тянет куда-то вперед — вдруг все это, как бритвой, прорезается колоннами военных грузовиков, но сразу за ними снова срачивается в той самой магической неоспоримости: такую красоту невозможно отнять, она и вовсе не принадлежит человеку. Остановившаяся по пути, мы говорили с кочевниками или по крайней мере пытались, поскольку китайский язык они в большинстве своем не знали. Но глаза их смеялись, сверкали, — на высоте четырех тысяч метров над морем, со своими семьями, яками, лошадьми и палатками, со своей верой, они казались свободными. Пять дней в ненаселенных долинах и горах, с четырьмя ночевками в монасты-

рях были одним радующим движением, каким-то солнечным внутренним полетом. Я потом удивлялся: как это я не расспрашивал встречных о политике, об экономической стороне их жизни (как я делал в других местах), — здесь это все просто не приходило в голову.

На просторах Тибета постигаешь возможность гармонии человека с окружающим миром. Выражение этого глубокого спокойствия — буддийские храмы, монастыри и текущая вокруг них жизнь. Паломники тянутся через перевалы и вдоль рек, долгие дни добираясь к святыням своей земли и предков. То и дело попадаются пирамидки камней, сложенных в молитве; веревки с развевающимися разноцветными «молитвенными флажками» натянута на скалах; пещеры украшены изображениями Будды. Кажется, снежная вершина горы или неопишуемой красоты озеро ничуть не менее святы для паломников, чем храм или статуя в нем. Во всех монастырях — помещения для паломников: на их пожертвования монахи и живут. Монастыри служат оплотом тибетской культуры, веры и самопонимания. Тем самым они являются очагами оппозиции (и такими воспринимаются китайскими властями; а во времена Культурной революции древнейшие святыни взрывались и разрушались именно за их древность и святость). Во главе демонстраций или беспорядков, периодически вспыхивающих в тибетских городах, — всегда монахи. В мае этого года шесть монахов были убиты китайскими солдатами в Ганденском монастыре, и в июне, оцепленный военными, монастырь оставался закрытым для иностранцев. Крепко держат шупальца и — беспощадно.

Смерть в Тибете уважают. Черепа украшают тибетские фрески, но с мотивом не устрашающим, а окрашенным верой в перевоплощение души. Многие яки бродят по горам с красными повязками на рогах: со временем именно их заранее обещанные небу рогатые черепа складываются у святых мест или служат наддверным украшением. Каменистая почва наверняка послужила одним из оснований древнего обряда «небесных похорон» (по некоторым версиям, пришедшего из Персии). Тело умершего рано утром разрезается на мелкие кусочки, смешивается с довольно смрадной ячменной кашей и выкладывается на круглую площадку из булыжников, окруженную молитвенными флажками, — для целой колонии грифов, греющихся рядом на утреннем солнце в ожидании своего ежедневного завтрака. Людей они совершенно не боятся. После смерти прах, как и душа, возносится к небесам.

Во многом здесь видно сходство с западом Американского континента. Древние кочевничьи цивилизации покорялись двигающимися с востока чужеземцами с огнестрельным оружием. У одних — яки, у других — буйволы. Черепа и тех и других украшали дома и просторы неоспоримой, непокоряемой, почти яростной красоты земли. Описывая индейцев в Мексике, Д. Лоуренс видел «большие, печальные глаза людей умирающей расы», молчаливо и покорно идущих по жизни в ожидании освобождения от нее и воссоединения с предками. Хочется думать, что тибетцы не растают, не исчезнут со своих гор. Что бы ни случилось с империями и строениями — вера у этого народа не испарится. Вера в волшебство своих гор, в то, что душа их жила прежде, будет жить и потом.

«Ну, понятно: китайского производства», — «подмигнул» мне по-английски местный водитель нашего все время перегревающегося автобуса. «Китайцы — такие тупые, — весело сказал «белый» мужчина лет тридцати, широко улыбаясь в кругу своих друзей-таксистов. — Я их не люблю», — добавил он под общее сочувственное кивание. Это уйгуры — тюркский народ, живущий в оазисах Такла-Маканской пустыни уже несколько тысячелетий. Мумии умерших здесь в III веке нашей эры, сохранившиеся в сухой жаре столетий, — останки белых людей. Вдоль горных хребтов, по пустыням здесь в древности тянулись караваны «шелкового пути», останавливаясь в Турфане и в Кашгаре по пути в Самарканд, Бухару и к Средиземным берегам. То, что сейчас называется Уйгурской автономной провинцией Синьцзян, из последних двух тысяч лет контролировалось Китаем в общей сложности менее пятисот. Китай стремился в этих краях установить надежную защиту от набегов с севера и запада, и в середине XVIII века значительная часть Средней Азии была под его пятой. Но через столетие китайскую власть здесь сильно потеснила Россия, и хотя регулярно вспыхивающие восстания Китай жестоко подавлял, мусульманский регион оставался во многом за пределами пекинской власти. С 1911 по 1949 год Синьцзян управлялся местными деспотами, которые приветствовали как гоминьдановскую, так и советскую поддержку, но использова-

ли ее исключительно в личных целях. К середине нашего века коммунистическая армия Китая восстановила полную власть Пекина.

В 1949 году китайцы составляли всего лишь 8 процентов населения Синьцзяна, к 1957-му их доля выросла до 23 процентов, а сейчас составляет почти 40 процентов из 16 миллионов живущих в провинции. Тридцать лет назад, во времена Культурной революции, китайские хунвейбины уничтожали мечети, священные книги, заставляли мусульман выращивать свиней, а перед вступлением в партию съесть свинины. Продолжающиеся атомные испытания в Синьцзянских пустынях, отравившие некоторые районы, не располагают население к центральным властям. Возникновение новых стран в Средней Азии, отколовшихся от коммунистической империи, заманчиво своим примером для многих в Синьцзяне. Исследования показывают, что, кроме уже найденной здесь нефти, велика вероятность существования значительных, еще не обнаруженных залежей; недостаток энергии в самом Китае только увеличивает намерение Пекина ни при каких обстоятельствах не допустить даже разговоров об отделении, а это самое намерение только усугубляет недовольство уйгуров по отношению к китайцам, «ворующим» их национальное достояние. Потому не удивительно, что более семи миллионов уйгуров и миллионы с лишним казахов косо смотрят на переселенцев с Востока, и нередкие взрывы подложенных бомб громко напоминают Пекину о местном отношении к «автономии».

«Синьцзян будет независимым, скоро...» — уверенно говорят многие уйгуры и казахи. Экономические связи со странами Средней Азии продолжают расти, и экономическая жизнь провинции кипит. Русские челноки из Новосибирска отсылают товары домой контейнерами через Казахстан. Здесь не чувствуются те отрешенность и безнадежность, которые удручают тибетцев и печалят посетителей их земли. Здесь у китайцев часы показывают пекинское время, а у уйгуров — на два часа раньше (постоянно приходится спрашивать: по синьцзянскому или по пекинскому?). Присутствие китайцев смягчается еще и тем, что на сегодняшний день они являются практически единственным значительным источником инвестиций в регионе. (При всем желании среднеазиатских стран также вложить деньги в Синьцзян у них нет лишних средств для этого.) По мере роста этих (и зарубежных) инвестиций Синьцзян будет чувствовать себя все крепче, но и Китай будет все более заинтересован в нем. Алма-Ата и Бишкек хотят стабильности в регионе, и вряд ли сепаратистские движения у их границ были бы им на руку. Дружба с Китаем для них важна, и можно предположить, что визит Цзян Цзэмина в Казахстан в июне этого года (где обсуждались майские взрывы бомб в Синьцзяне) увенчался взаимопониманием. То, что в Синьцзяне есть активное желание отколоться от Китая, что при своей численности и экономическом положении уйгуры и казахи являются динамичной силой в жизни провинции, и то, что они культурно, этнически и религиозно намного ближе к мусульманскому миру, чем к китайскому, — вне сомнения. Но для отделения от метрополии нужен сильный толчок. Это, как мы видели, в Пекине четко понимают и, разумеется, стремятся избежать каких-либо взрывов и даже поводов для напряженности. В противном случае остается только армия, со всеми сопутствующими осложнениями ее применения.

Две общие тенденции конца XX века видны и в Китае. Даже самые малочисленные народы планеты громко и уверенно требуют и завоевывают себе независимость и в то же время стремятся не отстать, не изолироваться от несомненной «глобализации» мировой экономики. Пекин все больше говорит о необходимости интегрировать периферию в экономическую жизнь страны, поделиться с ней плодами экономического успеха, не давать ей отстать. Но к концу XX века не видно примеров процветающих многонациональных империй. Быть может, Китай сможет стать таким примером, но для этого ему придется проявить не меньше политической изощренности, чем за последние пятнадцать лет проявил он экономической.

Москва.

Март — июль 1996.



ДНЕВНИК ПИСАТЕЛЯ

ИГОРЬ ЗОЛУТУССКИЙ



ПУТЕШЕСТВИЕ К НАБОКОВУ

Из дневника одной телевизионной поездки

Путешествие это началось в Москве, в мемориальных комнатах Гоголя, на Никитском бульваре, 7. Набоков никогда не был в Москве. Человек исключительно петербургский, родившийся, учившийся и до восемнадцати лет живший в петровской столице, он не видел ни Кремля, ни памятника Пушкину, ни этих комнат, к которым, быть может, не раз устремлялось его воображение. Ибо Гоголь был отмечен его благосклонностью более, чем кто-либо из русских классиков.

В романе «Дар» есть диалог двух героев — Годунова-Чердынцева и Кончеева. И в этом диалоге, где два поэта, два талантливых русских человека, оказавшихся в эмиграции, вспоминают XIX век, заходит речь и о Гоголе. «Я думаю, что мы весь состав его пропустим», — говорит Кончеев. Это значит, что поезд Гоголя без досмотра проходит в вечность.

Впрочем, несколько хвостовых вагонов у этого состава Набоков все же отцепил. И без жалости загнал в тупик. То были, конечно, «Выбранные места из переписки с друзьями», «Авторская исповедь», второй том «Мертвых душ», «Размышления о Божественной литургии». Для Набокова не существовало Гоголя — учителя жизни, для него существовал только Гоголь-поэт.

Его претензии к своему кумиру общеизвестны (Гоголь — «феномен языка, а не идей»), но как бы сам автор «Шинели» отнесся к этому вольному сыну эфира? На ум сразу приходят стихи Набокова:

Остаюсь я безбожником с вольной душой
в этом мире, кишашем богами.

Если подойти к этим строчкам по-набоковски, то их вообще не стоит принимать в расчет. Потому что это не стихи, а декларация. К тому же в атеистическом контексте странно звучит слово «душа». Все же душу вдохнул в нас Бог. Он же дал некоторым избранным, к которым Набоков причислял и себя, дар, или талант. Дар даруется, и хотя и дается даром, есть все же подношение свыше, а не материальная комбинация клеток.

Набоков знал это не хуже нас. Он, кстати, воспитан был в семье православно-христианской, где жили по закону любви, превратившей детство Набокова в рай. В романе «Подвиг» он пишет о матери: «...через ее голос и любовь такое же ощущение Бога, как то, что живет в ней самой».

Тем не менее, следуя штампам советского литературоведения, Набоков в книге «Николай Гоголь» пишет, что Гоголя уморили не только врачи, но и священник-изувер отец Матвей Константиновский. Я думаю, он был бы смущен, увидев в мемориальных комнатах на Никитском в головах постели Гоголя образ Николая Чудотворца, с которым тот не расставался, путешествуя по морю и по суку.

Единственное, что порадовало бы его сердце здесь, — так это стоящая в углу под иконой конторка — точно такую же конторку, за которой писал сам Набоков, я увидел в доме его сына, когда наша съемочная группа, делающая программу «Вечера в доме Гоголя», оказалась в Швейцарии, в городке Монтрё.

Монтрё — курортный городок. Здесь с 1960 по 1977 год в гостинице «Палас-отель» жил Набоков, и здесь же находится вилла его сына.

О встрече с сыном Набокова я еще расскажу, а сейчас вернемся к теме «Набоков и Гоголь». Книга Набокова о Гоголе, составленная из его лекций, может перекрыть многое из того, что он написал. Это книга мастера о мастере. Гений детали, Набоков выхватывает у Гоголя такие подробности, так неожиданно разворачивает его текст, что читатель, наслаждаясь искусством и автора, и его героя, сам отчасти становится поэтом. Он начинает ценить наслаждение чтения, ибо к знакомым страницам Гоголя приходится возвращаться по несколько раз.

Набоков наводит на Гоголя оптическое стекло, и мелкое в его глазах становится крупным, видна каждая пылинка текста, каждый изгиб узора, как видны они в микроскоп, над которым часами простаивал Набоков, разглядывая своих бабочек. Бабочка стала семейным опознавательным знаком Набоковых: ее абрис на письмах Набокова к сестре, на его рукописях, десятки рисунков, изображающих бабочку, развешаны на стенах в доме его сына. Бабочка для Набокова — это герб искусства. Его шифр ясен и прост. И он натурален, как натурален и первороден рисунок листа на дереве, рисунок цветка.

У Гоголя — птица-тройка, у Набокова — бабочка. В конце первого тома «Мертвых душ» кони Гоголя превращаются в изваяния, их «медные груди» разрывают воздух. Бабочка Набокова скромно порхает, не удаляясь от ландшафта, высота ее полета ограничена, близка к земле. Но тайнопись ее расцветки не менее загадочна, чем письма народа майя.

«У Гоголя, — пишет Набоков, — комическое отделено от космического одной свистящей буквой „с”». Так мог сказать только тот, кто сам ощущает на слух эту близость.

Сколько сближений и сколько различий!

Музыка языка. Культ искусства. Магический идеализм (выражение К. Мочульского). Гоголь: «искусство есть примирение с жизнью». Набоков: «однажды увиденное (то есть запечатленное глазом, а затем пером. — И. З.) не может быть возвращено в хаос никогда».

Протоиерей В. Зеньковский назвал бы это «эстетическим гуманизмом», но Набоков при словах «гуманизм», «гуманность» всегда морщился — они были затерты в XX веке. Касаясь последних дней Гоголя, он замечает, что ему претит писать о них, так как «картина эта неприятна и бьет на жалость».

Все, что бьет на жалость, — для Набокова, говоря его языком, «слиюни». Вот строки из романа «Отчаяние»: «„Дым, туман, струна дрожит в тумане”¹. Это не стишок, это из романа Достоевского „Кровь и слюни”. Пardon, „Шульд унд Зюне”».

У Гоголя в финале «Записок сумасшедшего» читаем: «Сизый туман стелется под ногами; струна звенит в тумане; с одной стороны море, с другой Италия; вон и русские избы виднеют. Дом ли то мой синеет вдаль? Мать ли моя сидит перед окном?»

Гоголевский сумасшедший скачет на тройке из Испании (то есть сумасшедшего дома) в Россию. Его тройка, в отличие от тройки Чичикова, летит назад, а не вперед, и не Петербург — место его назначения, а отчий дом, окно матери.

Впервые за все время ведения дневника в этой последней записи, над которой задом наперед стоит название месяца, а цифры впрыгивают между слогами отдельных слов, герой Гоголя обращается за помощью к Богу: «Боже! что они делают со мною! Они льют мне на голову холодную воду... Спасите меня, возьмите меня!» Этот стон, эта молитва переходят в плач, обращенный к матери: «Матушка, спаси твоего бедного сына! Урони слезинку на его больную головушку!.. Прижми ко груди своей бедного сиротку!»

Пародируя «струну в тумане», Набоков пародирует и весь этот кусок, из которого ее вырвать нельзя, так как «струна» — таинственный отзвук на мольбы Поприщина. Походя достается тут и Тургеневу (роман «Дым»), ну а «Кровь и слюни» — это, конечно, «Преступление и наказание»: сначала «кровь» — убийство старухи, а потом «слиюни» — раскаяние.

¹ Здесь и далее в цитатах — курсив мой. (Примеч. автора.)

В трех строках сразу три стрелы в три адреса! И все эти адреса — русская литература XIX века.

Набоков стоит по отношению к ней как-то боком, стоит оппозиционно, как непослушное дитя, для которого отцовские заповеди — уже не закон. Можно сказать, что проза Набокова — это на две трети полемика. Вызывающая полемика с «отцами» и «дедами», навесившими, по его мнению, на литературу слишком тяжкие гири.

Я уж не говорю о Чернышевском (роман «Дар»), который для Набокова просто литературный кастрат, но он не приемлет не только учительства Чернышевского, но и наставничества Толстого. Сын своего века, объявившего безбожие Богом, а в искусстве поставившего «чистоту слога» выше «чистоты души», он безусловно на стороне «чистоты слога».

Формула о приоритете «чистоты души» над «чистотой слога» принадлежит Ивану Киреевскому, — Набоков на эту формулу отвечает своей, вкладывая в уста героя «Лолиты» такой стишок:

Так пошлюно нравственности ты
Обложено в нас, чувство красоты!

Стишок неуклюж и бездарен, но тем сильнее эффект глумления. Слово «пошлина» точно передает мысль Набокова. «Пошлина» созвучна «пошлости» — созвучие неслучайное. То, без чего Гоголь и Толстой не мыслили своего существования, а тем более писания, — то для Набокова пошлость, пошлый налог на искусство, которое должно быть свободно, как и его творец.

* * *

В маленькой и тесной Женеве мы отыскивали больницу, где назначила нам встречу сестра Набокова, Елена Владимировна Сикорская. Накануне нашего приезда она сломала руку, но когда мы дозвонились до ее близких, передала, что будет рада видеть людей из России.

Вместе с камерой и софитами мы ввалились в больничную палату и увидели лежащую на высоких подушках маленькую женщину. Ее правая рука была подвешена к какой-то штанге. Милое лицо, добрая улыбка, выцветшие, как васильки в августе, глаза. Полтора часа рассказывала она нам о брате, утомленная, все чаще делая паузы и откидываясь на подушки, но ни разу улыбка не сошла с ее губ, ни одно движение не выдало нетерпения.

Вот наш разговор:

«— Елена Владимировна, говорят, вы несколько раз бывали в Советском Союзе, причем бывали почти инкогнито. У вас другая фамилия, и власти могли не знать, что вы — сестра Набокова.

— Все равно следили, телефон моей подруги, у которой я останавливалась, прослушивался.

— Как вы в первый раз увидели ваш дом на Большой Морской?

— Это было в 1969 году. Я отправилась туда одна. Прихожу, а там в подъезде сидят какие-то бабушки. Они спрашивают очень вежливо, кого мне нужно... Я говорю: нет, мне никого не нужно, я бы хотела только подняться и спуститься. А зачем, говорят, вам? А я, говорю, жила тут... «А в какой комнате вы жили?» Я отвечаю: во всех. Нет, говорят они, эти времена прошли, идите себе домой. Тогда я взяла мою приятельницу, и мы умудрились бабушек уговорить. Пустили. Я увидела наши комнаты, витражи.

— Елена Владимировна, я только что прочитал вашу переписку с Владимиром Владимировичем. Какие трогательные отношения были у вас. И сколько тепла в его письмах. Он в них совсем не похож на легенду о себе: надменный мэтр, холодное сердце.

— Да что вы! Это был веселый, радушный, отзывчивый, очень разговорчивый, приятный с людьми человек. Мы с ним больше всего сошлись, когда приехали в Крым после семнадцатого года. Он очень хорошо рисовал и меня учил рисовать. Затем, конечно, история с бабочками. Я хотела тоже знать все их имена. Мы проводили очень много времени вместе. Он читал мне свои стихи. Ну а потом мы расстались на двадцать три года».

Поясню для читателя, что Елена Владимировна Сикорская служила сначала в Праге, где жили ее мать и брат Сергей (он погиб в немецком концентрационном лагере), затем — после войны — переехала в Женеву, где работала в библиотеке ООН. Набоков писал ей письма в Прагу и Женеву из Америки.

Письма эти полны ласки, заботы, дружеских розыгрышей и ненавязчивых советов (Набоков был старше своей сестры на семь лет). Главное в них — беспокойство о ее судьбе, о ее сыне Жикочке, о том, чтоб как-то перетащить ее в безопасные Соединенные Штаты.

От Елены Владимировны я узнал, что Набоков не любил музыки («музыка для него была шум»), а любил только цыганское пение. На концерты не ходил, не имел в номере телевизора. Я спросил ее, почему он жил в гостинице. Ведь Набоков в те годы (после «Лолиты») мог купить себе дом. Елена Владимировна ответила просто, имея в виду брата и его жену Веру Евсеевну: «Потому что им было скучно покупать мебель».

«— Один раз они в «Палас-отеле» взяли в номер телевизор, — продолжала Елена Владимировна, — знаете, по какому поводу? Когда американцы полетели на Луну. Это его страшно волновало, он страшно переживал, был в полном восторге от этого. Но как только американцы вернулись, телевизор был возвращен обратно.

— А как менялись его представления о России?

— Оставались как в детстве. Я сейчас как раз об этом думала: если б он был жив, поехал бы он в Петербург или нет. Мне кажется, что нет. Потому что это было уже не то. Я из своих поездок привозила ему снимки, которые делала сама, в том числе снимки Рождество, он даже в стихах упоминает о них: «С серого Севера вот пришли эти снимки».

— Узнали ли вы друг друга, встретившись в Женеве после долгой разлуки?

— Конечно, мы изменились. Но тон его писем доносил до меня его голос, и тот же голос прозвучал при встрече».

Набоков писал сестре из Америки: «Снег идет... Окошко в ванной, чтобы не дуло, прикрыто куском папиного белого в голубую полоску халата, который он носил в 1921 — 1922 гг.». И в другом письме: «Смотри, хватай и держи в душевном кулаке все теперешнее в Жикочке, тогда оно в нем будет долго просвечивать».

«— Я была счастлива, когда они сюда приехали, — говорит Елена Владимировна. — Я была очень дружна с его женой Верой, потому что Вера и он были одно лицо — так я могу сказать. Это было одно существо».

Мы заговорили о Нобелевской премии, на которую Набокова выдвинул Солженицын. Будучи далеким от политического тщеславия (а он считал, что выбор Нобелевского комитета сопряжен с политикой), Набоков был все же благодарен Солженицыну. Что же касается его отзывов о самих лауреатах — будь то Хемингуэй, Фолкнер или Пастернак, — то лучше их не приводить: это коктейль из сильно действующих кислот.

«— Когда вышел роман Пастернака, — сказала Елена Владимировна, — он позвонил мне из Монре́ и предупредил: «Смотри не ошибись насчет «Доктора Живаго»».

— Что случилось с героиней «Других берегов» Тамарой?

— Я получила письмо от ее дочери. Она мне написала, что мать во время революции бежала из Петербурга, встретила с каким-то чекистом и вышла за него замуж. Может быть, он был хороший человек, не знаю. Она жила с ним и умерла в 1967 году.

— А первая невеста Набокова, Светлана Зиверт?

— Она на год старше меня, в прошлом году была жива и жила в Америке.

— Почему не состоялся их брак?

— Ее родители решили, что за такого голоштанника нечего выходить замуж».

Перед уходом я задал Елене Владимировне последний вопрос: «Как относился Набоков к Богу?» Немного подумав, она ответила: «Вы знаете, я никогда с ним об этом не говорила. Один раз, правда, мы заговорили о его сыне, который очень любил автомобильные гонки, и брат мне признался: «А все-

² В жизни — Валентина Шульгина.

таки невольно перекрестишься, когда узнаешь, что все хорошо кончилось». Это был единственный наш разговор о Боге».

«— Бывал ли Владимир Владимирович в церкви?

— Нет, в церковь он не ходил.

— Так вас воспитывали с детства?

— Почему же? У нас были традиции обыкновенной русской семьи, мы ходили в церковь, постились, потом разговлялись до того, что уже хотелось простых щей. У меня сохранилось Евангелие моего отца на французском языке, где его дивным почерком на первой странице отмечены все тексты, которые читаются перед Пасхой».

Отец Набокова, В. Д. Набоков, был убит в марте 1922 года. В те же дни сын посвятил ему стихотворение «Пасха»:

Так как же нет тебя? Ты умер, а сегодня
синеет влажный мир, грядет весна Господня,
растет, зовет... Тебя же нет.

Но если все ручьи о чуде вновь запели,
но если перезвон и золото капели —
не ослепительная ложь,
а трепетный призыв, сладчайшее «воскреси»,
великое «цвети», — тогда ты в этой песне,
ты в этом блеске, ты живешь!

* * *

В ранних стихах Набокова упоминания Бога отчасти ритуальны. В отличие от поэтов серебряного века, с подражания которым он начал, Набоков не позволяет себе кощунств над Христом и Богородицею. Он, скорее, наследует этическую традицию XIX века. Еще в 1918 году в стихотворении «Архангелы», написанном в Крыму, юный Набоков просит Архангела даровать ему в попутчики «наставника неземного», чтоб тот вывел его из «чуждой темноты». Его сердце ищет «правого пути», «путь прямой», но без помощи свыше не смеет идти, ибо «страшна ночного беса власть».

Пушкин в «Страннике» пишет о «спасенья верном пути» и «тесных врагах». Похоже, что Набоков ищет того же, так как определения «верный» и «правый» родственны. В «Архангелах» Набоков просит дать ему «невидимого попутчика» (то есть ангела), через три года в стихотворении «У камина» он расширяет эту тему: «Серафимом незримым согреты, оживают слова, как цветы». Божье благословение простирается и над искусством.

Незримость посланника неба, или самого Бога, сродни незримости поэзии. Ее действие невидимо, но она такая же реальность, как свет и воздух. Происходит сближение божественного и эстетически прекрасного. «Вижу все, — пишет Набоков в 1920 году, — в природе и в сердцах мне ясно то, что вам незримо».

Этот мотив «прозрачности» и «непрозрачности» всплывет потом в «Приглашении на казнь». Прозрачный для Набокова — познаваемый, непрозрачный — тайный, познаваемый лишь отчасти. Именно за «непрозрачность» казнят в романе Цинцинната, такого же поэта и всевидца, как и сам Набоков.

Была передо мной вся молодость моя:
плетень, рябина подле клена,
чернеющий навес и мокрая скамья,
и станционная икона.

Икона вписывается в быт и появляется тут как принадлежность быта, но уже в стихотворении «Знаешь веру мою?» (1922), объясняясь в любви к России, к ее цветам, дождям и закатам, Набоков пишет, что любит и «Божьи звезды» и «Божьих зверьков». Всякая пролетающая минута для него бессмертна, неуничтожима и сама жизнь, и Набоков понимает, что дана она нам не нами. Себя он причисляет к «рыцарям из рати Христовой», а в стихотворении «Родина», посвященном сестре Елене, есть такие строки: «Позволь мне жить, искать Творца в творенье, звать изумленье рифмы и любви». Искать Творца в

творенье — вот его религия, и творенье здесь — не только создания Божии — природа и человек, но и вымыслы поэта.

Образ «рая», столь часто возникающий у Набокова, так же ритуален и условен, как неритуален и неусловен. «Рай» — детство, «рай» — любовь, «рай» — родная усадьба, трудно перечислить, сколько значений у этого слова в поэзии и прозе Набокова. «Рай» позади («бессмертно все, что невозвратно»), и «рай» впереди — об этом мне еще придется сказать.

Это было в России,
это было в раю.

«Рай» не только то, что потеряно, но и что способно вернуться. Позже, в прозе, этого чувства уже не будет, оно охладает, как, может быть, охладает и сам автор. А молодой Набоков пишет:

И солнца луч, как Божий вензель,
на венском стуле у окна.

Он знает, что по лире ударяет не поэт, а Господь, и не к кому-нибудь, а к Богу обращается в стихотворении «Молитва» (1924) с просьбой воскресить русскую речь.

У Набокова есть стихи, прямо написанные на евангельский сюжет. Сравним два из них — «В пещере» (1924) и «Мать» (1925). В первом рассказывает о младенчестве Христа, о его «райском» детстве, второе — о Голгофе, о казни. В первом — счастье и улыбка матери, во втором — ее горе.

Мария, слабая, на чадо
улыбку устремляла вниз,
вся умиленье, вся прохлада
линялых синеватых риз.

А он, младенец светлоокий,
в венце из золотистых стрел,
не видя матери, в потоки
своих небес уже смотрел.

«Младенец светлоокий»... Так и вижу маленького Набокова со светло-голубыми глазами, которые взглянули на меня с лица его сестры. Ее глаза, смотрящие на нас по-матерински, ее деликатность, юмор и умиляющая открытость при ясности ума и памяти (ей девяносто лет) пленили нас. Как будто донеслось веяние детства Набокова, духа семьи, дома, того безоблачного начала жизни, которое сделало его счастливым и перенеслось потом на его семью, на отношения с сыном и с Верой Евсеевной.

В нашем фильме участвовал французский славист Жорж Нива, видевший Набокова за два месяца до его смерти (Владимир Владимирович дал ему аудиенцию в одном из холлов «Палас-отеля»). В ответ на мое предположение, что переход с русского языка на английский стал для Набокова если не трагедией, то тяжелой драмой, Нива сказал: «Это заблуждение. Тогда, в мае 1977 года, я услышал от Владимира Владимировича такое признание: „Я всегда был счастлив. Я был счастлив в двадцатые годы, когда бедствовал и давал уроки английского языка. Я был счастлив и позже, в тридцатые годы, и потом, когда переехал в Америку. Я и сейчас счастлив, так как могу заниматься тем, что люблю”».

Но вернемся к стихотворению «В пещере». Святое семейство, изображенное здесь, пребывает в состоянии покоя и счастья, которое связывает мать, младенца и Иосифа. Профессия Иосифа — плотник, и слово это «рифмуется» со словом «плоть»: руки старого мастерового помнят «плоть необструганной доски». Так знают на ощупь и руки Набокова, что такое необструганное слово.

В стихотворении «Мать» счастье семьи разрушено. Ученик Христа Иоанн уводит с Голгофы «седую страшную Марию». Затем он укладывает ее спать (Иосифа уже нет на свете) и сквозь сон слышит ее «рыдания и томленье». Апостол (а через него и автор) задает себе вопрос:

Что, если у нее остался бы Христос,
и плотничал, и пел? Что, если этих слез
не стоит наше искупленье?

Божий Сын, по мнению Набокова, не сможет заменить матери ее первенца:

Воскреснет Божий Сын, сияньем окружен,
у гроба, в третий день, виденье встретит жен,
вотще куривших ароматы;

светящуюся плоть ощупает Фома;
от веянья чудес земля сойдет с ума,
и будут многие распяты.

Мария, что тебе до бреда рыбаблей!
Неосязаемо над горестью твоей
дни проплывают, и ни в третий,
ни в сотый, никогда не вспрынет он на зов,
твой смуглый первенец, лепивший воробьев
на солнцепеке, в Назарете.

Заметьте, все, что относится в этом стихотворении к воскресению Христа, несет на себе печать абстракции: «светящаяся плоть», «от веянья чудес земля сойдет с ума». Набоков прямо говорит о факте воскресения: «бред рыбаблей». Что же касается горя матери, то в ее видениях все конкретно: и цвет лица ее первенца, и воспоминания о том, как он лепил из глины воробьев.

Набоков ставит под сомнение важнейшее событие Евангелия, беря сторону частного, личного в противовес пусть даже и божественному, но бесповоротно отдалившемуся от человеческого первоисточника. Страдание и боль личного, по Набокову, не оправдать никаким искуплением.

И хотя еще часто, и отнюдь не все, будут повторяться в его поэзии слова «Господь», «Бог» («Господи, я требую примет: кто увидит родину, кто нет»), но постепенно, по мере вхождения в прозу, они станут вымываться набоконской иронией и самоиронией, которые оставят его героев наедине с собой. А обращение к Богу заменят обращения к музе, и прежде всего к музе памяти Мнемозине.

Жорж Нива, когда мы говорили о теме Бога у Набокова, сказал: если б на Землю высадились инопланетяне и захотели бы по книгам Набокова понять, кто такие люди XX века, они бы не нашли у него ни одного «*homo religiosus*».

Это так и не так. У Набокова нет старца Зосимы и молодого послушника Алеши. Его негодяи остаются негодяями, а если и раскаиваются в своих преступлениях, то не цитируют при этом Евангелия. Его творцы (а главные герои Набокова — художники, поэты, гениальные шахматисты) сами пробивают себе путь к спасению, к спасению в искусстве.

Ни у кого, я думаю, из русских писателей игра и искусство не стоят так близко, как у Набокова, никто, как он, не возвел игру в степень искусства, а искусство не превратил в игру.

Это была «божественная игра», конечно. Споря в своих лекциях по русской литературе с Достоевским, который, по выражению Бунина, «сует Христа где надо и где не надо», говоря о натянутости его идеологических респриций, Набоков выдвигает свое понимание божественного: «Искусство — божественная игра. Эти два элемента — божественность и игра — равноценны. Оно божественно, ибо именно оно приближает человека к Богу, делая из него истинного полноправного творца».

Читатель может сказать, что это очередная декларация, как декларация и стихи Набокова, где он объявляет о своем безбожии. Но это символ его веры, который, с одной стороны, разводит Набокова с традицией русской литературы (не только с Достоевским), с другой — есть несомненное свидетельство, что автор этих строк *homo religiosus*.

Только религия его другая. В «Даре» есть на этот счет такой поясняющий пассаж: «В религии кроется какая-то подозрительная общедоступность, уничтожающая ценность ее откровений. Если в небесное царство входят нищие ду-

хом, представляю себе, как там весело. Кто еще составляет небесное население? Тьма кликуш, грязных монахов, много розовых близоруких душ протестантского, что ли, производства — какая смертная скука!»

В другом месте Набоков язвительно замечает, что каждый из нас, попав на тот свет, может встретить своих отца и мать, роли которых (придав им облик наших близких) будут исполнять подручные Люцифера.

Такова ирония Набокова по отношению к «общедоступному» Царству Божию, которое он в сердцах называет «небесной Америкой». Набоков — жесткий критик всего общего, он одиночка и как творец, и как «собственный натурщик», для которого в обобщенном нет тайны, нет загадки. Общей тайны быть не может, есть тайна одинокого, одиночного. Для Набокова, как, впрочем, и для каждого человека, бесценен только «луч личного», прорезающий «две идеально черных вечности» — вечность до нашего рождения и тьму, смыкающуюся над нами, когда этот луч гаснет.

«Колыбель качается над бездной» — так начинает Набоков свою книгу «Другие берега». Человек одинок в колыбели, он одинок перед лицом на мгновение размыкающейся черноты. Две вечности по обе стороны этого одиночества, а посредине его жизнь — «только щель слабого света между ними». Таков пессимистический акцент веры Набокова.

Как бы угадывая появление Набокова, Иннокентий Анненский писал в начале века: «С каждым днем в искусстве слова все тоньше и беспощадно-правдивее раскрывается индивидуальность с ее капризными контурами, болезненными возвратами, с ее тайной и трагическим сознанием нашего безнадежного одиночества и эфемерности».

В раннем рассказе «Ужас», где описывается паника в кинотеатре, в котором внезапно погас свет (и каждый из сидящих в зале оказался наедине со своими страхами), Набоков от имени героя говорит: «...стараюсь изо всех сил побороть страх, осмыслить смерть, понять ее по-житейски, *без помощи религий и философий*».

Вы чувствуете, в каком одиночестве оказывается человек Набокова? Ему не на что опереться — ни на Бога, ни на социальные химеры, ни на продолжение в своих детях. Будучи счастлив в семье, Набоков большинству своих героев не дал детей, а в романе-поэме «Бледный огонь», где у героя умирает дочь, тот пытается пройти по следам ее отлетевшей души и не находит ничего:

Я понял, что надо игнорировать
при моем обследовании
смертные бездны. И когда мы потеряли
наше дитя,
я знал, что не будет ничего: никакой
самозванный
Дух не коснется клавиатуры сухого дерева,
чтобы
выстукивать ее ласковое имя.

Христианский XIX век как бы изживает себя в Набокове. Иллюзия обобщения спасения разрушается. То, на чем споткнулся даже Чехов (муки безверия), Набоков преодолевает легко, как преодолел он курс наук в Кембриджском университете. Бунин говорил о нем: «Какой талант и какое чудовище!» Бунинская проза — ветвь, идущая от ствола великой литературы XIX века, Набоков, как лермонтовский листок, оторвавшись от ветки родимой, парит в эфире.

Вернувшись из Америки в Европу, он написал:

Тень русской ветки будет колебаться
На мраморе моей руки.

Мрамор — нечто холодное, мертвое. И ему все равно, какая тень осеняет его. И все-таки Набокову не всегда надо верить. Раз искусство — игра, то можно играть и в серьезность, можно играть в смерть, можно даже в самые страшные минуты прикрываться шутовским колпаком.

Набоков любит играть с читателем, с собой и даже с высшими силами, проверяя их на прочность, как это любил делать Достоевский. Если Набоков

и принимал что-то в Достоевском, то это его искусство пародии, умение сыграть дурака, юродивого, зло, умно, остроумно суфлирующего «идеальным» персонажем. Смех Достоевского обходит любимые им идеи со всех сторон, он подкрадывается неожиданно, застает эти идеи врасплох, любуясь и внезапностью своего появления, и замешательством оппонента. Набоковская ирония весьма близка к иронии Достоевского.

Достоевский может смеяться над своими кумирами, над своими святынями. Автор «Дара» наследует этот его дар. Текст Набокова напоминает шкуру дикобраза, усеянную иглами. И будь осторожен, читатель! «О терновник холодный уколешься, возвращаясь ночью домой».

«Где была Земля прекрасная? — читаем мы в «Бледном огне». — Где хребет ее гор? Где ее долгий трепет через туман?» Вот дрожь иронии Набокова: родной петербургский туман, трепет сердца, странное, почти циничское сочетание двух несочетаемых слов в одном слове: «земля». Но «Земля», как и «Зоорландия» в «Подвиге», — это Россия.

Набоковские провокации (любимый способ выяснения истины у Достоевского) призваны выманить истину, раздражив ее, дать ей выйти на свет. В романе «Дар», где изничтожается материалист Н. Г. Чернышевский, есть его однофамилец и единомышленник Александр Яковлевич Чернышевский. Умирая, он заявляет: «Ничего нет (речь идет о жизни после смерти. — И. З.). Это так же ясно, как то, что идет дождь». «А между тем, — продолжает Набоков, — за окном играло на черепицах крыш весеннее солнце, небо было задумчиво и безоблачно, и верхняя квартирантка поливала цветы по краю своего балкона, и вода с журчанием стекала вниз».

Пародируя почти всю предшествующую русскую литературу, Набоков пишет памфлет только о Чернышевском (оставляя в стороне таких уязвимых с точки зрения упований на «религии и философии» Гоголя, Достоевского и Толстого), ибо здесь чистая логика и здесь — скука.

Если для А. Я. Чернышевского дважды два — четыре, то для Набокова дважды два — пять, как, кстати, для Достоевского, хотя загадка этого парадокса не в Боге, а в бессмертии искусства. «Говорю я о турах и ангелах, о тайне прочных пигментов, о предсказании в сонете, о спасении в искусстве. И это — единственное бессмертие, которое мы можем с тобой разделить, моя Лолита» — так заканчивает Набоков свой знаменитый роман.

Помимо Чернышевского у Набокова есть еще одна пристрелянная мишень, которую поражает «разрывная пуля «верного» эпитета». Это такой же, на его взгляд, материалист, как и Чернышевский, только опирающийся не на социальный бетон, а на плоть пола, — Фрейд. Фрейд, по Набокову, «венский шарлатан», и он приговораживает его в «Бледном огне», ставя на одну доску с «извергами», «тупицами», «философами с классовым подходом» (это уточнение следует заметить), «ложными мыслителями», «раздутыми поэтами», «акулами» и, конечно, Марксом.

«Свободному не нужен Бог — но был ли я свободен?» — спрашивает на закате своих дней герой этой поэмы и одновременно ее создатель Джон Шейд — и не дает ответа. Не дает ответа и Набоков, хотя сама постановка такого вопроса уже и есть ответ.

Искусство, которое не в силах отказаться от самого себя, не свободное искусство. В этой свободе от Бога тоже есть закабаление, так как художник поработен своим художеством, он — пленник своего «фотографического зрения», беспощадно печатающего один идеальный снимок за другим. Он прикован цепью к своему алчному желанию точности, точности и точности. Набоков часто ловит себя на этом закабалении: «Я промотал мечту. Разглядываньем мучительных миниатюр, мелким шрифтом, двойным светом я безнадежно испортил себе внутреннее зрение» («Другие берега»).

Обожествление искусства — такая же максима, как отказ от него. Муки Гоголя и Толстого (осуждение своих сочинений, уход одного из жизни, другого из дома) были неведомы Набокову. Но у него были, как говорится, свои проблемы. Он прекрасно понимал, что это не причуды двух гениев, а разрешение спора русской литературы с самой собой, с попыткой поставить искусство на один уровень с христианством. Спор искусства и религии, их соперни-

чество обнаружили еще в Гоголе. Тогда многие сочли, что Гоголь сошел с ума. Но и Толстой, переживши арзамасский страх, начал с того, что написал «Записки сумасшедшего» (как бы оклика Гоголя), где героем незаконченного рассказа или повести было не вымышленное лицо, а он сам.

Набоков уклоняется от этой — чересчур величественной для него — драмы и предлагает нам частную драму мастера, который, имея конечные средства, не может выразить бесконечного. Эта тяжба конечного и бесконечного разыгрывается в его романах, как кровавая битва. Что такое «Приглашение на казнь»? Путешествие со свечой в непрозрачный мир творца. Что такое «Защита Лужина»? То же блуждание в скупой освещенных потемках души гения, которых не пробить лучом карманного фонаря. Даже имея «обоняние оленя», «осязание нетопыря», нельзя постичь ее тайны, потому что «слово, извлеченное на воздух, лопаются, как лопаются в сетях те шарообразные рыбы, которые дышат и блистают только на темной, сдавленной глубине».

Кляня себя за «беззаконное зрение», за «безумие ока», Набоков зря клянет: его глаз все же не фотографический аппарат, он подключен к источнику тепла — к сердцу.

«Застонав, всхлипнув, — пишет Набоков в «Даре» о встрече Годунова-Чердынцева с убитым отцом, — Федор шагнул к нему, и в сборном ощущении шерстяной куртки, больших ладоней, нежных уколов подстриженных усов наросло блаженно-счастливое, живое, не перестающее расти, огромное, как рай, тепло, в котором его *ледяное сердце растягло и растворилось*».

* * *

Душным июльским днем, когда испарения Женевского озера, перебегая шоссе, смывали летевший нам навстречу пейзаж, мы на предельной скорости неслись к городку Монтрё. Мы ехали к сыну Набокова, и мы спешили.

Дмитрий Владимирович Набоков после долгих переговоров согласился принять нашу телевизионную группу, не ожидавшую столь счастливого совпадения обстоятельств: мы в Женеве, а он в Монтрё. Дело в том, что единственный наследник Набокова живет в разное время года в разных странах и в Монтрё, где у него вилла, бывает нечасто. Но и тогда, когда он здесь, журналисты и набоковеды имеют мало шансов попасть к нему. Наслышавшись, что младший Набоков строг и немногословен, я приготовился к короткому интервью, тем более что он просил передать ему по факсу только три вопроса, на которые готов ответить, и ограничил время встречи полчаса.

Но мы пробыли у него гораздо дольше.

Мы все выше и выше всползали по склону горы, пока наконец не остановились возле виллы, которая, ничем не отличаясь от других, все же демаскировала место пребывания Дмитрия Набокова. О его безусловном присутствии говорили два гоночных экземпляра, выделявшихся среди стоящих возле виллы машин как яркую краской, так и литой покатостью форм.

Заглядевшись на этих красавцев, я не заметил, как надо мной выросла тень и приятный голос бархатисто-басового оттенка произнес:

— Здравствуйте.

Я взглянул вверх — и на мгновение обмер: передо мной (и надо мной) стоял... Набоков. Нет, не Дмитрий Владимирович, а Владимир Владимирович, — таким разительным оказалось их сходство.

Дом Д. Набокова — последний приют его матери. И все в этом доме дышит благодарным духом памяти — он и жилье Дмитрия Владимировича, и музей, и любовно воссозданная атмосфера комнат Набоковых в «Палас-отеле». Сразу в прихожей гостей встречает конторка — рабочий верстак Набокова, — на ней лежит развернутый словарь, с которым он не расставался, а со стен смотрят портреты его и его жены и их сына, когда он был совсем маленьким и отец называл его «Митюшенька» и писал о нем сестре, какой он «тепленький» и какой он «душенька». Как все родители, Набоковы дрожали над своим ребенком, но вместе с тем давали ему полную свободу. Получился красивый, сильный, умный человек, который очаровал наших дам (режиссера О. В. Кознову и редактора Н. Н. Фомину) своей галантностью, а всех нас радушием, простотой и полным несовпадением с тем, что мы о нем слышали.

Под взглядами В. В. и В. Е. Набоковых, смотревших на нас со стен гостиной, и начался наш разговор.

Первый вопрос, который я задал Дмитрию Владимировичу, звучал так: «У нас знают Набокова-писателя, но о Набокове-человеке мало что известно. Читатель, желающий подойти к Набокову поближе, вынужден пробавляться слухами о нем. Расскажите о Набокове-отце, Набокове-человеке».

Вот снятый с телевизионной кассеты его ответ:

«Всякие легенды о нем циркулируют. Циркулирует легенда о том, что он не общался с людьми, избегал контакта. Это совсем не так. Он очень любил принимать, любил разговаривать, у него был чудный юмор. Он любил забавлять гостей. Человек он был исключительно теплый, симпатичный, веселый. Массу времени он уделял мне, мною он никогда не жертвовал, сколько бы ни писал, как бы ни был занят.

Хотя, я помню, когда я был маленьким — это было на юге Франции, — он заперся в ванной комнате, чтобы мальчишка не мешал писать. А вместе с тем на плечах меня в море носил, учил играть в теннис и ходить на лыжах.

Он был замечательным другом, не только отцом. Мои родители создали такую атмосферу в семье, что я рос нормальным ребенком, которого любят отец и мать, с которым играют, посвящают ему время и не оставляют на произвол судьбы.

И всегда его присутствие — это чувство теплоты, чувство близости. Он никогда не ставил искусственных стенок между собой и семьей, он всегда был доступен, даже если писал, — я в любую минуту мог войти к нему.

До определенного возраста я думал, что все браки похожи на брак моих родителей, и было большим разочарованием открыть, что это не так. Да, идеальное счастье было у нас в семье».

Добавлю, что в семье Набокова все жили его интересами. Жена и сын переводили его книги, участвовали в редактировании, перепечатке и т. д. Это была «лингвистическая лаборатория», как удачно выразился Жорж Нива, где свободная игра с языком еще более сближала всех троих.

Певческий талант сына стал одной из причин, побудивших Набокова выбрать местом жительства Монтрё. Отсюда три часа езды на автомобиле до Милана, где учился и позже пел в опере Дмитрий Набоков.

Другие причины? Их много. Вот одна, названная самим В. В. Набоковым: «Русскому писателю такое место подходит: Толстой приезжал сюда в молодости, были Достоевский и Чехов, а Гоголь неподалеку начал „Мертвые души“».

«Неподалеку» — это в Веве, городке, соседствующем с Монтрё. Там Гоголь в 1836 году жил в первые месяцы после отъезда из России, а Достоевский в том же Веве в 1868 году работал над «Идиотом». Русский след в Швейцарии виден везде. Женевские улицы помнят Карамзина, Жуковского, Герцена. Естественно, что в окружении этих теней Набоков чувствовал себя русским писателем. И это после того, как он создал принесшие ему славу романы на английском, был признан мастером американской прозы, после того, как еще в 1939 году в стихотворении «К России» обратился к своей родине: «Отвяжись, я тебя умоляю!» Впрочем, несколькими строчками ниже он почти отказался от сказанного: «Дорогими слепыми глазами не смотри на меня, *пожалей*».

Вся последняя капля России
уже высохла! —

писал он в 1943 году. Но капля эта все не высыхала.

Пока Набоков жил в Германии, а затем в Париже, он был окружен стихией родного языка (эмиграция), и какая-то магнитная сила удерживала его вблизи России. За океаном она достать его не могла. Это была эмиграция не только в Америку, но и в страну английского языка. Пережив переход от русского к английскому, Набоков расставался и с «ручным» для него языком, и с русской темой, и, что важнее, с русским «внутренним зрением».

Тем не менее, пройдя через три цивилизации — русскую, европейскую и американскую (с последней он простился в «Лолите»), — муза Набокова и он сам нашли пристанище в Швейцарии. Он прибыл в эту страну шоколада, точ-

ных часов и богатых банков не как в материальный рай, а как туда, где послевоенный раздел мира, коснувшийся и Америки, уже не мог отразиться на его судьбе. Швейцария не принадлежала ни к каким блокам, союзам, пактам. Она была — сама по себе, а Набоков, как всегда, — сам по себе.

Вилла его сына стоит на склоне горы, которая с одной стороны уходит к снеговым вершинам, с другой — ниспадает к озеру, держа на себе строения Монтрё. Только перед самой кромкой берега облик городка меняется: видны высокие дома и даже один небоскреб, а в центре, как бы сглаживая колющее глаз пересечение современных прямых линий, выпукло высится здание «Палас-отеля» с двумя флигелями по бокам.

С балкона виллы хорошо видны отель и окна флигеля под названием «Лебедь» — окна библиотеки Набокова. Комнаты, которые занимал он с женой (всего четыре), выходили на озеро и на едва угадываемые, как будто карандашом заштрихованные, Альпы на том берегу.

Как он уживался с ритмом курорта, ритмом безделья, которое так было чуждо ему? Ведь он все эти годы простоял за конторкой, а когда уставал, то после перерыва перебирался на кровать и писал лежа на доске, а потом снова вставал и работал уже в кресле.

Но, может быть, курортная отрешенность и побуждала его к писанию. Мимо пронеслись в автомобилях туристы, они спешили в Шильон, где томился в замке байроновский узник, в Берн, в Базель, где выставлен Гольбейн, — Набоков переходил через шоссе, устраивался в маленьком скверике на скамейке и читал книгу или опять что-то черкал, не обращая на них никакого внимания. И на него никто внимания не обращал.

«Папа обожал вид, который в данный момент убрали, потому что там туман, — продолжал Дмитрий Владимирович. — Он обожал цвета озера, тени и цвета французских гор напротив, зелень кругом, бабочек, которых находил совсем недалеко от гостиницы. Он играл в теннис на чудных кортах, уже давно превращенных в паркинги, и мало путешествовал.

Вечером он выходил из своей комнатки и играл с нами в шахматы, делился забавными анекдотами, иногда связанными с тем, что он писал. Гулял он каждый день, у него был свой маршрут — от газетчика к аптекарю, от аптекаря в какую-нибудь лавку. У него были здесь свои маленькие этапы. Особенно любил он газетчиков».

Что он говорил о России? — спросил я Дмитрия Владимировича.

«Он знал, что не может вечно длиться то, что длилось при жизни четырех поколений, но такой быстроты обвала не ожидал.

Во время одной из наших последних прогулок в горах возле Штада — видимо, мы пошли за бабочками — он, когда мы поднялись на вершину, сказал: «Знаешь, я в жизни достиг всего или почти всего, чего я хотел. Я был писателем, который выражает действительно то, что чувствует, и достигает чего-то своим писанием. У меня в голове было все готово, как непроявленная пленка... И я почти все успел проявить». Он сказал «почти», потому что остался неоконченный роман, который мне было приказано сжечь и который я не сжег еще... Это трудное решение».

Мы пили белое сухое вино, которое холодило горло, и я оглядывал стены гостиной — рисунки к произведениям Набокова, расписную тарелку, которую подарил Набокову Добужинский (учил его живописи, а потом сказал: у тебя другой талант, пиши), объявления о театральных спектаклях по его пьесам, афиша премьеры новой оперы Р. Шедрина «Лолита».

Как-то Набоков сказал о себе: «В бою случайным ангелом задетый». Кто был этот ангел? Если он спустился с небес, то тогда становится понятно, откуда взялось набоковское краткое определение существа искусства: «нежность». «Все остальное, — добавлял он, — это либо журналистская дребедень, либо, так сказать, Литература Больших Идей».

Сын Набокова, говоря о строгом и пристрастном отношении отца к своим черновикам, объяснил это так: «Он имел страсть ученого и точность артиста». Причем пояснил, что слова эти Набоков однажды сам отнес к себе. Да, он был человек-артист, писатель-артист, сменивший в нашей словесности писателя-героя, писателя — властителя дум.

Предсказывая эту историческую смену, Иннокентий Анненский писал: «Так вот к чему привелось. Где гении открывали жизнь и даже *творили бытие*, там таланты стали *делать литературу*». Меткий прогноз Анненского, к стати оправдавшийся, все же относится не к Набокову. Кровеносная система цитат, прорастающая внутри прозы Набокова, не только полемика, не только его веселая и гра с прошлым, но и прямая, осязательно-родственная связь с тем, что он, кажется, отрицал. В «Даре», в который раз отмежевываясь от этой связи, он сказал: «Искание Бога: тоска всякого пса по хозяину». «Ядовитая Зинаида Шаховская», как назвал ее Дмитрий Набоков, в книге «В поисках Набокова» заметила по этому поводу: «Набоков не хочет быть «псом, тоскующим о хозяине», забывая, что тоска пса вызвана не страхом, а любовью».

Совершив путешествие в страну Набокова, я понял, что он этого не забыл.

Если с высоты, где находится дом его сына, взглянуть в сторону Женевы, то глаз быстро отыщет темное хвойное пятно, выделяющееся на фоне черепичных крыш пригорода Монтрё — Кларанса. Это кладбище, где похоронены В. В. Набоков и его жена. Они лежат рядом, и на черной плите выбиты даты их жизни. Под фамилией Набокова одно поясняющее слово: «*écrivain*» (писатель).

Слово это, как и фамилия, написано по-французски, потому что в той части Швейцарии, где находится Монтрё, говорят по преимуществу на французском. Никаких примет причастности Набокова к России на его надгробии нет.

Тихо, чисто на широких, посыпанных песком аллеях. Много цветов. Взгляд от плоского пространства кладбища устремляется вверх, где за всползающей на горы зеленью виноградников начинается снег.

Невдалеке шумит дорога, по которой мы поедем домой. Там Женева, Москва, наш фильм о Набокове, монтаж, озвучивание, работа.

И я повторяю про себя его стихи:

Когда я по лестнице алмазной
поднимусь из жизни на райский порог,
за плечом к дубинке легко привязан,
будет заплата узелок.

Узнаю: ключи, кожаный пояс,
медную плешь Петра у ворот.
Он заметит: я что-то принес с собою, —
и остановит, не отопрет.

«Апостол, скажу я, пропусти мя!..»
Перед ним развяжу я узел свой:
два-три заката, женское имя
и темная горсточка земли родной...

Он поведит строго бровью седею,
но на ладони каждый изгиб
пахнет еще гефсиманской росой
и чешуей иорданских рыб.

И потому-то без трепета, без грусти
приду я, зная, что, звякнув ключом,
он улыбнется и меня пропустит,
в рай пропустит с моим узелком.

Москва — Женева — Монтрё — Москва.



ПУБЛИКАЦИИ И СООБЩЕНИЯ

АНДРЕЙ АРЬЕВ

*

ВСТРЕЧИ С Л.

Все неладно с этим Маленьким Сочинителем, нежно сравнившим Большую Медведицу с фиалкой в волосах гимназистки. В год столетнего юбилея и шестидесятилетия утраты мы не узнали даже, где его могила и существовала ли она.

«А меня не ищите — я отправляюсь в далекие края», — написал он перед исчезновением.

Как будто и на самом деле он был «не от мира сего», с таким лицом, как на его фотографиях, тянет представить себе инопланетянина с какой-нибудь маленькой, старой и еще более несчастной, чем Земля, планеты. «Он не всегда жил здесь», — единственное, что он считает нужным сообщить об одном из своих героев.

И куда он в самом деле пропал? Даже Начальники и приставленные к нему осведомители не смогли дать ответа, ускользнул. В. А. Каверин утверждал несколько раз, что тело его много позже того, как он исчез весной 1936 года, было найдено в Неве. Странно тогда, что никто его не хоронил.

Вот и с юбилеем случилась недолга. В справочной литературе годом его рождения указывается 1896-й, Двинск, нынешний Даугавпилс. Но и столетие в этом году не удалось, хотя и вышли две представительные книги о нем с самыми разнообразными — от мемуарных свидетельств до лингвистического анализа текстов — материалами¹. Нашлись документы, из которых следует, что родился он на два года раньше — 5(17) июня 1894 года. И не в Двинске, а в Люцине, теперь Лудза, Латвия. Правда, от Даугавпилса не очень далеко. Кажется, только в этом городе и считают его своим писателем, проводят Добычинские чтения. И в самом деле: единственное неэффемерное свидетельство о пребывании рода Добычиных на земле сохранилось на берегах Даугавы — могила отца, Ивана Адриановича Добычина, врача, умершего в Двинске в 1902 году. Мать и младшая сестра писателя погибли где-то под Брянском в период немецкой оккупации в годы Второй мировой войны. Остальные близкие репрессированы советскими властями.

Жаль, но и в Двинске прозаик не написал ни строчки, проведя в нем детство и отрочество, всего лет пятнадцать. В 1911 году поступил в Петербургский политехнический институт, окончил его, но сведений о его жизни в столице нет никаких, что он делал в ней до и после семнадцатого года, неизвестно. Скорее всего, служил где придется, подобно Кунсту, герою рассказа «Тетка» (в первой, сокращенной, редакции он назывался «Прощание» и открывал сборник «Портрет»). По совокупности двух редакций произведения можно отчетливо судить о настроениях автора в Петрограде. Они сводились к одной подспудной мысли — об отъезде. Потому что революция — это не притяжение будущего, не осуществление мечтаний, а развоплощение прошлого, насыщение желудков. Что и подчеркнуто в «Тетке» мимолетным упоминанием «сытых кронштадтцев». На фоне такого вот пейзажа: «Политехнический стоял

¹ «„Вторая проза“. Русская проза 20-х — 30-х годов XX века». Составители В. Вестстейн, Д. Рицци, Т. В. Цивьян. Dipartimento di Scienze Filologiche e Storiche. Trento. 1995, 416 стр. «Писатель Леонид Добычин. Воспоминания. Статьи. Письма». Составитель В. С. Бахтин. СПб. «Журнал „Звезда“», 1996, 304 стр.

запачканный, снег был загажен, моряки Кронштадтского училища расхаживали по дорожкам, точно у себя в Кронштадте».

Здесь — и во всех других вещах прозаика — имеет место то, что называют «социальной критикой». Однако чаще всего она носит редуцированный характер, анализ всюду уступает дорогу ироническому скольжению «вдоль темы», печальной усмешке: Боже, где мы живем!

Авторская ирония носит в этой прозе не социальный, но экзистенциальный характер. Вопрос формулируется так: если я здесь живу, значит, это и есть жизнь? И жалкое наше существование ничем не лживей наших несказанных интуиций, обманно властвующих над воображением героя основной вещи писателя, романа «Город Эн»?

Такую точку зрения вряд ли разделят те участники добычинских сборников, кто ценит в писателе сатирика, сокрушительного критика обывательских иллюзий и мещанского образа жизни в целом. Некоторые Почитатели видят в этой прозе даже подрыв Устоев.

Это не совсем так. Даже совсем не так. Рутинным в ней изображено само по себе человеческое существование, и революция в еще большей степени, чем обыденная жизнь, обнажает неизбежную шаблонность человеческих реакций и мотивов поведения, ничего ума положительного не преобразая:

«— Я извиняюсь, — сказала она. — Не знаете, откуда эта музыка?»

— Возвращаются со смычки с Красной армией, — ответил Ерыгин и пошел улыбаясь: вот если бы поставить ведра, а самому — шась к ней в окно» (рассказ «Ерыгин»).

Человек в этой прозе не прочь ориентироваться на флюгер, под ним он и копошится: «На крыше под флюгером я, как всегда, задержался. Я думал о том, что я часто стоял здесь».

Это «последняя запись» героя «Города Эн». Соблазнительно придать ей символическое значение. Но остережемся: художественный мир этого писателя не символистичен, даже не метафоричен. Правда, богат сравнениями, «выражением временного подобия», как нельзя более кстати замечает Марина Новикова.

«Копшатся, следовательно, существуют», — сказал бы Беккет.

Советский опыт предлагал автору «Города Эн» другие, ослабляющие интересующую нас здесь экзистенциальную тематику, синонимы: «толкуются», «толпятся», «проталкиваются», «продираются»... Сделавшая это наблюдение Виола Эйдинова слово «толпа» выделяет у писателя как гнездовое, позволяющее ему в одном абзаце сопрягать несопрягаемые смыслы.

В подобной «броуновской» структуре отношений заложена катастрофическая близость друг к другу случайных людей и положений. При ней: «Монологи немислимы. Диалоги невозможны. Реплики направлены в никуда. Никто ни на что не получает ответа», — описывает добычинский мир еще одна участница петербургского сборника Ирина Мазилкина (точно так же, кстати, можно охарактеризовать сюжеты Беккета).

Чем ярче бытовая клавиатура добычинских сюжетов, тем осторожнее приходится говорить о каких-либо запечатленных в них исторических сдвигах, об обличительных или сатирических интенциях писателя. Преобразование жизни тут, по мысли Виктора Ерофеева, «остается внешним, не затрагивает основ сознания, которое оперирует старыми вековыми понятиями». Ерофеев пишет даже о «непоколебимых „розановских“» приметах добычинского художественного мира. Это неожиданное сближение настраивает и у автора «Города Эн» ощутить неподвластную веяниям эпохи органику жизни. Правда, запечатленную столь холодно и тонко, что не сразу ей и поверишь.

Это-то и важно в писательском методе: чтобы припомнилась жизнь, добычинскому персонажу достаточно взглянуть на воз с сеном, на то, как «тоненькие стебельки свисали и чертили снег». Если это и прустовский прием, то максимально деэстетизированный: вместо печенья «Мадлен» и утонченного сознания главного героя нам преподносятся клок сена и шаблонные фантазии сочинителя с задворок. Но тем же самым и подчеркивается: сущностной разницы между прустовским героем и незадачливым Ерыгиным нет.

Что же тогда есть жизнь в глухой добычинской вселенной?

Человек здесь знает одну историческую меру — длину собственной жизни. И хочет он не истории, а счастья.

Но ничего у него не получается, потому что счастье он понимает как объективацию желаний. Что есть форма самоотчуждения от собственного «я». Иллюзия о материализации иллюзий.

Все чего-то ждут в этой прозе: вестей, писем, советов, мнений... Вся она — «рассказ о несостоявшемся событии», по точному резюме Аркадия Неминого.

Достаточно взглянуть на исходную точку отсчета, на первый добычинский рассказ «Тимофеев». В нем провалившись на экзамене студент заканчивает тем, что, жуя на крыльце ситный, задумывается: «...что-то значительное, казалось ему, было в тех минутах, когда он сидел на крыльце и смотрел на мутноватое, сулящее назавтра дождь, небо».

И в последней опубликованной вещи писателя все то же самое. Помыслы героя-рассказчика «Города Эн» связаны с одним: «...и меня что-то ждет впереди необычайное».

Персонажи, прошедшие жизнь в ожидании «чего-то значительного», — в русской прозе, конечно, не новость. Неминуемый резонно соотносит добычинскую тематику с «важнейшим мотивом зрелой прозы Чехова», с проблемой «тотального и, в силу этого, трагического взаимонепонимания людей».

Не уверен, что слово «трагический» адекватно каким бы то ни было из эмоций, испытываемых добычинскими героями. «Несостоявшимся событием» для них является даже смерть, и перманентное описание похорон в том же «Городе Эн» — верное средство для повышения тонауса повествования, смерть вызывает у юного героя романа настоящее воодушевление. Во всяком случае, подвигает отрока к рефлексии в гамлетовском роде: «Я представил себе, что, быть может, когда-нибудь так повезут Натали, и, как Шмидту сегодня, мне место окажется сзади, среди посторонних».

«Взаимное непонимание», говоря более сниженным, но поэтическим языком, есть та связь, которая притягивает людей друг к другу в добычинском мире. Не понимая друг друга, персонажи переходят на язык своих оппонентов и конфидентов, тем самым имитируя понимание. «Чужое слово» — вот истинный герой и источник драматических коллизий в этой прозе. «Чужое слово» здесь — эрзац-заменитель счастья.

В «Городе Эн» тоскующий о «необычайном» герой-рассказчик не в состоянии выразить от первого лица даже собственные беглые житейские впечатления, постоянно сбивается на коллективное «мы», высказывается от имени своей «маман» и, более широко, от имени ее круга. Но и этого мало: в речи матери тоже не заложено довлеющего себе личностного начала. Что, между прочим, подчеркнуто и выбранной ею профессией телеграфистки, и следовательно, в первую очередь передатчицы «чужих слов».

Захватанное и захваченное грубой существенностью жизни «чужое слово» глядит очищенным и очищающим лишь с высот художественных творений, из суверенной области верифицированных желаний, из «Города Эн». Счастья нет, но есть «чужое счастье» — мир культуры. Название романа указывает как на место действия — провинциальный российский город, — так и на идеальный план существования героя, на «Небесный Иерусалим». Искусство за пределами по отношению к жизни, и в ней самой мало оснований различать за пределами, внеположное автономному бытию человека начало.

Сталкиваясь с «историческим временем», с телеологией, человек превращается в младенца, в недоросля. Эта антиисторисофская интуиция автора «Встреч с Лиз», «Портрета» и «Города Эн», его аутсайдерство, по мысли многих исследователей, есть ответ на тотально-тоталитарный вызов эпохи. Он недаром называл себя «Уездным Сочинителем», он был им. Что и являлось его, быть может, главным достоинством в эпоху Великих Свершений. Этот «писатель на полпроцента», по иронической автоаттестации, в одиночку «убежденно враждует с одной из главных идей 1920-х годов — идеей истории как орудия необходимости», утверждает Илья Серман.

«Надо уезжать» из этой жизни — такова сюжетная метафизика автора «Тетки» и «Города Эн». Ею обосновано и поразительное свойство авторского художественного зрения, не задерживающегося больше мгновения ни на

одном из окружающих его предметов, ни на одном из занявших его внимание лиц. Но мир этот статичен, и те же самые предметы, те же лица вновь и вновь появляются перед глазами, сменяя друг друга, как сменяются времена года. Уехать отсюда невозможно. То есть, уехав, далеко не уедешь: свистки невидимых поездов да скрип похоронных дрог — вот приметы движения в этой прозе. Действие описывается в ней так, как будто оно разворачивается одновременно и на глазах автора, и на глазах читателя. Автор только о б р а щ а е т в н и м а н и е на характерные детали. Если реалисты стараются выделить главные черты, когда не воссоздать картину в целом, то наш автор, наоборот, подразумевает, что главное «и дураку ясно».

По ковенным признакам последние эпизоды «Тетки» (и «Прощания») датируются концом апреля 1918 года (возвращаюсь к этому рассказу, потому что «Тетка» — одна из немногих вещей с узнаваемым как авторское «альтер эго» персонажем, самым взрослым из подобных — Кунсту должно быть около двадцати трех лет). Той же весной будущий прозаик оказывается в Брянске, куда переселилась его семья.

В Брянске в 20-е годы и появился писатель, которого неясно даже теперь как и величать. По имени и фамилии, как принято среди людей искусства? «Леонидом Добычиным»? Так написано на обложке и титуле петербургской книги: «Писатель Леонид Добычин». Завершается она письмом прозаика к М. Л. Слонимскому, и вот его последние строчки: «Только «Л. Добычин», а не «Леонид», как некоторые мерзавцы неизвестно на каком основании практикуют. Кланяюсь. Ваш Л. Добычин».

Конечно, надпись на современном издании появилась помимо воли составителя, крупнейшего знатока и публикатора добычинских текстов В. С. Бахтина, — в процессе художественного оформления книги. Но не думаю, что это просто казус. Скорее всего, мы читаем сейчас не совсем того писателя, каким он был при жизни, тем более — в собственных глазах. Думаем о нем как о некоем царе Спарты, геройски погибшем в советских Фермопилах. Иначе не снизошло бы затмение и на составителя, и на половину авторов из петербургского сборника, сплошь и рядом называющих свои работы: «Последние дни Леонида Добычина», «Леонид Добычин и Бруно Шульц», «О стиле Леонида Добычина», «Слово Леонида Добычина», «Синтаксис абсурда. О прозе Леонида Добычина», «Метр в прозе Леонида Добычина» и т. п. Не только поздние исследователи, но и авторы мемуаров, глубоко чтившие и ценившие прозаика, тоже пишут: «Я хорошо знал Леонида Добычина. Не оговариваясь. Но и на самом деле, как еще писать: «Я хорошо знал Л. Добычина»? Можно, конечно, лапидарно говорить «Добычин» (забавно, что по этому пути пошла большая часть авторов итальянского сборника: «Добычин: штрихи жизни и творчества», «О некоторых особенностях поэтики романа Добычина „Город Эн“», «Добычин: История и „Город Эн“» и т. п.), но и это не соответствует авторской воле. Видимо, мы имеем дело с псевдонимом. Псевдонимом весьма загадочным — им становится собственное имя.

Но почему все-таки его раздражала такая малость? Дело здесь явно не в литературном этикете: тот же «М. Горький» еще при собственной жизни без особенного скандала превратился в «Максима Горького». И потом, существуют же Андрей Белый (А. Ф. Белоусов в итальянском сборнике считает, между прочим, литературным камертоном «Города Эн» мемуарную эпопею «На рубеже двух столетий»), Леонид Андреев (писатель Л. Добычину толждый, и, может быть, он на него не хотел походить даже именем), Лев Толстой, наконец. Больше того, такие авторы, например, как Георгий Иванов, полагали оскорбительным написание их литературного имени сокращенным. Никаких «Г. Ивановых», никаких «И. Одоевцевых»...

Проблема имени ставится в самой крупной из работ, помещенных в обоих сборниках: статье В. Н. Топорова из «Второй прозы» «Рассказ Л. Добычина „Встречи с Лиз“» в контексте *бедной Лизы* „железного века“. Исключительно важным представляется в ней описание новой, сложившейся в русском искусстве XX века «особой «номиналистической» ситуации, при которой... не столько сходные образы (и, следовательно, смыслы, за ними стоящие) кодируются общим именем, даваемым разными авторами независимо друг от друга разным персонажам, сколько одно общее имя имплицитно целую серию сближаю-

шихся друг с другом образов... Речь идет о парадоксальной конструкции, в которой первенствующим оказывается имя, а смысл вторичным, вызванным именем». То есть сущность вещи выступает лишь как ее языковое обозначение, знак.

Таким образом, в рассказе «Встречи с Лиз» главное не характер героини Лиз Курицыной (он в подобном культурном контексте закономерно не выплывает) и не отношение к героине жовиального ухажера (отношений между персонажами тоже нет никаких), главное — ее единичная судьба, то, что она утонула, не могла не утонуть, подобно карамзинской героине. Никакие мотивировки этому событию не нужны, историческая реальность аннигилируется, но сохраняется predeterminedенность трагедии: всякий раз погибает отдельный человек с конкретным именем и фамилией, но не «человечество» убывает. Ситуация действительно «номиналистическая», свидетельствующая об интимизации любого содержания, сведении его к сугубо личностному уровню. Ведущая роль в ней отводится принципу индивидуализации; как во времена Уильяма Оккама, вновь проводится категорическое разделение бытия на мир «единичных вещей» и мир «сущностей».

Решимся заметить: единственное внятное доказательство того, что писатель на самом деле покончил с собой, и того, каким образом он это сделал, — «Лизин текст», с которого он манифестировал начало литературной жизни («Встречи с Лиз» — первое опубликованное произведение Л. Добычина). Как же еще должен был закончиться его роман с современной литературой?

Я вовсе не разделяю мнения о тотальном конформизме наших художников в 30-е годы. По данным составителя петербургского сборника, «в Ленинградской писательской организации из четырехсот с небольшим человек было репрессировано около ста тридцати. Из них расстреляно, погибло в лагерях и ссылках около семидесяти... Каждый третий репрессирован!». Конечно, кровавые жернова стирали в лагерную пыль и «лояльных» и «нелояльных». Но при всем юридическом абсурде предъявляемых обвинений они все-таки основывались на «информации». Безнравственной, изуверской, лживой, но... информации. Ни один из писателей не избежал тайной проверки, слежки, на каждого поступали доносы и рапорты осведомителей. Так что «отбор» все-таки был, уничтожались, как правило, наиболее достойные. Но железной логики тут нет, не было, и среди уцелевших мерцает достаточно славных имен. В том числе тех, кто совсем не был чужд автору «Города Эн»: Корней Чуковский, Юрий Тынянов, Михаил Слонимский, Михаил Зощенко...

И сам Л. Добычин репрессирован не был. Но его жребий, быть может, тягостней других. Его уничтожили не Начальники, а писательская братия. Пестуемый обществом «коллективизм» проявил себя во всей красе на собрании 25 марта 1936 года, когда Л. Добычин в ленинградском Доме писателя был оболган и дезавуирован в угоду очередным партийным лозунгам. Подлость состояла еще и в том, что жертва была выбрана расчетливо: недавно переселившийся из провинции, средне известный, мало с кем связанный литератор, «слабак». По точной оценке В. С. Бахтина, это была своего рода репетиция спектакля всесоюзного размаха, разыгранного в том же Доме десять лет спустя с иными героями — Ахматовой и Зощенко.

Если слова об «иронии судьбы» не устаревший лукавый оборот, то вот что это такое. Последнее, что мы знаем о Л. Добычине, — это сведения о нем из донесения в НКВД осведомителя «Морского», видевшего прозаика перед его исчезновением 28 марта в 11 часов 30 минут. Писатель передал ему ключи от своей комнаты и сказал, что больше в квартиру не вернется (связанные с Л. Добычиным выдержки из донесений Секретно-политического отдела Управления госбезопасности НКВД по Ленинградской области, направлявшиеся в Ленинградский обком А. А. Жданову, публикует в петербургском сборнике А. В. Блюм). Этот последний жест доверия возможен, надо полагать, исключительно по отношению к другу... Легко вычислить фамилию этого человека, тем более что его «дружескими заботами» не оставлены и другие ленинградские писатели одного, в общем, круга. Согласимся все же снова с В. С. Бахтиным: делать этого не стоит, если есть хотя бы один шанс из четырехсот ошибиться.

Однако имена слишком значимы и в добычинском творчестве, и в его жизни, чтобы остановиться лишь на самом факте предательства. Жгучий смысл «иронии» заключается в том, что «судьба», послав художнику в друзья предателя, наделила своего агента кличкой, оставляющей четкий номиналистический след в этом дьявольском действии. Пусть он тонок и подобен следу волос на песке, бережному знаку, с которого Л. Добычин начинает рассказ «Ерыгин», но он есть. Многими исследователями (первым, кажется, Виктором Ерофеевым) замечено, что основная стихия писателя — вода, влага. Подытоживая разнообразные мнения, заметим, что этот ведущий образ у прозаика амбивалентен, в нем узнается и источник жизни, но и ее итог. С водой связан у Л. Добычина мотив исчезновения, растворения, небытия. Смерть он понимает как развоплощение жизни, а не как ооченение, обызвествление. Вот так и получается, что «река времен» вынесла художника в объятия «Морского»...

Но и это еще не все. С водной стихией связана и разгадка псевдонима писателя. Он несомненно хотел, чтобы его имя звучало мягко, как «Эль Добычин». Это влажное «эль» — смысловой звукообраз его прозы: «Лиз» — «любовь» — «Натали» — «гибель» — «Лета». Он отказывался от имени «Леонид», наполненного брутальными ассоциациями, памятью о коллективном героизме. Он презирал современный ему культ агрессивного мужества, любил тех, кто развенчивал его, например французского писателя Луи Селина (вот снова эти «л»). За это ему и устроили «Фермопилы» в проходе между двумя рядами кресел Дома писателя.

Он прав: частное, «номинальное» имя «Л. Добычин» оказалось достойнее звучного «Леонид Добычин» или отдающего стяжательством твердого «Добычин».

Топоров подчеркивает, что «торжество номиналистической установки в связи с именем-образом Лизы представляет собой факт первостепенной важности, предопределивший... единство этого имени-образа в русской литературе...».

В более широком плане первостепенной важности вопрос заключается в том, что основной эстетический импульс русского модернистического искусства XX века как раз и сводится к «номиналистической установке». Модернизм в целом возводит номиналистический средневековый принцип борьбы с «реализмом» в канон нового отношения художника к действительности. Как говорил средневековый номиналист Петер Ауреолус: «Всё индивидуально посредством самого себя и ничего более»².

Речь идет все о тех же «универсалиях»: существует ли, скажем, «ночь» как неизменное понятие, как данность, или она претерпевает (а мы переживаем) мириады неповторимых, отличных друг от друга состояний в ускользающем времени? Понятно, что и в богословии, и в философии, и в обыденном созна-

² В теории представители нового искусства — в первую очередь символисты круга Вячеслава Иванова — могли быть самыми законченными «реалистами», утверждать путь «a realibus ad realioa». Но в данном случае важны не теоретические установки, а художественная интуиция и жизнеощущение их творцов. Тот же Вячеслав Иванов, разъясняя выдвинутый им принцип, говорил, в конце концов, о внутренней, интимной реальности: «...от видимой реальности и через нее — к более реальной реальности тех же вещей, *внутренней и сокровеннейшей* (курсив мой. — А. А.). Что далеко от мира платоновых идей, с рецепцией которых боролся номинализм. Проповедуя о «сущностях», трепетали символисты лишь перед «единичными вещами». «Всеобщее» как предмет искусства реально для них преимущественно в «индивидуальном». «Общие понятия» — в полном соответствии с номиналистической установкой — существуют у них только в «слове». Не изменяя себе, «реалист» Вячеслав Иванов может сказать, как «номиналист» Уильям Оккам: «постигнуть общее можно интуитивно»; или, иначе говоря, «универсалия» — это «интенция души»: в противном случае она существует «не по природе, а только по установлению». Символисты, особенно хорошо разбиравшиеся в философии, могли утверждать, что сущность вещей объективно значима, что идеи имеют прообразы или обозначают конечную степень совершенства, перед чем всякая единичная вещь ущербна. Но характерные для любого модернизма душевный произвол, своеволие, нищезанский порыв влекли их именно к «ущербности», к откровению «в кристалле низшей реальности», по изящному выражению Вячеслава Иванова. Это положение мнилось «несказанным», «невыразимым», «неизреченным»... Как раз из-за отсутствия подлинно «реалистической» внутренней установки. Художники постсимволизма — Л. Добычин в их числе — лишились и этой иллюзии.

нии торжествует «реализм». Но в художнике под давлением «универсальных концепций» как протест против них оживает номиналистическое чутье: в каждом предмете он ищет нечто, не могущее быть общим для других предметов одного и того же ряда. Уже Чехов свидетельствовал, что искусству изображаемое «ночи вообще» противопоставлено, значение имеет преимущественно разрушающая обобщение неординарная подробность, что и демонстрируется знаменитым описанием в «Чайке»: блестит горлышко разбитой бутылки на плотине, чернеет тень от мельничного колеса — вот и все, новая лунная ночь готова.

Подспудно спор об «универсалиях» повторился в нашем столетии. Отчасти из-за актуализировавшегося интереса к средневековью, но в целом по достаточно элементарной причине. Чем больше людей на планете, тем соблазнительнее утверждать: никаких «людей» нет, есть отдельно мыслящие и существующие А. П. Чехов или Л. Добычин.

В XX веке у Л. Добычина «Лизин текст» отличается от текста XVIII века, текста Н. М. Карамзина, не чем иным, как разительным усилением номиналистичности в трактовке сюжета. Вся проза автора «Встреч с Лиз» характеризуется «при наличии нормы», пишет Виктор Ерофеев, «вопиющим ее отсутствием». У Л. Добычина индивидуальным, «номиналистичным» в описываемом им бесконечно копошащемся мире остается одно имя, больше ничего. Что свидетельствует о драматичной невозможности осуществить свой принцип индивидуализации в коллективистской системе. Закономерно большинство его рассказов названы «номинально», по фамилии героя: кроме как в имени, их «я» не проявляется.

Номиналистический уклон усиливает экзистенциальное смятение художника из-за «невозможности сущностного объяснения мира, отсутствия цельности и целесообразности» в нем. Замечательно, что это не философский вывод, а результат лингвистического анализа прозы Л. Добычина, проведенного Ольгой Абанкиной. «Норма» проникает в мир Л. Добычина как совращающий призрак: из естественного опасения подростка «не быть как все» к ней бессознательно стремится потенциально свободный, незакомплексованный герой «Города Эн». «Норма», которой он следует, персонифицируется для него в авторитете — сначала «маман», затем в фигурах «первого друга» и старших сверстников. Чужое обличье — ее опасная, но неизбежная в этом возрасте суть. О чем лишь подозревает подросток, время от времени ассоциируя «первого друга» с мелькнувшим образом «страшного мальчика».

Невидимое и неназванное содержание духовной жизни героя «Города Эн» несомненно почерпнуто из «психологических глубин» автора. Не упомянутый по имени мальчик (вот так же не хотел видеть своего имени писатель) рассказывает о детстве и отрочестве, которыми никто, кроме самого Л. Добычина, не обладал. Разница в том, что прозаик уже осознал свою отдельность от других людей не как беду или условие существования, но как залог свободы, как дар. И весь этот роман есть демонстрация обретаемой свободы. Автору уже не надо описывать свои былые переживания, вообще «чувства», они сублимированы. Л. Добычин становится изумительно беспристрастным «хроникером» — ничего не оценивающим, ничего не благословляющим. Он не опускается даже до скепсиса, лишь пронзительный юмор никогда не улыбающегося человека придает неувядаемую живость его прозе.

Геннадий Гор полагал, что добычинский «холодный, закрытый юмор генетически... связан с юмором Флобера». Типологически еще ближе ему все-таки Чехов. В добычинской прозе, выражаясь словами Ремизова, «человек человеку бревно». Из чего не следует, что сам человек здесь «бревно». Наоборот, персонаж, которого Л. Добычин выбирает в герои, — весьма сублимное, тонкое существо; лейтмотив его жизни — неоднократно поминаемые в «Городе Эн» слова Христа «Ноли ме тангере» — «Не тронь меня». Потому он и обитает в объективированном мире «чужого слова», что собственная его речь лишена реалистической коммуникативной функции, это всего лишь никому не слышимый внутренний голос, номиналистический зарождающийся глагол, речь-молчание.

Герой Л. Добычина живет интуицией о любви, но само слово «любовь» для него пугающе реалистично, грубо. Природой данное естественное влече-

ние к женщине ему ужасно вдвойне: решительно и прежде всего оно требует нарушения суверенности своего «я», приведения жизни к общему всем людям знаменателю. Но нет, «Не тронь меня».

Истолковывая добычинскую ориентацию в мире, нельзя не напомнить: слова Иисуса обращены к женщине, к Марии Магдалине. И в романе — вопреки фабуле — слышится убедительно аллитерированный рефрен, обращенный к предмету воздыханий: «Натали! Ноли ме тангере!» И Натали исчезает навсегда, хотя и последняя строка романа — о ней.

Силою вещей номиналистическая установка есть установка на одиночество, конечное выражение которого — смерть, кладбище, место действия одного из самых «лирических», по мнению Марины Чуковской, рассказов Л. Добычина «Отец». Даром что на речевом уровне этот «лиризм» выражается вполне утробно: «скорей», «ух», «шлеп» — вот едва ли не все, что могут произнести персонажи. А когда герою нужно объяснить главное обстоятельство жизни над могилой жены, матери его детей, то вот что получается: «Он зашел по поводу Любовь Ивановны и мялся: как и что сказать?»

Лиризм Л. Добычина проявляется в сочувствии неуправляемому трогательному человеческому «косноязычию», оберегающему тот слой душевных переживаний, что не подлежит объективации.

Закон эволюции в мире писателя Л. Добычина — это закон возрастания одиночества. Как бы ему ни было скучно в Брянске, как бы ни надоедало месяцами ни с кем не разговаривать, его переезд в Ленинград стал катастрофой. Любые коллективистские формы общения Л. Добычину оказались противопоказаны. Поразительно, какую картину рисует ему воображение, когда речь заходит об обложке его собственной книги: «жалкая гостиная (без людей)».

Хорошо знавшая прозаика по Ленинграду Марина Чуковская называет мемуарный очерк о нем «Одиночество». Он открывает петербургский сборник, и лучшего зачина к нему трудно представить. Правда, этот же зачин несколько взвинчивает тон разговора о писателе. Но нечего делать: форсированная манера свойственна и другим авторам — современникам Л. Добычина, задним числом вставшим за него грудью. Например, Марина Чуковская проникновенно защищает писателя от обвинений, на ходу воображенных ею же самой: «А может, автор попросту сухой человеконенавистник? ...Какое там «человеконенавистничество»! Ненависть — к пошлости, ненависть — к глупости, но не к людям!» Конечно, не дай бог нам, гуманистам, усомниться в Человеке. Хотя ненависть вызывают как раз конкретные пошляки и глупцы, то есть люди, а не абстрактные категории. Главное же, никакой ненависти — ни к кому — у Л. Добычина решительно не обнаруживается. В этом его даже и хулители не обвиняли. Скорее у него можно найти к людям холодную снисходительность, загадочную дистанцированность от персонажей. Одно из достоинств его прозы — поразительная неаффектированность манеры изложения.

Он и сатириком-то не был, вопреки утверждению самых авторитетных его истолкователей, таких, например, как Георгий Адамович. Заявляя в рецензии на «Город Эн» (ее представляет читателю Роман Тименчик), что «резкостью и отчетливостью сатиры» Л. Добычин напоминает Щедрина (общее место в суждениях о прозаике), ведущий критик русской эмиграции все-таки спохватывается и подозревает нечто неладное: «...смех идет даже дальше непосредственного предмета сатиры и подрывает нечто большее, чем данный общественный строй: яд проникает в общее жизнеощущение, ирония разъедает все».

В самом деле: довольно дико — и неблагоприятно — заниматься подрывом уже взорванного — действие романа относится к дореволюционным временам. И яда в нем, если верно понять добычинскую тему, на удивление мало, аптекарские, часто целительные дозы. Речь в произведении — не об обличении порядка, а о жизнеощущении подростка. Яд у него в крови, передан по наследству, и соотношение наследуемого и выбираемого, данного и желанного составляет драматическую коллизию романа. Автор психологически безупречно описывает процесс идентификации сознания ребенка со взрослым сознанием, рост его «я». Сделано это с исключительным блеском — без сентиментальных описаний переживаний и неясных самому ребенку страхов, в остраненной форме. Демонстрируется процесс зарождения, становления ценностной ориентации личности — через усвоение «чужого слова». Оно подхватывается героем

в чистом виде, без опосредствующих, косвенных интерпретаций, подсказанных автором. Стереоскопически яркое описание жизни в романе не искажается мировоззренческим диктатом.

Роман заканчивается обретением подростком собственного «я», в последней сцене он наконец осознает возможность видеть и действовать самостоятельно. Во многожды истолкованном эпизоде с очками (надев их, герой стал видеть мир «правильно») заключен прямой положительный смысл, а не эстетическая шарада, как некоторые полагают: дескать, он потерял уникальный художественный взгляд на мир, обретя взамен сомнительное право видеть «как все». Так сказать, среда доконала-таки юное дарование. Дело обстоит как раз противоположным образом: впервые герой отказывается от стереотипов поведения и воспитания — и даже несколько грубо:

«— Погоди, — сказал я, изумленный. Я снял с его носа пенсне и поднес к своему. В тот же день побывал я у глазного врача и надел на нос стекла».

В этой сцене герой наконец решительно и без подсказки делает то, что позволяет ему самоутвердиться в жизни. До сих пор он и на самом деле видел мир неправильно — чужими глазами. Физическая слабость зрения (подчеркнутая в романе, а не сказавшаяся вдруг) только усиливала его ориентацию на внеположный ему опыт.

Правильно увидел мир лишь автор, тот же самый мальчик, ставший художником. Не погнавшись за созданием «объективного» реалистического полотна, он беспристрастно зафиксировал нетиражированный, оригинальный, то есть номинальный, опыт единственного свидетеля эпохи, опыт, многократно резонирующий в посторонних суждениях. Совершенно закономерно роман обрывается на эпизоде с очками. Следующая часть должна была бы называться «Портрет художника в юности». «Дублинцы» уже написаны.

Какой бы кошмарной ни казалась среда, в которой живет герой романа, она не является кошмаром для него самого. Скорее, она и вольно и невольно помогает его становлению, не слишком навязчиво демонстрируя ему многообразие своего опыта. Тревога, испытываемая им, вызвана более глубокой, экзистенциальной темой его освобождения — преодолением сиротства. Обращает на себя внимание очень раннее исчезновение из повествования образа отца — не в том смысле, что он быстро умирает, а в том, что с его образом в дальнейшем не связаны ретроспекции. Отведенные на сообщении о его смерти лапидарные полстраницы закрывают тему, табуируют ее в сознании мальчика, полностью загоняя в бессознательное. Очень важное в этом возрасте «верховное начало» устраняется из жизни героя, а все паллиативы — сомнительны. Продолжая очень внятное современникам и почему-то отсутствующее у сегодняшних исследователей сравнение Л. Добычина с Джибом, обратим внимание на сходство их тем в этом существенном пункте. У обоих писателей их внеконфессиональная редуцированная религиозность — знак сыновней оставленности, покинутости. В их «одиссеях» ближайший автору герой — обездоленный сын, Телемак, — в омерзительном мире «взрослых женихов» и эмансипированных, присматривающих и поглядывающих на отрока матрон.

Подобно бедной Лиз Курицыной, мы наконец «заплыли за поворот» и готовы утонуть вместе с исследователями, трактуя самую болезненную на сегодняшний день добычинскую тему. В петербургском сборнике с достойной ясностью и твердостью Алексей Жилко, духовный наставник первой Даугавпилсской старообрядческой общины, характеризует автора «Города Эн» как «глумителя христианских ценностей» и «скрытого проводника атеизма». Статья так и называется: «Проводник атеизма», и в ней автор приводит примеры некорректных по отношению к православию эпизодов в романе. Их насчитано шесть (можно было бы набрать больше, присовокупив «выпады» против католицизма, но Алексей Жилко, конечно, не экуменист). Не будем объяснять заново, что играющее решительно важную роль в романе «чужое слово» — это не авторское слово и даже не слово его героя. Так что если в тексте написано: «Он посмотрел мой учебник «закона» и, посмеявшись над картинкой «фелонь», предложил пройтись...» — слова эти могут выражать и противную авторской точку зрения (Достоевский, например, не становясь атеистом, позволяет Версилкову в «Подростке» расколоть в щепу икону). Подозрительность отнюдь не синоним проникательности, хотя, увы, слишком часто в нашей жизни ее заменяет.

Я вовсе не хочу представить Л. Добычина «добрым христианином», каким он и не был. Взятые им «уроки номинализма» давно отвергнуты церковью, «реализм» победил. Нужно лишь понять, что «христианская тема» — не ведущая в романе. «Главное» совсем не в том, что Л. Добычин ее «взял добровольно» (читай: «добровольно продался дьяволу»). Ни «христианский», ни «антихристианский» роман у Л. Добычина писать никаких оснований не было. И если Алексей Жилко думает, что роман этот «не случайно» начинается с рассказа «о хождении... на молебствие», то ему можно насмешливо, но не лживо возразить: он и начинается с описания дамских юбок, и заканчивается вздохом о предмете страсти, о Натали. Из чего, опять же, не следует, что перед нами «любовный роман». Скорее уж «роман воспитания».

(Поразительно, между прочим, что приводящий в недоумение Алексея Жилко «нерусский» синтаксис в прозе Л. Добычина лучше его понимает австрийская исследовательница Элизабет Маркштейн. Этот синтаксис подразумевает редуцированный контекст, чувствуемый — или нечувствуемый — бессознательно: обычный для прозаика измененный по отношению к «норме» порядок слов говорит о необозначенном предшествующем действии. Если у Л. Добычина написано «дождь моросил» вместо «моросил дождь», то этот оборот предполагает, «что перед тем шел проливной дождь». К тому же в добычинской прозе зачины — на 80 процентов, по вычислению Юрия Орлицкого, — «охвачены метром». Ненавязчивая ритмизация сообщает ей гармонический лад, питаемый русской, а не какой-либо иной языковой стихией. Скрупулезными стараниями Сергея Кормилова, Виолы Эйдиновой, Орлицкого и других авторов, занятых изучением языка писателя, наглядно демонстрируется, что блоковское определение поэта как «носителя ритма» значимо в русской литературе и по отношению к художнику слова как таковому.)

Неангажированно, а потому и точнее других о христианстве Л. Добычина судит Иосиф Трофимов. Говоря о внеконфессиональной религиозности писателя и даже об «усиленной атаке на религиозное сознание» в «Городе Эн», он отмечает, что автор «не задевает саму идею Христа».

Не удивимся вслед за этим прочитать у даугавпилсцев Михаила и Тайги Бодровых о «Городе Эн» как о «библии XX века». Они пишут также: «Л. Добычин в лице рассказчика повести вместе с читателями, в сущности, совершают путь к новозаветному восприятию мира, к новозаветному человеку». Приветствуя отчаянную смелость заявления, от комментария воздержимся. Добавим лишь, что их сближение Натали, Тусиньки Сиу, с пушкинской Натальей Николаевной и через нее с Мадонной может навести на еще одну неординарную мысль. Авторы уже и сами почти дошли до нее, резонно заметив, что необычная фамилия предмета воздыханий героя — Сиу, — возможно, составлена из чьих-то реальных инициалов. Да, она анаграмматически составлена из букв, образующих искомое исследователями имя — «Иисус». Для героя все, связанное с Натали, сакрально.

И все же порывистый общий вывод несколько наспаривших исследователей: «Добычинский рассказчик выводит — прежде всего себя — к свету, к особому зрению, к такой писательской зречести, которая может именоваться учительской», — этот вывод ближе к адекватному толкованию добычинского замысла, чем суждение, например, того же Иосифа Трофимова о «просвете в финале» романа как уступке канонам соцреализма и о том, что «очки, с помощью которых рассказчик увидел звезды, выступают искусственным довеском, в котором ощущается указующий перст редактора» (кстати, именно Михаил Бодров первый обратил внимание, что близорукость героя выясняется не «вдруг», а является «ведущим мотивом повести», и, таким образом, сцена с очками подготовлена исподволь, а не выдумана «редактором»).

Во «Второй прозе» более учено проблему эволюции героя в «Городе Эн» трактует С. Г. Шиндин: «Герой «Города Эн» как бы оказывается в центре постепенно разворачивающегося вокруг него универсума, и задача, стоящая перед ним, заключается в выявлении и уяснении набора основных правил семиотического поведения в мире, в умении приспособить свое сознание к макрокосму, с одной стороны, и «подстроить» внешний мир под свои психофизиологические параметры — с другой». О герое благодаря сакраментальному «как бы» (верный способ, избежав ответственности, произнести нечто ос-

новополагающее) здесь сказано слишком «всё». Ценно тем не менее, что де-идеологизированная, погруженная в «местный колорит» проза Л. Добычина на подобные обобщения провоцирует.

В написанных с размахом двух эссе Иосифа Трофимова в петербургском сборнике, при нескольких опрометчивых заявлениях в духе вышеприведенного, ставятся вопросы первостепенной значимости для разгадки феномена Л. Добычина. И в первую очередь это вопрос даже не о степени «еретичности» этого писателя, но вопрос о смысле его «провинциальности», о «возможности конструирования с использованием этого материала неких новых моделей мира, с заложенными в них определенными умозрительными концепциями».

Наша концепция такова: «провинция» у Л. Добычина уже и есть «модель мира», не менее репрезентативная в художественном смысле, чем какая-либо иная. Не потому, что «свет мира» исходит из нее. Но потому, что сам мир онтологически, сущностно «провинциален». «Вселенная — место глухое», — говорит поэт. И чем — с развитием цивилизации — грандиознее наши представления о Вселенной, чем обозримее наша планета, тем «провинциальней» представляется земная жизнь каждого из нас, тем затеряней в нашем о ней умозрении. Куда бы мы ни воспаряли, она уподобляется «крестику на ткани и метке на белье».

«Провинция — функционирование каких-то промежуточных, несамостоятельных и в то же время очень активных элементов бытия, — пишет Трофимов. — Поэтому в художественном сознании XX столетия, кризисном в своей основе, исключительное место занял топос провинции, топос „пограничной ситуации“».

Показательно, что переселение Л. Добычина в Ленинград совсем не придало его прозе «столичного лоска» и не обогатило ее ни петербургской мифологией, ни просто какими бы то ни было петербургскими сюжетами — при всех благах и свободном времени, которые ему дал статус профессионального литератора. Написанные после «Города Эн» последние вещи писателя — рассказ «Дикие» и повесть «Шуркина родня» — поражают своей даже не «провинциальной», а «захолустной» тематикой и, что печальнее всего, понижением уровня эстетической суверенности автора.

Добычинским шедевром остался «Город Эн», это гиперпровинциальное озарение русской прозы XX века, «прозы эн», как ее удачно назвали авторы вступления к итальянскому сборнику В. Вестстейн, Д. Рицци и Т. В. Цивьян. Под «второй прозой», или «прозой эн», они имеют в виду прозу малоизвестных широкой публике, авторов 20 — 30-х годов, дистанцировавших себя от сферы прямого воздействия коммунистической доктрины³. И в этом смысле художников в СССР тоже «провинциальных», где бы они ни жили.

Еще и по этой причине хочется подвергнуть сомнению основной тезис идеологических интерпретаторов Л. Добычина, прославляющих его как автора антимищанских сочинений. Эта точка зрения обоснована тем, что мещанство являет собой «силу, враждебную человеку, культуре».

Мещанство в своей враждебности чему бы то ни было из пеленок не вышло, по сравнению со сталинским режимом, во времена которого писал Л. Добычин. Мещанская жизнь, если угодно, и была единственно действенной формой оппозиции тоталитаризму. Пушкинская формула «Заживу себе мещанином припеваючи, независимо и не думая о том, что скажет Марья Алексевна» действительна во все времена. Именно идеологи власти — имперской ли, фашистской ли, коммунистической ли — разрабатывают концепцию «мещанина» как презренного «обывателя» и «человеконенавистника». Наличие врага — условие существования «сильного режима». А данный «враг» и удобен своей слабостью, и изготовлен на все времена и художественные вкусы. Нужно быть снобом, одержимым или простофилей, чтобы из двух зол выбирать большее. Но если снять семантическую нагрузку, стереть гневно вычерченные романтиками валтасаровы знаки со слова «мещанин», то и яда в сердцеvine останется ровно столько, сколько его имеется в слове «человек».

Человек — это и есть «мещанин» и «звучит гордо».

³ Многие интересные статьи итальянского сборника, не связанные с именем Л. Добычина, здесь оставлены в стороне.

С момента появления на свет и до момента исчезновения писатель Л. Добычин никакой иной жизни, кроме как жизни «мещанина», «маленького человека», «уездного сочинителя», не знал.

Что не помешало ему стать уникальным художником — и в жизни, и в творчестве гарантом достоинства и чести.

Именно он отправил в небытие персонажей, на которых время смотрит снизу вверх. Именно он поставил в центр художественных интересов такого человека, который в данную эпоху глядит особенно малым и ничтожным существом. Именно он дерзнул в провинциальном «копошении» увидеть естественную среду обитания человека.

И еще одно «между прочим».

Что есть из статьи в статью пинаемые «мещане» и «обыватели» города Эн? Окружение героя — это семьи врачей, инженеров, преподавателей... То есть устойчивый мир русской провинциальной интеллигенции. И все существующие или приписываемые добычинскому миру пороки суть традиционные пороки этого доблестного ордена. Среди самых заметных — в изображении автора — предрассудки националистического толка. Например, если в городе Эн открывается костел и местная газета пишет об этом событии, то «маман» героя утверждает, имея в виду ее редактора: это «естественно, потому что Бодревич поляк».

Так что и в самом деле «интеллигенция виновата»... Более оголтелых националистов не производит ни один слой общества. Ни одна глотка лавочника не изрыгала столько националистической чуши, сколько изливается из бескорыстных уст интеллигентов всех (взятых в отдельности) стран земного шара. Ее предрассудки в массе своей как раз националистического, а не либерального свойства. Среди бесчисленных персонажей «Города Эн» лишь один — Андрей Кондратьев — похож на «либерала». Зато о нем герой и думает (как обычно, явно чужими словами): он «не очень для меня подходит, потому что обо всем берется рассуждать».

Согласен: между «интеллигенцией» и «мещанством» дистанция небольшая и она не увеличивается, а сокращается. Все мы «маленькие люди», «существователи» на неведомых провинциальных дорожках.

Владимир Набоков в лекции о Чехове сказал о его героях: «...это обещание лучшего будущего для всего мира, ибо из всех законов Природы, возможно, самый замечательный — выживание слабейших».

И мне не раз приходилось слышать мнение: вообще-то, в исторической перспективе «слабые победят».

Они уже победили.

С.-Петербург.



КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

НА АПТЕКАРСКИЙ ОСТРОВ...

Андрей Битов. Первая книга автора. (Аптекарский проспект, 6). СПб. Издательство Ивана Лимбаха. 1996. 127 стр.

Живой классик современной русской прозы, Андрей Битов предпринял писательский жест, дозволенный только классику: после изданных им за литературную жизнь полусотни книг собрал и выпустил свою «первую книгу». Это значит, что он извлек из корзины и составил в сборник самые ранние вещи, учебные рассказы, не публиковавшиеся и не предназначавшиеся, явив, таким образом, нулевую страницу своего творчества (то, что было до «Большого шара» и «Аптекарского острова», с которых для нас начинается Битов). Заодно в той же книжечке он представил начала собственной текстологии (черновой вариант известного рассказа «Бездельник») и кое-какие материалы к собственной биографии, тем самым выступив в некотором роде в роли собственного исследователя. Получилось в результате нечто тщательно оформленное и весьма изысканное, новое произведение автора из очень старых вещей, нечто, к чему подходит эффектное нынешнее понятие артефакта. Классики по этому случаю, в самом деле, вспоминаются — но скорее все же по контрасту. Они обычно оставляли будущим исследователям собирать их юношеские опыты, а если и торопились незрелым выступлением, то, спохватившись, бывало, старались изгладить его следы из истории литературы. Гоголь сжег тираж «Ганца Кюхельгартена», прочитавши рецензию Н. Полевого, поигравшего на малороссийском словечке «заплата» (в значении — «плата», «расплата») в тексте несчастного произведения: «Заплатою таких стихов должно бы быть сбережение оных под спудом». Гоголь принял этот приговор — однако ведь как сейчас мы рады, что он не сумел привести его в исполнение до конца. Мы рады, что имеем «Ганца» как нулевое произведение Гоголя, так интересно для нас уточняющее перспективу его пути.

Скажем то же и о «первой книге автора» Андрея Битова, потому что именно концы с концами его сорокалетнего уже пути она помогает связывать. Автору наших дней как-то больше приходится самому об этом заботиться, становиться организатором и конструктором образа собственного пути, — но таков уж авторский крест усиленной самосознанности и самооформленности, какой отличает автора Битова. Также и особенное внимание к классикам (тем, настоящим, прежним) и писательская как бы оглядка на них отличают автора. Но тут все слишком другое — и самый характер авторства, и «художественность». И, не спуская с классиков глаз, автор так комментирует свое раннее творчество: «Но ТА художественность была результатом совсем другой внутренней жизни». Вот документом совсем другой, чем та «совсем другая», внутренней жизни и предстают нам пробные опыты, собранные в «первой книге автора».

В самом деле — документ: исторический документ нашей «внутренней жизни» конца 50-х годов. Главное чувство — бессвязности видимого, описываемого, происходящего. Только что совершился обрыв исторического времени (1953, 1956), и мы оказались голые люди на голой земле. Такие и возникают в этих рассказах-миниатюрах. «Люди, которые...» — так называется этот самый первый битовский цикл. Люди по преимуществу безымянные, их броуново движение под механически цепким взглядом рассказчика, как бы точечная поэтика. И — чрезмерная, форсированная краткость. Вряд ли она только оттого, что — по объяснению автора в предисловии — «божественно краток» был кумир его тех лет Виктор Голявкин (хороший писатель, но целиком оставшийся в той эпохе). Нет, просто короткое дыхание у автора в этих мини-рассказах. Зато они писались с легкостью сотнями (в сборнике только часть, сообщает автор), он ходил по свету, как по рассказам. «С тех пор я пишу длиннее, предав забвению ранние опыты» (как и советовал Гоголю Полевой; однако ведь вот не совсем, оказалось, предав забвению). «Длиннее» в опыте автора было качеством, а не количеством. «Длиннее» прямо отвечало иска-

нию связности. Писательское дыхание становилось «длиннее». «Длиннее» вначале до полнометражных рассказов и даже повестей, а после и до романа о том же времени, о котором здесь же, в романе, сказано: «Действительность не содержала в себе места для романа». Оказалось — содержала, но прошло десятилетие, чтобы оказалось.

Пока же действительность «первой книги» содержит минимум миниморум такого «места». Надо почувствовать исторический воздух, переходивший в дыхание этой прозы. Вступали в жизнь, которую нам предложено было начать сначала (и еще через тридцать лет предложено будет опять). В жизнь с обрезанными началами и концами, оголенную от естественной связности национальной истории, семейного предания, литературной традиции, памяти родного места. «Посмотрел на улицу: это Аптекарский проспект?.. Название показалось ему странным. Почему — Аптекарский? Аптек на нем не было. Может, потому, что на Аптекарском острове? Но остров уж почему — Аптекарский!..» Маленький и смешной абсурд — но вспыхивающий в малепальном сознании маленького героя рассказа в очень серьезную минуту его маленькой жизни («Маленький герой!» — по словесной ассоциации вспомнилась едва ли не самая светлая вещь Достоевского, написанная в Петропавловской крепости в ожидании казни и рассказывающая тоже о детском подвиге; если нам мерещится здесь отдаленная родственность, то уж, наверное, о ней не подозревал тогда молодой ленинградский прозаик). Смешной абсурд — но он вызывает к связности. И недаром он касается главной ценности мира молодого Битова, а наверное, и не молодого только, — почвы под ногами автора и героя, одухотворенного родного пространства.

Андрея Битова как лидера городской прозы 60-х годов было у критики в обычае противопоставлять писателям деревенской прозы тех же годов. Но присмотримся: Битов тоже писатель-почвенник. Его малая родина — не вообще Ленинград, а его особый и достаточно автономный локус — Аптекарский остров. «Тихая у нас улица... Совсем рядом гудит туго натянутая магистраль: автобусы, люди, люди, машины. А здесь — тихо. Речка без набережной. Мост деревянный. А все остальное — сад. И мой дом».

Это первые слова, пожалуй, самого интересного и обещающего рассказа в нашей книжке — «Люди, которых я не знаю» (1959). Он открывается описанием «хронотопа», который будет сопровождать писателя на пути: сначала как земля под ногами, потом — как зыбкая память, «рассеянный свет». В нашей культуре последних десятилетий Аптекарскому острову повезло: у него явились два поэта — писатель Битов и исследователь В. Н. Топоров, создавший проникновенный историко-филологический этюд об этом «литературном урочище», заключительную главу которого естественно составляет Битов (см.: «Ноосфера и художественное творчество». М. «Наука». 1991, стр. 200 — 279). В битовских воссозданиях топографии родного места, говорит исследователь, «центр реального пространства совпадает с родиной души». Поэтическое своеобразие места одинаково видится писателю и исследователю: остров, «как бы нанизанный на проспект» — Каменноостровский (В. Н. Топоров), на «туго натянутую магистраль», но сохраняющий рядом с ней свою «тихую» и захолустную, полуостровную и полудеревенскую экстерриториальность. «Первой книге автора» придан подзаголовок, фиксирующий отправную точку его пути: «Аптекарский проспект, 6» — не просто адрес, но некая ценная точка отсчета, она же и точка опоры, душевный ориентир. (Как долголетний читатель Битова не могу не пожалеть о названии «Аптекарский остров», под которым мы некогда знали тот самый рассказ о маленьком герое. Битов — великий комбинатор собственных текстов: без конца их перетасовывает и перепланирует в составе своего собрания сочинений, в том числе и переименовывает, освежая их и строя новые ансамбли. Конструктивный дар — выдающийся в этом мастере, однако и сохранять свои же ценности бережнее бы надо: «Аптекарский остров» — центр мира автора, имя его хронотопа, зачем же было его терять в названии одного из центральных рассказов, заменяя на игровое «Но-га».)

Еще послушаем исследователя о писателе: «Образ А. о. у Битова отвечает глубоким интуициям, но нельзя пренебрегать и эмпирией А. о., «разыгранной» в ряде произведений писателя, но увиденной через тот «магический кристалл», который способен пресуществить плотную и овеществленную реальность в более тонкую субстанцию, соприродную духовному началу». Пушкинский «магический кристалл», как выяснили пушкинисты, — это прибор для гадания. И вот — попробуем

погадать о будущем писателе, уже зная его хорошо, в той хитроумной искусственной ситуации, которую сам он построил для нас, — хотя бы сквозь тот же рассказ 1959 года, начало которого мы цитировали. Идиллическое начало, однако конец его — смерть персонажа и его нелепо задрывшиеся стоптанные башмаки. И вот — поставим здесь магический кристалл и посмотрим вместе с автором сквозь него. Мы увидим собственную битовскую проблему, которую он как будто здесь «еще не ясно различал». Ту проблему, над которой автор задумается несколько лет спустя, когда в записях для себя (1963) упомянет этот рассказ, и именно эту концовку его, эту смерть, как бы с чувством нечистой писательской совести (см.: «Новый мир», 1990, № 2, стр. 149). А еще через несколько лет, в романе, развернет проблему (в теоретическом внутреннем фрагменте «Ахиллес и черепаха») как вопрос о нравственной ответственности автора за смерть героя в литературном тексте. Очень в традициях русской литературы вопрос. В записях для себя писатель переживает концовку рассказа 1959 года, с использованием подсмотренной в жизни детали (башмаки), как недостаточно оправданную этически и рождающую стыд за работу слишком доступными сильно действующими приемами. Но такой писатель Битов, что он свои неудачи (а ту концовку, когда мы сегодня ее впервые читаем, мы и не назовем неудачей, она в своей поэтике сильная, просто это поэтика той бессвязной жизни и бессвязной тоже в итоге смерти) переживает теоретически и не перестает прорабатывать творчески. В последней крупной вещи — «Ожидании обезьян» — есть тоже в самом начале бессвязная и не названная прямо по имени смерть — фигура в красной рубаше то ли пьяного, то ли мертвого, разлегшаяся на обочине «так вольно, так расслабленно», увиденная из окна автобуса и напомнившая знакомому еще по более раннему «Человеку в пейзаже» Сенька-бича (он ли это был или нет, но его на дальнейших страницах хоронят тоже в красной рубаше): «Автобус наконец отошел, и я почему-то забеспокоился об этом человеке... Однако по мере удаления тревога все росла, будто натягивая ту единственную нить, которая еще связывает с жизнью... Можно, можно было еще успеть остановить автобус, побегать назад, помочь, даже спасти... Ужас никак не отмеченного происшествия был странен знаком...» Как теперь оказывается, он был знаком еще с 1959 года, и вот публикация «первой книги» («сто первой»), как шутит автор, выписывая полную библиографию своих изданий на обложке) позволяет сравнением параллельных мест на тему чужой посторонней смерти измерить путь. Теперь с ответственностью автора за персонажа обстоит как-то иначе. Она звучит, она «горит» этой красной рубашкой: можно было еще спасти забытого на обочине. Сигнал тревоги на первых страницах, сообщающийся всей книге и вливающийся в ее эсхатологию. Также бессвязная смерть, но в связанном контексте, в сложном и емком тексте, несущем общую тему спасения и нашей к нему в то же время и признанности и неготовности («Оглашенные»!).

В нулевых рассказах еще нет битовской проблемы отношений автора и героя, потому что еще нет героя. Автораздвоение на героя и автора составит процесс писательского становления в предстоящее десятилетие (60-е, те самые). Нам будет явлен молодой герой, отличающийся особенным свойством растерянности («чрезмерной», по определению Ленинградского горкома КПСС, чей критический отзыв сохранил в своем архиве автор, — см. 1-й том — и единственный — его собрания сочинений /М. «Молодая гвардия». 1991, стр. 567/). Это свойство само по себе предстанет двойственным, тянущим в одну сторону к фигу-бездельнику, а в другую — к писателю-автору, лирическому герою «Жизни в ветреную погоду» (1963), в котором особого рода (и степени) рассредоточенность есть открытость и незащищенность как условие состояния творческого. Но во всех вариантах растерянность битовского героя есть свойство, словно демонстративно — а на самом деле естественно — его отличающее от идейной сосредоточенности героя советской литературы. Герой растерян и безыдеен — мир его оголен, вместе со многим прочим, также и от идей. Но не от идеалов, незримо хранящих и это оголенное бытие и напоминающих о себе в скверную (от собственной скверны) минуту неожиданным вопросом при чтении старой книги с оборванными листами: откуда в тебе, таком случайном и маленьком, такая большая вещь, как любовь? «Вдруг, словно бы без всякого повода, следовало описание прекрасного сада, но оно обрывалось внезапно, потому что тут как раз была вырвана страница». Сад же этот в старинной книге сливается с садом напротив дома, составляющим идеальный центр его близкого, своего пространства (Ботанический сад на Аптекарском остро-

ве). Раннее творчество Битова есть в немалой мере история отношений его героя с «садом», которых он не выдерживает, для которых он слишком мал и слаб. Главные силы его уходят на то, чтобы просто чувствовать себя живым, «быть живым, живым, и только». (Исторические тоже строки, возникшие в те же исторические 50-е годы, строки, которые мы декламируем патетически, но бездумно, не замечая таящегося в этом «и только» — возможно, и от самого поэта таящегося — отчаяния. Как историческое отчаяние от ощущения приближающихся «последних времен» проявится также в экологическом движении 70 — 80-х годов, когда экология у нас заменит идеологию, что будет первым симптомом близящегося краха советской вечности. Читатель Битова знает, сколь важной станет тема экологическая в его сочинениях уже этих более поздних времен.)

Путь писателя Битова увел его из своего хронотопа на просторы «хронотопа Империи». Это было большим расширением и, можно сказать, расцветом мира автора, но и большой утратой. В пути писателя оказалась записана история блудного сына — это не наш, это собственный его комментарий к своей судьбе. Как будто земля его не держала в его пространстве, и он утратил родной хронотоп, устремившись в свои путешествия на поиски не обретенной дома цельности. Он искал ее и находил у других народов («Уроки Армении», «Выбор природы»; и еще абсолютный полюс цельности, как утраченный «сад», к которому устремился, — Пушкин) — и сколько он, «безумный расточитель», от них приобрел! Но в то же время усталозорким глазом и в идиллии чужого цельного мира отмечал иллюзию — и пришел, наконец, к картине его крушения в «Ожидании обезьян». И все десятилетия эти лелеял мотив возвращения блудного сына. И, называя его по имени во фрагменте «Рассеянный свет», связал его с «памятью смертной»:

«Срок миновал. Выжил... Рассеянный свет! Куда рассеялось все?! От какой нашей рассеянности... И какой свет мы имели в виду?.. Все густеет вокруг. Сужается. Теснина, туннель. Свет рассеялся и поглотился, но что-то, пятнышко какое-то... растет впереди. Впереди или в конце? Там — свет. Оттуда свет. Тот свет».

Здесь же автор мечтает о книге, в которой «время пойдет в своем подлинном направлении — вспять!». Когда-то мальчик в рассказах 60-х в отчаянную и стыдную минуту желал провалиться, исчезнуть, стать невидимкой, запеленаться в кокон, родиться обратно, давая алчному фрейдисту лакомый материал. Но книга с движением времени вспять как мечтание зрелого автора — это другое дело. В газетном интервью недавно Битов сказал, что всегда писал одну книгу и на ее протяжении менялся. Изданием своей «первой книги» он это нам демонстрирует, развернув себя в обратной перспективе, открывая нулевую степень своего письма (не по Ролану Барту). И — выполняя задачу как бы посмертную, о чем, предваряя книгу, сам говорит: «Вроде я не умер, но...» И ставя на книге свой старый адрес: «На Аптекарский остров...»

Сергей БОЧАРОВ.



ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ЗАМЕТКИ

Владимир Набоков. Лекции по русской литературе. Перевод с английского. М. Изд-во «Независимая газета». 1996. 440 стр.

Русская литература для Набокова — это та земля отечества, которую, отправляясь в чужие края, нельзя унести на подошвах своих башмаков. Нельзя унести, но Набоков все-таки уносит. Переставая быть русским писателем, он начинает писать о русских писателях по-английски. В «Лекциях...» он дает читателям «практический совет»: «Литературу, настоящую литературу, не стоит глотать залпом, как снадобье, полезное для сердца или ума, этого «желудка» души. Литературу надо принимать мелкими дозами, раздробив, раскрошив, размолот, — тогда вы почувствуете ее сладостное благоухание в глубине ладоней; ее нужно разгрызть, с наслаждением перекачивая языком во рту, — тогда и только тогда вы оцените по достоинству ее редкостный аромат...»

Собственное набоковское следование этому совету часто заставляет вспомнить размоченный в липовом чае бисквит, вкус которого воскрешает герою-повествова-

телю Пруста утраченное время. Особенно это относится к лекциям о Толстом. В разборе «Анны Карениной» Набоков, проводя противопоставление двух столиц и написав: «Петербург — изысканная, холодная, официальная, модная и сравнительно молодая столица...» — неожиданно добавляет: «...где я сам родился 30 лет спустя». Ясно, что тридцать лет для него не помеха, что, смакуя («перекатывая языком во рту») толстовский роман, Набоков сознает себя представителем той русской жизни, которая в нем изображена. Поэтому Набоков полагает, «что пожилые люди в России, беседуя за вечерним чаем, говорят о героях Толстого как о совершенно реальных людях, похожих на их знакомых, будто они и впрямь танцевали на балу с Кити, Анной... или обедали с Облонским в его любимом ресторане». Тут проза Толстого явно заставила Набокова на миг забыть, что Русь — не та и русские — не те: где в советской России в середине XX века эти «пожилые люди, беседующие за вечерним чаем» о героях Толстого, «похожих на их знакомых»? Но что сам Набоков такой «пожилой человек» (вопреки тогдашнему своему возрасту) — это несомненно. «Образность, — начинает он одноименный раздел в главе об «Анне Карениной», — можно определить так: писатель средствами языка пробуждает у читателя чувство цвета, облика, звука, движения или любое иное чувство, вызывая в его воображении образы вымышленной жизни, которая становится для него столь же живой, как его собственное воспоминание». Формулировка выразительная, но не учитывает опыта ее автора. У него «образы вымышленной жизни» оживляют прежде всего как раз «собственные воспоминания» о той реальности, которая в эти образы претворилась. Происходит как бы удвоение реальности — вымышленной за счет действительной, словно подтверждающей: все так и было. Отсюда игра на смешении планов вымысла и реальности, а то и безотчетные переходы к речи о героях как о живых людях. К *красным чулкам*, в которых Кити у Толстого была на катке, Набоков не только дает комментарий (со ссылкой на «*Mode in Costume*», New York, 1948) о том, что в 70-е годы прошлого века «лиловые и красные нижние юбки и чулки пользовались большим успехом у молодых парижанок» и московские модницы, конечно, им подражали, но и от себя подбирает соответствующую обувь: «...у Кити, вероятно, были полотняные или кожаные полусапожки на пуговках». А вот как комментируется описание в романе «разных приемов» *игры в теннис* (в имени Вронского). Вронский со Свяжским, цитирует Набоков Толстого, «ловко подбегали» к мячу, «выжидали прыжок и, метко и верно поддавая мяч ракетой, перекидывали за сетку». «Боюсь, — тут же поясняет словно знающий, как было на самом деле, Набоков, — что скорее всего это были „свечи“». Более всего впечатляет набоковское внимание к железнодорожным реалиям (паровозы, поездка, вагоны). В кратком содержательном отклике В. Р. на выход «Лекций...» в «Литературной газете» (за 29 мая 1996 года) приводится свидетельство бывшего студента Корнеллского университета Альфреда Аппеля, вспомнившего (в интервью, взятом им у Набокова в 1966 году), что к лекции об «Анне Карениной» писатель приносил им «чертеж внутреннего устройства вагона железной дороги между Москвой и Санкт-Петербургом». Восемью годами раньше тот же Набоков предупреждал студентов того же университета (в лекции «Писатели, цензура и читатели в России», открывающей рассматриваемую книгу): «Настоящий читатель не ищет сведений о России в русском романе, понимая, что Россия Толстого или Чехова — это не усредненная историческая Россия, но особый мир, созданный воображением гения». «Сведения о России» не нужны, но нужны сведения об устройстве российских железнодорожных вагонов? Порой можно предположить, что Набоков учитывает специфику американской аудитории, втягивая ее в мир Толстого через «технику», когда сообщает, к примеру, что и труба «конусообразной формы», и «изысканная дымовая труба» с «искроуловителем», запечатленные «на знаменитой фотографии двух первых трансконтинентальных поездов, встречающихся на вершине Промонтори, штат Юта», «использовались» и «в русских паровозах». Но что может дать американским или любым другим студентам и читателям приводимая вслед за этим справка о том, что «согласно книге Коллиньона „*Chemins de Fer Russes*”» (Париж, 1868) «у 7,5-метрового паровоза скорого поезда, идущего из Петербурга в Москву, была прямая труба высотой 2 м 30 см, то есть на 30 см больше диаметра движущихся колес, чье движение с такой живостью изобразил Толстой»? Прибавляют ли эти цифровые выкладки «живости» толстовскому изображению? Непонятно даже, откуда известно, что высота трубы на 30 см больше диаметра колес, — тоже из «*Chemins de Fer Russes*»? или сам Набоков как-то высчитал (у Тол-

стого-то точного размера нет, разумеется)? Понятно лишь, что тяга Набокова к конкретике описываемой Толстым жизни превышает чисто литературоведческие потребности. Автор «Лекций...» может и сам, приводя в комментарии к мелькнувшему у Стивы выражению *рекрутский набор* (гл. XI первой части) заметку об указе русского императора «о наборе рекрутов на 1872 г.», в «Pall Mall Budget» за 29 декабря 1871 года, прямо признать: «Эта заметка почти не связана с текстом, но интересна сама по себе». В излюбленной Набоковым железнодорожной сфере реальным комментарием (в общепринятом ныне значении) можно, пожалуй, считать только прелестную справку о *фонарике*, при свете которого Анна читала в купе (оказывается, это «примитивное приспособление со свечой внутри, рефлектором и металлической ручкой», крепящейся к подлокотнику кресла). А вот в пространных пояснениях к *вагону* (на лекции они, видно, и сопровождалась демонстрацией «чертежа») нужды не было: все, что надо знать читателю о «внутреннем устройстве вагона», Толстой сам ему сообщает (в главах, кстати цитируемых в «Лекциях...» почти полностью). «Чтобы понять некоторые важные обстоятельства ночного путешествия Анны, — уверяет Набоков, — читатель должен отчетливо представлять себе», что «диван с каждой стороны купе делился на три кресла», что «Анна сидит, повернувшись лицом к северу, в правом углу у окна», что «слева от нее сидит ее горничная Аннушка (которая путешествует в том же вагоне, а не вторым классом, как во время поездки в Москву)», а «с другой стороны, еще восточнее, у самого прохода к левой части вагона, восседает толстая старуха» и т. п. Какие же «важные обстоятельства» связаны с тем, что Анна, едучи в Петербург, сидела в купе «лицом к северу»? В романе — никакие, если к тому же учесть, что Аннушка и старуха, разместясь слева от Анны, находились, стало быть, не столько «восточнее», сколько западнее ее, а Аннушкин приезд в Москву «вторым классом» Набоков просто досочинил за Толстого.

В действительности «важным обстоятельством» является стремление Набокова вписать происходящее в романе в доподлинную реальность, и на меня лично это и производит самое сильное впечатление в его лекциях о Толстом. Эффект присутствия Набокова среди героев романа как своего среди своих, как очевидца, знающего подноготную обжитого ими миропорядка не хуже «внутреннего устройства вагона», усугубляет при перечитывании их «совершенную реальность», наполняет новым острым смыслом ощущение разрыва «связи времен».

Парадоксальная картина: то же «место действия» (Россия); те же проблемы волнуют людей: от общесоциальных (сакраментальное «все... перевернулось и только укладывается») и общественно-политических (западный прогресс, русская самобытность, государство, бюрократия, либералы, земство, церковь, община и т. д. и т. п.) до насущно житейских, кажется, ни один из «вопросов» за сто двадцать лет ни на йоту не устарел — вплоть до столь занимающих Левина сельскохозяйственных («крайне скучных, — предупреждает автор «Лекции...», — для иностранцев» и, разумеется, для него самого); и все это при полной перемене человеческого состава.

Ленин некогда говорил, что в России после «трех революций» «старый Обломов остался» и в «рабочем», и в «коммунисте». Обломов-то «остался», а где и в ком «остались» Облонский, Анна с Карениным и Вронским, Долли, князь Щербатский, Матвей («образуется»)??

Сам Набоков, конечно, был далек от подобных мыслей и подчас (повторюсь) даже как бы забывал о существовании советской России, но, может, потому они и стали непредусмотренными плодами его «посредничества» между романом и читателем (по крайней мере, таким, как я). В том же духе действует и тщательно прослеживаемый Набоковым сквозной мотив «двойного кошмара» Анны и Вронского (страшный мужичок, бормочущий по-французски и что-то делающий с железом): невольно думается, что эта символика железа и крови («тяжелая железная идея», по выражению Набокова), пунктирно проведенная через весь роман, слишком зловеще ватаста, чтобы предвещать лишь чью-то личную трагедию. Гибель Анны — знак катастрофичности всего мироустройства, вживе представшего нам в романе.

Романный вымысел Набоков вписывает не только в предметную, но и в хронологическую реальность. Он точно знает, когда началось действие романа: «в восемь часов утра, в пятницу, 11 февраля (по старому стилю) 1872 г.» (дату вычислил по упоминанию австрийского посла в Англии графа Бейста в газете, читаемой

Стивой), — и когда оно кончилось: август 1876 г. (отъезд русских добровольцев на сербскую войну). Строгая набоковская датировка вроде бы выгораживает в реальном потоке времени ностальгический оазис, а сверх того и главным образом автономность изображенного в романе времени подчеркнута тем, что при его «распределении» (термин Набокова) среди героев Толстой «с объективным временем» обращается «довольно небрежно». Это открытие, которым автор лекций явно гордится. Заключается оно в том, что «треугольник Вронский — Каренин — Анна» периодически «проживает свою жизнь быстрее», чем Левин или Кити, так что «движущийся каркас книги... можно назвать гонкой: сначала все семь персонажей идут нога в ногу, затем Вронский и Анна вырываются вперед, оставляя позади Левина и Кити, опять подравниваются, а потом, с забавной поспешностью прелестных кукол, Вронский и Анна опять опережают остальных, но ненадолго». «Исследовать» подобную «синхронизацию» главных персональных «линий» романа необходимо, по Набокову, «чтобы объяснить ту магическую прелесть, которой он завораживает нас». Магия, значит, остается необъясненной, ибо никаких «гонок» с опережением одних персонажей другими и «подравниванием» в романе нет — Набоков крупно ошибся. Он считает, например, что «знаменитый эпизод скачек... это август 1873 г.», затем «действие... поворачивает вспять», «к весне 1872 г., к Кити» в Германии, и, следовательно, «в конце второй части... Кити и Левин отстают во времени на 14 или 15 месяцев от Вронского и Карениных». На самом же деле в начале XXVI главы второй части читаем: «Внешние отношения Алексея Александровича с женою были такие же, как и прежде... Как и в прежние года, он с открытием весны поехал на воды за границу... как обыкновенно, вернулся в июле... Со времени того разговора после вечера у княгини Тверской он никогда не говорил с Анною о своих подозрениях и ревности...» Вечер у княгини Тверской состоялся спустя два месяца (см. главу VII) после знакомства Вронского с Анной в конце зимы (по Набокову — в феврале). Совершенно очевидно, что этот февраль, и «весна» отъезда Каренина на воды, и «июль» его возвращения в Петербург принадлежат одному и тому же году. В день скачек Каренин, вернувшийся с вод в июле, для Вронского вернулся «недавно» (гл. XXII). В последних сценах пребывания Кити в Германии, куда переносится действие, на тамошних водах сияет блеск «июньского утра» (гл. XXXIV), вскоре в конце второй части сказано: «Кити возвратилась домой, в Россию...» Уже в третьей части мы узнаем, что Кити возвратилась в Россию «в половине июля» (Левин видит ее сидящей в карете на дороге в имение Долли — гл. XI, XII) и что следующий день после скачек был «холодный августовский» (гл. XXII). Итак, конец июля — начало августа для Вронского и Карениных (эпизод скачек) и половина июля для Левина и Кити, — где же четырнадцать — пятнадцать месяцев разрыва?

Толстой, правда, тоже ошибся — в памятной фразе: «То, что почти целый год для Вронского составляло исключительно одно желание его жизни...» и т. д., «года» никак не получается: «это желание было удовлетворено» гораздо раньше. Есть у Толстого и более мелкие отдельные неточности в употреблении временных указателей. Но в принципе хронология «Анны Карениной» основательно продумана, и «синхронизация» сюжетных «линий» героев осуществлена отнюдь не по-набоковски. Вся художественная ткань романа на всем его протяжении пронизана приметам, создающими образ объективного времени, соответственно и проживаемого каждым из героев: не быстрее и не медленнее других.

Рушится и точная набоковская датировка начала действия романа. Пусть Набоков правильно установил, что только в газете за 11 февраля 1872 года Стива мог прочесть о графе Бейсте, проехавшем через Висбаден. Эта деталь исторического фона отнюдь не претендовала на роль репера для жесткой привязки действия романа к истории. Другое дело — отъезд добровольцев на сербскую войну в конце: это событие общенационального значения, и неизбежно подразумевавшее дату — лето 1876 года. Отсчитывая отсюда время назад по приметам «объективной» толстовской хронологии, легко установить, что действие романа длится не «четыре с половиной года», как полагает Набоков, а два с половиной (начало — февраль 1874 года, конец — июль 1876 года). Главное же в том, что у Толстого романное время не застывает в рамках точных датировок и «кукольной» автономии, а остается естественно текучим, как реальное. Вместе с тем в финале оно тактично входит в сцепление с зубчатым колесом истории, причем через событие национального масштаба, предвещающее событие еще более масштабное (русско-турец-

кую войну 1877 года), отчего и открытый финал (линия Левина) делается еще более открытым. Невозможно не осознать, что Толстой заканчивает «Анну Каренину» почти на том рубеже, откуда Блок начинает «Возмездие». Невозможно перечитывать роман, отвлекаясь от исторического контекста. Потому и «продолжайешь» семейную идиллию Левина семейной драмой его создателя или прикидываешь, сколько лет было бы детям Долли, жизнь положившей на то, чтобы их поднять, в 1917 году?

Вновь отмечу, что на подобные размышления меня толкнуло набоковское восхищение вымыслом, не уступающим в реальности самой жизни, которое бесспорно доминирует в его лекциях о Толстом над прочими тенденциями. К Гоголю у Набокова подход иной. Странно даже, что, «оставляя в стороне... Пушкина и Лермонтова», он выстраивает такую иерархию «всех великих русских писателей»: «первый — Толстой, второй — Гоголь, третий — Чехов, четвертый — Тургенев», — ведь тем самым предполагается какой-то общий критерий включения «первого» и «второго» в один ряд, а каков этот критерий — непонятно (так же как и «стороннее» положение Пушкина и Лермонтова). Страницы, отведенные Гоголю, выделяются в «Лекциях...» и по жанру: это не лекционный курс, а большое эссе или небольшая книга. Ее издал на английском полвека назад еще сам Набоков, русский перевод печатался у нас в последние годы не однажды. Прежде всего — это блестящая проза, художественное целое, органически совместившее, так сказать, «биографический роман» о Гоголе с «литературоведческим» (главы о «Ревизоре», «Мертвых душах», «Шинели»). Могут здесь затронуть лишь наиболее интересные мне вопросы литературоведческого плана.

Романам Толстого, мы слышали от Набокова, свойственна «совершенная реальность», у Гоголя, наоборот, «персонажи «Ревизора»... реальны лишь в том смысле, что они реальные создания фантазии Гоголя». Связи с «реальной жизнью» радикально отрицаются, само выражение берется в ядовитые кавычки: «Гоголевские герои по воле случая оказались русскими помещиками и чиновниками, их воображаемая среда и социальные условия не имеют абсолютно никакого значения, так же как господин Омэ мог быть дельцом из Чикаго или Марион Блум — женой учителя из Вышнего Волочка. Более того, их среда и условия, какими бы они ни были в «реальной жизни», подверглись такой глубочайшей перетасовке и переплавке в лаборатории гоголевского творчества... что искать в «Мертвых душах» подлинную русскую действительность так же бесполезно, как и представлять себе Данию на основе частного происшествия в туманном Эльсиноре». Как видим, не просто «действительность», но «русскую действительность», Россию, бесполезно искать в «Мертвых душах». Дания в «Гамлете» весьма условна, и, обменяйся Гамлет с Фортинбрасом отечествами, я бы, наверно, этого не заметил. Насчет Марион Блум — жены учителя в Вышнем Волочке, не знаю, надо бы спросить ирландцев. Но Ноздрева норвежцем или Коробочку уроженкой Чикаго вообразить не могу.

Разделавшись с «действительностью», Набоков стремится продемонстрировать гоголевскую «волшебную способность творить жизнь из ничего» и делает это большей частью с истинным блеском. Великолепны наблюдения над ролью второстепенных персонажей в «Ревизоре» и «Мертвых душах», включая тех, кто лишь упоминается в комедии, но так и не появляется на сцене, хоть и норовит «вскочить в пьесу между двумя фразами»; а в особенности над тем, «как словесные обороты создают живых людей» в ветвистых уподоблениях вроде: «...день был... какого-то светло-серого цвета, какой бывает только на старых мундирах гарнизонных солдат, этого, впрочем, мирного войска, но отчасти нетрезвого по воскресным дням». Характерно, что Набоков не может от себя не «развить», повернув в новую плоскость, ветвистое сравнение, когда откровенно любителю «мостом», перекинутым Гоголем «через логический или, вернее, биологический просвет между размытым пейзажем под сереньким небом и пьяньким старым солдатом, который встречает читателя случайной икотой на праздничном закруглении фразы». Сопоставление множества подобных примеров из Гоголя с набоковскими «послесловиями» само по себе ценно, как дающее наглядное представление о поэтике обоих писателей.

Понимал ли Набоков, что нетрезвые гарнизонные солдаты, рязанский поручик, примеряющий ночью в гостинице пятую пару сапог, легендарные хлестаковские курьеры и прочие колоритные второстепенные персонажи, так оживляющие «фон действия» и пьесы и поэмы, раз за разом подтверждают неповторимо рус-

с к и е свойства «среды и социальных условий», которые (и свойства, и среда, и условия вкуче) были объявлены не имеющими «абсолютно никакого значения»? Однако, вопреки своему абсолюту, дойдя до последних страниц «Мертвых душ», где «мысль о России, какой видел ее Гоголь... прорисовывается во всей своей причудливой прелести сквозь грандиозное сновидение поэмы», Набоков открыто заколебался. Не мог решить, что его «больше всего восхищает в этом знаменитом взрыве красноречия... волшебство ли его поэзии или волшебство совсем иного рода». Только до конца процитировав «финальное крещендо» (с Русью-тройкой), определил, что как бы последнее «прекрасно ни звучало... со стилистической точки зрения оно всего лишь скороговорка фокусника, отвлекающего внимание зрителей» от исчезновения Чичикова.

Эта же «точка зрения» еще выразительней заявляет о себе в разборе «Шинели». «И вот, если подвести итог, рассказ развивается так: бормотание, бормотание, лирический всплеск, бормотание, лирический всплеск, бормотание, лирический всплеск, бормотание, фантастическая кульминация, бормотание, бормотание и возвращение в хаос, из которого все возникло. На этом сверхвысоком уровне искусства литература, конечно, не занимается оплакиванием судьбы обездоленного человека или проклятиями в адрес власть имущих. Она обращена к тем тайным глубинам человеческой души, где проходят тени других миров, как тени безымянных и беззвучных кораблей».

Начало этого рассуждения напоминает известную статью о «Шинели» Эйхенбаума, видевшего в «гуманном» месте лишь «побочный прием» — стилиевой контраст к комическому сказу. Правда, у Эйхенбаума чередование сказа с «чувствительным стилем» (стилизованной патетикой) везде конкретно соотносено с текстом «Шинели», тогда как у Набокова установить, к чему относится «бормотание», а к чему «лирический всплеск», совершенно невозможно. «Гуманное» же «место» он вовсе не упоминает. Тем не менее получается, что он тоже «формалист», но — «мистический», о чем еще несколько слов. Чудо подлинного искусства — всегда весть из «других миров», но тут речь идет об их о б р а з е, заставляющем забыть «оплакивание судьбы обездоленного человека». Знаю в русской литературе только один такой образ: лермонтовский Демон зачаровывает им Тамару в несравненном хорейском фрагменте «На воздушном океане...» из монолога, где Демон как раз уговаривает ее: «Не плачь, дитя! не плачь напрасно!» Не лермонтовским ли эхом отзывается у Набокова сравнение «теней других миров» с «теньями безымянных и беззвучных кораблей» (ср.: «тихо плавают в тумане...»)? Но искать манящий образ «других миров» у Гоголя в «Шинели», по-моему, равносильно толкованию «Ревизора» как «душевного города». Набоков убедительно смеется над гоголевскими «объяснениями» (в «Развязке „Ревизора“»), что петербургский ревизор в финале пьесы — это наша совесть, а остальные персонажи — наши страсти: «...публике полагалось поверить, что ее страсти символизируются уродливыми продажными провинциальными чиновниками, а высшая совесть — государством». Как видим, Набоков здесь ссылается на те самые русские «среду» и «условия» в «Ревизоре», которые, по его словам, «не имеют абсолютно никакого значения». А логика Набокова вполне приложима к «Шинели»: почему мы должны поверить, что «другие миры» символизируются петербургскими чиновниками всевозможных рангов, полицейскими писарями, будочниками, приставами и т. п.? Неужто весь этот чиновный мир, во всех подробностях описанный в повести, нереален, а «тени других миров» реальны?

Впрочем, незачем ломиться в открытую дверь. Сам Набоков в «биографической» части книги о Гоголе пишет, что Петербург «был выстроен гениальным деспотом на болоте и на костях рабов... тут-то и корень его странности», «но странность этого города была по-настоящему понята и передана, когда по Невскому проспекту прошел такой человек, как Гоголь». Это противоречит и «литературоведческой» главе о «Шинели», и конечному выводу всей гоголевской части «Лекций...»: «...если вы хотите узнать что-нибудь о России... если вас интересуют «идеи», «факты» и «тенденции» — не трагуйте Гоголя».

Набоков противоречив. И в освещении Толстого и Гоголя (ядро настоящего издания), и в лекциях о Тургеневе, Достоевском, Чехове, Горьком, и в книге в целом (куда включено еще несколько его небольших литературных статей). Но это ж и в ы е противоречия. Их не могло не быть в т а к о й книге. Перед нами не академические штудии с их выверенно-последовательной (по крайней мере по идее)

концептуальностью. Особенность «Лекций...» в том, что в них и блеск набоковско-го стиля, и выразительность конкретных наблюдений, и эпатажная категоричность выводов питаются переменчивой непосредственностью неостывшего читательского восприятия. Соответственно, и «Лекции...» прежде всего «заражают» читателя желанием в споре и согласии с Набоковым обновить свое восприятие классики. Сужу по собственному опыту, которым выше и делился — в надежде, что тем самым характеризую набоковскую книгу, ее основное достоинство.

Даже когда начисто расходишься с Набоковым во взглядах, на Достоевского например, слушать этого лектора все равно интересно. Потому хотя бы, что если его неприятие Достоевского ничего не говорит нам о Достоевском, оно неизбежно говорит о нем самом, а он ведь тоже классик, так что позиция у него беспроблемная... Но дело не только в этом. Достоевский — «писатель не великий, а довольно посредственный», «Братья Карамазовы» — великолепный пример детективного жанра», «типичный детектив, лихо закрученный уголовный роман», и только (об идейной проблематике: «мировые вопросы», «слезинка ребенка», легенда о Великом инквизиторе, «все позволено» и т. д. — ни слова). В конце лекции, однако, читаем, что, «когда автор изображает Дмитрия, его перо обретает исключительную живость, Дмитрий как бы постоянно освещен сильнейшими лампами, а вместе с ним все, кто его окружает». Посредственный писатель, стало быть, исключительно живо написал более трети тысячестраничного романа. Знаменательно, что убежденный, хоть и не справившийся с поставленной перед собой задачей денационализатор русской литературы («...злюсь на тех, кто любит, чтобы их литература была познавательной, национальной...») считает исключительно живым самого «национального» из героев «Братьев Карамазовых». Словно убеждая себя, что Достоевский и его роман никуда не годятся, Набоков находит на них и такой любопытный компромат. Стремясь поддерживать в романе детективную напряженность, Достоевский долго скрывает от читателя невиновность Дмитрия. Но Смердяков признался Ивану, что убийца он и что орудием убийства была «тяжелая пепельница». «Если бы Иван рассказал суду о пепельнице, установить истину ничего не стоило бы. Надо было лишь осмотреть ее как следует, установить, есть ли на ней следы крови, и сравнить ее форму с очертаниями смертельной раны убитого. Но это не сделано, немаловажный промах для детективного романа», — серьезным тоном (но не без иронии, конечно) заключает Набоков. Увы, промахнулся не Достоевский, а он сам: Иван давал показания суду уже в беспамятстве, а главное, Смердяков убил отца не «пепельницей», а чугунным «пресс-папье» — «в самое темя углом», после чего «пресс-папье обтер»...

На этом ставлю точку. О книге столь своеобразного автора, имеющей столь обширный и значительный предмет, в разовом журнальном отзыве всего не напишешь, множества возникающих вопросов, больших и малых, не решишь и даже не перечислишь. Если поминки по русской литературе все же не состоятся и в обозримом будущем место «Анны Карениной» в нашем литературном каноне не займет какая-нибудь «Русская красавица», «Лекции...» Набокова войдут в литературоведческий обиход и постепенно получат должное осмысление, а заодно их тогда и переиздадут как положено: со справочным аппаратом, с внятными примечаниями, без неоговоренных купюр и явных ошибок; в противном же случае они забудутся вместе с настоящей литературой. В расчете на оптимистический вариант я назвал эти заметки предварительными.

С. ЛОМИНАДЗЕ.

*

НОВЫЙ АЛЬМАНАХ О ДОСТОЕВСКОМ

Достоевский и мировая культура. Альманах. № 1 (ч. 1 — 3) — 6. СПб. — М. 1993 — 1996.

Писать о Достоевском после всего, что уже написано? Если это происходит в наши дни, то отнюдь не только из научного честолюбия критиков, заставляющего препарировать проформалиненных, как трупы в анатомическом театре, героев самого полифонического в русской литературе писателя, но из потребности сегодняшнего дня отыскать в Достоевском «вечного спутника» русской думы,

сжиться с ним в зябком и отчаивающемся в своем спасении космосе современной культуры (в ее мыслящей и страдающей части, потому что часть иная и, может быть, большая, кажется, уже обрела уверенное спокойствие в рекламе, ночном блеске мегаполисов, на страницах элитных журналов и в прочих изделиях рынка духовных и материальных услуг). Об актуальности альманаха тайно свидетельствует и наиболее часто встречающаяся опечатка (ведь опечатки, согласно новейшим теориям, имеют психоаналитическую природу, что-то там вытесняя) — замена в отсчете столетий восьмерки на девятку: 19... вместо 18... года.

Достоевский созвучен нам не только особым ритмом языка и стиля (мы прислушиваемся теперь больше к музыке, чем к смыслу, как бы тая последнюю надежду обрести путеводную нить, удерживающую нас от хаоса: «тем стремительней он увлекает нас с собой, чем меньше в его языке элементов пластических, заранее оформленных, округленных и как бы тем самым подчинившихся закону тяготения», — читаем мы в републикованной из «Современных записок» статье Владимира Вейдле, тонкой и, увы, не превзойденной никем из современных участников альманаха). Обращаясь к Достоевскому, наш современник ищет ответ на мучительные вопросы, ищет света для своей души, «ибо вечная битва Бога и дьявола продолжается в сердцах людей, — пишет сравнивающий Достоевского с М. А. Булгаковым Всеволод Сахаров, — и потому Достоевский остается одним из самых читаемых писателей в мире». Заметим, что хлеб Достоевского горек, не всякий способен им насытиться; чистая, неискушенная душа может и отравиться, задохнувшись в катастрофическом мире его романов: в нем тесно и неуютно и Алеше Карамазову, и князю Мышкину, их удел — другая жизнь по сравнению с той, какой живут мятущиеся герои, у которых опыт зла сменяется опытом отчаяния и просветления. Я далек от мысли о том, что книги Достоевского способны научить жить. Но научившемуся жизни, пожившему и пострадавшему, романы Достоевского могут многое подсказать, вернее, прояснить смутно осознаваемое. Чтение романов Достоевского и размышления по их поводу я бы определил как особого рода эстетический гнозис — знание не дидактическое и не простое и безыскусное — «познай, где свет, — поймешь, где тьма» (А. Блок) или «тут — ангел медный, гость небес; там — *аггел* мрака, медный бес» (Вяч. Иванов), — познание мистическое, глубинное, с трепетом предстоящее не только пред алтарем добра, но и перед злой бездной. Гнозис, несколько более чуткий и внимательный ко злу, чем оно того заслуживает, что и давало основания (на мой взгляд, не беспочвенные) Н. А. Бердяеву и прочим видеть в романах Достоевского проявление своеобразного манихейства, исходящего из равномошности и равной актуальности сил добра и зла, с чем, впрочем, аргументированно не соглашается пишущий в альманахе философ Григорий Померанц. Один из участников признается: «Мне важно было на примере Достоевского чуть поотчетливей разглядеть и распознать профиль *сегодняшнего* человека. Существо это чрезвычайно многозначное, противоречивое, труднопостижимое».

Название альманаха, выходящего попеременно то в Москве, то в Петербурге под эгидой Общества Достоевского, Литературно-мемориального музея Ф. М. Достоевского в Петербурге, Инкомбанка, под редакцией К. А. Степаняна и при участии ведущих российских исследователей Достоевского, выбрано, наверное, не случайно, с тем чтобы подчеркнуть всемирную значимость творчества русского писателя. В России нет, наверное, образованного человека, который в такой значимости усомнится, вне зависимости от его личного отношения к Достоевскому. И тем не менее название, как будто бы несколько претенциозно, сопоставляет вещи разного порядка. «Евангелие и мировая культура» — это понятно, «Античность и мировая культура» — вполне допустимо, «Великий потоп и мировая культура» — куда ни шло. Но Достоевский, остановившийся перед безбрежностью всей мировой культуры и глядящий в бездну ее вод, где «гади, им же несть числа», — тут становится немножко не по себе. Да и что случилось с мировой культурой после Достоевского — все люди почувствовали себя братьями и обнялись, одной слезинкой ребенка стало меньше? В идейной палитре своего времени голос Достоевского — один из голосов, пусть и очень значительных. Вспоминается спор, вызванный в начале 90-х годов прошлого века в русской публицистике небольшой статьей Л. А. Тихомирова, опубликованной в «Русском обозрении», в которой выходец из революционеров, с пылом неопита взявшийся вспахать ниву консервативной мысли, сетовал на распространенность «светского учительства»,

на то, что общество, повернувшись лицом к вере, не идет к духовенству, а только и спорит в салонах о Достоевском, Вл. Соловьеве, Хомякове. Пусть Тихомиров был прав лишь отчасти или даже по большей части не прав, за что и получил от того же Вл. Соловьева, Н. П. Аксакова и других. Но тенденцию он отметил верно: интеллигенция приобщалась к православию интеллектуально, а не духовно, через книги, а не через таинства и литургию, поэтому «Русский инок» из «Карамазовых» заменял катехизис, а Достоевский возводился в сознании общества в ранг святого, пророка, религиозного реформатора, учителя жизни. Тенденция, скрытая в строго академическом названии альманаха и выраженная в части статей, и не в последнюю очередь в статье уважаемого главного редактора, весьма напоминает ту, о которой свидетельствует Тихомиров.

Основной раздел, в котором печатаются ключевые статьи сборников, так и озаглавлен: «Художник — провидец». Между тем Достоевский как пророк (по количеству напророченного и в особенности сбывшегося), наверное, уступит своему оппоненту Константину Леонтьеву или, скажем, католику Леону Блуа. Значит, ценность литературы и писателя отнюдь не только в профетическом, эсхатологическом или еще каком-нибудь религиозно-мистическом, то есть дополнительном, внешнем по отношению к художественности, тоне. В разборах же сочинений Достоевского авторами альманаха мы имеем дело не только с бесспорно важной темой присутствия в них духовно-религиозного пласта — евангельскими маргиналиями в личном экземпляре Нового Завета, тематикой духовных стихов и православной иконографии в творчестве писателя, исследованием того, в каком издании и переводе мог Достоевский читать Книгу Иова, столь им любимую, — но подчас и с отношением к самим романам как к квазиевангелию со своими притчами, поучениями, житийными образами, со своим символическим рядом. (Некоторые цитаты и сюжеты — притча о луковке из «Братьев Карамазовых», запись из дневника о смерти первой жены «Маша лежит на столе...», парадокс об истине и Христе — встречаются так часто, что впору составлять указатель цитирований.) Иногда поневоле спрашиваешь себя, читая альманах, что первично — Евангелие или романы Достоевского, духовный опыт апостолов и Церкви или творческое наследие великого писателя. Сказанное я ни в коей мере не поставил бы в упрек составителям (их задача — отбирать хорошие статьи и не печатать откровенно слабые или малоценные, которые, к сожалению, тоже имеются в альманахе) — наверное, в этом выражается современное состояние нашей культуры и современные духовные потребности: религией образованного общества становится культура, таинством — сам акт чтения и интерпретации, исповедью — написание книги, статьи или монографии. Всякий настоящий художник — провидец (не пророк, а именно провидец), ибо ему дано увидеть больше, чем окружающим, ему дан дар постигающего созерцания, в котором, вопреки Канту, функции чувственного и интеллектуального постижения слиты до неразличимости. Провидцем можно быть и описывая букет цветов, а не только собрания у Петруши Верховенского. Если же провидчество художника понимать только как некую социально-прогностическую функцию штатного оракула культуры, то статьи о Достоевском надлежит писать примерно по такой «немецкой» схеме: «Фраза «Они ниспровергнут храмы и залют кровью землю» является предсказанием Достоевского, также осуществившимся в советское время» (В. Казак).

Трудно не согласиться с мыслью о том, что современная культура — это не романы Достоевского, а наше отношение к ним (здесь я несколько перефразирую мысль М. Мамардашвили). Но, с другой стороны, не безразлично и то, в каком смысловом поле разворачивается наше отношение, или, иными словами, безразличны ли нам те ценности, которыми задано пространство (символическое пространство, скажем мы вслед за Т. А. Касаткиной и Л. В. Карасевым) романов Достоевского. Ведь символ, теряющий связь с тем, что он выражает, не теряет свою знаковую природу, но перестает быть символом, уходит из жизни. Тогда наступает черед семиотиков, структуралистов, литературных анатомов, выдвигающих на первый план вопрос о материале — «из чего сделано» да «какими нитками сшито». То, к чему обращается культура, есть показатель ее настоящего, жизненного ядра (или, напротив, его искомости, недостачи, смысловой пустоты). Об этом или примерно об этом в своей Пушкинской речи говорил Достоевский, упомянув о «вселенской отзывчивости» человека русской культуры. Со страниц сборников-альманахов «Достоевский и мировая культура» нам предложено встретиться со «вселенской отзыв-

чивостью» иного рода: посмотреть, как мир отзывается на пароль «Достоевский», как отражается «загадочная русская душа» в зеркале «мировой души» (да простят меня Плотин и Владимир Соловьев за лишь метафорическое употребление этого понятия). Мне приходилось сталкиваться с фактами чтения книг Достоевского юными пассажирами парижского метро (читали они, естественно, французские переводы) — в нашем метро подобных случаев давно не встречал; романы Достоевского неизменно присутствовали практически в полном объеме и на лотках популярной классики в европейских магазинах. Но публикации иностранных коллег (вполне добротные и по-хорошему академические) интересовали меня в меньшей степени. Вполне возможно, отгалкивало достаточное количество сказанного о том же в русской критике или несколько «медицинский» тон исследователей, наглядно выраженный, например, у японского автора К. Накамуры (кстати, предпринявшего любопытную интерпретацию «непонятого лица» — Свидригайлова в «Преступлении и наказании»): «Насколько мне известно, русские православные не столько склонны иметь точное представление о Боге из богословских сочинений, сколько склонны «переживать» с помощью икон, церковных песнопений, ладана, лампад и т. п.». Даже стороннему эксперту должно быть ясно, что феномен русской религиозности к этому несводим. В этом отношении ценно признание Т. Касаткиной, не только участвующей практически в каждом альманахе своими статьями, но и снабдившей выпуски переводами двух довольно бесцветных статей англоязычных исследователей. В «Пояснении переводчика» Т. Касаткина пишет, оправдывая сохраненные при переводе разночтения в именах у Достоевского: «Такие мелочи должны быть сохранены... чтобы читатель знал, что некоторые очевидные для него вещи вовсе не имеются в виду автором». Замечу также, что две переводные статьи об «образе Христа» (принадлежащие В. Казаку и Э. Ключ) в шести выпусках альманаха — на мой взгляд, слишком много для того, чтобы составители избежали упрека в попустительстве банализации слишком серьезного (тем более, если в качестве объекта для сопоставления у Э. Ключ избирается тот же «образ» у Ницше), олитературиванию нелитературного или — во всяком случае — не только литературного. Говоря об «образе» Христа в литературе, стоило бы поставить вопрос о природе исполнения этого образа. Известно, что иконографический образ Христа заметно отличается от живописного (скажем, Феофан Грек от Гольбейна, так поразившего — до отчаяния — Достоевского своим снятым с креста Христом). Можно ли отнести к роману Достоевского как к своеобразной словесной иконе, или его уместнее сравнить с масляным полотном новоевропейской живописи? Иными словами, ставил ли перед собою писатель задачу быть иконописцем и богословствовать?

С гораздо большим интересом были мною прочитаны некоторые своеобразные выступления соотечественников. Вообще, бесспорное достоинство альманаха — наличие серьезных академических статей. Большинство их авторов идет по хоть и требующему изрядного мастерства и эрудиции, но проторенному пути. Берется мир идей Достоевского, накладывается на мир идей и образов другого «вечного спутника», писателя или философа, — Лейбница, Кьеркегора, Гоголя, Вл. Соловьева, П. Л. Лаврова, Л. Н. Толстого, М. А. Булгакова, Ф. Кафки, маркиза де Сада («Мы не располагаем никакими сведениями, подтверждающими или, напротив, опровергающими тот факт, что Достоевский был знаком со знаменитыми запретными романами де Сада», — пишет С. Кузнецов, пытающийся ответить на вопрос о том, как писать о возможности наслаждаться страданиями другого) — и ищутся сходства, противоречия, нити напряжения, и находят более или менее успешно, правда, иногда не удается избежать и чрезмерно широких обобщений, обусловленных неудачно избранным материалом для сопоставления. Например, В. И. Милдон, решивший, идя вслед за Я. Голосовкером, автором книги «Достоевский и Кант», сопоставить Достоевского с Лейбницем, заканчивает свою статью рядом несходных сходств: «Лейбниц рассматривал универсум благим, многие персонажи Достоевского — фатально злым, но то, что сближает их, есть признание мира тайной, злой или благой». Или, в более широком контексте: «Тотальное несогласие с мировым порядком, свойственное духу русских, оборачивается не изменением, а уничтожением этого порядка. Западные европейцы осознали это исторически; русские; европейцы восточные, пока только художественно, но этим знанием они близки друг другу как европейцы». Неудача этого сопоставления — в негодных или, во всяком случае, никак не доказуемых предпосылках. Стиль современной

культурологической мысли (которую предлагают поставить на место марксизма в вузах и ПТУ, дабы заполнить вакуум) именно таков — максимально развести два рассматриваемых феномена, а под конец провозгласить, что «les extrêmes se touchent» — «крайности сходятся». Но какое отношение такой подход имеет к Достоевскому? Тому же автору принадлежит и удивительный парадокс, позволяющий не обидеть кого угодно: «ошибкой верного наблюдения В. Эрн» являлось то-то и то-то (в данном случае то, что он перешел от Канта, озабоченного истиной, к Круппу, пекущемуся лишь о результате).

Иной подход к анализу творчества писателя, также имеющий свое место в науке, — сопоставление героев Достоевского с персонажами иных эпох и литератур, выявление неких архетипов литературного процесса, реализовавшихся в романах Достоевского. Из этого ряда вспомним об интересной статье Г. К. Щенникова «Иван Карамазов — русский Фауст»¹, привлечшего не только материалы Гёте и Достоевского, но и народной немецкой легенды, и романа Томаса Манна «Доктор Фаустус». (Обращение к Юнгу, увидевшему в Фаусте символ, «выражение чего-то изначально действующего в немецкой душе», навело меня на мысль о возможности рассматривать всю историю литературы как реализацию определенных — не только национальных, но и общечеловеческих, и общекультурных для определенного временного среза — архетипов. В этом отношении Иван Карамазов с его рационализмом, скепсисом и обостренным этическим самоощущением мог бы без натяжек восприниматься как некий архетип человека современной формации.) В подобном поиске «созвучий» — основные идеи статей В. В. Дудкина «Великий инквизитор Достоевского и Жрец Ницше», Е. Лысенковой «Значение шиллеровских отражений в „Братьях Карамазовых“», Б. Улановской «„Бесы“ Ф. М. Достоевского и „Мелкий бес“ Ф. Сологуба», Л. Жаравиной «Хлестаков и князь Мышкин». Последняя намеренно шокирует парадоксальностью сопоставления; вообще говоря, горизонты исследователей и их несопадение поистине завораживают: в то время как у Т. Касаткиной Хлестаков — своеобразный трикстер Страшного Судию — грядущего истинного Ревизора, автор упомянутой статьи, сопоставляя гоголевского героя с образом «положительно прекрасного человека», видит нечто, единящее их в греховности и ущербности, и непременно предписывает своему сопоставлению богословскую подоплеку. Сопряжение далековатого, столь удачно получавшееся у английских метафизических поэтов, не всегда дает столь же безупречный результат в литературно-критическом творчестве. Есть попытки комбинировать два предшествующих типа «созвучий»: литературный герой сопоставляется с живым человеком — так поступают авторы второго выпуска альманаха: Н. Старосельская, посвятившая свою статью сопоставлению жизненного пути Алеши Карамазова и о. П. Флоренского, и В. Викторovich, возвращающийся к давнему спору о том, прототипом кого из братьев мог быть Вл. Соловьев (автор склоняется к тому, что это был Алеша, я же склонен все-таки думать, что гораздо больше глубинных черточек характера и мировоззрения Соловьева передалось в Иване). Статья В. Викторovichа «Достоевский и Вл. Соловьев» — интересное, хотя и не лишенное существенных неточностей в биографии Соловьева, сведение личного, биографического и идейно-теоретического плана взаимоотношений двух мыслителей. В. Викторovichу принадлежит и архивная публикация — по неизвестным причинам напечатанной с сокращениями — статьи интересного критика, начинавшего в 10-е годы, Дмитрия Дарского о мистической линии в «Братьях Карамазовых». Тема сверхприродной, умопостигаемой, даже мистической причинности в романах Достоевского, намеченная в этой статье, очень важна для характеристики реализма Достоевского, который явно не встраивается в грубую механистическую концепцию реализма, исповедовавшуюся советским литературоведением, и должен быть приближен, как верно заметил К. Степанян, к пониманию реализма средневековой философией, где он есть уверенность в объективном существовании общих идей и понятий (а добро, святость, красота, справедливость являются таковыми), — должен быть понят как фантас-тический или мистический реализм.

Начиная с третьего выпуска в альманахе был заведен раздел «Приглашение к спору». В нем предполагалось печатать по одной статье автора, позиция которого,

¹ Одним из первых это сопоставление ввел в оборот С. Н. Булгаков.

по всей видимости, расходится с мнением подавляющего большинства членов редакционной коллегии (интересно, как определяется это расхождение, позволяющее как бы выключить «странную» статью из основного пространства сборника?). Эти статьи придают «академическим» сборникам особый колорит, с ярко выраженным привкусом сего дня. Впрочем, это относится не только к «спорным» статьям. В изначальном замысле редактора, как видно, было намерение открыть страницы альманаха не только для исследований и разысканий, но и для личных свидетельств, опытов построения собственного мировоззрения посредством обращения к Достоевскому и собеседования с ним. Такова, например, статья о «Записках из Мертвого дома» сосоставителя первого выпуска В. Этова, имеющая подзаголовок «Опыт преодоления собственного догматизма»; значительная ее часть посвящена воспоминаниям о работе автора над Достоевским в университете в 50-е годы и выяснению личного отношения к христианству, благодаря которому «мысль Достоевского приобрела персоналистический характер, замкнувшись на символе — то ли реально-историческом, то ли лишь мифе, порожденном все той же неугомонной человеческой мечтой о справедливости». Но эта статья не была отнесена редколлегией к числу спорных. Поле напряжения в спорах об отношении Достоевского к христианству (спорах, далеко не лишенных практической значимости для их участников) создалось в моем прочтении главным образом статьями Г. Россоша «О вере и неверии Ф. М. Достоевского (субъективные заметки)» и В. Беляева «Можно ли считать Федора Достоевского, Фому Опискина и Михаила Ракина христианскими писателями?». Г. Россош, по его словам, не может пройти мимо «неверия гениального писателя», он ищет «внутренний канон» в душе Достоевского и, не находя его, отлучает писателя от веры. Анализируя дневники и письма Достоевского, а также факты его биографии, автор находит основания для уличения писателя в лицемерии, двойстве декларируемой и бытовой нормы поведения. Упоминание в частном письме о «подлом висбаденском попе» является поводом для того, чтобы усомниться в том, почитал ли Достоевский священноначалие, и задать вопрос о совместимости подобного «глумления» с искренней верой. Между тем, следуя подобной логике, не было ли более естественным из высказывания того же Достоевского о «свиньях-цензорах» сделать вывод о его решительном бунте против «казенной машины самодержавия»? Предпочтение Христа перед истиной, также высказанное в известном письме, совсем уж неверно истолковывается автором как сомнение в божественности Христа. (Ср. гораздо более удачное толкование Г. Померанца; Достоевский готов отвергнуть «истину» как что-то внеположное его сознанию, решенное за него другими.) Гений Достоевского в оценке Г. Россоша — «национальная гордость и *святость*», но он же «объект чудовищного искушения и соблазна», «оптимальная питательная среда для бесовщины». Конечно, Достоевского не отличала вера семипудовой купчихи, о его мучительных сомнениях всем известно, но автор, будто решив добавить ложку дегтя в уже подготовленные и утвержденные на всех уровнях материалы к канонизации, забывает, что христианина отличает не повышенная по сравнению с прочими добродетель, но сознание своей греховности, своего подлинного места в бытии — и христианское отношение к жизни, то есть восприятие всего благого и злого под знаком вести о Спасителе. Автор словно отчаивается, что не находит в христианском писателе искомый образ праведника и святого, и готов обрушиться на него со всем гневом разочарованного в прежней святине.

Если в споре о христианстве Достоевского Г. Россош оспаривает искренность веры писателя и его право на духовное учительство, то В. Беляев вообще отказывается считать Достоевского христианским писателем. Христианство представляется ему, вероятно, чем-то скучным, безжизненным, вечно одергивающим и уныло-дидактическим, поэтому он с самого начала решил условиться с нами, что «христианский писатель — это не «полифонический», а «монологический» писатель, главная цель которого — убедить читающих в истинности христианства, воспитать их в духе религиозной морали» (по всей видимости, здесь срывает стереотип «советского писателя»). Воспринимаемая христианство как некоторую идеологию, несомненно вторичную, надуманную, а потому вредящую творчеству (и уж, наверное, жизни), автор признается, что ценность Достоевского как писателя приходит для него вразрез с христианскими убеждениями последнего. Судьба Достоевского сравнивается автором с судьбами Л. Толстого и Г. Грина. К сожалению, увлеченный собственным пафосом, В. Беляев позволяет себе фразы типа «На станции Астапо-

во по воле умирающего Толстого члены его семьи не допустили к нему эмиссаров Православной Церкви», как бы забывая о походе Толстого в Оптину и Шамордино и, вероятно, не зная о желании умирающего писателя увидеть у себя старца Варсонофия. Для В. Беляева «христианский» — что-то вроде почетного звания, а не констатация того факта, что писатель творит в пространстве христианской культуры, что иерархия смыслов (а отнюдь не чинов в Синоде) не только для него не безразлична, но особым образом организует всю систему его творчества. Автору стоило бы подумать о словосочетании «христианская культура» (равно как и мусульманская, и буддийская и проч.) — очевидно, что это понятие гораздо шире, чем предметы культового обихода и культовые тексты.

Впрочем, статья В. Беляева, несмотря на массу недостатков, сознательно или нет поднимает один важный вопрос, незаданность которого, возможно, причиняет неудобство авторам сборника. Насколько тождественны друг другу два пласта — пласт писательского творчества, к которому относятся напечатанные в авторской редакции произведения, и пласт частной жизни, в который входят переписка, дневники, факты бытового поведения, отношение к родителям, близким, друзьям, обмолвки и недомолвки в черновиках? Для культуры начала XX века, особенно поэтической, творчество является прямым продолжением интимного мира человека, выражением человека «такого, каков он есть». Для культуры XIX века, к которой принадлежал Достоевский, да и более молодой Вл. Соловьев, дело обстоит как будто бы не совсем так. Поэтому прямое выведение из повседневного поведения и эпистолярия тезиса о двоедушии или разладе в поведении и убеждениях писателя, равно как и оценка христианских воззрений Достоевского, исходя из мира его героев (как это делает Г. Пономарева, заключая в статье «Иван Карамазов в религиозном опыте Достоевского», что «создание Ивана Карамазова было для него, скорее всего, преобразованным собственным опытом, с целью исследовать его в одном направлении и до конца»), во всяком случае, спорно. Что же касается «неверия» писателя, то позволю себе привести ценное свидетельство В. В. Розанова, очарованного в юности гением Достоевского. В «Литературных изгнанниках» (одной из самых искренних и задушевных книг в русской литературе), в одном из примечаний к страховским письмам, очень метко и, главное, душевно верно Розанов отвечает на свои юношеские сомнения насчет искренности веры у Достоевского: «Может быть, для будущих времен интересно будет сообщение, что в 80-х годах минувшего столетия Россия и общество русское пережило столь разительно-глубокий *атеизм*, что люди даже типа Достоевского, Рачинского и (извините) Розанова предполагали друг у друга *атеизм*, *но скрываемый*: до того казалось невозможным „верить“, „не статочным“ — верить!! Как, что переменялось, переменялось со страшной незаметностью, но — „Гость пришел в Ночи и тихо, — и сел“; и мы „очень просто верим“, и я знаю, что у меня „за стеною — Гость, друг реальный, как мои дети“. „Мы все верим, очень просто“. Почему? как? *Когда начали верить?* Неизвестно, неисследимо. Я сам (в обществе, в истории) пережил *день за днем* эту главу ее, и сам не знаю, „когда все случилось“. Но верю. И верю *теперь* Достоевскому. И поверю всякому, кто скажет, что он — „верит“. Тогда в сущности и не верил Достоевскому, *потому что сам не верил*, и только хотел верить (очень хотел), но казалось „не статочным ни у кого“»².

Я наметил лишь несколько смысловых линий альманаха, к каковым отнюдь не сводится все многообразие опубликованных в нем материалов, среди которых много ярких, нетривиальных. Такова статья Л. В. Карасева «Как был устроен «заклад» Раскольникова» (печатавшаяся также на страницах «Вопросов философии») — о «субстанциальности» языка у Достоевского, о «стихийности» его воображения; материалы, из которых сделаны неодушевленные предметы в романах Достоевского, оказывается, о многом могут рассказать: «железо, бумага, медь, веревка (снурок), тело (тлетворный дух или нетронутая мясная пища), серебро, чистое белье под тем или иным предлогом проникают в то место, где вот-вот должно произойти что-то очень важное». Это тоже символизм, но символизм особый, где в качестве символов выступают не предметы, но стихии, образующие вещество, из которого предметы сделаны. Автор применил теорию поэтического воображения Гастона Башля-

² Розанов В. В. Литературные изгнанники. СПб. 1913, стр. 251 — 252.

ра (имя которого единожды упоминается), считающего, что наши Трезвы определены стихиями. В результате получился не онтологический, а скорее феноменологический символизм, о природе и выразительности которого стоило бы говорить особо. Из нескольких статей и рецензий Т. А. Касаткиной наиболее характерной мне показалась «Об одном свойстве эпилогов пяти великих романов Достоевского» (к сожалению, публикация не завершена). Касаткина следует традиции христианского символизма, заложенной работами Вяч. Иванова о Достоевском, старательно расшифровывая то, что, может быть, и сам Достоевский забыл или не додумался зашифровать, но работая, как мне показалось, в смысловом пространстве, сродном самому писателю. Иногда она слишком увлекается параллельным чтением романов Достоевского и Православного церковного календаря со вклейками, поэтому видит в финале «Преступления и наказания» «в качестве подтекста» икону Споручницы грешных, а в финале «Бесов» — Степана Трофимовича Верховенского, аки Георгий Победоносец одерживающего победу над змием Ставрогиным, но ее символическая интерпретация имен и названий в сцене Верховенского-старшего с книгоношей вполне правдоподобна. Степану Трофимовичу — «венцу питомцев» (каковы в переводе с греческого его имя-отчество) — является в качестве ангела-хранителя «богодарованная премудрость» Софья Матвеевна и направляет его в Спасов, где непременно надо навестить Федора Матвеевича — ожидающий его «Божий дар». В Устье, в ожидании парохода, в устье собственного спасения, Степан Трофимович умирает. Григорий Померанц в статье «Уникальный жанр» полемизирует с жанровой оценкой Вяч. Ивановым романа Достоевского как романа-трагедии. Трагедия, по его мнению, связана с крахом человекобожия, с гибелью личности, поставившей себя равноценной космосу. Там, где искусство находит выход через крест, трагедия преодолена. Т. Горичева в статье «Достоевский — русская „феноменология духа“» в свойственной ей манере (в чем-то напоминающей ассоциативный стиль письма Н. А. Бердяева) вспоминает тезисы М. Хайдеггера о «безосновности сущего», Чорана — о надежде как единственном ценностном критерии в этике, Т. Адорно — о философствовании после Аушвица и проч., умудряясь все это связать с творчеством Достоевского (дескать, «не об этом ли и Достоевский писал?»), еще раз демонстрируя его актуальность. К. Степанян в статье «Трагедия Хроникера. (Роман «Бесы» — недоговоренное пророчество)» анализирует этот вполне самостоятельный по отношению к авторской «завершающей» позиции образ, видит в нем не только обличителя, но и потенциального соглашателя, завистника «бесов», двойника Ставрогина; в конформизме Хроникера, в его зараженности бесовством автору чудится опасность.

Не имея возможности говорить о всех публикациях — а среди них работы А. Бема, В. Ходасевича, Д. Дарского, Ф. Чиркова (впрочем, от републикаций редакция, кажется, в последних номерах уклоняется — и это разумно), — скажу о разысканиях и публикациях, вводящих новые архивные материалы. Это статья Б. В. Федоренко «О неясном в жизнеописании М. А. Достоевского» (№ 3), освещающая годы учебы отца писателя в семинарии и Медико-хирургической академии, статья Г. Ф. Коган «Вечное и текущее» (№ 3) — о пометах и вкладышах в личный экземпляр Евангелия и его архивной судьбе, публикация переписки А. Г. и Л. Ф. Достоевских с Л. Л. Толстым (№ 4, публикаторы В. Н. Абросимова и С. Р. Зорина), письмо А. П. Фальц-Фейн, сестры Е. П. Достоевской (урожденной Цугаловской), невестки писателя, проливающее свет на трагические судьбы потомков писателя и рукописей Достоевского в годы революции и мировых войн (№ 6, публикация В. Г. Безносова).

Розанов как-то в порыве своей взыскательности к Достоевскому заметил, что в нем все «пряность и пряность, а нет хлеба нужного, годного, употребительного»³. Достоевский — писатель не для блаженства наедине с собою, не для эстетического удовольствия. Он пишет о вещах предельных. В его романах все устремлено к одной цели — постичь, ради чего жив человек. В. Вейдле заметил о мире Достоевского: «В этом мире каждый поступок есть как бы выдача векселя, не жизни, а смыслу жизни; и хотя Достоевскому принадлежат слова о том, что надо любить жизнь больше смысла ее, вряд ли именно он мог даже представить себе жизнь вне ее смысла или смыслов. Вот почему для тех, кто эти смыслы утратил, кто не верит

³ Розанов В. В. Размолвка между Достоевским и Соловьевым. — «Новое время», 1902, № 9556, 11 октября, стр. 2.

им, любая его книга — только пачка ассигнаций, не имеющих хождения, тогда как Толстой биржевых операций человечества не боится: его искусство укоренено не в смысле, а в жизни и не знает никаких превышающих ее ценностей». Будет ли человек, ищущий эти смыслы, обращаться к сборнику «Достоевский и мировая культура»? Боюсь, что навряд ли. Во всяком случае, как-то даже обидно за цех: вышел альманах, уже и седьмой выпуск, — множество умных статей, грамотно построенных размышлений и даже назиданий. Кто о нем знает? Кто его прочтет (кроме участников и их ближайших друзей и недругов)? Для филолога, пишущего диссертацию о Достоевском, такому сборнику, выходящему в такую пору, цены нет. А для остальных? Не лучше ли перечест самого Достоевского? Не лучше ли собрать всех нас в каком-нибудь Скотопригоньевске и, посадив в который год пустующем заштатном кинотеатре, дать нам наспориться там до хрипоты? Впрочем, это соблазн слабых и отчаявшихся. Надо писать о Достоевском. Надо выпускать новые сборники. Лучше не очень часто, не раз в квартал, а реже, тщательно отбирая материалы. Ведь по ним потомки будут судить (если у них будет воля о чем-нибудь рассуждать) о нашем сегодняшнем духовном состоянии. В том числе и по нашему отношению к романам Достоевского и их героям.

Алексей КОЗЫРЕВ.



РУССКИЙ САД, ИЛИ ВИКТОР ЕРОФЕЕВ БЕЗ АЛИБИ

В. В. Ерофеев. Русская красавица. Роман. Рассказы. М. Союз фотохудожников России, «Молодая гвардия». 1994. 495 стр.

В. В. Ерофеев. В лабиринте проклятых вопросов. Эссе. М. Союз фотохудожников России. 1996. 624 стр.
В. В. Ерофеев. Страшный суд. Роман. Рассказы. Маленькие эссе. М. Союз фотохудожников России. 1996. 576 стр.

«**М**еждународная сенсация... Виктор Ерофеев, может быть, самый значительный писатель, который возник на развалинах Советского Союза... У Виктора Ерофеева хватит толстовского таланта, чтобы найти свое Воскресение... Ерофеев — бунтарь особого склада... Читая книгу, вы получите особый вид удовольствия... Кроме того, это шедевр... Виктор Ерофеев — точный и тонкий писатель, который, зная свою страну, говорит о ней с болью и нежностью...»

О мировой известности Виктора Ерофеева нас информируют выдержки из отзывов прессы, открывающие каждую книжку его трехтомника. Сочинителю кадят «Дейли телеграф» и «Обсервер», «Фигаро» и «Бостон глоб», «Известия» и «Московские новости»... Из аннотации к первому же тому можно узнать, что роман Ерофеева «Русская красавица» получил «всемирное признание», а иные рассказы стали «своего рода классикой».

Хотелось бы понять, что это за «род классики».

По первому впечатлению, своеобразие ерофеевской «классики» заключается в том, что ее нельзя давать для чтения подросткам. И вообще каждому читателю лучше набраться мужества перед тем, как открыть книгу, а захлопнув ее — хотя бы тщательно вымыть руки.

Ерофеев — литератор одной темы. Как бы назвать эту область самодовлеющего интереса? Жалким, трусливым эвфемизмом выглядит здесь испытанное и заматеревшее в современном российском обиходе слово «секс». Но придется, кажется, пока довольствоваться им. Литератор неистощим в описании разнообразных совокуплений, адюльтера, садомазохистских затей и всевозможных прочих перверсий. Женщина в его прозе — «спермоприемник», а друга никак нельзя не «трахнуть»...

Столь однонаправленный творческий аппетит может возбудить простодушные обывательские подозрения: чем же в жизни занимается сочинитель подобных опусов? пробует ли он то, о чем потом с таким знанием предмета повествует? кто он, Виктор Ерофеев? не юный ли натуралист, слегка свихнувшийся на анально-генитальном локусе, естествоиспытатель, дорвавшийся до полевых исследований, или тут замешан механизм компенсации?

Но критику, как принято считать, не к лицу такие догадки. «Образ автора» он уясняет из строя текста. Здесь, однако, трудный случай. Ерофеев как автор еще обнаруживает себя в своих эссеях и статьях, но — вообще как бы не у дел и ни при

чем в своей прозе. Он настойчиво имитирует беспредельный объективизм, «самодвижение жизни» (последнее выражение этой тенденции мы находим в романе «Страшный суд»). Вот его декларация: «Единственным выходом для продолжения литературы становится создание такого текста, когда он включается в интерактивную связь с читательским сознанием. Читатель сам моделирует смысл текста, исходя из себя и в этом моделировании обнаруживаясь и обнажаясь. ...Растворяясь в собственном тексте, автор предоставляет читателю возможности самому отделить явь от сна и фантазм от реально случившегося».

Сочинитель обеспечил себя алиби. Он дает только повод, а смысл создает сам читатель. Толкование есть автопортрет толкователя. И вся «дидактическая» критика в адрес Ерофеева должна бумерангом ударить в самого критика. Это он озбочен тем и этим, это он понимает здоровые вещи превратно. Как в том анекдоте: «а вы про что подумали?» Все претензии и упреки к литератору оказываются результатом актуализации в сознании критика-читателя его собственных комплексов и маний.

Эта логика почти убеждает. Почти. До тех пор, пока не сообразишь, что есть все-таки самоочевидная данность: литературное произведение. И она, эта данность, содержит объективно явленный смысл. Можно ошибиться, гадая, что хотел сказать автор (или совсем ничего не хотел? но зачем тогда говорил, говорил, говорил?). Но есть то, что наглядно, рельефно сказалось. И то, что сказалось, мы понимаем примерно одинаково, опираясь на общераспространенное представление о смысле вещей.

К тому же это позднее алиби входит в противоречие с более ранними попытками Ерофеева сформулировать свое творческое кредо. Свободному полету фантазии наш автор так, например, задает теоретический вектор пути в своей нашумевшей статье «Поминки по советской литературе»: «Сейчас возникает *другая*, альтернативная литература, которая противостоит *старой* литературе прежде всего готовностью к диалогу с любой, пусть самой удаленной во времени и пространстве, культурой для создания полисемантической, полистилистической структуры с безусловной опорой на опыт русской философии от Чаадаева до Флоренского, на экзистенциальный опыт мирового искусства, на философско-антропологические открытия XX века... к адаптации в ситуации свободного самовыражения и отказу от спекулятивной публицистичности». Эта формула сопровождается постоянными призывами отказаться от «чрезмерного морализма» и социальной ангажированности, которыми-де была «обуреваема» русская литература, от «гуманистических прыжков».

Во имя чего? Предварительный, но весьма внятный ответ на этот вопрос дает впервые прославившее Ерофеева эссе 1971 года «Маркиз де Сад, садизм и XX век» (автор вернулся к нему в 1994 году). Этот опус стал, по сути, апологией одиозной исторической фигуры. Ерофеев ввел еще в той, советской, России моду на ни разу не переведенного французского маркиза. По Ерофееву, «Сад никого не хотел ни лечить, ни учить» — уже хорошо (хотя на самом-то деле еще как «учит»!). «Он стал самораскрытием страсти, не знающей своей логики, но творящей ее с неизменным постоянством. Сад — не доктор и не пациент. Он писатель, то есть вольнослушатель некоторых словесных истин», — довольно витиевато возгласил наш автор свои хвалы и резюмировал: «Культура должна пройти через Сада, вербализировать эротическую стихию, определить логику сексуальных фантазий».

Иными словами, освободив литературу от социального и морального ангажемента, Ерофеев нагрузил ее ангажементам «сексуальным». Деваться некуда — придется преодолеть «болезнь немоты» в «смушающей культуре», выучить наизубок «законы эротики» и уметь применять их по назначению! Сексказак к литературе отчетливо выразила одна героиня Ерофеева, рассуждая о своем знакомом армянине по имени Гамлет: «...короткий член у этого Гамлета, и я подумала: а у шекспировского — какой? почему драматурги не указывают этой существенной детали? почему вообще это м и м о них, будто все не вокруг этого». «Мне бы ваши заботы», — вздохнул бы Шекспир... А если не шутя, то нужно заметить в этом теоретическом послыше Ерофеева забавное слияние двух подходов к литературе. С одной стороны, в просветительской традиции XVIII века наш автор вменяет в обязанность писателю «свободное владение языком страстей», коему, кажется, литератор должен научить своих читателей. Здесь за плечами Ерофеева — славная когорта сочинителей, от Ивана Баркова до Александры Коллонтай. С другой стороны, нетрудно угадать тут намеки на контркультурный бунт против культурных условностей и тоталитарных

абстракций. Герой романа «Страшный суд» в отрочестве «ежился от слова „гѡвно“». Но шли годы, и мальчики из приличных дипломатических семейств обнаружили вкус к бахтинианско-раблезианскому развенчанию общественного лицемерия.

С этой, второй, установкой связан постоянный разоблачительный уклон в сочинениях Ерофеева. Адресность разоблачений ничем не ограничена. Их жертвы — и член Политбюро В. М. Молотов (в рассказе «Дядя Слава» он учит мальчика сомнительному искусству мастурбации), и советские литераторы-классики из «сурового поколения» (в романе «Русская красавица» один такой умирает на девке), и советские же вольнодумцы (герой «поставил диссидентство на службу блядству»), и какие-то «жиденки», и Россия — «старая курва»... Наконец, едва ли не на каждой странице прозы Ерофеев незастенчиво величает части человеческого тела и процедуры, сопутствующие их употреблению, теми званьями, которые он (или его герой) считал со стены мужского туалета, как о том повествуется в раннем рассказе «Ядрена Феня».

Литератор задумал всемо дать настоящее имя, упразднив недомолвки и метафоры. В том, что существует такое явление, как «жопа», редко кто сомневался и до Ерофеева. Смысл его подвижнически-неустанный труда состоит в том, чтобы легализовать не явление, а имя. Ввести в литературу слово — на равных со словами «рот», «нос», «щека». Дело чести, дело славы, дело доблести и геройства — назвать груди сиськами на такой же бумаге, на таких же страницах, на каких можно прочитать у Достоевского о клейких листочках, а у Толстого о плечах Элен Курагиной. С энтузиазмом первопроходца Ерофеев даже своему любимому герою в романе «Страшный суд» (литератору, автору мирового бестселлера «В. П.», что означает «Век п...», фаллоугоднику, сексуальному баловню и экспериментатору) дал фамилию Сисин. «Mr. Tits!»

Впрочем, увенчанию Ерофеева лаврами первооткрывателя мешает тот очевидный факт, что вместе с ним и даже раньше его тем же путем прошли в немалом количестве западные и отечественные литераторы, чьи имена у всех на слуху. И откровенностью в описании интимных игр, и употреблением «запрещенных» слов ныне трудно удивить читателя Миллера и Блие, Лимонова и Сорокина. Вообще этот словарик уже весьма залистан. От повторенья правда, может быть, и не портится, но ошеломить она уже не может. Если заставлять героя на каждой странице пукать, то количество правды от этого не увеличится. Увеличится только количество вони.

«Слово — самоценность, материально значимая вещь», — не очень вразумительно провозгласил как-то Ерофеев. Что это значит? Может быть, только то, что если осквернены уста, то и душа осквернена?

Однако претензии Ерофеева идут гораздо дальше работы по именованию вещей и явлений. Не нужно сразу верить, когда он объявляет, что «русский классический роман уже никогда не будет учебником жизни, истиной в последней инстанции». Не пугаясь противоречий, наш автор на себя-то и берет крест открывателя новой истины, доселе не оглашенного знания о человеке, о его метафизической сути. Он стремится развенчать чересчур, на его взгляд, оптимистическое представление о человеке. Для Ерофеева и для писателей его поколения, с которыми он солидаризируется, человек — «неуправляемое животное», он «способен на все». Об этом можно узнать из ерофеевского эссе «Русские цветы зла».

Вот такое «открытие». Сказать по правде, новизны и в нем маловато. И чем дальше в текст, тем больше уверенность в том, что никаких особенных прозрений насчет человека в сочинениях Ерофеева нет. Есть очень элементарное представление, сложившееся по ходу игры в нарушение культурных запретов. То, что человек подвержен соблазнам, было известно и до Ерофеева. А число соблазнов у литератора, как уже говорилось, упорно стремится к единице. Прелюбодеяние, блуд — вот чем монотонно заняты отряды и полки персонажей Ерофеева. Главные его герои — стахановцы разврата.

Образ Сисина усложнен довольно-таки дешевым демонизмом («он думал о том, что люди одряхтели — их пора уничтожить — вывести окончательно — всех до одного — стереть с лица Земли — отравить — зарезать — замучить»). Навязчиво проведена параллель Сисин — Ставрогин, а его «трахнутый» друг Жуков соотнесен сразу и с Петром Верховенским, и с Шатовым. Ставрогин, как известно, добровольно ушел из жизни. Сисин же безвинно убит Жуковым. Стал, так сказать, мучеником новой секс-истины... Несмотря на все эти старания, Сисин малозна-

чащ. Он являет пример той претензии на сверхчеловеческое, которая широко пошла в тираж в XX веке. У героев такого типа уже нет ни внутренней драмы, ни риска вызова. Остались потакание себе, своим порокам, самолюбование. Сисин — человек крайне довольный собой, очень успешный — и банальный до убогости, неинтересный, одномерный.

К слову сказать, как раз типичные, характерные для определенной культурной среды проявления Ерофеевым схвачены верно. Это мир Афродиты Пандемос («площадной»), где средоточие бытия — плотские радости и где отсутствует душевная и духовная близость: пошлый петрониевский мир какой-то модной богемной тусовки. Но автор, кажется, не догадывается о возможности такого употребления своего таланта. Он делает ставку на другое, стараясь преодолеть исходную пресность изображаемой жизни за счет кощунств. Чье-то мнение о себе как о «сатанисте и порнографе» Ерофеев воспроизводит как будто не без тайной гордости. Эффект секс-шоков он хочет усилить шоками в религиозной области.

Выражение типа «дама с православными наклонностями» — самое невинное, что наш автор себе позволяет. Есть провокации покруче. Сисин, к примеру, едва ли не всерьез считает себя сыном Иисуса Христа, «Внуком Божиим». Он же (в рассказе «Болдинская осень») сочиняет: «Бог — говно»... В «Русской красавице» храмовая молитва оказывается причиной порчи, поразившей героиню... Уже от себя Ерофеев важно вещает в статье «Синий тетрадь, синяя тетрадь, синее тетрадо» об «ущербности основных мировых религий»: и Христос, и Будда «сходят с дистанции», наше время «испытывает невыразимое чувство ущербности божественного пантеона», «нужна смена богов и героев»... Не без самодовольства литератор извещает: «...русская литература конца XX века накопила огромное знание о зле. Мое поколение стало рупором зла, приняло его в себя, предоставило ему огромные возможности самовыражения. ...Так получилось. Но так было нужно». ...Нужно попустить злу — и отказать в правах всему несомненно высшему: «все уже пошло-поехало» — и нет ничего святого.

Кем и для кого все это проговаривается?

Чтобы не говорить много, скажу одно: автор здесь идет вровень с героем, и оба (почему не сказать правду?) вусмерть скучны. Ерофеев как-то пытался ввести такое правило хорошего литературного тона: «Читатели должны плясать и пьянеть от чтения, а недохнуть от скуки». Такидохнешь. Врачу, исцелился сам. А откуда взяться читательскому азарту, если так скудна выведенная на обозрение жизнь и так бедна мысль о ней?

Скудна же жизнь, следует добавить, оттого, что чуть ли не сплошь выдумана, высосана из пальца, вычитана в книжках, откуда и позаимствована образованным, начитанным автором. Действительность в прозе Ерофеева представляет собой, как правило, искусственный продукт нещедрого воображения. В ней нет простора и глубины, нет тайны и таинства. Здесь все — наружу, весь смысл — на поверхности. Иногда автор нанесет на эту поверхность бытоподобный грим, а иногда и не станет этого делать (как в буквенном орнаменте «Запах кала изо рта», где все строки на четырех страницах текста забыты словом «Инсульт»).

Конечно, Виктор Ерофеев — человек эрудированный. И признаки его широкой осведомленности встречаются в трехтомнике весьма нередко. Наиболее выигранно они смотрятся в некоторых статьях (я бы отметил эссе о Набокове, Добычине, Шестове, Розанове и Гоголе, Ахмадулиной, Горенштейне, Евтушенко и Битове). Только для писателя этого мало. Ерофеев, как видно, пытается набрать очки за счет приобщенности к «злу», усматривая в ней новое качество прозы. Боюсь, он ошибается.

Читаем: «Казалось бы, *сатанизм* захватил литературу (о чем говорит «нравственная» критика). На самом деле маятник качнулся в сторону от безжизненного, абстрактного гуманизма, гиперморалистический крен был выправлен». Все сие, однако, только очередное умозрение, придуманное для того, чтобы прописать себя в русской словесности. Нет никакого маятника. Есть, если угодно, эпигонский рецидив декаданса. Недаром наш автор с острым интересом пишет о Федоре Сологубе, этом классике литературного декаданса начала XX века.

Тот же пафос разоблачения и развенчания. «Любопытная вещь, — подумал Богаткин, сморкаясь. — С виду Лидия Ивановна такая интеллигентная, такая деликатная женщина, а в жопе у нее растут густые черные волосы...»

Тот же самодовлеющий гедонизм, стягивание жизни к оргиастическим мигам, мгновениям экстаза.

То же ощущение абсолютной вседозволенности. Нет чувства вины, переживания греха. Героиня «Русской красавицы» кокетничает с Богом: «Разве нельзя грешить? Ты, может быть, скажешь: нельзя! Ты, может быть, скажешь, что я жила не по правилам, которые записаны в Евангелии, но я их не знала. И что же? Мне теперь после смерти идти в ад и вечно томиться? Если так, то какая, однако, жестокость и несправедливость! Если — ад, то Тебя, значит, нет. ...Нет, если Ты создал нас такими мерзавцами, то чего, спрашивается, на нас обижаться? Мы — не виноваты. Мы хотим жить. Отмени ад, Господи, отмени сегодня, сейчас! А не то я в Тебя верить перестану!» (Нет ли тут иронии? Боюсь, что нет. Наш автор вообще ни к иронии, ни к юмору не склонен.)

И самодовольство модного, преуспевающего, коммерчески состоятельного сочинителя. «Сатанисты купили себе машины, а добрые писатели продолжали ездить в метро. Сатанисты изездили мир и увидели многое, а добрые писатели продолжали ходить в лес по грибы. Казалось, божественной справедливости настал конец».

Что ж, когда качество жизни всерьез измеряется мощностью двигателя иномарки и частотой зарубежных вояжей, когда даже «божественная справедливость» отвешивается кусками житейских благ, тогда приходит пора замолчать. Наш ресурс участия в творческой жизни этого литератора, пожалуй, исчерпан.

Евгений ЕРМОЛИН.



ОСОБЕННОСТИ И ВИБРАЦИИ

Николай Федорович Болдырев. Ностальгия по пейзажу. Книга эссе. Челябинск. Издание фонда «Галерея». Челябинский фонд культуры. Издательство «Автограф». 1996. 240 стр.

Первый выпуск серии «Уральский логос» — книга философских эссе Николая Болдырева, появившаяся в рамках программы «Дар», осуществляемой фондами «Галерея» и «Юртин». Издания, входящие в эту программу, не подлежат продаже и распространяются бесплатно. Если верить аннотации, челябинский «поэт, философ, прозаик, эссеист, журналист, переводчик, Болдырев» являет собой полумаргинальную и одновременно полумаргинальную фигуру, особенности и вибрации которой неприлично давно ждут своей аналитической оценки». Вибрации полумаргинальной фигуры? Это интересно. Я не удержался и решил в меру моих скромных сил не то чтобы дать «аналитическую оценку» уральскому логосу, а так... нечто вроде.

В книге три раздела: «Одиночество любви», «Странствия странной страны» и «На дзэнском ветру». По мнению Н. Болдырева, в первом «обнаруживают себя некоторые обобщающие для автора мифологемы» (вообще-то по-русски обобщают «что», а не «для кого», но это во мне говорит мелочность). Во втором идет речь о русском самосознании. Третий «объединен музыкой дзэн».

Одиннадцать эссе, собранных в книгу, являются результатом авторского отклика на «современную ситуацию *отпущенности* сознания» (курсив здесь и далее принадлежит Н. Болдыреву). А именно: «в какой-то момент мы почувствовали свое сознание как бы *отпущенным на волю*, на свой страх-и-риск-блужданий». Кто такие мы? Автор? Ровесники автора? Все его современники? Россияне? Европейцы? В какой именно момент? Вчера? В эпоху «перестройки и гласности»? После Второй мировой войны? До нее? В начале века? Ответа нет. Рискну предположить, что автор либо говорит о том, чего не знает, либо знает, но скрывает. И то, и другое неблагоприятно. Читаем дальше: «Провиснуть в пустоте сознание не могло, однако возникла возможность отцепки от жесткой обусловленности демонизмом готовых формул». Отцепка от обусловленности? Допустим. Далее: «Началось растерянное осматривание себя в ситуации расхожих смыслов; вслушивание в ветер, свистящий и шуршащий в зазорах между ними». Ничего не имею против ветра. Сказано поэтично, а значит, логически неопровержимо. Но, возвращаясь к первой части этого предложения, я, страдая от собственного занудства, спрашиваю: так когда началось? кто именно осматривается? «расхожие смыслы» — это то же самое, что «готовые формулы», или нет? Не получив хоть какого-нибудь ответа на эти законные вопросы, сложно (и незачем) двигаться дальше. А ведь я читаю всего лишь первый абзац авторского предисловия.

Совершим прыжок сразу в четвертый абзац. «И тот бедный пейзаж, в котором мы в данный момент пребываем, — это пейзаж, сущность которого можно назвать «ностальгией по пейзажу», понимая каждое слово неким особым образом; и именно это состояние, мне думается, могло бы стать отправной точкой для нашего медитативного *вплывания* в эти столь странные, столь, в сущности, незнакомые внутреннему слуху слова: пейзаж, ностальгия, земное, небесное...» Что означает в данном случае выражение «внутренний слух» (чей?), которому почему-то незнакомы слова «пейзаж» и проч.? Каким же именно образом следует понимать красивое выражение «ностальгия по пейзажу»? Ведь правда интересно. Ответить: «неким особым» — значит сказать слишком мало. Если автор не знает, каким, то почему он решил, что тут имеет место особый способ? Если, опять-таки, знает, но скрывает, то зачем он вообще печатно обращается к нам, бедным читателям? Далее: «Наш внутренний пейзаж ностальгирует по пейзажу, который нами еще не создан». Будь это строкой поэтического подстрочника, у меня не было бы никаких претензий, но в качестве прозы (да еще и не переводной) она мало что проясняет. Мысль художественная, поэтическая не нуждается в доказательствах, она самодостаточна. Но мысль логическая, в данном случае философская, подразумевает наличие системы аргументов сколь угодно неожиданно и даже, простите за плеоназм, логики сколь угодно своеобразной. Во всяком случае, отсутствие оных не может быть поставлено автору в заслугу. Но будем терпеливы. Двинемся вперед — в пятый абзац.

«Философствовать — значит подвергать риску свое существование...» Только я хотел порадоваться, как следует продолжение фразы: «...существование в качестве греющей плоти». Испортил песню. «Уже поэтому наше пребывание в слове еще нельзя назвать философствованием». Поэтому? Если автор хотел сказать, что не всякое словесное истечение есть непременно философия, то это справедливо, но как-то бедно. Не всякое слово — философское. Но и философии вне слова не бывает. Некто может являться носителем религиозного опыта, иногда действительно невыразимого в слове. Но философ не мог бы в оправдание невнятицы ссылаться на невыразимость своего сокровенного знания без боязни быть осмеянным.

«Впрочем, есть много и иных причин», — продолжает Н. Болдырев. Умри, Денис, лучше не скажешь! «Например, та, что мы еще — прелюдия, предисловие». Предисловие к чему? «Мы еще не вошли...» Куда? Если автор не знает, куда, то откуда известно, что еще не вошли? «Мы всматриваемся в свои черты, еще не зная, кто мы». Хорошее описание подростка перед зеркалом, но Н. Болдырев явно имел в виду что-то другое. «Наш подлинный язык нам неведом». Откуда вообще известно о «подлинном» языке? «Но разве это повод для пессимизма?». Ну, конечно, нет. Оставим в покое предисловие, перелистнем страничку с картинкой (предсловутым «пейзажем») и приступим к статье «Высочайшая гора отрешенности (заметки на полях текстов Кришнамурти, Рильке и Хайдеггера)».

«Наш сегодняшний мир (российский) нуждается в трансформации, в своего рода фундаментальном переустройстве». Допустим. Хотя машинально отметим: а почему только российский? Ответ: «потому что мы в обозримое время своей жизни не мыслили». Ну-у? «Нам приходится начинать с запуска в работу почти атрофированного органа». Сочувствую. Необходима сугубая бдительность: «внимательно следить за истечением слов, постигая их таинственную жизнестроительную функцию»; «эта работа не может не начаться с состояния величайшей осторожности в обращении со словами». Так он все-таки знает, что со словами надо обращаться бережно?! Похоже, самой яркой особенностью нашего мыслителя является действительно атрофированное чувство юмора. «Мы вынуждены *промыслить* эту громадную протяженность мыслительного небытия в терминах своих нынешних состояний, включая сюда всю свою трагическую обремененность, всю свою подавленность и недоуменность. В саму возможность начала нашего мышления неизбежно входит эта насущность овладения опытом мыслительного небытия. Но овладения, конечно, не просто в форме социологической фиксации или рационалистически-математического «объяснения». Наша мысль должна не только войти в пространство этой небытийственности и вдохнуть этот воздух, которым нельзя дышать, не просто внести некоторое «оживление» в прежде нежилое пространство, но выйти, вырваться из самой сердцевины этой равнины». Читая подобные тексты, имя коим — легион, ловлю себя на внезапной приязни к тем в зубах навязшим школьным максимам о «великом и могучем», о том, что «кто ясно мыслит...», ну, и так далее. Но ведь и в самом деле: кто ясно мыслит, тот ясно излагает. Н. Бол-

дырев наиболее внятн, когда влюбленно пересказывает других мыслителей, скажем Розанова. Но меня в данном случае интересуют как раз особенности и «вибрации» авторской речи и соответственно мышления, а Розанова я и сам читал. Впрочем, в одном из эссе Н. Болдырева содержится своеобразное алиби: «Почему нам (опять нам? — А. В.) уже не хочется быть *авторами* чего-то? ..Язык сказывает себя. А автор, тщеславно возбуждаясь, приписывает волшебные свойства слова себе грешному. Скриптор же не обманывается: скрипя пером, он сам удивляется своему тексту, не имеющему к нему-эмпирическому никакого отношения». Цитировать Н. Болдырева (автора? скриптора?) можно бесконечно. «Гоголь однажды ужаснулся своему демоническому эстетизму, прыгнув в религиозную стадию своей неуклонно возрастающей внутренней жизни». Интересно, удивлялся ли «скриптор» своему тексту? Можно подумать, что дело тут безнадежное. Нет, это не так. Будь это так, я не прочел бы книгу Н. Болдырева, да и писать о ней бы не стал. Но, право же, неловко хвалить взрослого человека за то, что в его двухсотстраничной книге нашлось «что-то» любопытное (например, противопоставление художников, условно говоря, «христианского» и «дзэнского» типа).

Автор, находящийся все время под гипнозом других, гораздо более известных и почти не критикабельных мыслителей, на самом деле не столько изощрен, сколько простодушен (начиная с полного имени-отчества на титуле книги — привет Дмитрию Александровичу Пригову!). В статье «Молитва по имени Розанов» — вдохновенной, восторженной апологии этого мыслителя — читаем: «Да закончится эпоха тоталитарного подавления миллионов и сотен миллионов прессом одной-единственной Абсолютной истины». Вы думаете, речь идет о коммунизме? Нет, о христианстве. Или такое: «Самый нехристианский, по общему мнению, наш лирик Пушкин в то же время — смиреннейшее существо...» Что более всего умиляет в этой фразе? Да вот это — «по общему мнению». При этом самая живая, на мой взгляд, статья в сборнике, написанная к тому же короткими и в меру ясными предложениями, именно о Пушкине — «Пушкин и джаз». Кстати, я сначала решил, что это опечатка. По смыслу должно быть «Пушкин и дзэн». «Пушкин — это наш русский праздник дзэн»; «он — Бодхисатва русской земли и литературной жизни». А джаза там никакого и нет. Но зато как хорошо: Пушкин и джаз... Или: «Что я знал о Канте до Мамардашвили?» Ну разве он не прелесть? А ведь статья о Мамардашвили, чьи книги, по признанию Н. Болдырева, в последние годы не сходили с его письменного стола, — это настоящее объяснение в любви. Оно не может не тронуть своей искренностью, как бы ни относиться к этому современному философу¹. Между прочим, именно читая монологи Мамардашвили автор приходит к мысли, что счастье свободно мыслить заключается в мышлении ради самого акта мысли. С моей обскурантистской точки зрения, свобода мысли подразумевает свободный поиск истины, свободное, зачастую весьма сложное движение к истине. Мышление ради мышления — занятие для философа приятное, но для стороннего наблюдателя малоинтересное (и даже малоэстетичное).

Так что фонды «Галерея» и «Юрятин» совершенно правы, предлагая эту книгу даром.

Р. С. Несмотря на вышеизложенное, хочется надеяться, что фонды «Галерея» и «Юрятин» не оставят своим вниманием книжную серию «Уральский логос», а также и другие возможные начинания в рамках программы «Дар».

Андрей ВАСИЛЕВСКИЙ.



ТАКОЙ ВОТ СТРАННЫЙ ШПИОН

Олег Царев, Джон Костелло. Роковые иллюзии. М. «Международные отношения». 1995. 572 стр.

Э то, наверное, первый опыт творческого сотрудничества действующего офицера ФСБ (КГБ) и британского писателя-историка — факт, уже сам по себе за-

¹ Позитивное к нему отношение высказывалось на страницах «Нового мира» в рецензиях Е. Ознобкиной (1994, № 6) и А. Доброхотова (1996, № 3).

служивающий внимания. Обоих авторов — и западного, и российского — заинтересовал секретный агент под оперативным псевдонимом «Швед», человек, который почти полвека считался в КГБ предателем. Хотя некоторые соотрудники на Лубянке, хорошо осведомленные о деле «Шведа», никогда не называли его ни предателем, ни перебежчиком. Они использовали для этого достаточно нейтральный термин — «невозвращенец», что отнюдь не подразумевает государственной измены. Советский супершпион, нелегальный резидент в Германии, Франции, Англии, Испании, загадочно исчезнувший из Барселоны летом 1938 года и объявившийся в США в 1953 году с обличительной книгой о злодеяниях «вождя народов», звался Александр Михайлович Орлов.

Олег Царев в предисловии и Джон Костелло в послесловии к русскому изданию книги подчеркивают, что она появилась на свет благодаря доступу к архивам КГБ, ФБР и ЦРУ, а также личным свидетельствам участников событий, чьи имена пока не рассекречены. («Наша книга основана на дословных цитатах из материалов, которые имеются в настоящее время и существование которых раньше можно было лишь предполагать, исходя из отрывочных сведений...»)

Впервые стало возможным взглянуть на историю разведки, пользуясь самыми разными архивными первоисточниками. Царев разрабатывал девяти томное секретное досье Орлова, хранящееся в КГБ; Костелло взял на себя рассекреченную часть архивных папок разведчика в ФБР и ЦРУ. «За полтора года, которые ушли на написание этой книги, — свидетельствует британский историк, — мы затратили сотни часов на телефонные переговоры и переслали в Соединенные Штаты и Россию многие килограммы бумаги. Наша совместная работа протекала на удивление гладко благодаря терпеливой работе Олега с архивистами, которые проявили горячее стремление помочь делу. Когда понадобились материалы об Орлове из архивов ФБР и ЦРУ, мне удалось получить только половину хранящихся там дел: остальные по-прежнему не выдают». По-видимому, это связано с тем, что позиция Орлова на допросах в ФБР и ЦРУ была, по сути дела, замаскированным, «тщательно продуманным очковтирательством», что не делает чести проницательности сотрудников американских секретных служб.

Американский сенат считал Александра Орлова «самым высокопоставленным офицером советской разведки из всех когда-либо перешедших на сторону свободного мира». Впрочем, удивляться этому не приходится: на Лубянке он тоже пользовался непререкаемым авторитетом. Даже сам псевдоним «Орлов», по некоторым сведениям, был предложен ему не кем иным, как Сталиным! Он имел звание майора госбезопасности (по нынешней таблице о рангах его звание было бы равно генерал-майору) и был награжден орденами Ленина и Красного Знамени. Орлов в совершенстве владел английским, свободно — немецким, французским и испанским языками. Спасаясь от ежовской расправы, он вез с собой в Америку множество секретных данных и более шестидесяти имен нелегальных сотрудников НКВД, которые работали почти во всех странах Европы. Помимо этого агент такого масштаба, как Орлов, был, естественно, в курсе многих высших тайн «лубянского кремлевского двора».

Игорь Константинович Берг — это имя чаще всего использовал «Швед», чтобы скрыть в США подлинное свое лицо. Торговым советником и коммерсантом Львом Фельделем он стал еще раньше — в Германии зимой 1928 года, — хотя настоящей его миссией была не коммерция, а шпионаж, о чем никто в respectableм офисе в центре Берлина, разумеется, не догадывался. Наконец, в архиве КГБ хранится подлинный американский паспорт за № 566042 с печатью госдепартамента, который был выдан 23 ноября 1932 года на имя бизнесмена Уильяма Голдина. Подобным документом агент «Швед» прикрывался, будучи резидентом разведки в Париже и Лондоне.

Для человека, который за свою двадцатилетнюю шпионскую карьеру сменил множество псевдонимов, надевать чужую личину было так же привычно, как мыть руки перед едой. «Одно лишь его досье из архивов ФБР показывает, — пишут авторы книги, — что в период пребывания в убежище в Соединенных Штатах он использовал не менее восьми разных имен». Да и последняя его фамилия — Орлов — тоже, как уже говорилось выше, вымышленная. На самом деле он — Лейба Лазаревич Фельдбин, который родился в Бобруйске в 1895 году. Отец будущего разведчика происходил из многодетной семьи евреев-ашкенази, переселившихся из Австрии в лесную белорусскую глушь накануне вторжения Наполеона в Россию.

История восхождения этого аса шпионажа типична для всей плеяды «пламенных сынов революции». Орлов служил под руководством Крыленко, Вышинского, Артузова. Именно ему Дзержинский в 1923 году поручил расследование «экономического преступления» в связи с коррупцией в промышленности. Он участвовал в составлении первого Уголовного кодекса РСФСР. В качестве бригадного командира, получив под свое начало шесть полков пограничных войск, обеспечивал охрану рубежей с Персией и Турцией. Тесно сотрудничал уже в ту пору с начальником регионального ОГПУ Лаврентием Берией, впоследствии кровавым наркомом НКВД.

Дело, за которое взялся «бизнесмен Уильям Голдин», став резидентом в Англии, было одним из самых важных за всю историю ОГПУ — НКВД — КГБ. По признанию самого разведчика, слова которого приводят О. Царев и Д. Костелло, предстояло «реорганизовать свои операции на чужой территории таким образом, чтобы в случае провала какого-нибудь агента следы не приводили в посольство СССР и чтобы советское правительство имело возможность отрицать любую с ним связь». Прежде всего требовалось отказаться от услуг местных коммунистов в качестве агентов и переключиться на вербовку сыновей влиятельных политиков и правительственных чиновников, которые, соблюдая имидж консерватора, могли бы преуспеть на дипломатическом поприще или же пролезть в самый центр английской разведки — Интеллидженс сервис. И такие агенты, отпрыски привилегированных семейств, были найдены резидентом. Ким Филби, Дональд Маклейн, Гай Бёрджесс называли себя в шутку «тремя мушкетерами» в знак того, что под руководством «Большого Билла» (еще одна кличка Орлова) стали тремя членами-основателями кембриджской агентурной сети. То, что сделано этой шпионской тройшей, хорошо известно по многочисленным публикациям в европейской и российской прессе.

В 1936 — 1938 годах Орлов был руководителем аппарата НКВД в Испании, охваченной гражданской войной, возглавляя контрразведку и активизируя партизанские диверсии. Степень доверия республиканских властей к Орлову была столь велика, что он, случалось, сам принимал решения и не докладывал о них в Центр. О том, как проходили, к примеру, партизанские операции, подробно и красочно поведал в своем романе «По ком звонит колокол» Эрнест Хемингуэй, и сам не свободный от леволиберальных иллюзий: неужели он не знал, что представлял собою Орлов, «атташе по политическим вопросам», а по сути дела — «главное советское лицо», хотя таковым официально считался посол. Между прочим, писатель изменил в фамилии «Орлов» одну гласную и прибавил одну согласную — в результате получилось «Варлов». Именно Варлову другой персонаж романа — Андре Марти (подлинное историческое лицо: член ЦК Компартии Франции, политкомиссар Интернациональных бригад в Испании, прославился расстрелами невинных жертв) — собирается переслать важное секретное донесение... Шеф НКВД Ежов поручил Орлову организовать тайную отправку в Советский Союз испанского золотого запаса, и тот блестяще провел операцию, не выдав даже расписку директору государственного казначейства. Он организовал в Испании разведывательную школу под условным названием «Строительство», лучшие выпускники которой оседали потом в разных странах Европы. Их настоящие имена знали единицы, а их последующие деяния становились известными всему миру. В его ближайшем окружении находился небезызвестный Рамон Меркадер, будущий убийца Льва Троцкого.

«Как показывают исторические документы, — свидетельствуют О. Царев и Д. Костелло, — Орлов был значительно глубже вовлечен в безжалостное преследование Сталиным Троцкого и его французских и испанских последователей, чем он когда-либо признавал в своих показаниях ФБР или американскому сенату». Достаточно сказать, что непосредственным организатором убийства «главного врага Сталина» являлся его первый заместитель — Леонид Эйтингон (Котов). Компрометация Андрэу Нина, лидера крупной группировки троцкистов в Барселоне, а затем и последующая ликвидация самого Нина и его ближайших сторонников — их рук дело. «Подобно многим советским офицерам разведки, — подчеркивают авторы, — чьи моральные нормы формировались в бурное время революции и гражданской войны, Орлов, по-видимому, был готов уничтожить политических противников во имя того, что он считал высочайшими идеалами коммунизма».

Именно этими «высочайшими идеалами» объясняется и его пятнадцатилетнее молчание, когда он скрывался в США, постоянно меняя адреса, хотя в любой мо-

мент мог бы предложить свои услуги ФБР или ЦРУ. Орлову, по его словам, претила сама мысль раскрыть «тайну за семью лубянскими печатями». Впрочем, он еще и серьезно опасался за свою жизнь, прекрасно понимая, что в любой момент его могут убить или похитить и насильственно депортировать в Москву как «изменника Родины» и «невозвращенца».

Однако в 1953 году, вскоре после смерти «вождя», Орлов выходит из своего укрытия, публикуя книгу «Тайная история сталинских преступлений» (у нас она переиздана только в 1991 году). В ней Орлов выглядит как невинная жертва чекистского террора — о том, что он сам был активным орудием НКВД, со «зловещим хладнокровием» исполняя секретные приказы Центра, а нередко и самого Сталина, умалчивается.

Живописуя ужасы 1937 года, он стремится отвлечь внимание от своей собственной роли: например, в руководстве чистками НКВД в республиканской Испании, которые сопровождались тайными убийствами при непосредственном участии Орлова.

В свое время книга эта наделала много шума. Нам, к сожалению, не известна реакция высших кругов КГБ, зато известно, как шеф ФБР Эдгар Гувер метал громы и молнии, узнав, что у него под боком проживал опасный сталинский шпион. Сотрудники ФБР, допрашивавшие Орлова, не догадывались, что имеют дело с крупнейшим специалистом в области плетения словес и дезинформации. Ссылаясь на свою «неосведомленность», «забычивость», Орлов почти два года водил за нос подручных Гувера, так и не выдав советской агентуры. Ну а если и приходилось приоткрывать завесу «тайны», то она касалась дел давно минувших, потерявших оперативную актуальность...

Авторы цитируют отчет агента КГБ, который после многолетних розысков обнаружил Орлова в США в 1971 году. Это — последний материал в девятитомном досье «Шведа», как бы подводящий итог его жизни. Агент Лубянки пишет, что семидесятишестилетний «нелегал» по-прежнему оставался верным «своим убеждениям». В беседе, длившейся около пяти часов, он не устал повторять, что ни ФБР, ни ЦРУ, ни служба иммиграции и натурализации, ни комитет по внутренней безопасности сената не получили от него никаких сведений оперативного характера, хотя при этом Орлов не скрывал, что всячески заверял представителей американской стороны о своей готовности и дальше сотрудничать с ними. Бывший резидент надиктовал офицеру госбезопасности длинный список фамилий и должностей важных официальных лиц США, которые, по его мнению, могли представлять интерес для советской разведки. В свою очередь, московский агент предложил Орлову «организовать безопасное возвращение в Советский Союз», так как он «все еще является советским гражданином и больше не считается перебежчиком». Орлов поблагодарил, но вежливо отказался. Тридцать три года вынужденной эмиграции и постоянного ожидания выстрела из-за угла, конечно, приучили его не верить благим обещаниям.

...Когда Орлов умер, федеральный суд США опечатал и отправил в архивы его личные документы и неоконченную рукопись воспоминаний с указанием не предавать ее гласности до 1999 года. Так что ставить точку в биографии «великого нелегала» пока преждевременно.

Олег ЗУБОВ.



КОРОТКО О КНИГАХ



І. ИСТОРИЧЕСКИЙ АЛЬМАНАХ «МИНУВШЕЕ», № 18 (1995), № 19 (1996).

Читатели романа Оруэлла «1984» помнят профессию его героя — переписывание истории, приведение ее в соответствие с меняющейся государственной идеологией. Родившиеся в стране победившего социализма хорошо знают, что это такое. Гораздо труднее представляем мы обратный процесс — восстановления утраченного.

Одно из изданий, способствующих этому процессу, — исторический альманах «Минувшее», начавший выходить в 1986 году в Париже (издательство «Atheneum»), а в 1992-м перебравшийся вместе со своим бессменным редактором и издателем Владимиром Аллоем в Петербург.

Документы, воспоминания, Бог весть какими путями выцарапанные из архивов, извлеченные из столов недоверчивых владельцев, привыкших не к бескорыстному интересу, а к обыскам и арестам; переписка знаменитых писателей и безвестных интеллигентов; записные книжки, исследования, статьи; духовные наставления покинутой пастве из тюрем, следственные дела составили основное содержание томов «Минувшего».

Теперь, когда схлынуло буйство первых разоблачений, кончилась героическая пора «Огонька» и толстых журналов, взрывававшихся то «Красным Колесом», то «Белыми одеждами», оказалось, что правду можно не только хватать горячими кусками, но проделывать ради нее непрерывающийся путь во времени.

...№ 18 за 1995 год. Г. Мясников. «Философия убийства, или Почему и как я убил Михаила Романова». Публикация Б. И. Беленкина и В. К. Виноградова:

«Теперь время смерда. Сам смерд берется решать свою судьбу...

Надо думать, что скоро появится художник сильнее Достоевского и нарисует нам тип великого смерда, великого Смердякова, вкусившего от древа познания добра и зла, и трусливого, гадкого помещика-буржуа, чувствующего, что ни сила небесная, ни сила земная не могут спасти его от сурового приговора истории».

Автор, Гавриил Ильич Мясников, — рабочий, партиец, каторжник, на взлете карьеры был председателем Пермского губкома (1920); впоследствии разошелся с «генеральной линией» партии — последовали аресты, ссылки, побеги; затем были Иран, Франция; в 1945 году — возвращение в СССР, снова арест, расстрел. В своем предисловии публикаторы называют эти записки «исповедью убийцы». Читая их, мы видим не просто путь души к преступлению, а механизм захвата сознания идеей классового противостояния, удушающей всякое человеческое движение, сомнение или жалость.

Публикация имеет ценность не только исторического, но и психологического свидетельства.

Александр Эткинд в работе «Русские секты и советский коммунизм. Проект Владимира Бонч-Бруевича» (№ 19) дает глубокое исследование связей коммунистов и сектантов, в какой-то степени отвечая на вопрос, почему революция и ее последствия могли случиться именно в России — с народом, которому «все хотелось жертвовать и страдать без конца». Чего стоит хотя бы эта подробность о Распутине, посетившем Бонч-Бруевича! Рассматривая висевшие в кабинете портреты, «старец» остановился перед одним: «Вот за кем народ полками идти должен». Распутин просил познакомить его с оригиналом. Это был портрет Маркса...

Среди наиболее интересного в последних выпусках «Минувшего» я бы упомянула письма А. В. Чайнова, Б. В. Савинкова, Георгия Иванова; пуб-

ликацию следственного дела русского авангардиста Игоря Терентьева (1931), демонстрирующую методы, с помощью которых фабриковалось существование «контрреволюционных организаций» и, соответственно, достигалось господство пролетарского искусства, достигалось столь желанное властям единомыслие; статью Л. Поликовской «М. А. Осоргин в собственных рассказах и документах ГПУ»; статью И. А. Доронченкова «Петроград — Куоккала. Через границу. 1920-е годы» о побеге Виктора Шкловского в Финляндию, о том, как он просил поручительства у Репина и получил отказ из-за того, что просьбу свою изложил по правилам новой орфографии; материалы истории журнала «Русская мысль», представленные М. А. Колеровым...

Здесь нет возможности (да и нужды) перечислить все достойные упоминания публикации «Минувшего», но хочу назвать еще воспоминания Ольги Грудцовой «Довольно, я больше не играю...». Ольга Грудцова, урожденная Наппельбаум, — одна из дочерей знаменитого фотографа Моисея Соломоновича Наппельбаума, с именем которой связаны петербургские «понедельники у Наппельбаумов» — литературный салон, где бывали Ахматова, Ходасевич, Берберова, Кузмин, Адамович, Георгий Иванов, Гумилев, Есенин, его друзья-имажинисты. Поразительны ее воспоминания о том, как в день ареста Гумилева загадывали шараду о нем, — и последнее слово было «Расстрелять!». Или о том, как отца вызывали фотографировать мертвого Есенина, еще висевшего на трубе в «Англетере», но Наппельбаум от съемок отказался... Воспоминания написаны в форме обращения к умершему Луговскому, написаны как разговор, в котором ничего не может быть утаено. А. Л. Дмитренко пишет в предисловии, что в них нет «ни одного вымышленного персонажа... Но тем не менее это не воспоминания в «фактографическом» смысле, это именно «повесть», лирическое повествование о реальной жизни автора». И именно потому, что оно такое живое, личное, пристрастное, оно позволяет совсем с другой стороны взглянуть на людей, уже знакомых нам по множеству мемуаров и, казалось, незыблемых мифов и легенд.

Собственно, именно на такой взгляд рассчитаны все разделы серии «Минувшее». В предисловии к «Запискам для себя» Иннокентия Басалаева А. И. Пав-

ловский говорит: «Каждая эпоха хочет быть услышанной». Но для этого — добавим мы — необходимо развивать слух.

II. «НЕВСКИЙ АРХИВ». Историко-краеведческий сборник, № 1 (1993), № 2 (1995). М. — СПб. «Atheneum — Феникс».

Нет более совершенного прибора для наблюдения за жизнью окружающих предметов, чем детский, точнее, мальчишеский глаз. Можно представить, какие открытия ожидали бы нас, если бы обнаружили вдруг воспоминания о жизни древнеегипетского или древнеримского мальчишки! Таковых не существует, зато есть, к нашей радости, воспоминания о петербургском детстве. Их написал Павел Петрович Бондаренко, главы из них, под названием «Дети Кирпичного переулка», опубликованы в первом выпуске «Невского архива».

1922 год. Автору семь лет. Город после гражданских бурь пустынен и тих. Ребенок осматривает окрестный мир, как будто лазает по снастям гигантского корабля, потерпевшего крушение и выброшенного на берег целиком. Вот торчит «Газета-копейка» из полотняной сумки газетчика; «Халат, халат», — кричат старьевщики-татары; вот вывеска висит чуть не во всю ширину фасада: «Портной Джон Лабренц» (где-то теперь сам портной?); вот идет китаец с бумажными фигурками на ниточках, вот цыгане с медведем. Но по-настоящему захватывает дух от автомобилей — их в городе всего несколько десятков, и каждый из них мальчишки знают «в лицо».

И во втором томе «Невского архива» — тоже старый Петербург глазами ребенка. Воспоминания финского писателя и художника шведского происхождения Тито Коллиандера так и называются — «Петербургское детство». Те же подробности и детали, но неулловимо изменившиеся оттого, что на них смотрит совсем другой мальчик, сын полковника царской армии. Прелесть быта, зарисовки из жизни шведской школы, куда ходил маленький Тито с сестрой Муссе, постепенно заглушаются совсем другими мотивами: вот в театре офицеры, младшие по званию, не имеют права сесть в присутствии отца, пока не начнется спектакль; вот начинается война, в витринах и газетах — «безвкусные карикатуры на императора Вильгельма с большими загнутыми вверх усами и императора Франца-

Иосифа с белыми бакенбардами», детей останавливают на улице: «Здесь нельзя говорить по-немецки», а на возражения, что это шведский, кричат: «Вы — немцы, вон отсюда!»

Февральская революция. «Красные гробы... бок о бок на дне глубоких могил...» «Вы жертвою пали в борьбе кровавой...» Отец с красной лентой в петлице: «Раз царь сам отказался от престола, то, следовательно, у меня как офицера больше нет обязательств перед ним». Стрельба, погромы царских винных погребов, разгоняемая казаками толпа, в которой ребенок чуть-чуть не погиб. Наконец, октябрь. Старший брат Рюрик — юнкер, защищающий Владимирскую школу юнкеров и чудом остающийся в живых. История, увиденная с высоты мальчишеского роста.

Однако архив — если это архив — состоит не из одних воспоминаний. В нем, как правило, присутствуют письма. Во втором томе — это письма, адресованные Генриху Шлиману, тому самому, который открыл легендарную Трою. Не всем известно, что, «прежде чем сделаться ученым, он около двух десятилетий занимался коммерческой деятельностью в России». Необыкновенно интересны письма его жены, они заставляют сопереживать одновременно и ей, не желающей понимать научных устремлений мужа, коммерческие дела которого идут так хорошо, и ему, в ком зреет твердое намерение бросить торговлю ради Гомера.

Но кроме впечатлений, эмоций, которыми богаты письма и воспоминания, существуют еще и строгие факты. На них основываются статьи раздела «Архитектурное и художественное наследие»: «Полковые храмы Петербурга» В. В. Антонова, А. В. Кобака; «„Новый Петербург“ — забытая мечта Рикардо Гуалино» С. Г. Федорова в первом томе; «Остров Екатерингоф» А. И. Андреева — во втором.

Раздел «Проблемы культурологии» дает возможность ощутить, что нет факта вне его интерпретации. Подобные функции выполняет, скажем, статья А. В. Вострикова «Мифо-логика дуэли» из первого тома — анализ феномена русской дуэли, а вместе с ним и понятия чести и строящихся вокруг него взаимоотношений в обществе.

...Время не просто шумит и плещет неразборчивым прибором «под знаком убегающей жизни», в нем появляются смысл и ритм, выявлением которых и заняты авторы «Невского архива».

III. «ЛИЦА». Биографический альманах, № 5 (1994), № 6 (1995). М. — СПб. «Atheneum — Феникс».

Книга, не только повествующая нечто «любопытному читателю», но погруженная в саморефлексию, разговаривающая сама с собой, разглядывающая себя в зеркало, — такая книга уже почти живой собеседник. Именно такое качество стремятся обрести книги серии «Лица», начавшие выходить с 1992 года. «В каждом сборнике «Лиц» представлены лица исторических персонажей и лица авторов статей и публикаций. Но есть там еще одно лицо — составитель. Своими научными интересами, тематическими предпочтениями, наконец, кругом знакомств он неизбежно накладывает личную печать на сборник: определяет хронологические рамки, наличие или отсутствие тех или иных рубрик, их конкретное наполнение...» — сказано во вступительном слове к № 6 редактором-составителем А. И. Рейтблатом. Далее составитель поясняет, что для укрупнения масштаба в рубрике «Портреты» он дает не просто биографические очерки, а «фрагменты биографий, обращая... особое внимание на мотивы и смысл деятельности персонажей». Результатом такого подхода стало разрушение многих литературных и исторических мифов. Для определенной части широкого читателя в неожиданном или проясненном облике предстанут, казалось бы, «хорошо освоенные» фигуры: А. С. Суворин — в качестве либерала; Евдокия Ростопчина — в облике «реакционерки». Или, скажем, поэт Жуковский, представленный в статье Н. В. Самовера «„Не могу покорить себя ни Булгариным, ни даже Бенкендорфу...“ Диалог В. А. Жуковского с Николаем I в 1830 году» (№ 6).

Статья эта читается с огромным интересом именно теперь, когда мы задумались о том, когда и почему появилась в национальном характере трещина, позволившая огромной империи превратиться в полицейское тоталитарное государство. И здесь необыкновенно важно время Николая I. После свидания с царем Жуковский, обнаруживший, что разговаривает с монархом на разных языках, в своих записях постоянно возвращается к теме доноса: «Итак, правилом моей жизни должна быть не совесть, а все то, что какому-нибудь низкому наушнику вздумается донести на меня по личной злобе Бенкендорфу...» С самого себя поэт перехо-

дит на общество в целом: «Там нет народного благоденствия, где народ чувствует себя под стесняющим влиянием какой-то невидимой власти, которая вкрадывается во все и бременит тебя во все минуты жизни, хотя, впрочем, до тебя непосредственно и не касается. Это стеснительное чувство... бывает в таком случае, когда правительство вмешивается не в одну публичную жизнь, но хочет распоряжаться и личной, и домашней жизнью... когда мы вечно под надзором полиции. В таком случае власть от верховного властителя переходит к исполнителям власти и в них становится не только обременительной, но и ненавистной».

Автор статьи показывает — причем показывает с занимательностью почти беллетристической, — как сталкиваются не только две личности, два характера, но два мировоззрения — новое, впитавшее достижения европейского права, и — не просто ретроградное, а, по словам Жуковского, — принадлежащее «не к нашему веку, а к XI-му».

В относительно недавнее прошлое переносит нас маленькая статья Я. С. Лурье «Жених Наташи Мандельштам» (№ 5) — о Юрии Полякове, студенте Ленинградского университета, упоминавшемся в «Воспоминаниях» Н. Я. Мандельштам. Кажется, что мог успеть юноша, погибший в самом начале войны? А вот, оказывается, успел, а не очутился в ряду молчаливых и покорных, обреченно ждущих, когда придут с обыском или арестом, — сумел по-своему противостоять всемогущему НКВД: составил и расклеил листовку с протестом против финской войны. Судьба оказалась милостива к нему, дав погибнуть на фронте. А мы получили еще одно свидетельство (к сожалению, такое редкое!) того, что не все были безгласны и безвольны.

Рубрика «Публикации» среди прочих материалов представляет нам фрагменты воспоминаний К. Н. Леонтьева в виде двух очерков — о генерале Н. П. Игнатьеве, русском после в Константинополе (1864 — 1877), позднее министре внутренних дел, и А. Н. Церетелеве, дипломате и литераторе, сыгравшем большую роль в духовном переломе философа (№ 6).

В пятом томе — два замечательных женских портрета. Один — практически забытой поэтессы серебряного века Веры Меркурьевой, принадлежащий

перу М. Л. Гаспарова. Другой — портрет Анастасии Вербицкой, популярнейшей некогда писательницы; А. М. Грачева проследила ее жизнь с юности, со времени пребывания в московском Елизаветинском институте, до 20-х годов, когда ее книги, объявленные большевиками вредоносными, едва не были сожжены.

И все-таки, если сравнивать два тома «Лиц», шестой номер выглядит более своеобразным — не столько по подбору материала, сколько по своей концепции. Рубрика «Studia biografica», в которой вся серия «Лица» как бы осознает сама себя, играет роль не только зеркала, но и инструмента познания. Вернее, набора инструментов. Статья О. Е. Майоровой «Мемуары как форма авторефлексии: к истории неосуществленного замысла Константина Леонтьева» рассматривает на конкретном материале потребность человека осознать свою жизнь в качестве связного текста.

Работа Б. В. Дубина «Биография, репутация, анкета (о формах интеграции опыта в письменной культуре)» углубляется в историю развития целостного образа личности через призму различных биографических сочинений. И, наконец, А. Л. Валевский в статье «Биография как дисциплина гуманитарного цикла» пишет об онтологии биографического сознания, о профессии и призвании биографа и об игре, объемлющей все стороны бытия. «Игра — это мир, где существует индивидуальность. Для биографа индивидуальность исторического лица предстает как определенная роль, которую исполняет персонаж. Индивидуальность, прежде всего творческая, являющаяся традиционным предметом интереса биографов, есть репертуар исполняемых ею ролей, набор масок и зеркал, с помощью которых она сохраняет свою потаенность и многозначительность».

Кажется, серии «Лица» удастся вызвать именно это волшебное ощущение, которое появляется у человека, окруженного множеством зеркал. В них непредсказуемо преломляются лица, события, и то, что казалось точкой, оказывается линией, плоское становится объемным, серое — цветным, а все застывшее и обыкновенное приобретает подвижность, значительность и глубину.

Татьяна Вольцкая.

С.-Петербург.

ЗАРУБЕЖНАЯ КНИГА О РОССИИ



SHAW J. THOMAS. Pushkin: Poet and Man of Letters and His Prose. Los Angeles. Charles Schlacks, Jr., Publisher. 1995. 243 p.

ШОУ Дж. ТОМАС. Пушкин: поэт и литератор. И его проза.

Американский филолог Дж. Томас Шоу — один из старейших западных славистов и пушкинистов; русской литературе, и прежде всего первому поэту России, он отдал почти полвека исследовательской и переводческой работы. Шоу — переводчик и комментатор трехтомника «Писем Александра Пушкина» (Philadelphia, 1963), куда вошло 646 писем; составитель уникального словаря пушкинских рифм (Shaw J. Th. Pushkin's Rhymes: A dictionary. Madison, 1974), автор работ «Поэт и герой: пушкинский культ в советской России» (1974), «Пушкинская поэтика неожиданного» (1994) и многих других. Главное увлечение ученого — это несомненно проза Пушкина, как беллетристическая, так эпистолярная и журнальная, и в связи с нею — человеческая и литературная личность ее автора.

Настоящая книга (это первый том готовящихся к изданию избранных трудов Шоу) состоит из двух частей, причем главный интерес для русского читателя-филолога заключен во второй из них. Первая же носит обзорный характер (краткий пересказ биографии поэта и столь же лаконичные характеристики его законченных художественных произведений) и, видимо, должна служить элементарным пособием для изучающих пушкинское творчество в англоязычных странах. Сюда входит и библиография изданий сочинений Пушкина, их переводов на английский¹, пушкинистики русской и зарубежной — откуда, несмотря на неполноту, можно почерпнуть ряд интересных сведений (например, перечислены семь переводов «Евгения Онегина» на английский язык; названы наиболее солидные французские, английские и итальянские биографии поэта — Э. Ло Гатто, Д. Магаршака, А. Труайя и других).

Во второй части собраны статьи Шоу о прозе Пушкина, писавшиеся в разные годы.

Надо сказать, и сказать с симпатией, что американский автор работы о культуре Пушкина на родине сам душевно причастен к означенному «культу». По его словам, Пушкину — более, чем кому-либо другому из русских писателей, — свойственно то замечательное качество, которое Дж. Китс, находивший его у Гомера и Шекспира, несколько прихотливо назвал «Отрицательной Способностью». Любопытно, что на это же определение Китса как на сердцевину истинно художественного акта ссылается В. Вейдле в своей (недавно переизданной) книге «Умирание искусства»², в главе «Возрождение чудесного»: это способность «пребывать в неопределенности, тайне, сомнении без того, чтобы нетерпеливо искать фактов и разумных оснований», как пишет Китс; это «умение пребывать в том, что здравому смыслу кажется неясностью... но, быть может, окажется превыше рассудка и по ту сторону логики, с точки зрения более общей и высокой», как поясняет Вейдле. И в личном поведении Пушкина, и в целом его творчества, и в тончайших сюжетных итогах его повестей — всюду находит Шоу эту сверхлогическую способность к «согласию несогласимого» (*concordia discordium*), к гармоническому уравниванию неразрешимых противоречий, — качество, которым, по его мнению, не обла-

¹ Переведены, оказывается, все крупные художественные произведения Пушкина, за исключением «Анджело», большая часть журнальных статей и писем, исторические сочинения, — но далеко не вся лирика.

² См. рецензию на нее в «Новом мире», № 10 за этот год.

дали в такой мере ни Мильтон, ни Байрон, а в России — ни Достоевский, ни Толстой, ни «даже Тургенев».

В статье об эпистолярной прозе Пушкина Шоу, пользуясь известной формулой, именует пушкинские письма «энциклопедией русской жизни и литературы его времени». Рисую Пушкина, «каким он является нам в своей переписке», американский филолог восхищается его независимостью и чувством собственного достоинства, «почти средневековым, рыцарским отношением к личной чести», «спокойным мужеством» в критических жизненных ситуациях, великодушием, уважением к личности другого («сочувствие вместо жалости»), готовностью прощать при первом же слове примирения. При том, что Пушкин всегда ориентировался на адресата и притворялся перед ним только какую-то грань своего душевного состояния, его письма отличают те качества, которые он считал главными в художнике-творце: непосредственность чувства, независимость суждений, правдивость и простота их выражения. Что касается стиля и формы пушкинского эпистолярного письма, то, по словам Шоу, ни у одного английского писателя нет столь откровенного и концентрированного слога, как у Пушкина в его письмах — с их быстротой, нетерпеливой нервностью, отрывистым ритмом фразы, точной наводкой на предмет без заботы о подробностях, уходом от литературности, нарочитой гладкости и жеманства.

Наиболее оригинален у Шоу (при педантичных ссылках на предшественников, особенно на классические работы В. В. Виноградова) анализ трех повестей Пушкина.

В статье «„Заключение“ в „Пиковой даме“» Шоу показывает, каким образом три кратких абзаца, из которых и состоит это «Заключение», проливают дополнительный свет на идейную диспозицию всей повести. Если рассматривать, согласно Шоу, ее психологическую коллизию как столкновение «расчетливости» и «воображения», то трагическим героем воображения оказывается как раз «расчетливый» немец Германн с его «могучими страстями», не в пример посредственностям — Лизавете Ивановне и Томскому, на чьи характеры немногословный эпилог бросает иронические блики. «Должно быть, нигде мастерство Пушкина не было столь обдуманно, столь экономным и столь убедительным, как в эпилоге „Пиковой дамы“».

Сложнейшая конструкция одной из «Повестей Белкина» разбирается в статье «„Выстрел“: два взгляда на храбрость как на „верх человеческих достоинств“ и „извинение всевозможных пороков“». Непропорционально большое место, уделенное в повести обрамлению, наводит автора на мысль, что ее подлинный сюжет не сводится к истории двуступенчатой дуэли, а состоит в чем-то другом. Скрытый этот сюжет Шоу видит в развитии сознания рассказчика от молодости к зрелости и в соответственной смене ценностей. Когда в финале Сильвио предстает перед рассказчиком не как благородный романтический герой (таким его, кстати, рисовало и советское идеологизированное литературоведение, ссылаясь на его участие в освободительной борьбе греков), а как безжалостный мститель, обдуманно подвергший своего противника унижению худшему, чем смерть, а его молодую жену беспримерному ужасу, тогда становится очевидной непривлекательность храбрости, не соединенной с великодушием и рыцарственностью в отношении к женщине. Если в эпиграфах из Баратынского и Бестужева-Марлинского заложен стереотип разочарованного романтического персонажа, то итог повести таит некую иронию и над этим стереотипом, и над антуражем готического романа, и над гусарской героиней — хотя отношение Пушкина к спору нравственных ценностей остается вполне серьезным. Шоу обращает внимание на автобиографический элемент повести — след кишиневской дуэли Пушкина в 1822 году, припомнившейся ему, когда он стоял на пороге женитьбы и, подобно графу из «Выстрела», — новой жизни.

Третья статья этого же цикла — «„Станционный смотритель“ и новозаветная притча» — дополняет рядом новых деталей общеизвестное представление о полуиронической соотнесенности повести Пушкина с евангельской притчей о блудном сыне. Шоу показывает, что эта аналогия присутствует только в сознании рассказчика, между тем как в памяти самого смотрителя Самсона Вырина живет другая притча — о добром пастыре, отправившемся на поиски заблудшей овцы, — сюжету которой он безуспешно следует. Позиция рассказчика определяется смесью иронической отстраненности и сочувствия, другими словами — сострадательностью

без сентиментальности. Заключительный гармонический аккорд повести — Дуня на могиле отца — имеет свою возможную параллель в коленопреклонении блудного сына на знаменитой картине Рембрандта, которая, по мнению Шоу, могла быть известна Пушкину.

Две последние статьи книги посвящены журнальной прозе Пушкина в его «Современнике». «Проблема «маски» в журналистике: пушкинский Феофилакт Косичкин» — обстоятельное изложение пушкинского сатирического возмездия в ответ на оскорбительные выпады Булгарина. Имеются в виду две публикации, подписанные «масочным» псевдонимом: «Торжество дружбы, или Оправданный Александр Анфимович Орлов» и «Несколько слов о мизинце г. Булгарина и о прочем». В первой из них Пушкин, по замечанию Шоу, «орудует шпагой, во второй — дубиной. Дубина оказалась эффективней» и заставила Булгарина с Гречем умолкнуть. Исследователь пытается реконструировать, исходя из стилизованного слога этой полемики, социальный статус и литературный кругозор вымышленного Косичкина, обращает внимание на семантическое двуголосие (Пушкин — Косичкин) и пародийные компоненты.

Очень любопытна работа Шоу о статье Пушкина «Джон Теннер» — «Пушкин об Америке и его главные источники». Эти источники, как убедительно демонстрирует Шоу, — предисловие Эрнеста де Блосвиля к французскому переводу записок Джона Теннера о его жизни среди индейцев, затем — роман Гюстава де Бомона «Мари, или Рабство в Соединенных Штатах» и, наконец, знаменитая книга Алексиса де Токвиля «О демократии в Америке». Сравнительный анализ текстов показывает, что Пушкин заострил и резко гиперболизировал все, что говорилось в его источниках об отрицательных сторонах американской общественной жизни; даже известная формула Токвиля — «тирания большинства» — звучит в контексте французского сочинения гораздо спокойней и взвешенней, нежели соответствующее место в статье Пушкина. Ироническая концовка статьи, где Теннеру предсказано превращение в заправского меркантильного янки, тоже не имеет параллелей в использованных Пушкиным текстах. Несколько огорченный пушкинским «антиамериканизмом», Шоу стремится доказать, что здесь мотивы Пушкина кроются в русских реалиях, а именно в страхе перед распространением уравнилельной демократии в России (речь идет, разумеется, о социальном укладе и нравах — та часть книги Токвиля, где говорится о политическом устройстве Америки, осталась в экземпляре из библиотеки Пушкина даже не разрезанной). Шоу без труда находит признаки этого пушкинского настроения в черновике известного письма к Чаадаеву и в лирике («Из Пиндемонти»).

Другой «русский след» в «Джоне Теннере» — это подспудное сопоставление захвата и освоения индейских земель с колонизацией Кавказа и азиатских территорий в Российской империи. Шоу цитирует не восходящий ни к одному из источников пушкинской статьи пассаж: «Остатки древних обитателей Америки скоро совершенно истребятся; и пространные степи, необозримые реки, на которых сетями и стрелами добывали они себе пищу, обратятся в обработанные поля, усеянные деревнями, и в торговые гавани, где задымятся пироскафы...» — и сравнивает его со следующим местом из «Путешествия в Арзрум»: «Черкесы нас ненавидят. Мы вытеснили их из привольных пастбищ; аулы их разорены, целые племена уничтожены. Они час от часу далее углубляются в горы и оттуда направляют свои набеги». Пушкин считает «приближение цивилизации» — «неизбежным законом», но предпочел бы, чтобы оно совершалось путем христианизации диких племен, а не «мечом и огнем», «ромом и ябедой».

...Пушкиниана Дж. Томаса Шоу проникнута искренним воодушевлением, и книгу его интересно читать, даже когда знаком со многими фактами и подробностями, к которым обращается автор.

И. Р.



КНИЖНАЯ ПОЛКА



Франсуа Вийон. Сочинения. Перевод Ю. Б. Корнеева. СПб. «Искусство». 1996. 447 стр. 5000 экз. Формат 71×84 мм.

Реми де Гурмон. Книга масок. Перевод с французского Е. М. Блиновой, М. А. Кузьмина. Томск. Издательство «Водолей». 1996. 224 стр. 1000 экз.

Портреты пятидесяти трех французских и бельгийских писателей второй половины XIX — начала XX века (Метерлинк, Верхарн, Малларме, Рембо, Верлен, братья Гонкур и другие), принадлежащие перу популярного в России начала века Реми де Гурмона (1858 — 1915).

В. И. Даль. Пословицы русского народа. В 3-х томах. СПб. «Диамант». 1996. 20 000 экз. Том 1 — 478 стр. Том 2 — 478 стр. Том 3 — 478 стр.

Жан Жироду. Эглантина. Роман. Перевод с французского И. Волевич. М. «МИК». 1996. 192 стр. 10 000 экз.

Лао Цзы. Дао Дэ Цзин. Поэтическое переложение. Перевод О. Борушко. М. «Вагриус». 1996. 162 стр. 4000 экз.

Булат Окуджава. Чаепитие на Арбате. Стихи разных лет. М. «ПАН». 1996. 638 стр. 10 000 экз.

Полное собрание песен Битлз. В 2-х книгах. Составление, перевод, введение, примечания И. Полуяхтова. М. «Янус». 1996. 25 000 экз. Книга 1 — 288 стр. Книга 2 — 286 стр.

Николай Рубцов. Осенняя луна. Книга избранной лирики. Составитель О. Дмитриев. М. «Московский рабочий». 1996. 175 стр. 5500 экз.

Собрание старинных русских романсов. Антология. Том первый. Романсы пушкинской поры. 1825 — 1843. Авторы-составители Е. Л. Уколова, В. С. Уколов. М. Издательство МАИ. 1996. 352 стр. 5000 экз.

Виктор Соснора. Ремонт моря. Сцены. СПб. Библиотека альманаха «Петрополь». 1996. 88 стр.

Краткие драматические сцены, написанные известным поэтом в 60-е годы. «Сценические композиции, фантазмагории, мистерии, — поясняет их жанр автор. — ..Для чего театр, как не для клоунады? А клоунада — всегда актуальна. Вот почему я решил вынуть эти никогда и нигде не напечатанные сцены и развлечь ими современного читателя».

Иван Твардовский. Родина и чужбина. Книга жизни. Смоленск. «Посох», «Русич». 1996. 351 стр. 5000 экз.

Тибетские сказки. Из собрания Норбу Чопела. Перевод К. Степаненко. М. «Путь к себе». 1996. 128 стр. 10 000 экз.

Виктория Токарева. Лошади с крыльями. Повести, рассказы. М. «Локид». 1996. 412 стр. 35 000 экз.

Саша Черный. Стихотворения. Вступительная статья К. И. Чуковского. Биографическая справка, составление, подготовка текста, примечания Э. М. Шнейдермана. СПб. «Петербургский писатель». (В серии «Библиотека поэта»). 1996. 655 стр. 5000 экз.

Геннадий Шалогин. В чеховском саду. Стихотворения. Крым. Ялта. 1996. 90 стр.

В. Шаров. След в след. Роман. М. «Наш дом — L'Age d'homme». 1996. 254 стр. 3000 экз.

●

А. Афанасьев. Происхождение мифа. Статьи по фольклору, этнографии и мифологии. Составление, подготовка текста, статья, комментарии А. Л. Топоркова. М. «Индрик». 1996. 638 стр. 2000 экз.

А. Белый. Мастерство Гоголя. М. «МАЛП». 1996. 352 стр. 5000 экз.

Н. А. Бердяев. Алексей Степанович Хомяков. Томск. Издательство «Водолей». 1996. 160 стр.

Монография не переиздавалась в России с 1912 года.

Ю. Г. Виленский, В. В. Навроцкий, Г. А. Шалюгин. Михаил Булгаков и Крым. Симферополь. «Таврия». 1996. 144 стр. 10 000 экз.

О крымских адресах писателя (Коктебель, Судак, Ялта, Мисхор), встречах с Волошиным, Спендиаровым, о крымских реалиях в творчестве Булгакова и, в частности, о новых сведениях к творческой истории пьесы «Бег». Книга киевлянина Виленского (автора книги «Доктор Булгаков»), крымского краеведа Навроцкого и филолога, директора Ялтинского дома-музея А. П. Чехова Шалюгина.

Н. Вулих. Овидий. М. «Молодая гвардия — ЖЗЛ», «Соратник». 1996. 280 стр. 10 000 экз.

Индуизм. Джайнизм. Сикхизм. Словарь. Под общей редакцией М. Ф. Альбедиль, А. М. Дубянского. М. «Республика». 1996. 576 стр. 10 000 экз.

Н. Макиавелли. Государь. Рассуждения о первой декаде Тита Ливия. О военном искусстве. Предисловие, комментарии Е. И. Темнова. М. «Мысль». 1996. 639 стр. 10 000 экз.

Иван Прыжов. 26 московских пророков, юродивых, дур и дураков, и другие труды по русской истории и этнографии. Вступительная статья Л. Я. Лурье. Комментарии М. С. Альтмана под редакцией Л. Я. Лурье. СПб. «ЭЗРО» — М. «ИНТРАДА». 1996. 214 стр. 3000 экз.

В сборник вошли программные документы Конституционно-демократической партии (1827 — 1885) вошли также работы: «Исповедь», «Русские кликуши», «История кабаков в России», «Записки о Сибири».

М. И. Пыляев. Забытое прошлое окрестностей Петербурга. Издание с дополнениями М. И. Пыляева, научным комментарием, именным указателем, аннотированными иллюстрациями. Составители: В. И. Витязева, О. В. Миллер. Под научной редакцией В. И. Витязевой. СПб. Лениздат. 1996. 669 стр. 7000 экз.

Переиздание книги известного петербургского краеведа Михаила Ивановича Пыляева (1842 — 1887); впервые была издана в 1887 году.

Российские либералы. Кадеты и октябристы. (Документы, воспоминания, публицистика). Составители Д. Б. Павлов, В. В. Шелохаев. М. «Российская политическая энциклопедия» (РОССПЭН). 1996. 304 стр. 1500 экз.

В сборник вошли программные документы Конституционно-демократической партии, «Союза 17 октября», «Прогрессивного блока» и других либеральных партий и организаций, а также публицистические выступления П. Струве, П. Милюкова, Н. Бердяева, А. Кауфмана, А. Гучкова и других.

Составитель С. Костырко.



ПЕРИОДИКА



«Арион», «Вопросы литературы», «День и ночь», «Диалог. Карнавал. Хронотоп», «Досье-ЛГ», «Дружба народов», «Звезда», «Знамя», «Книжное обозрение», «Континент», «Москва», «Наш современник», «Нева», «Независимая газета», «Октябрь»

Юрий Архипов. Веймарские находки. — «Москва», 1996, № 6.

История великой герцогини Саксен-Веймарской Марии Павловны, сестры Александра I и Николая I, в изложении Ю. Архипова едва ли не интереснее адресованных ей писем Карамзина, Жуковского, Одоевского, обнаруженных в веймарских архивах.

Дмитрий Бавильский. Человек без свойств. — «Октябрь», 1996, № 7.

О влиянии компьютера на литературное творчество. В качестве примеров рассматриваются книги В. Шарова «Мне ли не пожалеть...», А. Бородины «Гонщик», А. Королева «Эрон», В. Пелевина «Чапаев и Пустота», Л. Соколовского «Ночь и рассвет», А. Левкина «Письма к ангелам».

Василий Белов. Душа бессмертна. Рассказ. — «Наш современник», 1996, № 7.

Писатель, испытывающий душевный разлад, слушает осенью в деревенской избе «Времена года» Чайковского и думает о своих родных, о бессмертии, о Приднестровье.

Владимир Бушин. Зачем он не послушал брата Марка!.. — «Наш современник», 1996, № 7.

Многословный памфлет против Льва Копелева.

Лариса Ванеева. Новые рассказы. — «День и ночь». Литературный журнал для семейного чтения (Красноярск). 1996, № 3 (апрель — июнь).

«Сестра-блудница», «Дом на болоте», «Уловка концепции» — короткие рассказы (с православным акцентом).

Михаил Гаспаров. Природа и культура в «Грифельной оде» Мандельштама. — «Арион». Журнал поэзии. 1996, № 2.

Текст доклада, прочитанного в РГГУ в сентябре 1995 года. Полный текст исследования «„Грифельная ода“ Мандельштама: история текста и история смысла» печатается в журнале «Philologica».

Эмма Герштейн. Неизвестное письмо Анны Ахматовой Кл. Ворошилову. Новые документы из судебного дела Л. Гумилева. — «Знамя», 1996, № 7.

Письмо Анны Ахматовой к Ворошилову от 10 февраля 1954 года с просьбой о спасении осужденного сына и пространно мотивированный отказ, подписанный Генеральным прокурором Р. Руденко.

Евгений Евтушенко. Если бы все датчане были евреями... Пьеса. — «Дружба народов», 1996, № 7.

В оригинальной, несколько аляповатой манере отображен один из трагических эпизодов Второй мировой войны. Среди действующих лиц — немецкий майор с сексуальными комплексами, красавица еврейка, просящая за своего отца, человек в железном ошейнике и деревянной бочке без дна... Все стараются говорить афоризмами.

Евтушенко продолжаетеся! — «Книжное обозрение», 1996, № 32, 13 августа.

«Подписанты», «На смерть Левитанского», «Горбачев в Оклахоме», «Двадцать первый век» и другие новые стихотворения Евгения Евтушенко предваряются отчетом А. Щуплова о творческом вечере поэта в Политехническом. Стихи входят в его новую книгу «Бог бывает всеми нами...».

Из семейной переписки А. А. Ахматовой. Публикация, вступительная заметка и примечания Л. А. Зыкова. — «Звезда», 1996, № 6.

Девяносто писем 1925 — 1966 годов из семейного архива И. Н. Пуниной и одно — из фондов РНБ. Дом. Быт. Дела издательские. Вообще атмосфера.

История города Глухова: будет ли у нее конец? — «Досье-ЛГ», 1996, № 2.

Тематический номер, посвященный Салтыкову-Щедрину. Среди наиболее интересных материалов: «Щедринский словарь», а также ремейки Виктора Шендеровича «Как мы сели в лужу. Жизнеописание города Почесалова от царя Алексея Михайловича до наших дней» и Вячеслава Пьецуха «„Искусственный человек“ (Из повести „История города Глухова в новые и новейшие времена“)». А также статья Инны Ростовцевой «Как рыба ушел в глубину. Салтыков-Щедрин — о читателе». А также «интервью», взятое у классика В. Лакшиным. А также «Хроника, написанная оглоблей» — отклик Михаила Кураева на мемуары президента Ельцина. Более всего мнеглянулась статья С. Лесневского «Почему я не люблю Салтыкова-Щедрина».

Юрий Колкер. Почему я ретроград. — «Нева», 1996, № 7.

Рубрика «Письмо из эмиграции». Декларация поэта Юрия Колкера (род.в 1946), в настоящее время живущего в Лондоне, была читана 13 февраля 1995 года в School of Slavonic and European Studies (SSEES), University of London, в качестве введения к стихам. «Мы хорошо знаем, чем обернулся для России и мира авангардизм в политике. Будь мы последовательны, мы признали бы, что и авангардное искусство имеет ту же природу... Посмотрев на поэзию при свете совести, мы не сможем отрицать, что глобальный эксперимент со словом провалился совершенно так же, как эксперимент с властью народа... Консервативная эстетика аскетична и обращена в будущее. Она отстраняет языческое божество, именуемое духом времени и сулящее сиюминутный успех... Консервативная эстетика обращена в будущее потому, что не верует человеку дел сверхчеловеческих, не преувеличивает наших возможностей. Писать отчетливо, артикулировать свою мысль и свое чувство — значит говорить с читателем как с равным, не самоутверждаясь за его счет».

Владимир Крупин. Костя отмучился. — «Наш современник», 1996, № 7.

Окончание повести «Прощай, Россия, встретимся в раю». См. № 12 за 1991 год.

Александр Кушнер. Здесь, на земле... — «Знамя», 1996, № 7.

Воспоминания и размышления об Иосифе Бродском.

Михаил Лайков. Возвращение в дождь. Роман. — «Москва», 1996, № 6.

«Один поживший на свете человек догадался, что он прожил не свою жизнь, что он прожил жизнь другого человека, того, кого он убил тридцать лет назад».

Юрий Малецкий. Любью. Fugue in fusion. — «Континент», № 88 (1996, № 2).

Любовь. Нелюбовь. Смысл жизни. Судьба России. Семья. Смерть. Жанр романа (повести?) определен автором как «фуга в стиле фьюжн». Стиль «фьюжн» в современной музыке — это синтез различных музыкальных стилей (джаз, рок и др.). «Новый мир» предполагает отрецензировать это произведение.

о. Александр Мень. Воспоминания. — «Континент», № 88.

Устные воспоминания о. Александра были записаны им на магнитофонную ленту (общая продолжительность звучания около трех часов) между ноябрем 1977 и августом 1978 года. При подготовке к печати сделаны минимальные купюры. Некоторые куски текста переставлены в более логичный по сюжету порядок. Примечания составлены Павлом Михайловым.

Екатерина Мещерская. Жизнь некрасивой женщины. История одного замужества. — «Москва», 1996, № 7, 8.

Автобиографические записки княжны Екатерины Александровны Мещерской (1904 — 1995) относятся к периоду ее жизни в Москве 20-х годов и читаются, как роман. Фрагменты воспоминаний Е. А. Мещерской публиковались в «Новом мире» (1988, № 4) под названием «Трудовое крещение».

Н. Моисеева. Ошибка в биографии Достоевского. — «Вопросы литературы», 1996, № 4.

О том, что у Достоевского не было эпилепсии.

Александр Образцов. Самоорганизация культуры. — «Независимая газета», 1996, № 125, 11 июля.

Петербургский литератор А. О. (*напористо*): «Что сделал Пушкин? Изобрел и выпестовал русскую критику, по черной своей исторической роли сравнимую только с тайной охранкой. Создал фальшивый и расплывчатый образ «положительного героя», как бледную копию бездарного Байрона. Больше других в русской истории (за исключением разве Петра Первого) способствовал крушению православия в России. Создал фальшивый и расплывчатый образ «русской души», так называемой Татьяны Лариной, — чудовищного конгломерата, заимствованного из тогдашней французской и английской прозы не лучшего качества, уровня Вальтера Скотта. Поучающий характер пушкинских химер (от «Кавказского пленника» до «Выстрела») позволил впоследствии приспособлять эти химеры под любые идеологические разработки. Можно, конечно, найти в «Капитанской дочке» все русские родовые черты, но проще поискать там отго-

лоски авангардного европейского романа того же Вальтера Скотта. Надо понимать, что начиная с лубочного «Руслана» Пушкин принципиально своего не открыл, а национального не разработал. Сидя в Михайловском, получая книги из Парижа, можно задохнуть на корню, если не шить иногда по выкройкам нечто вроде «Графа Нулина» или сюжета для оперы «Борис Годунов»...»

Московский критик А. В. *(застенчиво)*: Мне хотелось бы заступиться за охранку.

Борис Пастернак. Книга любви и верности. Письма к Нине Табидзе. Предисловие, публикация и примечания Е. Б. Пастернака. — «Дружба народов», 1996, № 7. Письма 1939 — 1960 годов.

Евгений Пастернак. Из воспоминаний. — «Звезда», 1996, № 7.

Годы 20 — 50-е. «Мамочка», «папочка» (буквально так), Зинаида Николаевна, Ольга Всеволодовна, Нобелевская премия и проч. Много любопытных, иногда трогательных подробностей.

Евгений Попов. Обмен валюты. Рассказ. — «День и ночь». Литературный журнал для семейного чтения (Красноярск). 1996, № 3 (апрель — июнь).

Сибиряк Небритых и коммунист Горчаков стоят в очереди в пункт обмена валюты «на улице какого-то отмененного вождя с полузабытой фамилией». Разговоры. Происшествия. Фантазии.

Прошлое, настоящее, будущее России. Первые Чтения памяти Владимира Максимова «От диссидентства к демократии». — «Континент», № 88.

Лев Аннинский (Москва), «Необрывающийся диалог». Мишель Окутюрье (Париж), «Диссидентство, или Реванш литературы». Юрий Покальчук (Киев), «Эволюция диссидентства: национальные особенности». Алексис Берелович (Париж), «Демократия, власть, интеллигенция». Жорж Нива (Женева), «Нужно ли плакать по диссидентству?». Пять выступлений на прошедших в Париже в марте 1996 года Первых Читениях памяти Владимира Максимова. Еще пять выступлений — Л. Пияшевой, А. Зубова и других — планируется опубликовать в следующем номере «Континента» (№ 89).

О. Розеншток-Хюсси. Коперниковский переворот в грамматике. Публичная лекция. Предисловие, перевод с немецкого и комментарии А. И. Пигалева. — «Диалог. Карнавал. Хронотоп». Журнал научных разысканий о биографии, теоретическом наследии и эпохе М. М. Бахтина (Витебск). 1996, № 1 (14).

Немецко-американский мыслитель Ойген Розеншток-Хюсси (Eugen Rosenstock-Huussy; 1888 — 1973), как и наш соотечественник М. М. Бахтин, относится к традиции «диалогического мышления». В России уже публиковались некоторые его работы, в частности книга «Речь и действительность» (М. «Лабиринт». 1994). Переводчик предлагаемой ныне лекции о феномене языка А. Пигалев так определяет стиль изложения, присущий этому автору: «Нарочито ровный, он тем не менее заключает в себе изрядную дозу интеллектуальной провокации, когда положения, шокирующие академическую ученость, проговариваются совершенно спокойно и подаются чуть ли не в качестве „самих собой разумеющихся“».

Составитель Андрей Василевский.

ИЗ ЛЕТОПИСИ «НОВОГО МИРА»

Декабрь

30 лет назад — в № 12 за 1966 год напечатаны «Стихи из записной книжки» А. Твардовского, а также не публиковавшаяся ранее статья Д. И. Менделеева «Какая же Академия нужна в России?».

35 лет назад — в № 12 за 1961 год напечатаны «Записные книжки» И. Ильфа.

50 лет назад — в № 12 за 1946 год напечатан «Репортаж с петлей на шее» Юлиуса Фучика.

70 лет назад — в № 12 за 1926 год напечатано стихотворение Вл. Маяковского «Разговор на Одесском рейде судов: „Советский Дагестан” и „Красная Абхазия”».

СОДЕРЖАНИЕ ЖУРНАЛА «НОВЫЙ МИР» ЗА 1996 ГОД



РОМАНЫ. ПОВЕСТИ. РАССКАЗЫ

Анатолий Азольский. Клетка. Повесть. V — 6; VI — 144.

Виктор Астафьев. Обертон. Повесть. VIII — 3.

Георгий Балл. Три коротких рассказа. X — 128.

Андрей Битов. Жизнь без нас. Стихопроза. IX — 65.

Юрий Буйда. Три рассказа. VIII — 136.

Равиль Бухараев. Дорога Бог знает куда. Книга для брата. XII — 3.

Юрий Волков. Ольга. Повесть. II — 27.

Андрей Волос. Три рассказа. IX — 109.

Ян Гольцман. Голоса тишины. Рассказы. XII — 89.

Борис Екимов. Два рассказа. II — 3. — Рассказы. X — 3.

Сергей Зальгин. Свобода выбора. Роман без сюжета. VI — 35.

Фазиль Искандер. Мимоза на Севере. Рассказ. III — 52. — Авторитет. Рассказы. XI — 3.

Гелий Ковалевич. Нашествие. Ремонт. Рассказы. XI — 98.

Олег Ларин. С Егорычем в магазин. Туда и обратно. Сцены из захолустной жизни. VII — 96.

Дмитрий Липскеров. Сорок лет Чанчжоэ. Роман. VII — 3; VIII — 58.

Павел Мейлахс. Придурок. Рассказ. III — 74.

Вильям Озолин. Король Лир, принц Гамлет и печник Зверев. Рассказ. X — 120.

Григорий Петров. Царство земное и небесное. Рассказ. II — 51.

Ирина Поволоцкая. Три рассказа. VII — 126.

Вячеслав Пьещух. Ночные бдения с Иоганном Вольфгангом Гёте. Рассказ. V — 77.

Владимир Сапожников. Анютины глазки. Рассказ. V — 107.

А. Солженицын. На изломах. Двучастный рассказ. VI — 3.

Фред Солянов. Житие колокольного литца. VIII — 149.

Лилия Стрельцова. Колымские истории. I — 50.

Людмила Улицкая. Медя и ее дети. Семейная хроника. III — 3; IV — 7.

Антон Уткин. Хоровод. Роман. IX — 3; X — 28; XI — 21.

Виктория Фролова. Цыпленок летящий. Рассказ. II — 82.

Юрий Черняков. Последний сеанс. Рассказ. I — 80.

Галина Щербакова. У ног лежащих женщин. Повесть. I — 3.

Юлию Эдлис. Два рассказа. XI — 87.

Сергей Яковлев. Ловушка. Рассказ. IV — 83.

СТИХИ И ПОЭМЫ

Алексей Алексин. Корабль дураков. VIII — 52.

Иосиф Бродский. Крики дублинских чаек! Конец грамматики. V — 67.

Вечные книги и вещи среди Семена Гринберга. Я поселился посреди земли. Вступительное слово и примечания Михаила Горелика; Эльмира Котляр. Роскошное местечко; Михаил Кравцов. И бесплодное семя приносит плоды. IV — 110.

Алина Витухновская. Мы жили-были в тире. V — 98.

Ян Гольцман. Озерные песни. VII — 92.

Виктор Гофман. Когда желтый ветер дохнет по озябшим скверам. XII — 86.

Леонид Григорьян. Перо и рука. II — 96.

Лев Гумилев. Диспут о счастье. Пояснения к публикации И. Питляра. I — 88.

Елена Елагина. Воздушными глазами. VII — 120.

Ольга Ермолаева. Грибоедов. Три отрывка из поэмы. X — 115.

Тамара Жирмунская. Дом и храм. VIII — 55.

Леонид Завальнюк. Все люблю и ничего не жду. VII — 155.

Даур Зантария. Вот и плоды висят. XII — 111.

Натан Злотников. Следы на дне. XII — 81.

Нина Искренко. Принимая покой как наркотик. Вступительное слово Игоря Иртеньева. XI — 109.

Инна Кабыш. Место встречи. I — 41.

Евгений Карасев. По былинам сего времени. VIII — 130.

Николай Кононов. Сумма обстоятельств. XI — 82.

Владимир Корнилов. И вечный зашумит камыш. IV — 3.

Лев Котюков. Сны погибших. VII — 153.

Юрий Кублановский. Полустанок. III — 70.

Марина Кудимова. Бал. VI — 137.

Александр Кушнер. Это я говорю тебе, вопреки... III — 47.

Владимир Левинзон. Звонок. VI — 142.

Семен Липкин. В первый день. V — 3.

Олеся Николаева. Эн-ден-ду. II — 71.

Денис Новиков. И увиденным был прельщен. V — 103.

Иван Обласов. Колокола и облака. VII — 123.

Лев Озеров. Из последних стихов. VII — 152.

Вера Павлова. Духи и буквы. III — 94.

Михаил Поздняев. Кармен. VI — 26.

Игорь Померанцев. По классу фортепиано. VIII — 134.

Александр Ревич. Тарханская элегия. VI — 139.

Евгений Рейн. Она вошла в каком-то темном платье. II — 23. — Солнечные часы. XI — 18.

Лев Рубинштейн. Невозможно охватить все существующее. I — 69.

Юрий Ряшенцев. На траве у веранды. X — 24.

Генрих Сапгир. Жар-птица. IV — 80.

Михаил Соковнин. Мель с разводами ветчины. Публикация Ивана Ахметьева. IX — 125.

Роман Солнцев. Ты мимо на плоту летишь. XII — 114.

Вадим Степанцов. Владимир. X — 118.

Илья Фаликов. Музыка ребер. XII — 83.

Маэль Фейнберг. «О нет, я не осталась жить — я с вами!..». Публикация и предисловие Владимира Глоцера. X — 132.

Олег Хлебников. Пробоина в воздухе. XII — 109.

Олег Чухонцев. Закрытие сезона. Descriptio. IX — 61.

Александр Шаталов. Изморозь, оторопь... II — 77. — Без начала и повода. IX — 100.

НОВЫЕ ПЕРЕВОДЫ

Джеймс Владимир Гил. Окладбищенство. Рассказ. Перевел с английского Дмитрий Чекалов. А. Кушнер. Под швейцарским флагом. I — 91.

Шамай Голан. Похороны. Рассказ. Авторизованный перевод с иврита Анатолия Кудрявицкого. XII — 115.

Витольд Гомбрович. Из «Дневника». Перевод с польского и примечания Ю. В. Чайникова. XI — 113.

Антонио Табуки. Два рассказа. Перевел с итальянского Валерий Николаев. VIII — 160.

Торнтон Уайлдер. К небу мой путь. Роман. Перевел с английского А. Гобузов. II — 98; III — 97; IV — 125; V — 122.

ДНЕВНИКИ. ВОСПОМИНАНИЯ

А. Боровой. Мой Чернобыль. Вступительное слово С. Залыгина. III — 132.

Юрий Глазов. Ранний Сахаров. VII — 165.

Игорь Дедков. «Как трудно даются иные дни!». Из дневниковых записей 1953 — 1974 годов. Публикация и примечания Т. Ф. Дедковой. IV — 173; V — 135.

Н. Коржавин. В соблазнах кровавой эпохи. Часть вторая. I — 152; II — 123.

Томас Манн. Из дневников. Перевод с немецкого, предисловие и комментарии Игоря Эбаноидзе. I — 181.

В. Садовников. «Оттепель» в зоне. VII — 157.

ДНЕВНИК ПИСАТЕЛЯ

Владимир Березин. О Твардовском. III — 181.

Игорь Золотусский. Неистовый Фиглярин. II — 194. — Путешествие к Набокову. Из дневника одной телевизионной поездки. XII — 185.

Юрий Кублановский. Мертвым не больно? I — 107.

Михаил Кураев. Путешествие из Ленинграда в Санкт-Петербург. Путевые заметки. X — 160.

Александр Кушнер. Заметки на полях. V — 203.

Анатолий Найман. Один, двое, трое. XI — 147.

Марина Новикова. Месяцеслов. VIII — 195.

ПУБЛИЦИСТИКА

В. Волконский, Г. Пирогов. Российская экономика на распутье. I — 117.

Сергей Зальгин. Моя демократия. Заметки по ходу жизни. XII — 130.

Е. Стариков. Новые профсоюзы перед соблазном фашизма. I — 132. — Разные русские. IV — 160.

ИЗ ЛИТЕРАТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

Георгий Семенов. Убегающий от печали. Публикация и предисловие Елены Семеновой. IX — 131.

«...Я человек негнувшийся и своевольный. Таким и останусь». Письма Е. И. Замятина разным адресатам. Публикация Т. Т. Давыдовой и А. Н. Тюрина. Вступительная статья, перевод с английского и комментарии Т. Т. Давыдовой. X — 136.

ОЧЕРКИ НАШИХ ДНЕЙ

Б. Екимов. На распутье. VI — 169.

ВРЕМЕНА И НРАВЫ

Сергей Аверинцев. Моя ностальгия. I — 140.

Сергей Костырко. Дом сталинского лауреата. I — 145.

Дмитрий Лихачев. Детство с Куоккалой и Достоевским. Обрывки воспоминаний. XI — 156.

А. Михеев. Записки мелкого предпринимателя. XI — 159.

Владимир Ошеров. В нравственном тупике. Вступительное слово Юрия Кублановского. IX — 157.

Ермолай Солженицын. От горсти риса — до сотовой связи. По китайским впечатлениям. XII — 170.

ФИЛОСОФИЯ. ИСТОРИЯ. КУЛЬТУРА

Павел Басинский. Хам уходящий. «Грядущий Хам» Д. С. Мережковского в свете нашего опыта. XI — 212.

Павел Кузнецов. Евразийская мистерия. II — 163.

В. Непомнящий. Удерживающий теперь. Феномен Пушкина и исторический жребий России. V — 162.

«О пламенном хоре, которого нет на земле». Разговор о творчестве Даниила

Андреева с участием Бориса Романова, прот. Валентина Дронова, Владимира Микушевича, Станислава Джимбинова, Светланы Семенович, Василия Морова, Аллы Андреевой. Запись беседы и подготовка текста Татьяны Антонян. X — 203.

Елена Орловская-Бальзамо. Человек в истории: Солженицын и Ипполит Тэн. Перевела с французского Дарья Румянцова. VII — 195.

А. Панарин. О возможностях отечественной культуры. IX — 177.

Дани Савелли. Дракон, гидра и рыцарь. II — 187.

Предварительные итоги XX века

Марина Новикова. Соблазны. V — 191.

ПУБЛИКАЦИИ И СООБЩЕНИЯ

Андрей Арьев. Встречи с Л. XII — 198.

В начале и в конце жизни. Переписка Г. В. Рочко с В. В. Розановым и А. Т. Твардовским. Публикация, подготовка материалов, сопроводительный текст и комментарии С. Г. Хлавна (Рочко). III — 190.

В. Попов. Паспортная система советского крепостничества. VI — 185.

В. Шенталинский. Яшка Кошелек и Владимир Ленин. IV — 191. — Свой среди своих. Савинков на Лубянке. VII — 172; VIII — 170. — Донос на Сократа. XI — 167.

В МИРЕ ИСКУССТВА

Алена Злобина. Когда бы грек увидел наши игры... Классика на современной сцене. XI — 198.

Александр Соколянский. ...а только гость случайный. Выставка «Москва — Berlin. Берлин — Moskau. 1900 — 1950». Заметки посетителя. VI — 204.

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

Дмитрий Бак. Биография непрожитого, или Время жестоких чудес. Фантастика Станислава Лема на рубеже столетий. IX — 193.

Павел Басинский. Мужики и बारे. Старая тема и новая литература. IV — 202.

Наталья Иванова. Между. О месте критики в прессе и литературе. I — 203.

Татьяна Касаткина. «Но страшно мне: изменишь облик ты...». IV — 212.

Сергей Костырко. О критике вчерашней и «сегодняшней». По следам одной дискуссии. VII — 212.

Ирина Роднянская. Герменевтика, экспертиза, дегустация, санэпиднадзор. VII — 223.

В. Сердюченко. Могикане. Заметки о прозе «отцов» в постсоветской литературной ситуации. III — 217.

Царь-книга для чтения... и для раздражения? **Е. Н. Лебедев.** Достойный себя монумент; **Алексей Пурин.** Царь-книжка; **Владислав Кулаков.** Преждевременные итоги; **М. Л. Гаспаров.** Книга для чтения. II — 205.

А. Чудаков. «Между «есть Бог» и «нет Бога» лежит целое громадное поле...». Чехов и вера. IX — 186.

ПО ХОДУ ДЕЛА

Александр Архангельский. Пепел остывших полемик. I — 215. — Классика школьного ряда. III — 225. — ...и приветствую звоном щита. V — 217. — Прощай... и помни обо мне. VII — 226. — «Кто там шагает правой?..». IX — 208. — Из опыта плавающего и путешествующего. XI — 229.

Никита Елисеев. Отчего дрожит рука? II — 216.

Евгений Ермолин. Собеседники хаоса. VI — 212.

Сергей Костырко. Что имеем, не храним... X — 216.

Валерий Сендеров. В мутном зеркале ликописания. IV — 220.

КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

Роман Арбитман. Из чего сделано кресло президента США (Том Клэнси. Все страхи мира. Роман. Том Клэнси. Реальная угроза. Роман. Том Клэнси. Кремлевский «Кардинал». Роман. Том Клэнси. Без жалости. Роман). V — 226.

Александр Архангельский. Странные сближения (Марина Новикова. Пушкинский космос. Языческая и христианская традиции в творчестве Пушкина). VI — 215.

Андрей Арьев. Свидание после развода. (Поздние петербуржцы: поэтическая антология). I — 220.

Павел Басинский. ...и его армия. (Виктор Астафьев. Так хочется жить. Повесть). I — 218.

Леонид Бахнов. Интеллигенция поет блатные песни. (В нашу гавань заходили корабли. Песни). V — 220.

Татьяна Бек. Предшествование — и шестые вперед (Сергей Бирюков. Знак бесконечности. Стихи и композиции. Сергей Бирюков. Gloria tibi). X — 221.

Сергей Бирюков. Оттенки тревожного (Геннадий Калашников. С железной дорогой в окне. Стихотворения). X — 226.

Сергей Бочаров. На Аптекарский остров... (Андрей Битов. Первая книга автора. /Аптекарский проспект, 6/). XII — 210.

Михаил Бутов. Памяти черепахи (Сева Новгородцев. Рок-посевы. Радиорассказы с картинками). V — 224.

Андрей Василевский. Особенности и вибрации (Николай Федорович Болдырев. Ностальгия по пейзажу. Книга эссе). XII — 231.

Евгения Воробьева. В поисках «Поисков...» (Жан-Франсуа Ревель. О Прусте. Размышляя о цикле «В поисках утраченного времени»). IX — 225.

Рената Гальцева. Об умирании искусства (В. В. Вейдле. Умирание искусства. Размышления о судьбе литературного и художественного творчества). X — 228.

Борис Давыдов. Всего и надо, что вчитаться (Михаил Городинский. Позабудем свои неудачи). VII — 237.

А. Доброхотов. Мысль на путях жизни (Мераб Мамардашвили. Лекции о Прусте). III — 232.

Никита Елисеев. Морок Александра Бородыни (А. Бородыня. Гонщик. А. Бородыня. Шелковый след. А. Бородыня. Цепной щенок). VII — 233. — Другие истории (Малоизвестный Довлатов). XI — 232.

Евгений Ермолин. Русский сад, или Виктор Ерофеев без алиби (В. В. Ерофеев. Русская красавица. Роман. Рассказы. В. В. Ерофеев. В лабиринте проклятых вопросов. Эссе. В. В. Ерофеев. Страшный суд. Роман. Рассказы. Маленькие эссе). XII — 227.

Алексей Зверев. Сплетение без стебля (Современное зарубежное литературоведение (страны Западной Европы и США): концепции, школы, термины. Энциклопедический справочник). VIII — 225.

Алена Злобина. Гари-Ажар, единый в двух лицах (Ромен Гари. Избранное. Эмиль Ажар. Голубчик). II — 231. — Платонический театр (Михаил Угаров. Зеленые щеки апреля). VIII — 209. — Отражения настоящего

(Том Стоппард. Аркадия. Пьеса в двух действиях). IX — 216.

Майя Злобина. Гибель в пути, или Неизвестный Камю (Альбер Камю. Первый человек. Главы из романа). II — 226. — Свободный голос (Анна Берзер. Сталин и литература). VI — 232.

Олег Зубов. Такой вот странный шпион (Олег Царев, Джон Костелло. Роковые иллюзии). XII — 233.

Сергей Кабалоти. Рассвет у Газданова? (Гайто Газданов. Собрание сочинений в трех томах). XI — 235.

Татьяна Казарина. В поисках своей стороны (Геннадий Головин. Чужая сторона. Повести и рассказы. Геннадий Головин. Стрельба по бегущему оленю). IV — 228.

Татьяна Касаткина. Философские камни в печени (Венедикт Ерофеев. Оставьте мою душу в покое: Почти всё). VII — 228. — В поисках другой половины (Дмитрий Бакин. Страна происхождения. Рассказы). VIII — 213.

Алексей Козырев. Философ в политике (Е. Н. Трубецкой. Миросозерцание В. С. Соловьева). III — 228. — Новый альманах о Достоевском (Достоевский и мировая культура. Альманах). XII — 219.

Марлен Кораллов. Сесть на рельсу! (Чабуа Амиреджиби. Гора Мборгали). II — 220.

Юрий Кублановский. Последние годы Густава Шпета (Шпет в Сибири: ссылка и гибель). IV — 235. — Спасение через слово (Александр Солженицын. Публицистика. Т. 1. Статьи и речи). VI — 227. — «Неотшлифованный самородок» (К. Н. Леонтьев. Личность и творчество Константина Леонтьева в оценке русских мыслителей и исследователей. Антология. Pro et contra). IX — 220.

Игорь Кузнецов. Чистые и нечистые (Славянская мифология. Энциклопедический словарь; Русский демонологический словарь; М. Власова. Новая абевага русских суеверий. Иллюстрированный словарь). III — 237. — Миру — миф (Мирча Элиаде. Аспекты мифа; Демонология эпохи Возрождения (XVI — XVII вв.); К. В. Душенко. Русские политические цитаты от Ленина до Ельцина. Что, кем и когда было сказано). IX — 228.

Ольга Кузнецова. Представление продолжается (Сергей Гандлевский. Праздник. Книга стихов). VIII — 216. — Тридцатая любовь Алены (Валерий Попов. Разбойница. Роман). XI — 241.

Валерий Липневич. Белый квадрат (Владимир Бурич. Тексты. Книга вторая. Стихи. Парафразы. Из записных книжек). X — 220.

С. Ломинадзе. Предварительные заметки (Владимир Набоков. Лекции по русской литературе). XII — 213.

Ольга Майорова. «Великолепное панибратство» (Станислав Рассадин. Русские, или Из дворян в интеллигенты). VI — 217.

И. Мочалов. Человек неправдоподобной доброты (Вопросы теоретической физики). II — 236. — Драма творческой личности (М. Г. Ярошевский. Историческая психология науки). X — 233.

Олег Мраморнов. Старший Бахтин (Н. М. Бахтин. Из жизни идей. Статьи, эссе, диалоги). IV — 232.

Александр Носов. Сумбур вместо философии? (Русская философия. Словарь; Русская философия. Малый энциклопедический словарь). VIII — 221.

Ляля Панн. «Как вдруг растормошенная зола...» (В. Гандельсман. «Там на Неве дом...»). Роман в стихах. X — 224.

Евгений Перемьшлев. О людях, богах и зверях (Редьярд Киплинг. Пэкс холмов. Редьярд Киплинг. Награды и феи). VIII — 218.

Ирина Роднянская. Единый текст (Н. А. Заболоцкий. «Огонь, мерцающий в сосуде...»). Стихотворения и поэмы. Переводы. Письма и статьи. Жизнеописание. Воспоминания современников. Анализ творчества). VI — 221. — ...и к ней безумная любовь... (Виктор Пелевин. Чапаев и Пустота). IX — 212. — Род людской (Борис Екимов. Высшая мера. Повести и рассказы). XI — 237.

Константин Сергиенко. На букву «Б», или Не лежи «кверху брюхом» (Б. Г. Федоров. Англо-русский банковский энциклопедический словарь). VII — 239.

Вл. Славецкий. Реставрация ведется (Петр Алешковский. Владимир Чигринцев. Роман. Петр Алешковский. Старгород. Голоса из хора). IV — 224.

Дмитрий Харитонович. Уроки Эрнста Трельча (Эрнст Трельч. Историзм и его проблемы. Логическая проблема философии истории). III — 234.

ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

Л. Айзерман. Факультет ненужных вещей?.. V — 235.

Два письма о российской науке: Б. Думеш. Сколько стоит на-

ука? Б. Харламов. Есть ли у науки шанс выжить? IX — 233.

Надежда Лебедева. Как «лечить» национальную психологию? I — 232.

Лиля Панин. На каменном ветру. III — 241.

К. С. Померанец. «Новый мир» о наводнениях в Петербурге — Ленинграде. X — 237.

Поэзия как состояние. Из стихов и заметок Ивана Соловьева. Публикация и предисловие Михаила Эпштейна. VIII — 230.

А. Савченко. Семь лет рядом со Львом Гумилевым. II — 240.

Аскольд Силин. Телевидение без берегов? I — 227.

Л. Г. Чудова. О «Воспоминаниях» Е. Р. Эйгес. I — 239.

Елена Швецова. Как наше слово отзовется... V — 230.

КОРОТКО О КНИГАХ

Галина Башкирова. — I. Путешествия в Святую Землю. Записки русских паломников и путешественников XII — XX вв. II. Уездный город Богородскъ на старых фотографиях. I — 241.

Андрей Василевский. — Игорь Гергенредер. Птенчики в окопах. Повесть. Игорь Гергенредер. Комбинации против Хода Истории. Повесть. Галина Башкирова. — Анна Левина. Брак по-эмигрантски. Дмитрий Бак. — I. Елена Толстая. Поэтика раздражения. Чехов в конце 1880-х — начале 1890-х годов. II. Татьяна Николеску. Андрей Белый и театр. III. И. Корецкая. Над страницами русской поэзии и прозы начала века. IV. Мандельштам и античность. Сборник статей. IV — 239.

Юрий Кублановский. — I. Елена Шварц. Песня птицы на дне морском. II. Евгений Рейн. Сапожок. Книга итальянских стихов. Глеб Шульпяков. — Иосиф Бродский. Пересеченная местность. Путешествия с комментариями. Стихи. V — 242.

Ольга Кузнецова. — I. Александр Генис. Американская азбука. П. Александр Жолковский. Инвенции. III. Андрей Левкин. Письма ангелам; Андрей Левкин. Тварь, больница, клоуны et c.; Андрей Левкин. Смерть в СПб.; Андрей Левкин. Наступление осени в Коломне. VI — 234.

Вл. Славецкий. — I. Александр Коковихин. Около себя. Стихи. II. Ни-

колай Кононов. Лепет. Книга стихов. III. Евгений Блажеевский. Лицом к погоне. Книга стихотворений. Юрий Кублановский. — Валерий Хатюшин. Русская кровь. Поэзия русского сопротивления. VII — 241.

Алексей Козырев. — I. К. Мокульский. Гоголь. Соловьев. Достоевский. II. Л. М. Лопатин. Аксиомы философии. III. Сочинения Василия Васильевича Розанова. Иная земля, иное небо... Полное собрание путевых очерков 1899 — 1913 гг.; О понимании. Опыт исследования природы, границ и внутреннего строения науки как цельного знания. Елена Ознобкина. — «Пирамида». Книжное приложение к журналу «Логос». VIII — 241.

Ольга Майорова. — «Эон». Альманах старой и новой культуры. Ольга Кузнецова. — Ролан Барт. Мифологии. Андрей Василевский. — Вячеслав Курицын. Любовь и зрение. IX — 243.

Елена Ознобкина. — I. О. Пахомова, М. Темчин. Драка с разных точек зрения. II. Н. Ерофеева. Социология. Практический курс. III. А. Доброхотов. Введение в философию. XI — 244.

Татьяна Вольтская. — I. Исторический альманах «Минувшее». II. «Невский архив». Историко-краеведческий сборник. III. «Лица». Биографический альманах. XII — 237.

Зарубежная книга о России. XII — 241; VI, X — 242; I — 244; III — 248.

Русская книга за рубежом. VI — 238; VII — 246; IX — 247.

Книжная полка. XII — 244; V, VI, X — 246; I, XI — 247; IV, VII — 248; IX — 249; II, III, VIII — 251.

Периодика. XII — 246; V, VI, X, XI — 249; I — 250; IV, IX — 251; VII — 252; II, III, VIII — 253.

Авторы этого года

Аверинцев С. (I), Азольский А. (V, VI), Айзерман Л. (V), Алехин А. (VIII), Андреева А. (X), Антонян Т. (X), Арбитман Р. (V), Архангельский А. (I, III, V — VII, IX, XI), Арьев А. (I, XII), Астафьев В. (VIII), Ахметьев И. (IX), Бак Д. (IV, IX), Балл Г. (X), Басинский П. (I, IV, XI), Бахнов Л. (V), Башкирова Г. (I, IV), Бек Т. (X), Березин В. (III), Бирюков С. (X), Битов А. (IX), Боровой А. (III), Бочаров С. (XII), Бродский И. (V),

- Буйда Ю. (VIII), Бутов М. (V), Бухараев Р. (XII), Василевский А. (I — XII), Витухновская А. (V), Волков Ю. (II), Волконский В. (I), Волос А. (IX), Вольская Т. (XII), Воробьева Е. (IX), Гальцева Р. (I, X), Гаспаров М. (II), Гил Д. (I), Глазов Ю. (VII), Глоцер В. (X), Гобузов А. (II — V), Голан Ш. (XII), Гольцман Я. (VII, XII), Гомбрович В. (XI), Горелик М. (IV), Гофман В. (XII), Григорьян Л. (II), Гринберг С. (IV), Гумилев Л. (I), Давыдов Б. (VII), Давыдова Т. (X), Дедков И. (IV, V), Дедкова Т. (IV, V), Джимбинов С. (X), Доброхотов А. (III), Дронов В. (X), Думеш Б. (IX), Екимов Б. (II, VI, X), Елагина Е. (VII), Елисеев Н. (II, VII, XI), Ермолаева О. (X), Ермолин Е. (VI, XII), Жирмунская Т. (VIII), Завальнюк Л. (VII), Залыгин С. (III, VI, XII), Замятин Е. (X), Зантария Д. (XII), Зверев А. (VIII), Злобина А. (II, VIII, IX, XI), Злобина М. (II, VI, X), Злотников Н. (XII), Золотуский И. (II, XII), Зубов О. (XII), Иванова Н. (I), Иргеньев И. (XI), Искандер Ф. (III, XI), Искренко Н. (XI), Кабалоти С. (XI), Кабыш И. (I), Казарина Т. (IV), Карасев Е. (VIII), Касаткина Т. (IV, VII, VIII), Ковалевич Г. (XI), Козырев А. (III, VIII, XII), Кононов Н. (XI), Кораллов М. (II), Коржавин Н. (I, II), Корнилов В. (IV), Костырко С. (I — XII), Котляр Э. (IV), Котоков Л. (VII), Кравцов М. (IV), Кублановский Ю. (I, III — VII, IX), Кудимова М. (VI), Кудрявицкий А. (XII), Кузнецов И. (III, IX), Кузнецов П. (II), Кузнецова О. (VI, VIII, IX, XI), Кулаков В. (II), Кураев М. (X), Кушнер А. (I, III, V), Ларин О. (VII), Лебедев Е. (II), Лебедева Н. (I), Левинзон В. (VI), Липкин С. (V), Липневич В. (X), Липскеров Д. (VII, VIII), Лихачев Д. (XI), Ломинадзе С. (XII), Майорова О. (VI, IX), Манн Т. (I), Мейлахс П. (III), Микшевич В. (X), Михеев А. (XI), Морозов В. (X), Мочалов И. (II, X), Мраморнов О. (IV), Найман А. (XI), Непомнящий В. (V), Николаев В. (VIII), Николаева О. (II), Николеску Т. (III), Новиков Д. (V), Новикова М. (V, VIII), Носов А. (VIII), Обласов И. (VII), Озеров Л. (VII), Ознобкина Е. (VIII, XI), Озоллин В. (X), Орловская-Бальзамо Е. (VII), Ошеров В. (IX), Павлова В. (III), Панарин А. (IX), Панин Л. (III, X), Перемышлев Е. (VIII), Петров Г. (II), Пирогов Г. (I), Питляр И. (I), Поволоцкая И. (VII), Поздняев М. (VI), Померанец К. (X), Померанцев И. (VIII), Попов В. (VI), Пурин А. (II), Пьещух В. (V), Ревич А. (VI), Рейн Е. (II, XI), Роднянская И. (VI, VII, IX, XI, XII), Розанов В. (III), Романов Б. (X), Рочко Г. (III), Рубинштейн Л. (I), Румянцева Д. (VII), Ряшенцев Ю. (X), Савелли Д. (II), Савченко А. (II), Садовников В. (VII), Сапгир Г. (IV), Сапожников В. (V), Семенов Г. (IX), Семенова Е. (IX), Семенова С. (X), Сендеров В. (IV), Сергиенко К. (VII), Сердюченко В. (III), Силин А. (I), Славецкий В. (IV, VII), Соковнин М. (IX), Соколянский А. (VI), Солженицын А. (VI), Солженицын Е. (XII), Солнцев Р. (XII), Солянов Ф. (VIII), Стариков Е. (I, IV), Степанцов В. (X), Стрельцова Л. (I), Табукки А. (VIII), Твардовский А. (III), Тихомирова Е. (VII), Тюрин А. (X), Уайлдер Т. (II — V), Улицкая Л. (III, IV), Уткин А. (IX — XI), Фаликов И. (XII), Фейнберг М. (X), Фролова В. (II), Харитонович Д. (III), Харламов Б. (IX), Хлавна С. (Рочко) (III), Хлебников О. (XII), Чайников Ю. (XI), Чекалов Д. (I), Черняков Ю. (I), Чудаков А. (IX), Чудова Л. (I), Чухонцев О. (IX), Шаталов А. (II, IX), Швецова Е. (V), Шенталинский В. (IV, VII, VIII, XI), Шутьяков Г. (V, IX), Щербакова Г. (I), Эбаноидзе И. (I), Эллис Ю. (XI), Эпштейн М. (VIII), Яковлев С. (IV).

SUMMARY



The poetry section of the issue presents poems by Natan Zlotnikov, Ilya Falikov, Victor Gofman, Oleg Khlebnikov, Daur Zantariya and Roman Solntsev.

We are publishing the book «The Road God Knows Where to» by Ravil Bukharaev, as well as short stories by Yan Goltsman.

The section «New Translations» is presented by the short story «The Funerals» by Israeli prosaist Shamai Golan (translation from Ivrit by Anatoly Kudryavitsky).

«My Democracy», an article by Sergei Zalygin, occupies the section «Publicistics».

In the section «Times and Morals» we are publishing the travel notes by Yermolai Solzhenitsyn about China of nowadays.

The section «Writes's Diary» contains the article «A Travel to Nabokov» by Igor Zolotussky.

In the section «Publications and Reports» we are publishing the article by Andrei Aryev about writer Leonid Dobychin and those who study his works.

In the section «Book Review» Sergei Bocharov reviews the new edition of works by Andrei Bitov; Sergo Lominadze reviews the lectures on Russian literature by Vladimir Nabokov; Alexei Kozyrev reviews a new anthology on Dostoevsky; Yevgeny Yermolin reviews the collected works by Victor Yerofeyev; Andrei Vasilevsky reviews the collected philosophic essays by Nikolai Boldyrev; Oleg Zubov reviews the book by Oleg Tsarev and John Castello about Alexander Orlov, a Soviet intelligence agent and deserter.

In the section «Briefly about Books» we are publishing three reviews by Tat'yana Voltskaya of the historical and biographical anthologies, «The Past», «Faces» and «The Neva Archives».

The issue also presents our traditional sections «Bookshelf» and «Periodics», as well as the contents of the «Novy Mir» magazine of 1996.

Рукописи не рецензируются и не возвращаются.

Редакция не имеет возможности ходатайствовать по частным делам.

Главный редактор С. П. Зальгин

Редакционная коллегия: **М. В. Бутов, А. В. Василевский** (ответственный секретарь), **Р. Т. Киреев** (зам. главного редактора), **С. П. Костырко, Ю. М. Кублановский, С. И. Ларин, О. И. Новикова, И. Б. Роднянская, З. М. Фаткудинов, О. Г. Чухонцев, С. А. Яковлев** (зам. главного редактора)

Общественный совет: **С. С. Аверинцев, В. П. Астафьев, А. Г. Битов, Д. А. Гранин, А. А. Ким, Д. С. Лихачев, А. М. Марченко, П. А. Николаев, М. О. Чудакова**

Свидетельство о регистрации № 138 от 27 сентября 1990 г. в Министерстве печати и массовой информации РСФСР.

Адрес редакции: 103806, ГСП, Москва, К-6, Малый Путинковский пер., д. 1/2
Телефоны: отдел прозы — 200-54-96, отдел поэзии — 229-56-92, отдел критики — 209-05-88, отдел публицистики — 229-25-83, для справок — 200-08-29.

Сдано в набор 20.08.96 г. Подписано к печати 22.10.96 г. Оригинал-макет изготовлен на компьютерах редакции журнала «Новый мир». Формат бумаги 70x108 ¹/₁₆. Бумага кн.-журн. Высокая печать. Объем 16 п. л., 22,4 усл. печ. л., 28 уч.-изд. л.

Тираж 21 730 экз. Зак. 2919. Цена договорная.

При участии издательства «Известия». Москва, Пушкинская пл., 5.
Типография имени И. И. Скворцова-Степанова издательства «Известия».
103798, Москва, Пушкинская пл., 5.

В 1997 ГОДУ «НОВЫЙ МИР» ПРЕДПОЛАГАЕТ ОПУБЛИКОВАТЬ:

- АНАТОЛИЙ АЗОЛЬСКИЙ. *Подписанты* (повесть);
 ВИКТОР АСТАФЬЕВ. *Прокляты и убиты* (роман, часть третья);
 ИНГМАР БЕРГМАН. *Исповедальные беседы* (роман, перевод со шведского);
 АНДРЕЙ БИТОВ. *Общество охраны героев* (повесть);
 В. БОГОМОЛОВ. *Алина* (повесть);
 МИХАИЛ БУТОВ. *Свобода* (роман);
 ДАНИИЛ ГРАНИН. *Вечера с Петром Великим* (роман);
 ГЕОРГИЙ ДЕМИДОВ. *Из литературного наследия*;
 БОРИС ЕКИМОВ. *Наш старый дом* (повесть); *В снегах* (очерк);
 ЮРИЙ КАГРАМАНОВ. *Демократия и культура*;
 МИХАИЛ ЛЕВИТИН. *Бедоносец* (повесть);
 АЛЕКСАНДР МЕЛИХОВ. *Роман с простатитом*;
 БУЛАТ ОКУДЖАВА. *Автобиографические анекдоты*;
 ИРИНА ПОЛЯНСКАЯ. *Прохождение тени* (роман);
 ВАЛЕРИЙ ПОПОВ. *Грибники ходят с ножами* (повесть);
 ВЯЧЕСЛАВ ПЬЕЦУХ. *Шкаф* (рассказы);
 КРИСТОФ РАНСМАЙР. *Morbus Kitahara* (роман, перевод с немецкого);
 ИРИНА РОДНЯНСКАЯ. *Маканин нового времени*;
 А. СОЛЖЕНИЦЫН. *Этюды из «Литературной коллекции»*;
 ВИКТОРИЯ ТОКАРЕВА. *Корова на крыше* (повесть);
 ПАВЕЛ ФЛОРЕНСКИЙ. *В санитарном поезде Черниговского Дворянства* (заметки и впечатления, 1915);
 ИГОРЬ ШКЛЯРЕВСКИЙ. *Золотая блесна* (северная проза);
 УОЛЛЕС ШОУН. *Лихорадка* (повесть, перевод с английского);
 ГАЛИНА ЩЕРБАКОВА. *Митина любовь* (повесть);
 ЮЛИУ ЭДЛИС. *Аноним* (роман);

а также новые произведения СЕРГЕЯ АВЕРИНЦЕВА, ВАСИЛИЯ АКСЕНОВА, АЛЕКСАНДРА АРХАНГЕЛЬСКОГО, ЮРИЯ БУЙДЫ, СВЕТЛАНЫ ВАСИЛЕНКО, АНДРЕЯ ВОЛОСА, РЕНАТЫ ГАЛЬЦЕВОЙ, ГЕННАДИЯ ГОЛОВИНА, ВАЛЕРИЯ ЗАЛОТУХИ, АНАТОЛИЯ КИМА, МАРКА КОСТРОВА, МИХАИЛА КУРАЕВА, АНАТОЛИЯ КУРЧАТКИНА, АЛЕКСАНДРА КУШНЕРА, ОЛЕГА ЛАРИНА, СЕМЕНА ЛИПКИНА, ИННЫ ЛИСНЯНСКОЙ, ВЛАДИМИРА МАКАНИНА, МАРИНЫ НОВИКОВОЙ, ОЛЕГА ПАВЛОВА, ЕВГЕНИЯ РЕЙНА и других авторов.

**НЕ ЗАБУДЬТЕ ВОВРЕМЯ
ПРОДЛИТЬ ВАШУ ПОДПИСКУ!**